В.Ф. ТЕНДРЯКОВ



ЧУДОТВОРНАЯ

В.Ф. ТЕНДРЯКОВ

В. Ф. ТЕНДРЯКОВ



ПОВЕСТИ

Художник *В. А. Блонский*

КИЕВ
«РАДЯНСЬКА ШКОЛА»
1985

Р2
Т33

Печатается по изданиям: В. Тендряков. Собрание сочинений в 4-х томах. М., «Художественная литература», 1978—1980; В. Тендряков. Расплата. М., «Советский писатель», 1982.

ТЕНДРЯКОВ В. Ф. Чудотворная. Повести.— К.: Рад. шк., 1985.— 429 с.— 2 р. 30 к. 200 000 экз.

В сборник произведений известного советского писателя вошли повести о нашей современности. Автор ведет непримиримый идейный спор с религиозным мировоззрением («Чудотворная», «Чрезвычайное»), раскрывает сложный процесс формирования личности школьников («Весенние перевертыши», «Ночь после выпуска»), ставит важные социальные и нравственные проблемы сегодняшнего дня («Расплата»).

Повестям присущи острая конфликтность, предельный драматизм жизненных ситуаций, стремление пробудить в читателе общественное неравнодушие.

Т $\frac{4702010200\text{-}091}{М210(04)—85}$ 337—85

ЧУДОТВОРНАЯ

ПОВЕСТЬ

1

Каждый год, в то время когда полая вода идет на спад, река Пелеговка начинает «рвать берега». Огромные, как грузные медвежьи туши, кусищи земли с прошлогодней щетинистой травой или с чисто выбитыми прибрежными тропинками то там, то тут ухают вниз, взбрасывая вверх мутные брызги.

Год за годом Пелеговка упрямо въедается в луг, раскинувшийся под селом Гумнищи.

В такие дни в неустоявшейся воде, случается, хватают на выползней подъязки. Соскучившиеся за зиму по реке гумнищинские ребятишки высыпают на берег. Хорош клев или плох, они все, как один, терпеливо до сумерек торчат над удочками.

Родька Гуляев выбрал место перед крохотной заводью, подсунул под себя доску, чтоб сквозь штаны не холодила мокрая земля, и вот уже который час следил за поплавком. Вырезанный из сосновой коры поплавок кружил от ленивого в заводи течения, порой останавливался, вяло, с неохотой уходил под воду: то крючок цеплялся за дно. Родька взмахивал удочкой, отбрасывал подальше леску. Сонно кружила глинистая вода, уныло висел над ней конец удочки, безнадежно мертв был поплавок, вся крохотная прибрежная вымоина с киснущей щетинистой дерновиной казалась безжизненной.

Родька поднялся на затекшие от долгого сидения ноги, оглянулся по сторонам — не перебраться ли в другое место? — и тут заметил, что в обрыве берега из плотного песка торчит темный угол какого-то ящика. Родька подошел, пощупал его — кусок гнилой доски остался в руке.

«Хоронили что-то в землю... Река открыла...— Родькино сердце разом упало.— А вдруг клад!»

Сперва руками, потом доской, на которой раньше сидел, Родька принялся торопливо откапывать.

Ковырялся он недолго, через каких-нибудь десять минут удалось раскачать и выдернуть из песка находку. Положив ее к ногам, Родька долго разглядывал изъеденный гнилью ящик, ворочал его. Ящик был не тяжел, походил на те ящики, в которых гумнищинская сельповская лавка получала конфеты-подушечки,— такой же ширины и длины, такой же плоский, только сколочен добротнее: полусгнившие доски довольно толсты, пазы между ними проконопачены паклей. И по тому, что эта пакля сохранилась, по тому, что она не расползалась в пальцах, Родька понял: должно быть, пазы смолили.

Гнилые доски легко срывались со ржавых гвоздей. Под ними оказалась бурая, сухая, плохо гнущаяся и ломающаяся на сгибах мешковина. «Ишь, прятали. Мешковина, и та просмолена... Дорогая штука, должно...»

От нетерпения, от сладкого ужаса перед неизвестностью у Родьки стали непослушными руки, подергивало косточки в коленках. Он выдрал из ящика мешковину, отворачиваясь при этом от сухой пыли, и вынул... широкую, тяжелую доску.

Большая, темная, словно закопченная, доска, и больше ничего!

Родька с разочарованием и недоумением ее разглядывал, поворачивал перед собою то на одну, то на другую сторону. На прокопченно-грязной стороне он разглядел два глазных белка: на доске кто-то был нарисован. Спустившись к воде, Родька старательно вымыл доску ладонью. Доска мокро заблестела, но темные краски от этого проступили лишь чуть-чуть отчетливее. По-прежнему не столько сами черные глаза, сколько белые глазные яблоки с какой-то угрюмой нелюдимостью уставились мимо Родьки.

Постепенно Родька разглядел, что глаза и едва проступившая бородка соединялись длинным, прямым, как тележный квач, носом. Разглядел Родька все лицо — вытянутое под стать носу, узкое, с двумя резкими морщинами от ноздрей, разглядел полукружие над головой и понял: он просто-напросто нашел икону.

Невелик клад. Такого добра у бабки целый угол. Но находка есть находка, какая бы она ни была, ею стоит похвастаться.

Родька свернул удочку, взял под мышку икону, направился к селу, домой.

2

Мать и бабка были за домом, возились на усадьбе.

Бабка, со сбившимся на голове платком, с сердитым лицом, вцепившись жилистыми руками в ручки плуга, пахала. Родькину бабку звали по селу Грачихой. Ей давно перевалило за шестьдесят, но всю мужскую работу по дому делала только она. Обвалится столб у калитки — бабка бралась за топор, кляня непутевого муженька своей дочери, и, призывая господа бога, святую деву богородицу, обтесывала новый столб. Бабка сама возила из лесу дрова, сама косила, сама таскала на поветь сено, сама пахала. Родькину мать, свою дочь, тоже не жалующуюся на здоровье, звала «жидкой плотью», постоянно ворчала: «Умру, похороните — расползется дом, как прелый гриб». Высокая, костистая, поглядеть спереди — широка, словно дверь, сбоку — плоская, как доска; лицо тоже широкое, угловатое, с мослаковатыми крутыми скулами; над ними в сухой смятости перевитых коричневых морщин и морщинок неспокойно и цепко глядят желтые глаза. Сейчас бабка навалилась на плуг, неуклюже переступает огромными сапожищами по пахоте, покрикивает на лошадь:

— Н-но! Наказание господне! Шевелись, недоделанная! Обмою хребтину-то!

Мать Родьки, повязав платок так низко, что он почти закрывал глаза — жалела лицо, прятала от солнца,— собирала с распаренной, улежавшейся за зиму пахоты прошлогодние картофельные плети, сваливала их в разложенный костерчик. Сопревшие под снегом, не совсем еще высохшие плети горели плохо, по усадьбе тянулся сизый вонючий дым.

К Родькиной матери от старой Грачихи перешло скуластое лицо да зеленый прищур глаз сквозь белесые ресницы, но и скулы уже не так круто выпирали и лицо без угловатостей, кругло, со сдобной подушечкой под мелким подбородком; даже намека нет на бабкину худобу: плечи пухлы и покаты, старенькая, выцветшая юбка трещит на бедрах. Куда больше от бабки перепало внуку. Пусть хрупки плечи, но даже сейчас под стареньким ватником чувствуется их разворот, лобастая крупная голова лежит на них почти без шеи, цевки рук тонки, зато ладони широкие, плоские, короткопалые. Теперь вот обхватил ими широкую доску, расставил ноги в разбитых сапогах, голова склонена лбом вперед, на нижней губе болячка (застудил, на реке пропадая) — сбитенок, с годами выклюется из такого Грач под стать старой Грачихе.

— Набегался, безотцовщина? — Бабка остановила лошадь, стала очищать лемех палкой, бросая из-за плеча суровые взгляды.— Варька, иди картошки свинье натолки. Пущай гулявый будылье таскает.

— А я икону нашел,— похвастался Родька.

— Опять баловство! Третьего дня лешачата на кладбище крест с могилки Феклуши-странницы своротили, в ручей бросили. В прежние времена за такие дела до смерти пороли.

Мать, утирая слезящиеся от дыма глаза, подошла, легонько толкнула Родьку в плечо:

— Иди домой, за книжки садись. Учительница проходу не дает из-за тебя... Иди, иди, тут мы управимся.

— Ты глянь, какую штуку в берегу выкопал.

Родька положил на землю икону. Мать замолчала, вгляделась, сурово спросила:

— Где нашел?

— Говорят — в берегу выкопал. В ящике заколочена была.

— Иди-ка сюда, мать.

Бабка разогнулась, вытирая запачканные руки о ветхий подол юбки, двинулась, волоча сапоги по пахоте.

— Вечно проказы. Исусе Христе, святые иконы под берегом валяются. Ой, Родька, на мать-заступницу не погляжу...

Бабка подошла, взглянула и замолчала; светлые беспокойные глазки средь дубленых морщинок остановились.

Икона лежала на земле, оплетенной прелой ботвою; два белых глаза с унылой суровостью уставились в легонькие, размазанные по синему небу облачка.

Тяжелая, с натруженными венами рука бабки медленно-медленно поднялась. Грубые, с обломанными ногтями, несгибающиеся пальцы сложились в щепоть, совершили крестное знамение.

— Свят, свят... Исусе Христе праведный... Варенька, голубушка, взгляни-ка, взгляни. Ох, батюшки! Ведь это, милые, чудотворная с Николы Мосты...

— Она, пропащая,— подтвердила серьезно и мать.

— Типун тебе на язык — «пропащая». Не пропащая, девонька, а новоявленная.

Бабка схватила с земли икону, прижимая обеими руками к груди, бросилась бегом к дому. Платок ее совсем упал на плечи, открыв крохотный, как луковица, седой пучок волос.

Родька подозрительно, исподлобья проводил ее взглядом: что-то бабка серьезно схватилась за икону, даже работу бросила; начнет потом зудеть: что, да как, да где нашел, скажешь не по ней — по затылку схватишь.

— Мамка,— проговорил он,— я к Ваське пойду уроки делать.

Но мать не слышала. Она, глядя вслед бабке, распрямилась, поправила платок, потуже подтянула концы у подбородка и, выставив грудь, мелкими, чинными шажочками двинулась с усадьбы.

3

Вечером дома ждали Родьку.

Еще с порога он увидел, что в избе полно народу: бабка Домна, бабка Дарья, бабка Секлетея, согнутая пополам старая Жеребиха. Средь старух, скрестив короткие толстые руки под оплывшей грудью, возвышалась могучая, не возьмешь в обхват, Агния Ручкина. У нее пухли ноги, свои водянистые телеса нарастила, сидя сиднем дома, а сейчас вот приползла из другого конца села. На ее сыром, с дрожащими щеками и подбородком лице застыло покорно-плаксивое выражение, тяжкий вздох вырывается из груди:

— Ноженьки мои, ноженьки!..

У самых дверей, с краешка, на лавке, умостился робкий старичишка — ночной сторож Степа Казачок: спеченный рот крепко сжат, слезящиеся в красных веках глазки с испугом и недоумением уставились на вошедшего Родьку. Он первый мелко-мелко закрестился, засопел, не спуская с мальчишки влажных, часто мигающих голыми веками глаз, заерзал на лавке.

Мать и бабка, сами словно в гостях, сидят рядком, сложили докрасна вымытые руки на коленях. У бабки жидкие волосы гладко причесаны, смазаны маслом, у матери на белой шее оранжевые бусы.

Икона, принесенная Родькой, стояла уже в углу, перед ней горели крошечными, словно зернышки, огоньками несколько тонких, как карандаши, свечек. Старик с иконы с суровым отчуждением встретил Родьку своими выкаченными белками, направленными поверх свечных огоньков и голов гостей.

— Ангел ты наш, сокол ясный! — запела навстречу согнутая Жеребиха, ласково уставясь черными, без блеска, как подмоченные угольки, глазами.— Знает господь, кого благодатью своей отличить. Истинно ангел.

А Родька-ангел, продернув рукавом по мокрому носу, от непонятного внимания гостей склонив упрямо голову, выставив лоб — торчащие уши выражают смущение,— протиснулся бочком к печке.

— Избранник божий, надежда наша,— раскисла в улыбке Агния Ручкина.— Ох, ноженьки мои, ноженьки...

— Счастье тебе, Варварушка... Сынок-то! — Жеребиха оглядывалась на Родькину мать.— Второй отрок Пантелеймон. Как есть второй Пантелеймон-заступничек. Господня воля на то. В або какие руки чудотворная икона не попадет... Иди, ласковый, поближе, чего пужаешься? Так бы рученьки твои, голубь мой, и расцеловала.

Родька исподлобья, диковато засверкал глазами, растерянно попятился к порогу.

— Экой ты, а ну, подь сюда, спросить хочу,— сурово попросила Родькина бабка, добавила ласковее: — Поди, поди, не укусим, чай.— Помявшись, еще ниже наклонив голову, Родька подошел.

— Ну чего?

— Скажи еще раз, милушко, где ты ее достал?

— Икону-то?.. Да сколько тебе говорить? В берегу же выкопал. От Пантюхина омута идти, то вправо.

Внимательно притихшие старухи разом завздыхали:

— Голубиная душенька подвернулась, некорыстная...

— Сам господь, должно, перстом указал... Ноженьки мои, ноженьки... Ох, согрешение!

— Да как же ты на нее наткнулся? — продолжала допрашивать бабка.

— Увидал — в берегу углышек ящика торчит. Выкопал... А там — эта...

— Церковь-то наша без нее сирая и неприкаянная.

— Сказывают, ангелы мои, с той поры, как пропала чудотворная, кажную ночь купол пилит ктой-то. Кажную ночь перед петухами...

— Осиротел храм божий, вот и гнездится всякая нечисть.

Родька со страхом и недоумением слушал вспыхнувший разговор, оглядывался. А в темном углу избы, скупо освещенном крошечными свечными огоньками, молчаливо возвышалась икона: на черной доске белели глазные яблоки.

4

Ушли гости. За темным окном в последний раз донеслось плачуще:

— Ноженьки мои, ноженьки...

Бабка убрала свечи с иконы, потушила лампу. В углу осталась лампадка: на всю темную избу лишь она одна парила в воздухе зеленоватым сонным мотыльком. То крестясь, то застывая с беззвучно шепчущими губами, то с размаху склоняясь к полу, бабка помолилась на сон грядущий.

Просто устроен человек. Наотбивала поклонов, ворча и кряхтя, взобралась на простывшую печь, сладко охая, расправила там кости, и через секунду раздался густой храп...

Зато Варвара, подоткнув сползшее с разметавшегося Родьки одеяло, в одной рубахе, распустив по спине волосы, опустилась голыми коленями на холодный пол, завороженно уставилась на неподвижный огонек лампадки.

Храпит старая Грачиха за спиной. За окном прошумел ветер в молодой листве черемухи. Вдалеке спросонья гаркнул петух, но, видать, не вовремя: никто ему не откликнулся. Тихо.

Варвара сложила лодочкой на груди руки, начала бессвязно шептать:

— Господи милостивый... Никола-угодник... В вечной тревоге живу. Помоги и образумь меня...

Каждый вечер, направив лицо в угол, заставленный иконами, Варвара шепчет: «Помоги, господи!»

И так уже много лет.

Когда-то, в девках, ничего не боялась, не заглядывала со страхом в завтрашний день, не верила ни в бога, ни в черта, за стол садилась, не перекрестив лба, на воркотню матери, старой Грачихи, отвечала:

— Будет ныть-то! Отошла ныне мода, крестись себе на здоровье, коли нравится...

Самой большой тревогой в ту пору было — придет или не придет Степан на обрыв, к обвалившейся березе. Шла война, парней в селе было не густо; он тоже в отпуск приехал после госпиталя, припадал на раненую ногу. Ресницы у него были что у девки, глаза темные, ласковые, на гитаре играл, подпевал: «Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани...» Сам в это время лукаво посмеивался. Немало в Гумнищах молодых девок,

ко и она, Варвара, была не из последних — не конопата, не кривобока; бывало, прислонится Степан к высокой груди — замрет, как ребенок. Страшная вера охватывала тогда — никакая сила не оторвет его. «Распрямись ты, рожь высокая...» За весь месяц, пока Степан Гуляев жил в отпуске, не пропустили ни одной ночи. Ничего тогда не боялась Варвара, ни у кого не собиралась просить помощи, помнить не помнила бога...

Но вот кончился срок, проводила Степана. Без стеснения, как жена, перед всем селом висела на шее, плакала в голос: «На ко-ого-о ты меня-а покида-аешь!»

Проводила, тут-то и стала задумываться: вернется ли, на фронт ведь уехал, ребенок будет, старая мать — по дому только помощница, вдруг да придется куковать соломенной вдовой? Вернуть бы! Если б можно, на четвереньках через леса, реки, города поползла к нему. Как помочь?! Чем?! Сиди обливайся холодным пóтом при мысли, что все быстро так кончилось... Кончилось?! Нет, нельзя этого допустить! Что-то надо делать!.. Старая Грачиха видела все, не переставая твердила:

— Хватит казниться. Сохнешь да кровь портишь без толку. Молись лучше. Молись! Забыла господа-то. Гордыня заела. За свою гордыню такие ли муки мученические терпеть будешь!

Что-то надо делать Варваре. Страхи одолевают. Может, и в самом деле права мать: никакой другой помощи не придумаешь. Тогда-то впервые Варвара стала вечерами непослушными от волнений и тревоги губами молить шепотом: «Помоги, господи!»

Молитвы ли помогли, само ли по себе должно так случиться, вернулся Степан после демобилизации. Те же бабьи ресницы, та же ловкая походочка, только без прихрамывания, а глаза, не в пример прежнему, холоднее, и песенку с лукавинкой не вспоминал: «Распрямись ты, рожь...»

Напуганная, ослабевшая от вечных страхов, Варвара тайком просила: «Помоги, господи! Смятенная душа ныне у Степана, успокой его, верни мне его ласку». Но Степан не успокаивался, раздраженно ворчал:

— Скука здесь. Того и гляди, шерстью обрастешь.

Потом неожиданно сорвался, укатил в город, поступил на мебельную фабрику, пообещав, что, как только устроится, вызовет к себе Варвару с Родькой.

Кто знает, как бы повернулась жизнь, если б Степан прочно остался дома. Была бы семья, как у всех,— без ущербинки. Есть муж и отец, хозяин и опора, с ним и заботы пополам и любая беда в полбеды. Какой там страх перед завтрашним днем, когда рядом крепкое мужское плечо: знай живи, и бога ворошить незачем!

Но Степан уехал, и нет твердой надежды, что вернется. Одна опора в семейных делах для Варвары — старая Грачиха. А та

сама на себя не надеется, все у бога помощи ищет, что ни день, то долбит: «Молись! Молись! Кроме как у господа, ни у кого помощи не найдешь. Он всемогущ!..»

И Варвара по вечерам стояла на коленях, кланялась углу, уставленному иконами:

— Помоги, господи! Мать божья, заступница, не обойди милостью своей. Не загулял бы Степан-то на стороне. Не позарился бы на городскую, крашеную и пудреную...

Какая там перебежала Варваре дорогу, крашеная иль некрашеная, но Степан домой больше не вернулся. Сначала высылал деньги и скупые письма, потом только деньги, да и те с перебоями.

Случилась самая большая беда, большей быть не может. Казалось, раз так вышло, чего уж дальше бояться — скинь страх, оглянись трезво вокруг. Но напугана жизнью Варвара.

Родька непоседой растет, день-деньской на реке пропадает. Страшно, вдруг да случится грех — утонет... Сохрани, господь!

Учительница Прасковья Петровна на него жалуется: уроки-де плохо готовит... Страшно, вдруг да вахлак вахлаком вырастет. Образумь, господь, непутевого!

Корова плохо поела — страшно!

Собака ночью на луну выла — страшно!

Поутру дорогу черная кошка перебежала — ох, не к добру!

Кругом страсти господни. Нелегко жить. Спаси, Христос, и помилуй от всякой напасти.

Храпит на печи бабка. Заледенел в неподвижности огонек лампадки, едва-едва осветил два серых белка да узкий нос на новой иконе. Разорались уже петухи на воле. Вывернула душу — пора и на боковую: утром вставать рано.

Варвара поднялась с колен. Ступая босыми ногами по узловатым от сучков половицам, прошла к кровати. Там, воткнув в вылинявшую подушку непослушные вихры, спит Родька. Косо упавший свет луны освещает сомкнутые ресницы, упрямые, от бабки перешедшие скулы, болячку на губе.

«Наказание мое... Ну-ка, святая икона ему явилась... К добру ли? Не случилось бы чего... Второй Пантелеймон-праведник... Чудеса, да и только... Охохонюшки!..» — Варвара сладко зевнула, стала осторожно отодвигать съежившегося под одеялом Родьку.

— Двинься, чадушко. Дай мамке местечко...

5

В старину считали: селение без церкви, как бы оно велико ни было,— деревня, с церковью — село. В самом же селе Гумнищи церкви не было. Церковь стояла на отдалении, в версте в сторону.

Рассказывают так. Лет сто пятьдесят, а может и двести, тому назад некий пастушонок Пантелеймон, гонявший деревенское стадо на Машкино болото, увидел там среди пней и кочек икону Николая-угодника. Пастушонок тут же перед ней опустился на колени и помолился о здравии болящей матери, которая вот уже много лет и зим не слезала с печи. Когда он пришел вечером домой, то увидел, что мать, сотворяя молитвы, ходит по двору, налаживает завалившийся тын. Икона оказалась чудотворной.

Вряд ли было на святой Руси такое место, где не рождались бы такие благостные, по-детски наивные, похожие друг на друга легенды. И каждый раз они разносились на много верст по деревням и селам, тревожа воображение, совесть, вызывая надежды.

К новоявленной иконе, к малознакомой до тех дней деревне Гумнищи потянулся народ — пешие с батожками и котомками, на подводах с женами и детишками, на лихачах с гиком и посвистом. Кто грабил, жульничал, беспутно пьянствовал, кто жрал толченую кору, как о великом счастье, мечтал о куске хлеба, кто изнывал от хвори — все, с грехами, нуждой, собственной грыжею, поднимая пыль лаптями, разбитыми в кровь ногами, ошинованными колесами, тянулись просить милости у чудотворной.

Сперва среди пней и кочек Машкина болота была выстроена из свежесрубленного кондача часовенка с тесовым шпилем вместо луковицы. Потом странники и странницы, те, кто восхваление бога и посещение святых мест считали своей профессией, а новоявленье чудотворной — удачей жизни, пошли по дорогам Руси с жестяными кружками, погромыхивая медяками, гундося елейно: «Подайте, православные, на храм божий!» И православные раскошеливались...

На Машкином болоте нельзя было выстроить добрую избу — перекосит углы, нижние венцы уйдут в трясину. Но ради чудотворной, во славу божью, всем миром наносили песку, земли, камней, вымостили болото, средь ляжин и трясин сделали остров. На этом острове подняли вверх саженной толщины кирпичные стены, приезжие мастера расписали их богородицами, ангелами, Христовыми ликами, на высоту птичьего полета подняли многопудовые колокола, а еще выше, над голубыми луковицами, истекая огнем, едва не цепляясь за облака, засияли на солнце золоченые кресты.

И поднялся посреди Машкина болота не для жилья, не для посиделок, не для общего веселья, поднялся на столетия памятник темной веры в несуществующего бога, дорогая и громоздкая оправа для дубовой доски, не особенно искусно покрытой красками.

Новую церковь назвали Никола на Мостах, в честь явленной иконы Николая-угодника и в честь того, что церковь воздвигнута на вымощенном руками верующих болоте.

Считалось, что чудотворная исцеляет от всех телесных и духовных недугов гораздо охотнее, если только перед ней сотворит молитву не сам просящий, а Пантелеймон, тот пастушонок, который первым преклонился перед иконой.

Пантелеймон вскоре стал чем-то вроде местного святого. Говорят, поставил себе мельницу и умер в глубокой старости праведником. Под селом на реке Пелеговке есть Пантюхин омут, возле которого на берегу до сих пор можно видеть каменную осыпавшуюся кладку — остатки фундамента пантелеймоновской мельницы.

За решетчатой оградой, под стенами церкви Николы на Мостах, одна возле другой стали ложиться могилки, над сельским погостом зашумели березки, рябинки, липы, галки свили гнезда под куполами. В церкви менялись попы. Они крестили новорожденных, венчали молодых, отпевали покойников, служили заутрени, обедни, пели «многие лета», провозглашали «анафему». Запах ладана и атмосфера казенной святости окружили легендарную икону. К ней привыкли, слава ее поутихла, чудотворность уснула, и все-таки на нее продолжали молиться, за многие километры тащились, чтоб только благоговейно приложиться к ее лику, зажечь копеечную свечу.

В двадцать девятом году, в то время, когда вокруг Гумнищ создавались колхозы, последний из попов церкви Николы на Мостах был уличен в кулацкой агитации. Его самого раскулачили, отправили в Соловки, а церковь, как пережиток старого, решено было закрыть. С высокой колокольни, к великому негодованию старух, стянули веревками тяжелый колокол. Он, когда-то будивший своим медным рыком гумнищинскую округу, ударился в землю и, охнув в последний раз в своей жизни, развалился. Все церковное имущество — серебряные оклады, кадила, дарохранительницы — конфисковали, а чудотворную икону по предложению сельских комсомольцев собирались уже переслать в краеведческий музей. Но она неожиданно исчезла. На этот раз такое событие вовсе не расценили как чудо, просто решили: кто-то из верующих стащил ее из пустой церкви.

Но долго еще вспоминали старухи икону, рассказывали об огнях на болоте, о душе Пантелеймона-праведника над омутом, о том, что каждую полночь в заброшенной церкви кто-то «пилит купол» — «истово, из минутки в минутку, каждую ночь перед петухами...»

С той поры прошло немало лет. И вот позабытая чудотворная икона вновь явилась под берегом реки Пелеговки.

6

Утром Родька, как всегда, собирался в школу: завязал книги и тетрадки в старый мамкин платок, надел пионерский галстук и, долго слюнявя ладони, разлаживал мятые концы на груди (вчера после школы весь день таскал его скомканным в кармане), потом метнулся к столу:

— Давай, бабушка, есть. Не то опоздаю.

Бабка, вместо того чтобы проворчать обычное: «Успеешь еще натрескаться...»— разогнулась у печки, ушла за переборку, быстро вернулась, пряча что-то в вытянутом кулаке.

— Ну-ка, дитятко...— позвала она.

Родька с подозрением покосился на ее осторожно сжатый, словно державший в себе горсть живых тараканов, кулак.

— Вот одень, золотце, на доброе здоровье. Хватит уж нехристем-то бегать.

Перед Родькиным носом закачался на толстой шелковой нитке маленький медный крестик. Родька с минуту отупело моргал, потом залился краской от шеи до кончиков ушей, втянул голову в плечи.

— Еще чего выдумала? На кой мне...

— Нельзя, родненький, ты теперь у бога на примете. Не мне, небось, не бабке Жеребихе чудотворная открылась. И не выдумывай, ягодка, господа-то гневить непослушанием. Ну-кося, на тебя с молитвою...

Родька еще больше съежился, отступил назад:

— Не одену.

— Экой ты...— Бабка протянула руку. Родька отскочил, светлые, с грачихинской желтизной глаза блеснули затравленно.— Ну, чего козлом прыгаешь?

— Умру — не одену! Ребята узнают — начисто засмеют.

— Чего ради хвалиться тебе перед ними? Каждый всяк по себе живет, всяк свою душу спасает. Храни себе потаенно и радуйся.

Вошла мать в туго повязанном платке, старые сапоги забрызганы грязью, видно, только что с бороньбы или от парников — вся розовая от быстрой ходьбы по славному утреннему холодку, в прищуре глаз под белесой занавесочкой ресниц — доброта:

— Опять с бабушкой не поладил?

Родька бросился к ней:

— Мам, скажи, чтоб не одевала. На кой мне крест. Что я, старуха?.. Узнают вот в школе...

Мать нерешительно отвела глаза от бабки:

— А может, и вправду не одевать? Сама знаешь: в школе не похвалят.

Бабка разогнулась, подобрала губы, сжала в коричневый кулак крестик.

— Оберегаешь все? Ты ему душу обереги. Гнев-то божий, чай, пострашнее, чем учительша вымочку даст.

— Не гневался же, мать, господь на него до сих пор. Даже милостью своей отметил.

— Ой, Варька, подумай: милость эта не остережение ли? Пока Родька ходил без отлички, ему все прощалось. А ныне просто срам парню креста на шее не носить.

Мать сдавалась:

— Право, не знаю. Какой спрос с малого да несмышленого?

— Для господа что мал, что стар — все ровни, все одинаково рабы божьи. Вот свалится беда, запоешь тогда по-другому, вспомнишь, что сущую безделицу для бога отказала. Да и что толковать-то, тьфу! Крест на шею сыну повесить совестно.

И мать сдалась.

— Надень, Роденька, крестик, надень, будь умницей.

— Сказал — не одену.

— Вот бог-то увидит твое упрямство.

— Плевал я на бога вашего! Знал бы, эту икону и вырывать из земли не стал, я бы ее в речку бросил!

— Окстись! Окстись, поганец! — зыкнула бабка.— Типун тебе на язык! Вот оно, Варька, потаканье-то...

На щеках матери выступили лиловые пятна, широко расставленные глаза сузились в щелки, руки поднялись к груди, быстро перебрали пальцами все пуговицы на старенькой кофте.

— Добром тебя просят. Ну!.. Мать, дай-ка мне крест. Я-то надену на неслуха.

— Нет, пусть он себя крестным знаменем осенит. Нет, пусть он у бога прощения попросит. Пусть-ка скажет сначала: «Прости, господи, мои прегрешения».

На стене, под фотографиями в картонных рамочках, висел старый солдатский ремень, оставшийся от отца. Мать сняла его с гвоздя, впилась в Родьку прищуренными глазами, устрашающе переложила ремень из руки в руку.

— Слышал, что тебе старшие говорят?

Сжавшись, подняв плечи, выставив вперед белобрысые вихры, глядя исподлобья, как волчонок, настороженно блестевшими глазами, Родька тихо-тихо пододвигался к двери, навертывал на палец конец красного галстука.

— Прав... прав не имеете.

— Вот я скину штаны и распишу права...

— Верно, Варенька, верно. Ишь, умничек...

— Вот я в школе скажу все...

— Пусть-ка сунутся — я учителям твоим глаза все повыцарапаю. Небось, не ихнее дело. Кому говорят?!

— Верно, Варенька, верно.

Родька сжался сильнее, с ненавистью стреляя глазами то в бабку, то в мать, чуть приметно двинул плечом в сторону дверей.

— Скидывай сапоги! Ну, быстро!.. Ни в какую школу не пущу. Ну! — Рука матери больно дернула за вихры.— Крестись, пащенок!

— Скажу вот всем! Скажу! Ой!..

Удар ремня пришелся по плечу.

— Скидывай сапоги! Живо!.. Нету тебе школы! Нету тебе улицы! На замок запру!

Второй удар, третий... Родька отчаянно, басом взревел, рванулся к двери, но бабка с непривычной для нее резвостью перегородила дорогу, схватила за ухо.

— Ишь ты, лукавый. Нет, миленок, нет, встань-ко сюда!

У матери же было красное, расстроенное лицо, на глазах тоже слезы.

— И что мне за наказание такое? Вырос на мою голову, вражонок. Когда только я над тобой управу возьму? Долго будешь еще упрямиться, мучитель мой?

Родька всхлипывал, вздрагивал телом, размазывал слезы рукавом чистой, надетой для школы рубахи; его правое ухо пламенело, казалось тяжелым, как налитый кровью петушиный гребень.

— Оставь его, Варька,— заявила бабка.— Не хочет, как знает. А есть не получит и в школу не пойдет. Сказали тебе, скидывай сапоги!

Родька молчал, продолжая всхлипывать, упершись глазами в пол.

— Добром же тебя просят... О-о, господи! — с отчаянием воскликнула мать.— Просят же, прося-ат! Долго ль торчать над тобой, идол ты, наказание бесово!

По-прежнему упершись в пол взглядом, Родька несмело поднял руку, дотронулся щепотью до лба, стыдливо и неумело перекрестился.

— Чего сказать надо?

— Прос... прости... госпо-ди...

— Только-то и просили!

— Когда лоб крестят, в пол не глядят,— сурово поправила бабка.— Ну-кося, на святую икону перекрестись. Еще раз, еще! Не бойся, рука не отсохнет.

Родька поднял глаза на угол и увидел сквозь слезы сердитые белки, уставившиеся на него с темной доски.

7

А на улице с огородов пахло вскопанной землей. Солнце обливало просохшие тесовые крыши. Сквозь желтую прошлогоднюю траву пробились на свет нежные, казалось бы, беспомощные зеленые стрелки и сморщенные листочки.

Зрелая пора весны. Через неделю люди привыкнут к припекающему солнышку, к яркой зелени, появится пыль на дорогах. Через неделю, через полторы от силы весна перевалит на лето... Сколько маленьких радостей сулит этот ясный день!

После уроков можно убежать в луга. Там от разлива остались озерца-ляжины с настоявшейся на прели водой, темной, как крепкий чай. Можно выловить матерую, перезимовавшую лягушку, привязать к ее лапке нитку, пустить в озерцо, глядя, как уходит она, обрадовавшаяся свободе, вглубь, во мрак непрозрачной воды, а потом взять да вытащить обратно — шалишь, голубушка, ты теперь у нас работаешь водолазом, расскажи-ка, что видела в воде.

Можно достать пригоршней мутновато-прозрачную лягушачью икру, пересчитать черные точки-ядрышки, а каждое ядрышко — будущий головастик.

А лужицы помельче?.. А глубокие колесные колеи в низинках, залитые после половодья и еще не высохшие?.. В них гуляют попавшие в неволю крошечные серебристые головастики, отливающие зеленью щурята, красноглазые сорожки; замути воду — и их легко можно поймать прямо руками.

И чем веселее день, тем тяжелее на душе у Родьки. Под рубашкой, под выцветшим пионерским галстуком жжет кожу на груди медный крестик. Сиди на уроках и помни, что ни у кого из ребят нет его... Играй на переменках, помни — если будешь возиться, чтоб не расстегнулась рубаха: увидят — засмеют... Вот он зудит сейчас, его надо прятать, как нехорошую болячку на теле. Пусть не увидят, пусть не узнают, но все равно чувствуешь себя каким-то нечистым. Наказание это! За что? За то, что вырыл проклятую икону. И кто знает, что завтра бабка с матерью выдумают?

На улице никого. Только у дома Васьки Орехова развалилась свинья, выставила на солнце розовые соски на широком брюхе...

Ежели снять этот крест да в карман... Бросить нельзя. После школы бабка уж обязательно заглянет под рубаху. Если не окажется креста, взбучку даст, хоть из дому беги. В карман?.. А карманы неглубокие, легко может выпасть, а то и сам ненароком вытащишь вместе с ножиком или резинкой.

Лучше всего в щель куда припрятать, а на обратном пути надеть, честь честью явиться перед бабкой.

Родька остановился, торопливо принялся расстегивать ворот под галстуком. Но из дома Ореховых вышел Васька, Родькин дружок. Под бумажным затертым пиджаком у него новая рубаха, яркая, канареечного цвета, с другой не спутаешь. Даже галстук, много раз стиранный, вылинявший, бледней ее.

Васька окликнул:

— Эй, Родька! Сколько времени сейчас? У нас ходики третий день стоят. В школу-то еще не опоздали?

Подошел, поздоровался за руку.

— Ты какую-то икону нашел? Старухи за это тебе кланяться будут. Право слово, мать говорила.

Родька, отвернувшись, ловя под галстуком непослушные пуговицы, пряча покрасневшее от стыда лицо, зло ответил:

— Ты слушай больше бабью брехню.

— Так ты не нашел икону? Врут, значит.

— Подумаешь, какая-то доска... Да что ты ко мне пристал? Вот дам в нос!..

— Но-но, ты не шибко! — Но на всякий случай Васька отодвинулся подальше.

Спорить с Родькой он боялся. Где уж, когда даже девчонки дают сдачи. Васька низкоросл, узкогруд, маленькие уши с постоянным напряжением торчат на стриженой голове; его подвижное лицо по сравнению с ярко-желтой рубахой кажется сейчас бледным до зелени. Зато он пронырлив, все всегда узнает первым. Весь в свою мать, недаром же ту прозвали по Гумнищам Клавкой Сорокой.

Обиженно сопя, Васька зашагал рядом, до самой школы не обронил ни слова.

8

О кресте Родька скоро забыл. На переменках устраивал «кучу малу», лазал на березу «щупать» галочьи яйца...

Но вот кончился последний урок, по школьному пустырю неспокойными стайками разлетелись ребята в разные стороны. Родька снова вспомнил о кресте. Вспомнил, что надо идти домой, что бабка, прежде чем дать поесть, потребует: «Перекрести лоб». Васька Орехов, которому было по дороге, стал вдруг неприятен Родьке: «Опять начнет расспрашивать об иконе, пропади она пропадом, ему бы найти такое счастье...»

На окраине пустыря Родька увидел старого Степу Казачка. Тот стоял, сунув одну руку в карман залатанных штанов, другой щипал жидкую — десяток оловянного цвета волосков — бородку.

Когда Родька приблизился, Степа Казачок почему-то смутился, поправил на голове рыжую кепку с тяжелым, словно не-

пропеченная оладья, козырьком, неуверенно переступил с ноги на ногу.

— Родя... Сынок, ты того...

Васька Орехов, рассказывавший Родьке, как председатель колхоза Иван Макарович учил бригадира Федора объезжать жеребца Шарапа, замолчав, навострив уши, уставился на старика Степана. Тот недовольно на него покосился.

— Родька, ты, брат, вот что... Я тебе тут, на-кося, гостинец приберег...

Степан Казачок с готовностью вытащил из кармана захватанный бумажный кулек.

— Бери, брат, бери... Тут это — конфеты, сласть... Доброму человеку разве жалко. На трешницу купил.

Заскорузлая рука протянула кулек. Родька багрово вспыхнул. Он не понимал, почему дают ему конфеты, но чувствовал — неспроста. Замусоленный бумажный кулек, икона, которую он нашел под берегом, крест на шее, бабкино домогание крестить лоб — все, должно быть, связано в один таинственный узелок. Он сердито отвернулся.

— Что я, побирушка какой? Сам ешь.

— Да ты не серчай, я тебе от души... Экой ты, право...— На темном, с дымной бородкой и спеченными губами лице Степы Казачка выразилась жалкая растерянность.

— Раз дают, Родька, чего отказываешься? — заступился за Казачка Васька.

— Ты-то чего пристал? — цыкнул Родька.

— Верно, братец, верно, — обрадованно поддержал дед Степан.— Иди-ка ты, молодец, своей дорогой, не встревай в чужие дела. Иди с богом.— Он снова повернулся к Родьке.— Мне бы, родной человек, парочку словечек сказать тебе надо.

— Больно мне нужно,— презрительно фыркнул Васька.— На ваши конфеты, небось, не позарюсь.

Он пошел вперед, независимо сунув руки в карманы, покачивая узкими плечами, но стриженый затылок, острые, торчащие в стороны уши выдавали и обиду и любопытство: Ваське всей душой хотелось послушать, о чем это будет толковать старик Казачок с Родькой.

— Не обижал бы, взял, а?.. Сам знаешь, не красно живу. Уж какая моя жизнь теперь! — Вздыхая, старик мял нерешительно в руке кулек.— Моя жизнь теперь такая, что помереть от тоски легче. Нутро болит, тяжелого подымать не могу, потому и в сторожа определился. Ведь я бабки-то твоей на три года, почитай, старше... Сына вот вырастил, дочь выдал за хорошего человека, в Кинешме теперь живет. Все бы хорошо, да одному-то, вишь, муторно.

Родька слушал, и ему становилось не по себе. Как ни повернись, все непонятное! Ну, разве стал бы раньше этот Степа Казачок так с ним разговаривать, жаловаться, как взрослому? Что такое?

— Не пожалуюсь, вроде и помогают отцу, то сын деньги вышлет, то дочка — посылочку. Только, ох, скушно одному куковать. Тоска поедом ест... Дочь, конечно, ломоть отрезанный. Вот сына б хотелось обратно. Он парень холостой, характером мягкий, вернуть бы его домой. Любо, мило — женился, меня приголубил...

— Я-то тут при чем, дед Степан?

— У тебя, милок, душа что стеклышко. Тебе от бога сила дана. Да что, право, ты моим подарочком гнушаешься? Возьми, не обижай, ради Христа... Ты, парень, помоги мне, век буду благодарен.

— Да при чем я-то?

— Не серчай, не серчай... Помолись ты перед чудотворной, попроси за меня перед ней, пускай Николай-угодник на ум наставит раба божьего Павла, это сына-то моего. Пусть бы домой вернулся. Моя молитва не доходит: многогрешен. А от твоего слова святые угодники не отвернутся, твое-то слово до самого бога донесут, ты на примете у господа-то... Чай, слыхал про отрока-то Пантелеймона. Праведный человек был... Да конфетки-то, сокол, сунь в карман, коли сейчас к ним душа не лежит...

Солнце светит в зеленой луже посреди дороги. К дому бригадира Федора подъехал трактор, напустил голубого чаду, распугал ленивых гусей, заполнил улицу судорожным треском мотора. Кругом привычное село, привычная жизнь. И никогда еще не было, чтоб в этом привычном мире случались такие непонятные вещи: расстроенное, жалостливо моргающее красными веками лицо деда Казачка, его разговор, словно Родька ему ровня в годах, его непонятная, заискивающая просьба, этот кулек... Да что случилось на свете? Не сошел ли с ума старый Казачок? Может, он, Родька, свихнулся?..

Родька оттолкнул руку старика, бросился бежать.

Не добегая до дому, он оглянулся: дед Казачок стоял посреди улицы — картуз с тяжелым козырьком натянут на глаза, редкая бородка вскинута вверх, во всей тощей фигурке со сползшими штанами растерянность и огорчение. Родьке, непонятно почему, стало жаль старика.

9

У Родькиного дома, на втоптанном в землю крылечке, сидели двое: маленькая, с острым, чем-то смахивающим на болотную птицу, лицом старушка и безногий мужик Киндя — мать и сын,

известные и в Гумнищах, и в Гущине, и в районном центре Загарье.

Этот Киндя — Акиндин Поярков — до войны был самым неприметным парнем из деревни Троица. Работал бондарем при сельпо, незамысловато играл на трехрядке, орал «под кулак» песни, вламывался на пляски «бурлом». В войну под Орлом ему перебило обе ноги. Не один Киндя из Троицы вернулся с фронта калекой, но, кроме него, никто не бахвалился своей инвалидностью.

Часто, напившись пьяным, Киндя, сидя на култышках посреди загарьевского базара, рвал на груди рубаху, тряс кулаками, кричал:

— Для меня ныне законов нету! Могу украсть, могу ограбить — не засадят. Я человек неполноценный! Раздолье мне! Эй, вы! Кого убить? Кому пустить кровушку?

И, опираясь сильными руками на утюжки, перекидывая обрубленное тело, бегал за народом, пугал женщин.

Его много раз, связанного, увозили в милицию, но дело до суда не доходило: жалели калеку. Киндя больше всех на свете боялся одного человека — свою мать, ветхую старушку. Были, говорят, случаи, когда та останавливала его буйство одним выкриком:

— Отрекусь, нечистый!

Последнее время безногий Киндя вовсе утихомирился, пил по-прежнему, но не буянил, торговал из-под полы на базаре туфлями, отрезами, таскался вместе с матерью по церквам, то в щелкановскую, то в загарьевскую, то за шестьдесят километров в соседний район, в Ухтомы.

Об этих делах безногого Кинди, как и все ребятишки, Родька был наслышан довольно подробно. Тем ужаснее ему показалось, что этот Киндя, красномордый, опухший, с рыжей запущенной щетиной на тяжелом подбородке, мутными глазками и поднятыми выше ушей плечищами мужик, держась за ручки своих обшитых кожей утюжков-подпорок, стал молчаливо с размаху кланяться.

Старушка же с кряхтением поднялась, с натугой разогнулась, по-деревянному переставляя отекшие от сидения ноги, двинулась к оторопевшему Родьке. У нее был острый нос, ввалившийся, почти без верхней губы рот углами вниз и голубенькие, по-молодому пронзительные, словно выскакивающие вперед лица глазки. Сморщенная, темная рука цепко схватила Родькину руку.

— Покажись-ка, покажись, любой! — Голос ее, шамкающий, был в то же время громок и скрипуч.— Да чего рвешься, не укушу... Вот, значит, ты каков! Ой, не верю, не верю, что вторым Пантелеймоном-праведником будешь. Нету в твоих глазах благолепия. Ой, нету. В бабку свою весь, а от грачихинской плоти

неча ждать благости...— Она обернулась к своему кланяющемуся сыну.— Ну, хватит ветер лбом раздувать. Ишь, парень-то оробел от твоего дикого виду. Пусти, слышь.

Безногий Киндя покорно перевалился со ступенек на землю. Пока Родька, с испугом косясь, поднимался в дом, он успел три раза с размаху поклониться, показав Родьке плешивевшую макушку.

Но и дома тоже сидели гости.

Согнутая, словно приготовившаяся сорваться с лавки, нырнуть в дверь, Жеребиха завела свою обычную песню:

— Личико что-то бледненько. Видать, напужали эти окаянные — ведьма троицкая со своим идолом обрубленным.

Кроме Жеребихи, Родька увидел еще двоих — Мякишева с женой.

Сам Мякишев кургузый, маленький, вокруг лысины золотой младенческий пушок; окропленное веселыми веснушками лицо кругло, вечно сияет виноватой улыбкой, как застенчивое зимнее солнышко. Он руководил гумнищинским сельпо, выступал на заседаниях, числился в активистах. Жил он около магазина в большом пятистенке под зеленой железной крышей. Уполномоченные, приезжавшие из района, часто останавливались на ночь у него. За всю свою жизнь Мякишев никого, верно, не обозвал грубым словом, и все-таки многие его не любили. Председатель гумнищинского колхоза Иван Макарович, не скрываясь, обзывал: «Блудливая кошка. Стащит да поластится — глядишь, и с рук сходит».

Увидев у порога Родьку, Мякишев так радостно вытянул шею, что на минуту показалось: вот-вот выскочит из своего просторного, с жеваными лацканами пиджака; не только щеки, даже уши его двинулись от улыбки.

Беременная жена Мякишева уставилась на Родьку выкаченными черными глазами, которые сразу же мокро заблестели.

— Экая ты, Катерина,— с досадой проговорила Родькина бабка,— что толку волю слезам давать. Бог даст, все образуется. Родишь еще, как все бабы. Мало ли доктора ошибаются!

Заметив слезы у жены, Мякишев сконфуженно заерзал, забормотал:

— В страхе живу, покоя не знаю.— Он с расстроенной улыбкой повернулся к Родьке.— Может, это счастье наше, что ты, миленький, чудотворную-то нашел?..

Родька, напуганный разговором с Казачком, ошеломленный встречей с безногим Киндей, затравленно озирался. С ума все посходили? Даже Мякишев и тот к чудотворной пришел. Вдруг да тоже просить будет? Бежать, пока не поздно! А куда?..

Выручила бабка. Она поднялась из-за стола, спросила непривычно ласково:

— Проголодался небось, внученька? Вот яишенку тебе сготовлю... Что-то матери твоей долго нету? Пора-то обеденная... Все в колхозе да в колхозе, от дому отбилась.

Пока бабка орудовала у шестка, жарила на нащипанной лучине яичницу, Родька, словно связанный, сидел у окна, косил глазом на улицу.

Жена Мякишева тихо плакала, утирала слезы скомканным платочком. Сам же Мякишев с кисленькой, виноватой улыбкой просительным тенорком оправдывался:

— Я так считаю: оттого и непорядки в жизни, что люди от религии отступились. А без веры в душе никак нельзя жить.

— Истинно. Забыли бога все, забыли. По грехам нашим и напасти,— скромненько поддакивала со стороны Жеребиха.

— Вера-то нынче вроде клейма какого. Меня взять в пример... Мне бы не днем полагалось к вам, а ночью, потаенно, чтоб ни одна живая душа не видела. Человек я на примете, вдруг да потянут, обсуждать начнут, косточки перетирать. Легко ли терпеть...

— Ничего, за бога и потерпеть можно,— отозвалась от шестка бабка.

— Так-то так,— не совсем уверенно согласился Мякишев.— Только чего зря нарываться. Уж прошу, добрые люди, лишка-то не треплите языком, что-де я сам жену приводил.

Заполнив избу аппетитным запахом, бабка с грохотом поставила на стол сковороду, пригласила Родьку:

— Садись, золотце, ешь на доброе здоровье.— И, повернувшись к гостям, стала расхваливать: — Он у нас не какой-нибудь неслух,— чтоб лба не перекрестил, за стол не сядет. Помолись, чадушко, господу.

Бабка мельком скользнула взглядом. Родька лишь на секунду увидел ее желтые, в напряженно собравшихся морщинах глаза, но и этого было достаточно, чтоб понять: ослушаешься — не будет прощения.

— Ну, чего мнешься, сокол? Садись за стол, коль просят. Ну... садись да бога помни.

Правая рука Родьки, тяжелая, негнущаяся, с деревянным непослушанием поднялась ко лбу. За его спиной, громко всхлипнув, запричитала Мякишиха:

— Родненький мой, помолись за меня, грешницу. По гроб жизни благодарить буду...

Родька съежился...

10

Никогда еще так не радовало синее небо, несмелый ветерок с лугов. Вырвался из дому, от бабки, от Жеребихи, от Мякишихи, от безногого Кинди — подальше от села! Нате вам всем, ищите ветра в поле!

За усадьбами запыхавшийся Родька пошел медленнее.

Теплый рыжий весенний луг лежал под солнцем. Маслянисто-черная дорога, выплясывая по холмам, убегала к лесу. Лес, пока холодный, лиловый, то там, то сям краплен мокрыми семейками темных елей. Он скоро прогреется, наглухо затянется листвой, из его глубины поплывут уныло-нежные «ку-ку».

Нет, нет, не верит Родька, что все изменилось. Мало ли чего не случается дома. День, другой — и все пойдет опять так, как шло прежде. Надо немного потерпеть и побольше думать о другом, приятном...

На днях в клубе покажут новую кинокартину. Афиши уже расклеены: парень в красноармейской шапке времен гражданской войны, позади него дым и огонь от пожаров, скачут люди на лошадях с шашками. Это кино о Павке Корчагине. Родька знает, что про него написана целая книга. Васька Орехов зимой взял ее в библиотеке и дал Родьке только на три дня. Разве за три дня успеешь прочитать до конца, когда книга-то толще учебника? Сам-то Васька «Робинзона Крузо» целую неделю у себя держал. Родьке из-за него от библиотекарши попало... Мать всегда дает деньги на кино и теперь не откажет. Это у бабки пятачка не выпросишь...

Скоро экзамены. Каждый год после экзаменов в школе бывает вечер самодеятельности. К нему давно уже начали готовиться. Все село приходит смотреть. Юрка Грачев из седьмого класса играет на баяне. Венька Лупцов и Гришка Самохин покажут смешную пьеску, называется «Хирургия». Гришка дьячка играет, которому зуб рвут клещами. Он может, иной раз начнет рассказывать — хватайся за животики.

Родьке бы хотелось сыграть матроса, чтобы гранаты на поясе, винтовка на плече, на голове бескозырка с ленточками. Но таких пьес что-то не отыскали... Зато он выучил стихотворение «Смело, братья, с ветром споря...» Стихотворение подходящее — о море, о буре... Конечно, на вечер придет председатель Иван Макарович, он моряк, ему понравится. Может, у Ивана Макаровича мичманку попросить на выступление? Выйти в матросской фуражке на сцену и прочитать: «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней...» Только, наверно, мичманка-то Ивана Макаровича будет великовата для Родкиной головы.

Пусть дома икону обхаживают, наплевать. Он, Родька, как-нибудь перетерпит, будет меньше дома бывать, да и терпеть-то, наверно, придется не век. День-другой, глядишь, все утрясется.

Далеко, на другом конце луга, Родька увидел несколько маленьких фигурок. По канареечно-желтой рубахе, ясным пятнышком горевшей средь однообразно рыжей земли, он узнал Ваську Орехова. С ним, видно, и Пашка Горбунов, и Венька Лупцов — вечная компания.

Не успев задуматься, что же они там затеяли, какое развлечение ждет его, Родька без дороги, ломая остатки прошлогоднего репейника, попадая ногами в расквашенную весенней водой дерновину, бросился бегом,

Ребята топтались на берегу залитого водой плоского овражка. Двое из них были без рубах, только Васька Орехов продолжал суетливо прыгать в своей яркой, канареечной.

— А, вот оно что, купаться надумали!

В реке вода еще мутная, неустоявшаяся, наверняка холодная до ломоты, сохранившая даже запах растаявшего снега,— купаться нельзя. Зато высыхающие луговые озерца, оставшиеся после половодья, уже прогреты солнцем.

— Э-э-эй! — закричал Родька.— Че-ерти! Меня обождите!

Длинный Пашка Горбунов стоял у самой воды, втянув голову в плечи, на окрик недовольно оглянулся. Венька Лупцов, выгнув смуглую гибкую спину, сидел на корточках возле одежды, поджидал бегущего Родьку с любопытством и удовольствием. На его чумазой физиономии выражалась надежда: может, Грачонок первым нырнет? Васька Орехов в своей канареечной рубахе, но без штанов смущенно стоял в стороне, похлопывал себя по лиловым коленкам.

Родька подбежал, бросил с размаху картуз на землю.

— Топчетесь? Небось, мурашки едят?

— Сам-то, поди, только с разгону храбрый,— ответил Венька.

— Эх!

Родька скинул пиджак, рывком через голову стащил рубаху, сел на землю, принялся с усилием снимать с ноги мокрый сапог.

— Эх, вы! Ушли и не сказались...

Но тут он заметил, что Пашка Горбунов, слепо щурясь, сделал шаг от воды. Венька Лупцов, впившись в грудь Родьки черными, настороженно заблестевшими глазами, привстал у одежды. У Васьки же удивленно, кругло, глупо открылся рот.

Полустянутый сапог выскользнул из рук; только тут почувствовал Родька висящий на шее крест.

Первым опомнился Венька. Он насмешливо сощурился, показал мелкие, плотные, как горошины в стручке, зубы, спросил:

— Ты для храбрости повесил это или как?

От бросившейся в голову крови зашумело в ушах, перед затуманенными глазами по рыжему лугу поплыло расплывчатое пятно, желтое, под цвет Васькиной рубахи.

Родька не помнил, как вскочил на ноги. Ковыляя на полустянутом сапоге, он двинулся к Веньке. Васька Орехов, стоявший все еще с открытым ртом, в одной рубахе, без штанов, взглянул в Родькино лицо, зайцем прыгнул в сторону. Родька увидел, как вытянулась подвижная Венькина физиономия, как в черных глазах заметалась какая-то искорка. Венька не успел подняться.

Родька . рил его с размаху прямо в испуганные черные глаза.

— За что? — крикнул тот, падая на спину.

Родька шагнул, запнулся о полустянутый сапог, упал прямо на Веньку, вцепился в него.

Васька Орехов, не отрывая округлившихся глаз от дерущихся, принялся, путаясь и оступаясь, натягивать штаны. Пашка Горбунов бросился к ним, стал хватать длинными цепкими руками за голые плечи.

— Сдурел, Родька, сдурел! Что он тебе сделал?

Вырвавшись из рук Пашки, Родька не поднимая головы, както странно горбатясь, подхватил с земли свой пиджак и рубаху, почти бегом, волоча ненатянутый сапог, заковылял прочь.

Никто из ребят не стал его догонять. Стояли на берегу озерца, глядели вслед. Венька Лупцов вытирал кулаком кровь под носом.

Шелковый шнурочек у медного крестика был прочен. Родька рвал его с остервенением, не чувствуя, как врезается он в шею. Наконец разорвал, бросил крест в сторону.

11

До сих пор весь мир для него делился на три части: дом, улица, школа.

Дома противно. Бабка теперь куска хлеба не даст, если не перекрестишь лба.

На улице тоже не показывайся. Венька Лупцов с Пашкой и Васькой уже, верно, разнесли по селу, что он, Родька Гуляев, как какая-нибудь старуха, носит на шее крест. Попробуй только показаться — проходу не дадут, засмеют.

А школа?.. Ведь и в школе все будет известно!

Нет Родьке места, некуда спрятаться, некому пожаловаться. Даже мать не защитница.

Родька сидел на берегу, забившись в глубину кустов. Ему было хорошо видно все село: темные тесовые крыши, железная, давно не крашенная крыша сельсовета, красная кирпичная стена артели «Кожзаменитель».

В стороне от села церковь. Она древнее этих домишек под тесовыми и железными крышами, но издалека не видно, чтоб старость обезобразила ее: белые стены тепло сияют на закате, ржавые купола и колокольня словно врезаны в вечернее небо. Более зрелый, чем Родька, человек, наверно бы, почувствовал в этой одинокой церкви надменность и вековое презрение к скученной толпе однообразных домишек. Родька сидел, не двигаясь, окоченев от горя, глядя заплаканными глазами на село. Сначала все крыши слились в одну сплошную темную массу. В залитых сумерками ложбинках лег синий мутный туман. И наконец темнота

совсем скрыла дальний лес, село, туман. Один за другим, неприметно — не усторожишь, когда появляются,— затеплились огоньки. Долго еще упрямилась церковь, долго сквозь ночь белели неясным пятном ее стены.

Сыростью потянуло от реки, стало холодно в одном пиджаке. Очень хотелось есть. За спиной плескалась река, сейчас черная, чернее и бездоннее неба. Луг, знакомый днем до последней кочки, сейчас казался глухим и диким местом. С него доносились какие-то непонятные звуки: что-то хлюпнуло, что-то зашуршало, кто-то вдалеке ожесточенно забился, может быть птица, устраивающаяся на ночь, а может, что-то другое, не имеющее ни названия, ни лица, никому из обычных людей не знакомое. Даже ручей, все время ровно шумевший вдалеке, теперь, с темнотой, заворчал как-то зловеще. Даже кусты, в которых прятался Родька, тощие, обвешанные после половодья лохмотьями грязи, кажутся страшными. Невольно ждешь: вдруг да в темном провале под ближайшим кустом вспыхнут глаза то ли зверя, то ли сказочной птицы, желтые, холодные, как две маленькие луны! Веришь каждой сумасшедшей мысли, вздрагиваешь от каждого шороха. Нельзя здесь оставаться!..

Как бы то ни было, а среди этой темной, сырой ночи самое близкое и самое родное — огоньки села. Пусть там живут люди, которым стыдно показаться на глаза. Пусть неуютен дом, сердитая бабка будет проверять, цел ли крест на шее. Пусть. Все равно деваться некуда, надо идти...

«Завтра утром сбегу... Переночую и сбегу. Так и скажу мамке, коли за крест бить будет»,— решил Родька и поднялся на онемевшие ноги.

Чем ближе он подходил к дому, тем острее чувствовал: ужасен был день, и конец его должен быть ужасным. Сейчас все кончится...

Когда Родька взялся горячей, влажной рукой за холодную скобу двери, на секунду остановилось сердце.

Но все обошлось просто. Опять в избе было полно гостей. Кроме знакомых — Жеребихи, бабки Секлетеи, толстой Агнии Ручкиной,— сидело несколько не известных Родьке человек. Сухощавый, с хрящеватым кривым носом старик читал вслух очень толстую, с желтыми листами книгу.

Все старательно слушали, сопели, но по лицу каждого было видно: ничего не понимают.

Мать, боясь спугнуть слабенький и ломкий голос старика, осторожно поднялась с лавки, подошла к Родьке, проворчала шепотом:

— Ты бы к утру еще приходил, полуночник! Иди-ка в горницу, поешь, там молоко стоит. Завтра опять в школу опоздаешь.

От обычного ворчливого голоса матери свалился с души тяжелый груз.

На этот раз Родьку не вытащили к гостям. Лежа на своей постели, он, засыпая, слышал разговор за перегородкой.

— Надо в район идти, просить, чтоб церковь открывали.

— Жди, откроют!

— А мы миром попросим!

— Да велик ли наш мир-то? Кто помоложе, тем плевать на святые дела. Даже Мякишев и тот слово не замолвит. Богу молится да оглядывается, как бы кто не заметил.

Родька недослушал этот нешумный спор, уснул. И сон его был тревожен. Мать, спавшая с ним рядом, часто просыпалась от его жалобных выкриков, поправляла одеяло, говорила с тревогой:

— Неладное чтой-то с парнем.

12

А утро началось для Родьки с удач.

Удача — его мать, вставшая, как всегда, рано и, должно быть, укрывшая одеялом разметавшегося сына, не заметила, что у него на шее нет креста.

Удача, что в сараюшке, где сидел подсвинок, провалился прогнивший пол и бабка все утро возилась: выгребала навоз, прилаживала новую половицу. Ей было не до Родьки. И Родька перед затраком не перекрестил лба.

На улице звонко лаяли собаки, на унавоженной дороге весело воевали воробьи, слышалось довольное карканье ворон, а с окраины села, со стороны скотных дворов, где обшивали тесом новое здание сепараторки, доносился захлебывающийся, свирепо восторженный вой циркульной пилы, распарывающей из конца в конец сосновое бревно.

Вчера вечером Родька считал, что произошло непоправимое — нельзя больше жить дома, нельзя показываться на улицу, нельзя ходить в школу. Вчера вечером твердо решил: сунуть в карман кусок хлеба, спрятать учебники под крыльцо и... бежать из села. Сначала в Загарье, а там будет видно...

И вот он стоит, жмурится на солнце, слушает хвастливое кудахтанье соседской несушки — учебники в руке, ржаная горбушка оттопыривает карман — и чувствует, что не так уж все страшно: ну, бабка за потерянный крест поколотит — мало ли случалось от нее хватать плюх,— ну, ребята будут смеяться, да и то, пусть-ка попробуют. Стоит ли из-за пустяков бежать из дому, разве плохо ему жилось раньше?..

Родька решительно зашагал к школе.

Воробьи с каким-то особенным весенним журчанием брызнули

из-под самых ног. Петух бабки Жеребихи, с кровянистым гребнем, свалившимся на один глаз, ослепляюще-рыжий — ни дать ни взять кусок горячего солнышка на огороде,— нагло заорал вслед воробьям, весь вытянулся от негодования. «Ну чего, дурак, ты-то лезешь? Знай свое дело!» Комок сырой земли полетел в петуха, тот сконфуженно стушевался.

Плевать на бабку, плевать на ребят, все образуется, все пойдет по-прежнему!

Но тут Родька увидел обтянутую линялой кофтой согнутую спину старой Жеребихи, ковыряющуюся в ящике с капустной рассадой. А вдруг да она поднимет голову, заметит Родьку, остановит, запоет умильным голоском: «Ангелок... Божий избранник... Праведник». Услышат люди... Родька почувствовал неприятный холодок в груди, опустив голову, косясь на жеребихинский двор, торопливо двинулся дальше.

А навстречу озабоченной походкой враскачку — руки в карманах, заветная для Родьки флотская фуражка с лакированным козырьком на затылке, в зубах жеванная цигарка — шагает председатель колхоза Иван Макарович. Вдруг да он уже все знает о Родьке (как не знать, не в другом селе живет!), вдруг да остановит, с презрительным прищуром сквозь табачный дымок отпустит какое-нибудь словечко (кто-кто, а Иван Макарович на них мастер): что, мол, в святые угодники тебя старухи записали?.. Идет Иван Макарович, что ни шаг, то ближе, никуда не свернешь, никуда не сбежишь. Родька изо всей силы пригнул голову, лишь бы не увидел председатель лицо, только бы не остановил. Вот его тяжелые сапоги, вдавливающие каблуки в землю, вот слышен даже шорох одежды — сейчас остановит... Уф! Прошел мимо, обдав чуть внятным запахом махорочного дымка. Родька с благодарностью оглянулся на широкую председательскую спину.

Но тут же он заметил, что проходит мимо дома Ореховых. Может выскочить Васька... Родька прибавил шагу.

И когда этот дом был позади, одна простая мысль заставила тоскливо сжаться сердце: зачем он бежал, зачем он старался спрятаться? Он идет в школу, а там, прячься не прячься, они все — Пашка Горбунов, Васька Орехов и Венька Лупцов — учатся в одном классе. Уж тут не вывернешься...

Режущим глаза солнцем залита широкая неказистая улица села. Чей-то женский голос на усадьбах, за домами, кричит:

— Иван! Иван! Иль опять мне за лошадью к председателю идти, дешевая твоя душа? Навязали увальня на мою голову!

У всех свои дела, у всех свое место. Место есть даже у старого, кривого на один глаз пса Дубка: лежит на дороге, деловито выкусывает блох из клочковатой шерсти.

За что такое несчастье? Что он сделал плохого? Не воровал, не бил стекол в домах, не ругался худыми словами. За то, что

нашел под берегом икону? Будь она проклята! Эх, знать бы наперед!..

Втянув голову в поднятые плечи, согнув спину, вялой походкой шел ошеломленный не совсем еще понятным ему несчастьем Родька, двенадцатилетний мальчишка, которому приходится бояться людского осуждения.

13

— Гуляев!

Родька, как от удара, рывком обернулся. Тяжелой мужской поступью подходила Прасковья Петровна, учительница русского языка, Родькина классная руководительница. Медлительная, немного грузноватая, одетая в вязаный жакет с обвисшими карманами, лицо круглое, плоское, загорелое — истинно бабье деревенское лицо,— приблизилась, и под ее пристальным взглядом Родька поспешно наклонил голову.

— До уроков зайдем-ка в учительскую.

Минуту назад еще можно было решиться забросить книги, повернуть в сторону, бежать. Теперь поздно: рука Прасковьи Петровны легла на плечо.

От просторной учительской отделена перегородкой крошечная комнатка. В ней стоит горбатый диван, обтянутый блестящей черной клеенкой. Эту комнату называют кабинетом директора, но она часто служит и для других целей. На протяжении многих лет тут давались крутые выговоры провинившимся ученикам, совершались длительные увещевания, разбирались дела, которые по тем или иным причинам не следовало выносить на широкое обсуждение.

В этот-то кабинет, поеживаясь в нервном ознобе, вошел Родька и уселся на вздутый диван, сразу ощутив сквозь штаны казенный холодок черной клеенки.

Прасковья Петровна подперла щеку кулаком.

— Опять рукам волю даешь? За что Лупцова ударил?

Родька не ответил, сидел прямо, с усилием упираясь руками в диван, боясь пошевелиться, чтоб не съехать вниз по гладкой клеенке.

— Молчишь? А ведь я знаю, из-за чего ударил.

Родька перестал на секунду дышать, остановил взгляд на толстой ножке стола, точеной, как крылечная балясина: сейчас заговорит о кресте.

— Из-за трусости своей ты ударил. Испугался, что товарищи узнают, что, быть может, до Прасковьи Петровны дойдет? Так? Обидно мне, братец.

Родька кивнул головой, опустил глаза.

— Удивляешься? И удивляться нечего; обидно мне, что мои ученики боятся ко мне прийти и рассказать все. Ведь, наверно, нелегко было?

Родька кивнул головой, опустил глаза.

— Это бабка тебе то украшение надела?

— Они меня в школу не пускали,— наконец выдавил из себя Родька.

— Значит, и мать тоже?

— Тоже...

Прасковья Петровна поднялась, тяжело опуская на пол сапоги, прошлась из угла в угол. Объемистая, в вылинявшем жакете, она среди всей обстановки — письменного стола, дивана, жиденького стула, приставленного к стене,— казалась неуклюжей, случайной, грубой, человеком, которому место где-то возле скотного двора, на поле, а не в тесном кабинете. Родька же, следивший за ней исподлобья, видел только одно: Прасковья Петровна сердится, но, кажется, не на него, Родьку.

— Креститься заставляли? — спросила Прасковья Петровна.

— Заставляли.

— А ты не хотел?

— Не хотел... За стол не пускали.

— Так.

Снова несколько тяжелых шагов из одного угла в другой.

— Ладно, Родя, уладим. Я поговорю с твоей матерью. Сегодня же... Вот два урока проведу и схожу к вам.

Подошла вплотную, взъерошила ладонью сухие, упрямые волосы на Родькиной голове.

— Все уладим. Только, братец, больше кулаки не распускай. С Лупцовым надо помириться. Вот мы его сейчас сюда вызовем.

Через пять минут в дверь бочком вошел Венька Лупцов, сразу же отвернулся от Родьки. Нос у него распухший, красный, выражение лица оскорбленно-постное.

— Гуляев хочет извиниться перед тобой,— объявила Прасковья Петровна.— Подайте друг другу руки, и забудем это некрасивое дело... Ну, что, Родион, сидишь? Встань... Быстро, быстро, сейчас звонок подадут...

Венька и Родька вместе вышли из учительской. В коридоре, по пути к своему классу, пряча глаза друг от друга, накоротке переругнулись.

— Зараза ты! Драться полез! Чего я тебе сделал?

— А ты ябедничать сразу! Мне Федька Сомов, помнишь, как съездил! Я ни словечка никому не сказал.

— И я бы не говорил, да нос шибко распух. Прасковья Петровна сама дозналась...

Такая перебранка только укрепляла примирение.

14

Тридцать лет Прасковья Петровна учила гумнищинских ребятишек. Жила, казалось, ровной, без взлетов и падений жизнью: изо дня в день топтала тропинку от крыльца своего дома до школы, из года в год в определенный день повторяла то, что в тот же день, в тот же час говорила другим поколениям. И так тридцать лет! Время она измеряла своими собственными событиями:

— Когда это было?.. Ах, да, помню! В тот год я измучилась с Гришей Скундиным. В семье у него было плохо, хотел бросить учиться. Способный мальчик.

А сам «способный мальчик» Гриша Скундин, ныне врач или инженер, почтенный семьянин, живущий где-то за сотни километров от села Гумнищи, наверняка давным-давно забыл свою маленькую трагедию, да и, бог знает, вспоминает ли самое Прасковью Петровну, которой обязан тем, что не бросил школу, пошел учиться дальше, нашел свою судьбу.

Все прошлое, все тридцать лет работы заполнены удачами и неудачами, радостями и горем детей, которых учила Прасковья Петровна.

Когда она окликнула Родьку, увидела его испуганный, затравленный взгляд, то по своему многолетнему опыту поняла: случилась беда, одна из тех, которую не впервые придется распутывать ей, учительнице Гумнищенской неполной средней школы.

Во дворе дома Гуляевых стояла распряженная лошадь, разрывала мордой сено в пролетке. Почуя приближение Прасковьи Петровны, она подняла свою маленькую красивую голову с белой проточиной от челки к носу.

«Кто ж приехал? Не Степан ли?..» Родькин отец, Степан Гуляев, как и большинство гумнищинцев, был одним из учеников Прасковьи Петровны.

Но тот, кто сидел в избе и вежливо ответил на приветствие, вовсе не походил на Степана Гуляева.

Гость был преклонного возраста. Круглое, рыхловатое лицо заканчивалось мягкой, седой, до легкой голубизны чистой бородкой. Словно чужие на этом рыхлом лице, вылезали из-под жидких усов полные, с чувственным рисунком губы. Возле высокого лба росла тощая поросль, зато с затылка и с шеи седые волосы спадали на воротник грубого и добротного пиджака давно не стрижеными космами. А в общем, незнакомец напоминал сельского интеллигента, учителя или фельдшера, одного из тех, кто от скуки деревенской жизни начинает оригинальничать — отращивать волосы и бороду, доморощенно философствует, скептически отзывается о всяком событии, держится своего рода безобидным нигилистом.

Старая Грачиха, беседовавшая с гостем, спросила:

— Что там, матушка Прасковья Петровна? Ай опять наш сорванец набедокурил?

— У него-то все в порядке.

Морщинки у коричневых век собрались гуще, желтые глаза старухи из прищура взглянули с подозрением.

— Не без дела же, чай, зашла? Других делов, кроме Родькиных, промеж нами вроде не водится.

— Где Варвара?

— Где ей быть, на работе. Жди, коли хочется.

— Подожду.

На скуластом лице старухи выразилась откровенная досада. Гость сидел, слегка склонив на одно плечо свою крупную голову, не в пример бабке доброжелательно поглядывая на учительницу. С минуту стояла тишина: под печкой слышался мышиный шорох. Бабка не выдержала:

— Ждать-то можно, чай, места не просидишь. Только у нас, сударушка, свой разговор с отцом Митрием.

«Ах, вот кто это! — удивилась Прасковья Петровна.— Загарьевский поп...» Ей иногда случалось слышать об отце Дмитрии, как-то незаметно выплывшем после войны в районном городке.

От бесцеремонных слов Грачихи отец Дмитрий смутился, и при этом доморощенный нигилист сразу же исчез в нем — перед Прасковьей Петровной предстал просто добрый старик.

— Ох, уж ты, Авдотья Даниловна! — недовольно произнес он.— Ну, какие у нас секреты? Просто свои дела решаем. Вам только, Прасковья... э-э, простите, запамятовал, как вас по батюшке?

— Петровна.

— Вам, Прасковья Петровна, будет скучно слушать.— И, боясь, как бы неожиданная гостья не ушла, не унесла с собой подозрение, поспешно начал объяснять: — Слышали, найдена старинная, считавшаяся безвозвратно утерянной икона Николая-угодника, которую когда-то почитали как чудотворную. Вот она...— Отец Дмитрий показал в угол белой, со вздувшимися голубыми венами рукой.— Это для нас, верующих, своего рода ценность, я бы сказал, общественная...

Он говорил мягко, но в мягкости его не ощущалось нерешительности, напротив, проскальзывали наставнические нотки:

— ...Место такой реликвии в храме...

Бабка Грачиха перебила его:

— В каком храме? От нас подальше норовите утащить! Храм-то для этой чудотворной в сиротстве стоит. Открыть его надо...

— Рад бы душой, да вряд ли удастся.

— Надо, батюшко, не полениться пороги обить. Один началь-

ник не разрешит, к другому, что повыше сидит, пойти да поклониться... Легко ли нам в каждый раз, чтоб господу помолиться, за двенадцать верст к вам в Загарье гулять?

Отец Дмитрий сдержанно пожал плечами, отмолчался с сокрушенным лицом.

Прасковья Петровна разглядывала его. Вот сидит перед ней старичок с дедовски мутноватыми глазами, сочными губами, любящий, верно, мягкую постель, хороший стол, приличный разговор,— глашатай господа бога, представитель обреченного на вымирание, но не желающего вымирать племени. Кем он был? Вряд ли всю жизнь только служил богу. Верит ли сам в бога? Верит ли в то, чем живет она, Прасковья Петровна? Как сегодняшний день уживается в его старой голове с заветами Христа, наивными легендами о воскрешении, святом духе и райских кущах?

— Отец Дмитрий,— решила заговорить Прасковья Петровна,— раз уж пришлось встретиться, давайте потолкуем.

Без тени настороженности отец Дмитрий склонил седую голову, выражая на своем лице лишь одно — полнейшее внимание.

— Я как неверующая помню, что в нашей стране сохраняется свобода вероисповедания. Никто не может запретить человеку молиться какому угодно богу. Но и насильственное принуждение к верованию запрещается.

Отец Дмитрий с готовностью покачал головой: «Так, так, верно». Бабка Грачиха, ничего не понявшая из речи учительницы,— «свобода вероисповедания», «насильственное принуждение»,— почуяв, однако, недоброе, сердито переводила свои кошачьи глаза с отца Дмитрия на гостью.

— А здесь, в этом доме,— продолжала Прасковья Петровна,— на моего ученика, пионера, силой надели крест, силой заставляют молиться...

— Это, сударушка, не твое дело! — резко перебила Грачиха.

— Обожди, Авдотья, потом возразишь,— отмахнулась Прасковья Петровна.

— И ждать не буду, и слушать не хочу! На-кося, в семейные дела лезет!.. А я-то, убогая, все гадаю: зачем пришла?

— Авдотья! — неожиданно строгим тенорком оборвал ее отец Дмитрий.— Хочу поговорить с человеком. Иль для этого из дому твоего уйти?

Грачиха сразу же осеклась, едва слышно заворчала под нос:

— Хватает нынче распорядителей-то... Распоряжайся себе, только в чужой дом не лезь...

Поднялась, отошла к печи, сердито застучала ухватами. По спине чувствовалось: напряженно прислушивается к разговору.

Прасковья Петровна продолжала:

— Школа учит одному, семья же — совсем другому. Или школа заставит мальчика отказаться от бога, или семья сделает

из него святошу. В наше время середины быть не может. А пока будет идти спор, два жернова могут перемолоть, перекалечить жизнь ребенка. Пусть родители веруют как хотят и во что хотят, но не портят мальчику будущего. Его будущее принадлежит не только им. Волей или неволей они становятся преступниками перед обществом.

Бабка Грачиха, согнувшись, шевелилась чуть слышно у печки, бросала из-за плеча горящие взгляды. Отец же Дмитрий, вежливо выждав паузу, спокойно глядя в лицо учительницы своим стариковски добрым, честным взглядом, осторожненько спросил:

— А какое я имею касательство к этому, Прасковья Петровна?

— Стоит ли объяснять, отец Дмитрий? Самое прямое. Вы для этой семьи духовный пастырь, и ваше отношение к делу для меня небезынтересно.

— Гм... Вот вы упомянули слово «преступники». Преступник тот, кто выступает против закона. Скажите, будет ли противозаконным такой случай. Мальчик из любопытства спрашивает свою верующую мать: «Есть ли, мама, бог на небе?» Обычный детский вопрос, но он касается основы основ вероучения. Верующая мать, сами посудите, не может иначе ответить: «Есть бог, сынок». А если детское любопытство будет простираться и дальше: «Какой бог из себя, что он делает?» — то матери придется объяснить о триединстве, о бессмертии души, о судном дне. Там, глядишь, вера вошла в ребенка, там и молитвы и крест на шею. Где тут граница законного и противозаконного? Где же тут, скажите, преступление? Ведь вам, как я понимаю, не суть важно, силой ли заставили молиться ребенка или убедили его в этом. Вам важнее уберечь своего ученика от веры. Так ведь, Прасковья Петровна?

«Ловок! Советским законом, словно бревнышком, подперся»,— удивилась Прасковья Петровна и только тут поняла, как глупо было с ее стороны вызывать на откровенный разговор этого чуждого по взглядам человека.

— Есть много преступлений,— сказала она,— которые не сразу подведешь под статью кодекса. Но от этого они не делаются менее вредными для общества.

— Каждый смотрит на вещи по-своему: вы так, я эдак,— с готовностью подхватил отец Дмитрий,— а закон для всех один. И, поверьте мне, он вас не поддержит. Иначе и быть не может. Если б закон стал устанавливать порядок вероучения внутри семьи, то он наверняка запутался бы, не нашел, что можно дозволить, а что нельзя. Поэтому...— Отец Дмитрий поднял склоненную голову. Расплывчатые, рыхловатые черты его лица стали строже, полные губы в жидкой поросли усов округлились, готовые изречь непререкаемую истину.— Поэтому закон мудро предостав-

ляет семье решать вопросы веры без его помощи. К кому бы вы ни обратились, уважаемая Прасковья Петровна, хоть в суд, хоть в милицию, никто не окажет вам поддержки. Вы преувеличиваете, называя это преступлением. Никакой опасности для государства это не представляет. Поверьте, об интересах государства я сам пекусь, насколько дозволяют мне слабые силы.

Выражение сурового лица бабки Грачихи чуть-чуть смягчились. Она стояла у шестка, сложив свои тяжелые руки на животе, глядела на учительницу с беззлобной издевкой: «Не кичись, что ума палата, мы тоже не лыком шиты».

Отец Дмитрий вынул из кармана металлический портсигар с отштампованной на крышке кремлевской башней, взял из него папироску, постучал по башне, прикурил, с отеческим прищуром взглянул сквозь дым на Прасковью Петровну.

Та продолжала наблюдать за ним.

Этот батюшка не только хорошо уживается с советскими законами, он ладит и с современными взглядами на жизнь. Попробуй-ка его копнуть: он и за прогресс, и за мир во всем мире, с первого же толчка готов, верно, кричать «анафему» зарубежному капиталу. Во всем покорен, со всеми согласен и только хочет малого: чтоб Родя Гуляев верил во всевышнего, был терпим ко всякому злу, признавал небесные и земные силы. Из-за этого-то «малого» и начинается война. И тут седенький старичок, играющий сейчас металлическим портсигаром с изображением кремлевской башни на крышке,— враг Прасковье Петровне. Вот он сидит напротив, ласково глядит, вежливо улыбается. Интересно бы знать одно: сознает ли он сам, что они друг другу враги, или не сознает?.. Трудно догадаться.

— Мы все равно не придем к согласию,— сказала Прасковья Петровна.— Я хотела бы добавить только одно, что ваши кивки в сторону закона напрасны. Я вовсе не собираюсь подавать в суд, действовать при помощи милиции. Есть другая сила — общественность. Она же, я уверена, будет на моей стороне.

— А я,— с дружеской улыбкой подхватил отец Дмитрий,— осмелюсь заверить: ни в чем не буду вам препятствовать.

Тяжелая дверь избы со всхлипом открылась. Вошла Варвара, с беспокойством поздоровалась с учительницей.

15

Отец Дмитрий решил держаться своего правила — «я сторона». Едва Варвара опустилась на стул, как он поднялся, вежливо потоптавшись и покашляв у порога, натянул на седую голову кепку, вышел во двор.

Бабка Грачиха спохватилась, что потеряла много времени на толки и перетолки, принялась метаться по хозяйству: то исчезала

в сенях, то ныряла в погреб, то заметала мусор у печи, время от времени бросая подозрительные взгляды в сторону загостившейся учительницы, прислушивалась.

Варвара, чинно положив руки на чисто выскобленный стол, тупо уставилась в крупные пуговицы на вязаной кофте Прасковьи Петровны.

А Прасковья Петровна убеждала:

— ...Губишь парня, Варвара. Мать ты ему или мачеха?.. Ведь он пять лет проучился в советской школе, а ему и всего-то навсего двенадцать. Почти половину жизни его учили, что бога нет. Товарищи его смеются над баснями о чудотворных иконах, о Пантелеймонах-праведниках. Неужели тебе хочется, чтоб и сын твой был посмешищем?..

— Что тут дивного,— отозвалась от печи старуха, не переставая с ожесточением возить веником по полу,— изведут парнишку и от училища еще благодарность выслужат. Ноне и не такие дела случаются.

— Авдотья, делай-ка свои дела. Дай поговорить спокойно,— сурово обрезала Прасковья Петровна.

Бабка бросила веник, громыхнула заслонкой, сжав губы в ниточку, двинулась к выходу, в дверях бросила:

— Правда-то глаза колет.

— Что дороже для Роди: бабкина опека или школа? — продолжала Прасковья Петровна.— А ведь дойдет до того, что парнишка с отчаяния школу бросит, неучем останется. Иль ты думаешь, он проживет всю жизнь одними бабкиными молитвами?..

У Варвары желтые глаза широко расставлены, между ними кожа на плоской переносице туго натянута. И в этой туго натянутой коже, во вздернутом коротком носу чувствовалась какая-то безнадежная тупость. Слушает, не возражает, но каждое слово, сколько ни вкладывай в него души, отскакивает, не зажигает мысли в неподвижных глазах.

— ...Если ты такая верующая, крестись, молись вместе со старухами, но оставь Родиона в покое. Слышишь, Варвара, пожалей парня!

И в опустошенных глазах Варвары зашевелилась тревога, они растерянно забегали по столу, влажно заблестели. Туго натянутая на переносице кожа стала стягиваться в упругую складку. Огрубелым пальцем Варвара провела вдоль щели между скобленых досок стола, заговорила:

— Я вот сама неверующей была и... наказана. Муж бросил. Легко ли подумать, с двадцати пяти годов живу бобылкой не бобылкой, а вроде этого. Вдруг да за грехи парню моему тоже неподходящая доля выпадет? Как подумаю об этом, сердце кровью обливается. Вот вы бога, Петровна, не признаете, а ведь кто знает... Может, слышит нас...

— Кто слышит?

— Да бог-то.

Полная, белая шея, из-под застиранной кофты выпирают груди, плечи покатые, пухлые, в то же время крепкие — зрелая, полная здоровья женщина. А в светлых с сузившимися в мушиную точку зрачками глазах тупая тревога. Нет в них мысли, один страх. Прасковья Петровна вспомнила ее девчонкой, своей ученицей: круглая, розовая рожица, бойкие, с блеском, как у игривой кошечки, глаза,— уж во всяком случае глупышкой не казалась. Видать, не все-то с годами совершенствуется в природе.

— Эх, Варвара, Варвара! Как в тебя вдолбить? Этим страхом да дикостью и покалечишь жизнь сыну.

— Господи! Да разве нельзя ему в бога веровать и жить, как все?

— То-то и оно, что нельзя. Время Пантелеймонов-праведников отошло.

Слезы потекли по щекам Варвары.

— За что мне наказание такое в жизни?

— Клин-то вышибают клином. Подумай обо всем, что я сказала. И еще заруби себе на носу: школа парня на выучку старухам не отдаст.— Прасковья Петровна поднялась.

Она шла к дому своей медлительной, тяжелой походкой, чуть сутулая, полная женщина в обвисшей вязаной кофте, уважаемая всеми учительница, у которой каждый второй встречный в селе — ее ученик.

Она шла и думала о том, что и ее самое жизнь радует не одними удачами, много, очень много разочарований. Всякий раз, когда вглядываешься в своих учеников, невольно любуешься ими. Не любоваться нельзя: детство всегда обаятельно. Каждого представляешь в будущем, видишь взрослым: Петя Гаврилов рисует — как знать, не станет ли он художником! У Паши Горбунова эдакая прадедовская крестьянская жилка — любит слушать о земле, о яровизации — быть ему агрономом. За все тридцать лет работы от каждого своего ученика Прасковья Петровна ждала в будущем только хорошего.

И разве не горькое разочарование испытала она, когда Михаил Соломатин, заведовавший магазином при сплавконторе, был посажен на восемь лет за растрату? Он в школе был нисколько не хуже других. Что испортило его? Что толкнуло на преступление? Растратил — посадили, причиной не поинтересовались. Осот сорвали, корень оставили.

Вот и Варвара, мать Роди Гуляева... Что заставило ее стать такой? Неужели в этом есть вина ее, старой учительницы Прасковьи Петровны?

Дома Прасковью Петровну ждало обычное дело — ученические тетради. В стопке тетрадей она отыскала тетрадь Роди Гу-

ляева. Обложка еле держится, углы загнулись, первая страница написана любовно, без помарок, вторая же начинается с протертой дырки: неудачно сводил кляксу. Мальчишечья тетрадь.

Она прожила с колхозом с его зарождения до сегодняшнего дня. Жила не бок о бок, а внутри колхоза. На ее глазах сменилось двенадцать председателей, на ее глазах построили все хозяйство: фермы, телятники, конюшни. И это хозяйство успело уже отслужить свое, понемногу начинают отстраивать заново. Ей ли не знать во всех мелочах жизни Варвары Гуляевой...

Окончила пять классов; сперва просто помогала матери, потом была зачислена в первую полеводческую бригаду; боронила, косила, жала, молотила — делала, что приказывали бригадир, председатель, агрономы из МТС, уполномоченные из райцентра. Никто из них не пытался заставить ее: пораскинь сама мозгами, как лучше вырастить хлеб, подскажи, возрази, ежели мы не правы. Никто не учил: думай над жизнью, вникай в нее. Все, от колхозного бригадира Федора до районного начальства, только приказывали: борони, жни, коси по возможности быстрей, по возможности лучше, не рассуждай лишка, без тебя разберемся. Помнили: она — рабочие руки в колхозе, а то, что она, кроме того, еще и человек, часто забывали. А Варвара была не из тех, что могла доказать — она способна думать. Покорно выполняла приказы, много действовала своими руками и меньше всего головой. Неизбежен умственный застой, неизбежно и то, что ей приходилось искать всемогущественного, справедливого повелителя, который был бы всегда под рукой.

А тут еще война. Тут еще неудача с мужем, вечный мелочный страх перед завтрашним днем. Так ли уж нужно винить ее, что она бросилась искать спасения у бога?

Прасковья Петровна застывшим взглядом уперлась в низенькое деревенское оконце. На столе забыто лежала раскрытая на диктанте тетрадь Родьки Гуляева.

16

После большой перемены Васька Орехов принес Родьке новость:

— А к вам в гости поп из Загарья приехал. Завтра перед твоей иконой молебен служить будет.

— Ты откуда знаешь?

— Тетрадку по ботанике забыл, домой бегал. Мамка сказала.

Ох, как не хотелось идти домой! Мало гостей, тут еще поп... После школы Родька долго бродил по пустырю, но голод не тетка — пришлось идти...

Во дворе, уткнувшись мордой в сено, дремала незнакомая ло-

шадь. В избе, однако, кроме бабки и матери, никого не было. Они ругались.

Мать с заплаканными глазами, со вспухшими губами, с непривычной для Родьки злостью кричала на бабку:

— От школы отобьется! Легко ли жить нынче неучем-то! Вся жизнь на перекос у парня пойдет. Мать я ему или не мать?

— Ты шире уши распускай, такие ли тебе еще песни напоют. Они на это мастера великие. Иль учительша для тебя важней господа? — Бабка стояла посреди избы с кирпично-красным от гнева лицом, с растрепанными седыми волосами.

— Всю вину сама перед богом приму. Замолю сыновьи грехи, а отбивать от школы не дам! Не след ему со школой не ладить!

— Вот они, слова иудины! Еще, бессовестная, диву даешься, что счастья нет! Да за какие заслуги счастье-то тебе? Чем ты перед богом поступилась? От бога плоть свою спрятать хочешь? Ужо отзовется это. Да не на тебе, на Родьке. По материнской дурости будет он век вековечный беду мыкать...

Бабка первая заметила остановившегося у порога Родьку.

— Вон он, безотцовщина, сказывается кровь... Должно, все до последнего словечка вытряс перед учительшей. А та рада: фу-ты, ну-ты, я в вашем доме начальница! В отца Дмитрия, словно клещ, впилась... Господи! Да за что я стараюсь! За счастье же ваше. Много ли мне надо? Одной ногой в могиле стою...

Мать бросилась к Родьке, прижала к себе, запричитала на всю избу:

— Горюшко ты мое! Что мне с тобой делать?

Теплая грудь матери уютно пахла, как после сна пахнет нагретая лицом подушка. Родьке, раскаявшемуся в том, что он пришел домой, вдруг стало жаль мать.

— Повой, повой, от этого все равно легше не станет. Все одно от бога не спрячешься,— сердито выговаривала со стороны бабка.

Постукивая костылем, вошла Жеребиха; не разгибаясь, откинув лишь голову, веселенько окликнула:

— Ай нелады какие?

— Где уж лады! — отозвалась бабка.— Учительша тут недавно была, смутила вовсе Варьку. Беда, мол, будет с парнем, коль от бога не откажется.

Жеребиха, бегая черными, не по веселому лицу тусклыми глазками, простучала к лавке, уселась, согнутая, нацелившаяся головой в сторону Варвары, мягко спросила:

— Это какая учительша? Прасковья Петровна? Так она, родные, партийная. А им, партийным, такой указ дан: всех начисто от бога отбивать. Дива нет, что отговаривала.

Мать виновато оправдывалась:

— В школе-то за бога не похвалят. А сама посуди, куда нынче без школы денешься? Велика ли радость, коль Родька всю жизнь,

как мать, возле коровьих хвостов торчать будет?

— Тут уж, касатушка, выбирать нечего. Как господь положит, так и будет. Против его воли не пойдешь.

— Живут же люди без бога,—возразила Варвара,— не хуже нас с вами.

— Слышь, какие речи ведет? — бросила бабка.

Жеребиха пошевелилась на лавке, села плотнее, средь веселых морщинок мрачновато глядели черные глазки.

— Под мечом поднятым живут, матушка, под мечом. Только с виду их жизнь гладкая да развеселая. А глянуть внутрь, в душу-то влезть, поди, чистый содом да маета. Поразмысли только: от бога отказались. Люди тыщи лет в бога верили. Неужели за тыщу лет не народилось поумней нынешних? Не от ума все это, а от гордыни. Глухи и слепы. Бог нет-нет да и пошлет о себе весточку. Только эти весточки-то понимать не хотят. Василия Помелова помнишь? Хоть дальний, да родственничек мне. Тоже партийный, куда уж, первым за веревку взялся, чтоб колокол со святого храма стянуть. На всех углах кричал: «Леригия — дурман! Бога нету!» И уж поплатился за свое богохульство. Не приведи господь такую смерть принять. Как война началась, его первого, голубчика, под ружье забрали. До фронту не доехал, бомба прямехонько в него попала, косточек не осталось, в землю схоронить нечего. Вот оно, наказание — могилки и той нет, и пожалеть некому, и поплакать некому. Верка-то, женка его, живехонько к другому переметнулась...

Родька, забытый всеми, стоял, прислонившись к печному боку, и слушал. Никогда за всю жизнь он серьезно не думал о боге. В школе говорили: бога нет. Он верил в это и не задумывался. Бог для него был связан с бабкиной воркотней, со слезами матери, с чем-то скучным, неинтересным, не дававшим пищи для размышлений. Случись это раньше, он наверняка бы не обратил внимания на слова старой Жеребихи. Но теперь его жизнь невольно заполнена богом. О нем нельзя не думать, если говорят, нельзя не прислушиваться. И он слушал, смутные сомнения приходили в голову: «Тыщи лет люди в бога верили. Не все же тогда были дураки. В школе про Льва Толстого рассказывали: бога искал. Раз искал, значит, верил... Но почему теперь в бога верят больше старухи да старики? Бабка верит, а Прасковья Петровна нет... Прасковья Петровна умней бабки. Ну, а Лев Толстой, он книжки писал, он и Прасковьи Петровны умней был. Непонятно все...»

Жеребиха не могла знать, что у парнишки, прижавшегося к серому печному боку, глядящего на нее круглыми, остановившимися глазами, идет сейчас внутри лихорадочный спор. Она, суетливо облизнув обметанные губы, напевно, со вкусом продолжала, обращаясь к Варваре:

— Уж кому бы в голову пришло поинтересоваться, не зря же в разоренной церкви каждую ночь в одно и то же времечко, ну, истово в одно времечко, хоть по часам, хоть по петухам проверяй, пиление идет. Не господний ли это знак? Никому, лишенько, в голову не придет поприслушаться да на самих себя оглянуться. Ой, слепы люди! Ой, глухи... Ничего-то видеть не хотят, ничего слышать не желают. А господь остерегает, остерегает, да ведь и его терпению придет конец. Падет вдруг на людей кара божия, дождемся ужо мора или великого голода, поздно тогда будет каяться. Ой, Варюха, Варюха, опамятуйся! Перед чем голову сгибаешь, от чего отворачиваешься?

Варвара столбом стояла посреди избы, на белой широкой переносице выступила испарина, глаза блестели, вот-вот из них брызнут слезы.

На крыльце послышались шаги, неспешные, уверенные, мужские. Вошел старик, снял с головы кепку, длинные космы седых волос упали на воротник. Жеребиха сорвалась с места, бойко застучала палкой по полу:

— Благослови, батюшко!

А из раскрытых дверей слышалось покорное оханье взбирающейся на крыльцо Агнии Ручкиной:

— Ноженьки мои...

Начали собираться гости.

17

Розовая от заходящего солнца, в стороне от села стоит церковь. Ее приветливый вид вместе с запущенной липовой рощицей, с галочьим хороводом над куполом был привычен, как вкус ржаного хлеба.

Эта вздыбленная над деревьями колоколенка со ржавым куполом луковкой, намозолившая глаза, связана с таинственным богом. Не от Жеребихи первой слышал Родька, что среди ночи, минута в минуту, кто-то пилит купол.

Врут, конечно...

А если нет?

Не ребячье любопытство, не досужая страсть к открытиям — Родьку раздирали сомнения: есть ли бог или нет его? В этом коротком вопросе был сейчас весь смысл будущей жизни. Никогда Родька не задумывался прежде, как жить ему. Жил, как живут все его гумнищинские однолетки: учился в школе, летом пропадал на реке, ловил рыбу, купался в Пантюхином омуте, в жатву возил снопы на колхозной лошади, был горд, когда бригадир ставил ему за это «палку» — целый трудодень. Его ли забота, как жить... Мать с бабкой всегда поставят на стол чашку щей и крупно нарезанный хлеб, а большего Родьке и не надо. О чем, о чем,

а о боге, о душе и думать не думал... Но теперь не увернешься от вопроса: есть ли бог?

Врет бабка, врет мать, врет старая Жеребиха! Нет бога!

А если не врут?.. Тысячу лет люди верили. Лев Толстой верил. А пиление в церкви по ночам?.. Раньше-то выслушивал эту сказку и забывал. Теперь вот запала в голову, не выбьешь. Вот ежели б самому послушать?..

Стоит на отшибе церковь. Из чистой, словно умытой, рощицы (листва еще по-весеннему свежа) торчит колокольня, как древний воин в остроконечной шапке. Родькины зоркие глаза видят даже, как мельтешатся галки в воздухе. Там спрятана тайна, тревожная, пугающая. Врут или не врут?..

Как только начали собираться гости, Родька потихоньку сбежал из дому. Он давно уже сидит на задворках дома бабки Жеребихи, прячется от людей. Люди могут помешать думать, люди будут с ним заговаривать о другом, а ни думать, ни говорить сейчас, кроме этого проклятого вопроса, Родька ни о чем не может.

Как в жидкую тину, в лиловый туманный лес медленно погружается солнце; оно побагровело, раздулось от натуги. И от того дальнего леса, от края земли, от самого солнца через луга упрямо, не сворачивая ни перед чем, тянется железнодорожная насыпь. Давно уже показался на ней красный, впитавший в себя лучи тонущего солнца дымок. Он растет. Доносится шум поезда — ближе, ближе, сильней, сильней. На черном теле паровоза заблестело какое-то стекло, пропылало минуту-другую остреньким, словно пробивающимся сквозь булавочный прокол, огоньком, погасло. Товарные вагоны при закате кажутся раскаленными. Паровоз простучал через весь луг, таща за собой этот длинный раскаленный хвост, нырнул в решетчатую коробку моста, вновь вынырнул, пробежал дальше и скрылся за церковью.

В тишине неожиданно раздался выкрик:

— А вон Родька сидит!.. Эй, Родька!

Перевалившись животом через ветхую изгородь, подбежал Васька Орехов. На худеньком, с острым подбородком лице обычная радость: «А-а, вот ты где!»

— Что ты тут делаешь?

Родька не ответил, но Васька и не ждал ответа, он обернулся и закричал:

— Венька! Иди сюда, здесь Родька сидит! — так, словно это известие было бог знает каким подарком для Веньки Лупцова.

Венька не спеша подошел. Он хоть и помирился с Родькой, но и сейчас из-под черной, как воронье перо, челки глядел со спрятанной угрюмой настороженностью недобрый глаз.

— Что делаешь? — повторил Венька Васькин вопрос.— Галок считаешь?

— Тебе-то что?

— Да ничего. Из дому, небось, выжили?

В эту минуту Родьке не хотелось затевать ссору, он со вздохом признался:

— Терпения моего нету.

Эта покорность привела Веньку в мирное настроение. Он присел на землю рядом с Родькой.

Все трое долго молчали, уставившись вперед, на широкий луг с подрумяненными на закате горбами плоских холмиков, на тлевшую вдали колоколенку.

Первым пошевелился Родька, беспомощно взглянул на товарищей, спросил:

— Вот про церковь говорят, там вроде по ночам кто-то купол пилит.

— Поговаривают,— согласился равнодушно Венька.

— Ты знаешь Костю Шарапова? — нетерпеливо заерзал Васька.— Трактористом в прошлом году здесь работал. Он, сказывают, по часам проверял. Ровно без десяти двенадцать каждую ночь начинается.

— Врет, наверно, твой Костя,— нерешительно возразил Родька.

— Костя-то!..

Венька перебил:

— Я и от других слышал.

— Ну, а коли правда, тогда что это?

— Кто его знает.

Снова замолчали, на этот раз уставились только на колокольню.

— Нечистая сила будто там,— робко высказался Васька.

— Вранье! — обрезал Родька.— Бабья болтовня! Была бы нечистая сила, тогда и бог был бы.

— Но ведь Костя-то Шарапов в бога не верил, а я сам слышал, как он рассказывал, с места мне не сойти, если вру.

— И я что-то слышал, только не от Кости,— подтвердил Венька.

— Ребята! — Родька вскочил с земли, снова сел, взволнованно заглядывая то в Васькино, то в Венькино лицо.— Ребята, пойдемте сегодня в церковь... Вот стемнеет... Сами послушаем. Ну, боитесь?

— Это ночью-то? — удивился Васька.

— Эх, ты, уже с первого слова и в кусты. Ты, Венька, пойдешь? Иль тоже, как Васька, испугался?

— А чего бояться-то? Ты пойдешь, и я пойду.

— И то, не на Ваську же нам с тобой глядеть. Правду про него мать говорит, что на девку заказ был, да парень вышел.

— А я что, отказываюсь? — стал защищаться Васька.— Только чего там делать? Ежели и пилит, нам-то какое дело...

— Да ты не ной. Не хочешь идти с нами, не заплачем.

Родька неожиданно пришел в какое-то возбужденно-нервное и веселое настроение. Венька Лупцов делал вид, что ему все равно...

18

В самой гуще ночи, в глубине села, отмеченного в темноте огоньками, ночной сторож Степа Казачок ударил железной палкой в подвешенный к столбу вагонный буфер — раз, другой, третий, четвертый... Удар за ударом — дын! дын! дын! — унылые и однообразные, они поползли над темным влажным лугом, через заросший кустами овражек, где, усталые от ожидания, сидели трое мальчишек, через реку, где под обрывистым берегом недовольно шевелилась весенняя вода, куда-то к железнодорожной насыпи и дальше, дальше, в неизвестность.

— Одиннадцать часов,— прошептал Родька.— Может, пойдем не спеша?

— Рано. Что мы в церкви-то торчать будем? — возразил Венька.

Васька Орехов как-то беззащитно поежился и притих.

Опять принялись ждать.

Венька глухим, утробным, страшным для самого себя голоском продолжал рассказ о том, как его отец когда-то ехал волоком между деревней Низовской и починком Шибаев Двор:

— Лежит он себе на телеге, а лошадь еле-еле идет. Он и поднимается. Дай, думает, подшевелю. Поднялся, видит: чтой-то на дороге светится... Присмотрелся: катится впереди лошади огонечек голубенький. Невелик сам, с кулак так, не больше...

— Ой, Венька, брось уж, и так зябко,— тихо попросил Васька Орехов.

— А ты побегай, погрейся,— предложил Венька.— Значит, огонек катится... А батька молодой тогда был, ничего не боялся. Дай, думает, шапкой накрою...

— Ладно, Венька,— оборвал его Родька,— Васька-то еле дышит. Оставь, завтра доскажешь.

— Связались мы с ним... Надо бы тебя, квелого, не брать с собой,— сердился Венька и добавил: — А мне вот все равно, какие хошь страшные рассказы слушать могу и нисколечко, ни на мизинчик, не боюсь.

— Ребята, я домой пойду. Мамка лупцовки даст,— попросил Васька.

— Я тебе пойду! — вскинулся Венька.— Вместе уговаривались. Ты убежишь, а мы останемся... Нашел рыжих!

Так в переругивании и в приглушенной воркотне шло время.

Наконец Родька решительно встал:

— Идем!

Венька с Васькой неохотно поднялись.

Ночь была безлунная, три или четыре крупные звезды проглядывали в разных концах неба между набежавшими облаками.

Шли гуськом: впереди Родька, за ним Венька, сзади, прижимаясь к Веньке, наступая ему на пятки, семенил, спотыкаясь, Васька Орехов.

Тропинка была усеяна тугими, как резина, кочками прошлогоднего подорожника. Родька до боли в глазах вглядывался в темноту. Вот в нескольких шагах, прямо на тропинке, замаячило что-то живое, волк не волк, выше волка, шире волка, страшнее волка, сидит и ждет... Сердце начинает тяжело бить в грудь, звон стоит в ушах от бросившейся в голову крови. Шаг, еще шаг, еще... И тропинка огибает невысокий кустик, он не выше волка, он не шире волка, до чего же жалок вблизи, так себе, пара искривленных веточек. К черту все страхи!

К черту?.. А что там в стороне? На этот раз ошибки быть не может: кто-то в темноте шевелится на самом деле. Слышно даже, как переступает с ноги на ногу, не ждет, само идет навстречу — большой, неясный сгусток ночи. Оно может и растаять в черном воздухе, может и навалиться на тебя удушливым облаком... Раздалось фырканье... Ух! Это лошадь! Уже выпустили пастись, рановато вроде, трава чуть-чуть выползла.

Знакомую до последней кочки землю покрыла только лишь темнота, и знакомая земля стала непонятной, пугающей.

Родька шагал, вглядывался вперед, и в эти минуты он готов был верить во все: в нечистую силу, которая в любую минуту может вывернуться из-под ног, в мертвецов, что поднимаются из могил, в бога — великого и страшного, глядящего сейчас откуда-то с черного неба. И все-таки он шел вперед, и все-таки он должен был проверить, сам узнать, услышать своими ушами, иначе не будет его душе покоя.

— Ой! — раздалось сзади слабое восклицание.

Родька и Венька, толкнув друг друга, повернулись к Ваське Орехову.

— Ты что?

— Ногу подвернул. Дальше не пойду.

— Так мы тебе и поверили. Только что целехонька нога была.

— Скажи прямо: душа в пятках.

Васька перестал стонать.

— А неужель не страшно?..

— Вставай! — схватил его за воротник Венька.— Или силой потащим.

— Тащите не тащите, не пойду. Я вам правду говорю: нога подвернулась.

— Мы тебе живо ее вылечим.— Венька сильнее тряхнул Ваську.— Ну, долго возиться?..

— Пусти-и! Не пойду, сказал же.

— Ладно, Венька, черт с ним, пусть здесь остается,— зашептал Родька.— Провозимся с ним, опоздаем. Времени и так нету.

— Мокрая курица ты, не товарищ. Треснуть бы по шее разок. Сиди тут, коли так.

Родька и Венька плечо в плечо двинулись дальше. Венька еще поругался немного и замолчал. Уж слишком был страшен и неприятен собственный голос в этой мертвой тишине.

Они приближались к церкви, но по-прежнему впереди ничего не было видно. И лишь с напряжением, до боли вглядываясь в темноту, можно было не столько увидеть, сколько ощутить впереди себя кирпичную громаду, закрывающую полнеба.

А вокруг церкви — кладбище. Оно старое, заброшенное, давно уже не хоронят на нем покойников. Но кому не известно: чем заброшенней кладбище, тем скорей можно ждать на нем всякой нечисти.

Венька остановился.

— Родька! Слышь, Родька...

— Чего еще? — приглушенным шепотом спросил тот.

— Васька-то небось домой побежал.

— Ну и что?

— Он дома будет сидеть, а мы, как проклятые, в эту церковь полезем.

— Тоже струсил?

— Не струсил, а дурее Васьки быть не хочу. Больно мне нужна эта церковь. Пропади она пропадом, плевать на нее!

— А зачем тогда пошел?

— Да ни за чем. Ежели б вместе, а то вон Васька-то...

Родька вдруг почувствовал, какое это несчастье остаться вдруг одному в этой тишине, среди влажной ночи. Одному перешагнуть за церковную ограду, одному пройти мимо старых могил, одному влезть в церковь, одному там ждать... Это невозможно! Лучше отказаться, повернуть домой. Повернуть?.. А завтра опять гляди на церковь, мучайся, думай, как бы попасть в нее. Все равно придется рано или поздно идти. Нельзя отпускать Веньку! Нельзя оставаться одному!

— Веня, мы уж ведь пришли... А Васька что?.. Васька же — дурак, трус, девчонка... Мы еще посмеемся вместе...

— Не пойду, и шабаш... Хочешь, повернем вместе, не хочешь...

— Венька! Только поверни, я тебе опять юшку пущу.

— Тоже мне — юшку! Мало, видать, попало сегодня от Прасковьи Петровны.

— Пусть попадает. Сейчас набью, завтра набью, каждый день бить буду.

И быть бы драке в полночь у старой церкви, если б в темноте за спинами ребят не послышались торопливые шаги и прерывистое дыхание. Оба забыли про драку, обернулись, прижались друг к другу.

— Родька... Венька... Это вы? — появился Васька, едва переводивший дыхание от быстрой ходьбы.— Одному-то еще страшнее,— заговорил он прерывистым шепотом.— Просто жуть одному-то... Уж лучше с вами...

Дрожащий, просящий Васькин голос виновато оборвался. С минуту все стояли неподвижно. Без шелеста листьев, без коростельего крика облила их плотная темнота.

Родька первым опомнился.

— Пошли,— сказал он не шепотом, а вполголоса и повернулся к церкви.

Васька, споткнувшись, поспешно бросился за ним. Последним двинулся Венька.

Они вошли в широкие ворота церковной ограды.

19

В глубине белела, как мутный туман ночью на реке, стена церкви. Они остановились под деревом.

Родька достал из кармана бересту, поднял с земли из-под ног сухую ветку, спросил:

— Васька, спички у тебя?.. Сейчас бересту запалим. При огне-то лучше.

Васька зашептал:

— Не надо, Родька. Так-то нас никто не видит. А как огонь, всяк узнает: мы здесь.

— Давай спички, говорю!

Две руки — Васькина и Родькина — не сразу столкнулись в темноте. Одна спичка сломалась, вторая долго не зажигалась. Наконец зажглась слабеньким, болезненным огоньком — единственно светлая, родная точечка в этой подвальной темноте.

Скрюченный, грубый кусок бересты заскворчал, запузырился, как живой, стал сгибаться. Родька надел его на конец ветки. И из темноты рядом с ними появилась боковина ствола матерой липы в буграх и корявых наростах. Впереди, под ногами, открылась замусоренная кирпичной крошкой земля. Огонь шевелил веселыми языками, пускал темный чадок, без всякой утайки фыркал. И страх почти исчез. Родька, Васька, Венька разом вздохнули, переглянулись между собой, снова уставились на огонь.

Но по сторонам темнота еще гуще облила раздвинутый горящей берестой круг. Не стало видно церковной стены. Казалось,

эту плотную, могучую темноту ничем не сдвинешь, ничем не пробьешь, не выберешься из светлого круга. Но Родька, бережно держа на весу ветку с корчащейся берестой, шагнул вперед, и эта плотно слитая темнота покорно подалась назад. Липа с корявой корой сразу же исчезла, словно провалилась под землю. Навстречу выскочила тоненькая, с игривым изгибом березка, сразу же лихорадочно зарумянилась от света.

Еще два шага, и свет уперся в стену, вовсе не белую и ровную, а облупленную, с оскалами кирпичей в обвалившейся штукатурке.

В стене — окно, непроницаемо затянутое бархатной темнотой. Что то там? Мороз пробирает от мысли, что придется схватиться за кирпичный карниз, подтянуться и... окунуться головой в эту мрачную, бархатную тьму.

— Венька, держи,— отдал Родька берестяной факел.— Осторожней, бересту стряхнешь... Васька, подсади-ка... Что ты меня за грудки держишь? Плечо, плечо подставь... Вот так...

Родька сел верхом на подоконник. В выползшей из штанов, пузырящейся на спине рубахе, всклокоченная голова ушла в поднятые плечи, освещенный неровным, пляшущим огнем на бархатно-черном фоне арочного окна, он сам теперь походил на какого-то зловещего горбуна из страшной сказки.

— Да... давай сюда огонь.

Венька медлил: охота ли лезть в это проклятое окно, а уж если отдашь огонь, придется.

— Ну! — это «ну» было сказано слишком громко и гулом отдалось в пустой церкви за Родькиной спиной.

Венька поспешно протянул горящую бересту.

— Что ты в меня огнем тычешь? С другого конца давай... Подсаживай Ваську.

Из окна, из черной пропасти тянуло подвальными запахами плесени и птичьим пометом. Родька первым прыгнул туда, и в это самое время огромная, пустая, темная церковь загудела, забурлила, словно ее старую крышу пробил бешеный водопад. Снизу донесся слабый, заикающийся голос Родьки:

— Не-не... не... бойтесь... Это галки... Ух, сколько их тут!

Огонь осветил кусочек стены, на которой проступали какие-то картины, прислоненные к стене иконы, битый кирпич с блестками стекла на полу. Все остальное — вверху и по сторонам — было покрыто густым мраком.

Родька мельком поглядел на иконы, подумал вскользь: «Гляди ты, какие красивые есть. И чего те дурни на мою икону набросились, вроде она лучше?..»

— Вы скоро там?

Венька и Васька слезли вниз, сдерживая дрожание губ, с бледными лицами стали рядом.

Вяло покачивался огонь на обугленной бересте, запах смолистого дыма смешивался с запахом каменной плесени. Вверху все еще шевелились неуспокоившиеся птицы. Путь был пройден, оставалось только ждать.

— Сколько...— заговорил Родька и сразу же снизил голос до шепота, так как неосторожно произнесенное слово сразу же отдалось где-то под самым куполом.— Сколько времени теперь?

— Кто его знает,— так же шепотом ответил Венька.— За двенадцать, поди.

— Не слышно, не било вроде.

— Да отсюда разве услышишь, сквозь стены-то?

— Услышали бы. Окна-то полые.

Они на минуту перестали шептаться. Под темной крышей, высоко над головой, разбуженные птицы успокаивались. Пошевелилась одна в самом глухом, в самом дальнем углу, пошевелилась другая, поближе, столкнула кусочек сухой известки, он легонько стукнулся об пол, звук его отозвался под куполом. Наконец стало совсем тихо. Тонко-тонко и тоскливо зазвенело в ушах от перенапряженной тишины.

— Враки все,— выдохнул Родька.

— Что враки? — одними губами спросил Венька.

— Да это... Купол-то будто пилят.

— Конечно, враки,— с охотой подхватил Васька.— Пошли, Родя, быстрей отсюда, чего тут торчать.

Родька не ответил.

Береста на конце ветки прогорала. Желтый огонек стал вялым. Черный курчавый дымок над ним вился гуще. Лица у ребят были бледные, серьезные, непривычно большеглазые.

Родька ощутил облегчение, появилось смутное, неосознанное желание: высказать что-то (пока он не знал, что именно) презрительное и уверенное бабке с матерью, обругать Жеребиху.

Родька набрал уже в грудь воздуху, чтобы еще раз сказать: «Враки все...» — но вдруг воздух застыл в груди ледяной глыбой, горло сжалось...

Где-то вверху, в самой гуще давящего на головы мрака, там, где недавно шевелились обеспокоенные птицы, очень тихий, но внятный, осторожный, но проникновенный, раздался странный звук. Он действительно напоминал звук маленького напильника, въедливо, настойчиво точившего кусок железа. Звук разрастался, креп, становился громче, решительнее. Уже не крохотный напильничек, а широкий рашпиль поспешно, без предостережений, с ненавистью ерзал по железу. Сильней, сильней, нервней, до истерических, визгливых ноток.

И звук шел не снаружи, он был где-то в стенах, под самой крышей, висел над головой. Странно, что птицы нисколько не обращают на него внимания.

Неожиданно загрохотало, завизжало — нарастающий звук взорвался. Ошеломленный Родька в долю секунды каким-то далеким уголком своего мозга все же успел догадаться: это рядом с ним в пустой гулкой церкви визгливо крикнул от страха Васька.

Они не помнили, как выскочили в окно, как оказались за церковной оградой...

А ночь по-прежнему стояла тихая, влажная, свежая. Покойно светились редко разбросанные огоньки села. В стороне уверенно и беспечно постукивали колеса удаляющегося поезда. Три красных фонарика на заднем вагоне уплывали в темноту. Это, должно быть, пассажирский. Он через пятнадцать минут остановится на маленькой станции Суховатка, куда летом Родька и Васька бегали продавать ягоды.

Нет, ничего не произошло на свете. Ровным счетом ничего.

Дын! Дын! Дын!.. Через влажный луг, через речку на железнодорожную насыпь поползли унылые звуки. Ночной сторож Степа Казачок отбивал двенадцать часов.

Ребята не обмолвились ни единым словом. Спотыкаясь на неровной тропинке, бросились бегом к селу...

Перед самым селом их встретила беспорядочная, громкая петушиная перекличка.

20

Опять весь вечер сидели гости. Беременная Мякишиха, прислонясь к Варваре, уставив на нее раскисшие от слез глаза, шептала:

— Варварушка... Навар из трав пила, а веры нету. Нету веры, что все обойдется. Врачи сказывают: не людская-де у тебя беременность... Сечение надо делать, резать.

Скучно вздыхала о своих ноженьках Агния Ручкина. Старик из деревни Заболотье, большой знаток Ветхого завета, курил толстые цигарки из крепкого самосада, давил их в разбитом блюдце и рассуждал о «нонешней распущенности»:

— В прежнее-то время вся жизнь, куда ни толкнись, в страхе проходила. Оттого кругом порядок стоял...

Отец Дмитрий больше молчал, кивал головой, соглашался, только несколько раз вставил свое слово:

— Ежели человек отравлен ядом, чтоб он не умер, надо очистить тело. В жизни душа ежедневно и еженощно яд принимает. Выругался нехорошим словом — яд. Осквернил себя водкой — яд. Строптивость свою высказал, начальству не подчинился — все яд. Вера очищает душу людей. Нет без веры духовного здоровья.

И снова замолкал, с ясным, чуть утомленным лицом покачивал головою, думал, верно, о чем-то своем.

Варвара сидела как каменная. Она и всегда-то при гостях чувствовала себя немного чужой, а теперь, после Прасковьи Петровны, после разговоров с Жеребихой, вконец растерялась, глядела в дверь остановившимися глазами, ждала Родьку, удивляясь, почему его долго нет. «Час-то поздний, и где его носит?.. Пожалуй, хорошо, что сейчас дома нет. К нему бы полезли. Мякишиха-то над ним бы стала причитать. Легко ли несмышленому парнишке выносить... Не напрасно учительша пугает, ой не напрасно! Как же парню быть? От школы отворачиваться?.. Господи, вразуми... То-то и оно, что ни случись, всюду — господи, а ведь Прасковья-то Петровна от бога Родьку отнимает...»

Разболелась голова. Варвара тихонько поднялась, ушла за перегородку, не раздеваясь, прилегла на койку. Сдержанно гудели голоса в соседней комнате...

Ее разбудили сердитые толчки.

— Вставай-ка, вставай. Эк, разлеглась... Забыла, чай, что у нас отец Митрий ночует. Не на полати же его сунуть.— Старая Грачиха, раскосмаченная, придерживая на груди рубаху, стояла над ней.— А нашего-то гулены до сих пор дома нету. Выходила на улицу, кликала, не отзывался. Клавдию встретила, тоже своего Ваську ищет. Вместе где-то шабашат.

Выглянула за переборку, пригласила:

— Иди, батюшко, постельку сейчас сготовлю.

Варвара поднялась, заспанная, с тяжелой головой, вышла в переднюю.

Изба хранила следы недавних гостей: пол у порога крепко затоптан, на подоконнике щербатое блюдечко усажено окурками.

Тяжело и неуютно стало в доме. Покоя и тишины хочется. Ей-то еще полбеды, а Родьке, верно, вдвое неуютней.

Кряхтя и посапывая, за перегородкой укладывался на пригретую Варварой постель отец Дмитрий. Бабка торопливо отбила положенные поклоны, взобралась на печь. Через минуту, как обычно, полился оттуда ровный храп.

Каждый вечер опускалась Варвара на колени перед иконами, опустилась она и сейчас.

Что сказать господу? Как пожаловаться? О чем просить, что вымаливать? Как держать себя? Все перепуталось, ничего не понятно. Одно слово вырывается из души:

— Господи!!

Словно вполшепота, но это крик измученного сердца, крик жалобный и бессильный.

За спиной раздался осторожный шорох. Варвара оглянулась. У дверей стоял Родька. При свете гаснущей лампы было видно его бледное, смятенное лицо.

Варвара медленно поднялась с полу.

— Родюшка... Ай опять беда какая?

Родька резко дернул плечом, словно сбрасывал с него невидимую лямку, связанной походкой, уставясь в угол, прошел на середину комнаты мимо матери. С минуту он глядел в упор на темную икону, потом колени его подогнулись, он вяло осел на пол и, съежившись, пригнув голову, неожиданно зарыдал.

— Родюшка, сердешный, да что с тобой, золотце? — Варвара бросилась рядом с ним на пол, обняла, сама заплакала.— Видать, снова напасть какая. Да что за наказание! Что там случилось-то, скажи?

Но Родька молчал, только плечи его под материными руками сильно вздрагивали.

От молчания, от слез сына, от чудотворной, зловеще выкатившей белки глаз, от всего непонятного, что творилось на белом свете, Варвару охватил дикий ужас. Новая беда! Новые несчастья! Мало прежних?! Надо спасать сына, надо оградить его от беды!

Варвара крепче обхватила Родьку за вздрагивающие плечи, приподняла, шипящим шепотом заговорила:

— Молись, Роденька, молись, сынок! Проси прощения за себя, за мать-грешницу. Сомнениям поддалась мать-то... Ох, разнесчастные мы!.. Нет нам спасения... Молись, голубчик...

И случилось чудо... Родька, вечно бунтующий, упрямый, только из-под палки поднимавший ко лбу руку, вдруг со всхлипом вытер лицо рукавом, покорно зашевелился, встал коленями на пол, упершись заплаканными глазами в лампадку, слабым голосом произнес единственную молитву, которую знал, короткую, в два слова:

— Прости... господи...

Он крестился, лицо его выражало просительный страх, а Варвара, тоже стоявшая рядом с ним коленями на полу, застыла от изумления и нового ужаса. Вот оно, свершение! Вот она, сила божья! Как же тут сомневаться в господнем могуществе?

21

Привычный мир рухнул для Родьки. Надо было как-то по-новому жить, по-новому поступать.

У каждого здорового мальчишки смысл жизни заключается в одной фразе: «Когда я выросту большим...» Два года назад в Гумнищи вернулся с флота теперешний председатель колхоза Иван Макарович. Тельняшкой, мичманкой с золотым крабом, всем своим морским обличьем он жестоко поразил Родькино сердце. И после этого Родька мечтал: «Когда выросту большим, стану моряком». Золотая надпись на ленте, синий воротник за спиной, ремень с медной пряжкой в ладошку — вот он, Родька Гуляев, приехавший домой на побывку! Пусть это была по-детски

наивная мечта, но мечта о будущем. А в детстве будущее и счастье — одно и то же слово.

Теперь от этого будущего надо отказаться. Где уж там бескозырка с ленточками, когда тебе придется молиться, когда ты нашел святую икону, когда за тобой следит сам бог, ты у него на примете! Неужели жить, как велит бабка? Кем он будет, когда вырастет большим? Непонятно, неясно, темно впереди. С богом и бабкой как-то не мог себе представить Родька будущего.

Нет будущего, значит, нет жизни, от всего надо отказаться. Не по приказу бабки, не из-за страха, что она выдаст лупцовку,— *самому отказаться*! Это тебе не крест на шею, это не просто стыд перед ребятами, который раньше так сильно мучил. Тогда-то страдал, а знал: пройдет день, неделя, месяц, пусть даже год — и все наладится, все переживется. Теперь не надейся на время, оно не спасет. Тогда можно было бунтовать, возмущаться, жаловаться кому-то, хотя бы Прасковье Петровне. Сейчас не перед кем бунтовать, не на что жаловаться, в тебе самом сидит беда. Нет будущего, нет счастья, ничего нет!

Утром дома готовились к молебну, и бабка не отпустила Родьку в школу.

— Не каждый день молебны заказываем в честь новоявленной. Родька, чай, не лишний человек в этом деле. Школа не сгорит, коли он там день не побудет.

Родька молчал, не глядел, как прежде, упрямым бычком в пол, лишь тоскливо озирался. И мать испугалась его покорности, робко и неуверенно возразила:

— Как бы шума не вышло...

— То-то вы все боголюбы.— Бабка веником, насаженным на длинную палку, обметала паутину с потолка.— Милости у бога выпрашиваете, а огласки боитесь. А вы не бойтесь за господа шум на себя принять. Снесете, ежели и поругают маленько.

Родька молчал. Он молчал и тогда, когда бабка отозвала его в соседнюю комнату, роясь в коробке среди пузырьков и катушек, сердито зашипела:

— Крест-то бросил? Думал, не узнаю, нечестивая твоя душа? Говори спасибо, бог уберег. Ради такого дня выволочки не получишь. Народ собирается, срам на люди не хочу выносить. Вот тебе другой крестик. Ну-ка, одевай живо да не кобенься.

Шершавые пальцы бабки расстегнули ворот рубахи, твердая ладонь тычком по затылку заставила нагнуть голову. Шнурок крестика зацепился за ухо, бабка грубо его поправила.

Начали мыть пол, и Родька решил выйти во двор. Но когда он ступал из дверей на крыльцо, понял: лучше бы не показываться из дому.

Пошевеливая вздыбленными плечами, пробив пригнутой голо-

вой скучившихся баб, подполз к крыльцу безногий Киндя. Шапки нет, лицо распухшее, сизое, из-под заплывших век — не понять, враждебно, равнодушно или заискивающе — уставились сквозь щели неподвижные глаза. Он, закинув назад голову, набрал в широкую грудь воздуха, казалось, вот-вот разразится длиннейшей речью. Но Киндя выдохнул лишь одно слово:

— Бла-ослови! — после чего, держась за утюжки, принялся кланяться, касаясь лбом земли, выставляя локти, как кузнечик лапки.

Сморщенный старичок из Заболотья, тот, что знал Ветхий завет, сплюнул и отвернулся.

— Нехристь. С утра нализался... Нашел время.

В надвинутом на глаза платке подскочила мать Кинди, ткнула тощим прокаленным кулачком в налитый кровью сыновний загривок, заговорила с визгом:

— Сгинь, бесстыдник! Сгинь, окаянное семя! Выполз зверь зверем, за мать бы посовестился.

— Бла-ослов-ения хочу,— промычал неуверенно безногий Киндя и опять повалился лбом в землю.

— Кинька! Один останешься. Уйду, мотри! — уже без визга, с угрозой проговорила старуха.— Какое тебе благословение, дурья башка? Ведь на малом свяченого чина нет.

Киндя помедлил, широкий, плотный, крупноголовый, по плечо тощей, низкорослой матери, вздохнул и боком стал отодвигаться в сторону.

— Ты, голубок, не пужайся. Идем к нам. Покудова там готовятся, посидим рядком, потолкуем ладком.

Из-под платка, козырьком напущенного на лицо, щупали Родьку выпрыгивающие вперед глаза, костистая рука бережно и в то же время твердо взяла за локоть, свела Родьку с крыльца.

Сидевшая прямо на земле, широкая, как сопревший от непогоды суслон, Агния Ручкина зашевелилась, попробовала было подняться навстречу Родьке, но не сумела, лишь тоскливо вздохнула:

— Ох-ти, мои ноженьки...

Но из-за Ручкиной выросла закутанная в длинную шаль Мякишиха — глаза выкаченные, сухо блестящие, тонкие губы бесцветны.

— Миленький! — схватила она Родькину руку, припала к ней сухими горячими губами.

Родька с силой выдернул руку, рванул локоть из костлявых пальцев Киндиной матери, затравленно оглянулся. И тут же его взгляд упал на дорогу. К изгороди размашистым шагом приближалась Прасковья Петровна.

В своей неизменной вязаной кофте, легкий платочек туго

стягивает прямые черные волосы, на лице будничная озабоченность и знакомая школьная строгость, она так не походила на тех, кто стоял сейчас во дворе, так обычна, так знакома — человек из другой жизни, родной и утерянной для Родьки.

— Родя, ты почему не пошел в школу?

И Родька в эту минуту представил самого себя, словно бы посмотрел со стороны глазами Прасковьи Петровны: в чистой, праздничной рубахе, стянутой пояском, смоченные волосы гладко зачесаны бабкиным гребнем — вот он, ученик из ее класса, среди старух, беременных баб, в компании с пьяным Киндей и Агнией Ручкиной, квашней сидящей на земле. Это был позор. Это был конец. Худшего уже нельзя было представить.

— Родя, я спрашиваю: почему ты не в школе?

Все, кто был во дворе, молчали, с подозрительностью глядели на учительницу. Прасковья Петровна не обращала на них внимания, мягко и спокойно уставилась на Родьку.

И Родька, издерганный за последние дни, измученный кошмарной ночью, не выдержал, схватился за голову, затопал ногами, неожиданно осипшим, громким голосом закричал:

— А-а-а!.. К че-ерту-у! Всех к черту-у! Уходите! Все уходите! Все!!!

После первого же выкрика в окружавшей его толпе поднялся недовольный ропот:

— Небось, на дом пришла.

— Мало ли там шелапутных, которые запросто из училища убегают.

— За теми не следят. Не-ет.

Родька с багровым лицом топал ногами, кричал:

— Уходите! Уходите! Уходите!!

— Родя, пойдем отсюда,— не обращая внимания на враждебный ропот, мягко позвала Прасковья Петровна.

Но Родька не слышал, его крик оборвался, он, оскалившись, оглядывался кругом и затравленно вздрагивал от рыданий.

Киндя, раздвигая плечами старушечьи подолы, пробрался к самой изгороди, задрав опухшую, кирпично-красную рожу, сипловато заговорил базарной скороговорочкой:

— Ты, мамаша, извиняюсь... Иди, мамаша, своей дорогой. Не то я, человек изувеченный, за свою натуру не отвечаю...

Прасковья Петровна сначала с удивлением, потом с брезгливостью секунду-другую разглядывала сидящего на земле Киндю, отвернулась, обвела взглядом старух, буравящих ее из-под чистых платков выцветшими глазами, снова обратилась к Родьке, кусающему рукав своей рубахи:

— Успокойся, Родя. Идем отсюда.

Но Киндя угрожающе зашевелил поднятыми плечищами:

— Ты, мамаша, слышала? Я в переглядки играть не люблю.

Давно не стиранная рубаха распахнута на груди, на распаренной физиономии — ржавчина щетины, из заплывших век глаза враждебно сторожат каждое движение учительницы. За ним, широким, плотным, наполовину вросшим в землю, сбились в кучку старухи в празднично белых платочках, старик из Заболотья по-гусиному сердито вытянул жилистую шею, судорожно ежась, мальчишка прикрывал рукавом рубахи застывший оскал на лице.

На минуту стало тихо. С шумом дышал задравший вверх голову Киндя. Прасковья Петровна, сурово выпрямившаяся, с плотно сжатым ртом глядела поверх Кинди на Родьку.

Никто не двигался, все ждали.

Прасковья Петровна первая пошевелилась. Она шагнула вдоль изгороди к въезду во двор. Без знакомой сутуловатости, распрямившаяся, с бесстрастным лицом, не замечая с угрозой подавшегося на нее всем своим коротким телом Киндю, Прасковья Петровна шла, не спуская взгляда с Родьки.

И Киндю взбесила ее бесстрастная уверенность. Без того красная физиономия до отказа налилась темной кровью, сиплая, площадная брань загремела над залитым солнцем двориком. Тяжелый, обшитый кожей утюжок-подпорка полетел в учительницу...

Киндя промахнулся. Утюжок с силой ударил в изгородь, жердь глухо загудела.

Прасковья Петровна резко обернулась. В ее широком, грубоватом лице с плотно сжатым ртом появилось гневное, по-мужски жесткое выражение. Но к ней, опираясь руками о землю, полз, выставив тяжелую голову, сипло выкрикивая грязные ругательства, калека, бешеный, невменяемый и жалкий. И гнев исчез с лица Прасковьи Петровны, только на щеках под глазами проступил неяркий румянец. Она повернулась и, ни на кого не глядя, своим широким, тяжелым шагом пошла прочь. Никто не двинулся, никто не обронил ни слова. Только Киндя тряс кулаком над головой, выкрикивал вслед ругательства.

Родька опомнился, увидел перед собой запавший, морщинистый рот Киндиной матери, с яростью толкнул ее в тощую грудь, бросился в сторону, налетел на сидящую Агнию Ручкину. Та, охнув, свалилась на бок.

Чья-то рука пыталась его задержать, он с остервенением ударил по ней. Оскалясь, с мокрым от слез лицом выскочил на улицу, бегом бросился по дороге — прочь от дома, прочь от страшных людей.

Через полчаса он сидел дома у Прасковьи Петровны.

Небольшая, оклеенная веселыми обоями комнатка была заполнена солнцем. От узкого стола, заваленного книгами и стопками тетрадей, от окна, за которым выбросила нежные оборчатые листочки смородина, от монотонного тикания темных, старинных часов ложился на измученную Родькину душу сонный покой. Здесь бы жить, не надо ни бескозырок с ленточками, ни тельняшек, читать бы эти книги, рыться в тетрадях — счастливо живет Прасковья Петровна!

С опухшим от слез лицом, подавленный, вялый, Родька рассказывал о церкви, о непонятном, страшном звуке среди ночи под куполом, постоянно повторяя одну и ту же фразу:

— Раз про церковь они не врут, значит, и про бога тоже...

Прасковья Петровна без своей примелькавшейся вязаной кофты, в платьице мелким горошком, полная, невозмутимая, уверенная, слушала без всякого удивления, наконец покачала головой:

— Эх-хе-хе. Как ты доверчив. История с церковью — старая песня. Лет двадцать назад я сама лазала слушать это, как его там называют, пиление...

— А что это?

— Надо было самому и дознаться до конца. А то сразу в чудеса поверил.

— Но что?

— Недалеко от церкви, как ты знаешь, проходит железная дорога. Когда мимо идет поезд, звук от его колес попадает в церковь и отдается под куполом. Такое явление в физике называют резонанс. Каждую ночь мимо церкви проходит в одно и то же время пассажирский поезд. Значит, каждую ночь в одно и то же время раздается звук, который ты слышал. Но чтоб его услышать, не надо даже лазать ночью. И днем ведь поезда ходят... Понятно тебе?

— Резонанс,— повторил Родька.

Он вспомнил три красных огонька, уходящих в ночь, спокойный стук колес, припомнился и самый звук под куполом... Если разобраться, этот звук действительно смахивал на шум приближающегося поезда, сначала тихо, издалека, потом ближе, громче, только визгливей... Вместо радости и облегчения, что все так просто объяснилось, Родька почувствовал страшную усталость и равнодушие. Мучился, ночью не спал, даже молился, а из-за чего?..

Тошно теперь думать об этом, тошно вспоминать.

— История эта забывалась,— рассказывала Прасковья Петровна,— потом опять о ней начинали говорить. Только одни ста-

рухи все верили, что она связана с нечистой силой... Э-э, да ты, братец, не слушаешь?

— Я домой больше не пойду,— заявил Родька.

— А я тебя и не отпущу. Поживешь денек-другой у меня, пока мы все не уладим. Я сейчас уйду в школу, освобожусь от уроков и отправлюсь в Загарье, в райком партии. Поговорю начистоту.— Прасковья Петровна поднялась.— Есть захочешь — суп в печке, достань сам. Захочешь погулять, иди. Ключ под дверью положишь. А то книжки читай...

Она ушла.

Родька знал, что муж Прасковьи Петровны, тоже учитель, давно, еще до войны, когда его, Родьки, еще не было на свете, попал с лошадью в полынью, простудился и умер. Прасковья Петровна жила одна в своем домике, по хозяйству ей помогала тетя Глаша, школьная уборщица. Иногда Прасковья Петровна брала себе на квартиру какую-нибудь молодую учительницу, жила с ней до тех пор, пока та не выходила замуж.

В пустом доме одному Родьке стало тоскливо. Он походил из комнаты в комнату, пощупал руками книжки на полках, но взять их постеснялся.

Родька лег на узенький диванчик, закинул руки за голову и стал разглядывать веселый узор на обоях. Лежал час, лежал два часа, арестант не арестант, а вроде этого. Лежал и думал об одном — об иконе.

Его потревожил осторожный стук в дверь. Он испугался, что войдет кто-нибудь из учителей. Будут расспрашивать, сочувствовать, качать головой... Он выглянул в соседнюю комнату и увидел, что в дверь бочком вошла его мать, испуганная, постаревшая, со страдальческой синевой под глазами.

— Родюшка,— горестно и виновато произнесла она.— Ты здесь, сокол?.. Я все село избегала, все кругом обрыскала...

Воровски оглядываясь, она робко подошла, осведомилась шепотом:

— Нет хозяйки-то?

И когда Родька тряхнул в ответ головой — нет, вздохнула свободнее.

— Идем, голубь, домой! Идем!.. Молебен-то давно кончился, все ушли. Тишина теперь дома, слава тебе господи! Идем, горюшко мое!..

Она заплакала, и Родьке стало жаль ее.

Почему ему нельзя жить с матерью и бабкой, как живут все ребята? Что мешает?.. Проклятая икона! Ведь до нее все шло хорошо.

Она припомнилась ему со всеми подробностями: с черным лицом, разделенным длинным и узким носом, с яркими глазными яблоками, с крохотным огоньком лампадки возле бороды.

Как он ее ненавидит! И бабку ненавидит, и мать — вцепилась в икону, нет чтоб отдать Жеребихе, обрадовалась игрушке. А эта игрушка всю жизнь ему поломала! Всю! Чужие люди жалеют, а ей наплевать! На доску променяла!..

23

Не только из-за одной истории с Родей Гуляевым решилась Прасковья Петровна побывать в райкоме партии. Если б дело было только в одном Роде! Своего ученика она сама как-нибудь оберегла бы, обуздала бы родителей. Но за последнее время все чаще всплывают глухие случаи. В прошлом году в деревне Пятидымке открылся родничок со «святой водой». Зимой комсомолка Фрося Костылева уехала из Гумнищ в соседний район Ухтомы и там венчалась в церкви. Это дело не обсуждали по той причине, что Фрося «снялась с учета». А крещение детей, а пьяные престольные праздники!.. Надо в конце концов всерьез поговорить в райкоме.

Шел сев, и нечего было рассчитывать, что колхоз даст лошадь. Начавшее подаваться к закату солнце крепко припекало. Плащ пришлось снять и перекинуть через руку. Пахло прелой листвой, вылежавшей под снегом хвоей, пахло весенним травянистым гниением, обещающим не умирание, а обновленную жизнь. Прасковья Петровна шагала тысячу раз исхоженной дорогой, возле которой были знакомы каждая елка, каждый пень. Тридцать лет по этой дороге носила она свои заботы. Постарела, ссутулилась, голова усыпана сединами, и опытнее стала и умнее — изменилась, только заботы остались прежними. Возможно, по этой же дороге она носила заботы о Родькиной матери. Учись, старый педагог, на просчетах! Не допусти, чтобы Родя Гуляев вырос похожим на свою мать!..

За спиной Прасковьи Петровны послышался стук копыт о влажную землю. Она подалась к обочине, обернулась. Весело взбрасывая сухой головой, украшенной от челки к носу белой проточиной, приближалась легкой рысцой лошадь. Она поравнялась с учительницей, и человек, сидевший в пролетке, натянул вожжи:

— Тпру-у!

В мягкой, крепко надвинутой на лоб кепке, в брезентовом плаще, в каких обычно ездят районные уполномоченные, седая бородка растрепана встречным ветерком, возвышался в пролетке отец Дмитрий.

— Издалека вас приметил, Прасковья Петровна. Вы не в Загарье? Разрешите просить об одолжении — подкинуть вас до места.

Коляску потряхивало на выбоинах. Весело бежало вдоль доро-

ги словое мелколесьице. Отец Дмитрий вежливо посапывал, ждал, когда Прасковья Петровна первая начнет разговор, не дождался; заговорил сам:

— К великому сожалению, узнал, что вас утром обидел этот пьяный инвалид. Не судите его строго, он достоин скорей жалости, чем осуждения.

— Я незлопамятна.

— Вообще-то народ здесь не испорченный, добрый, гостеприимный. Один порок — упрямы чрезвычайно.

— Упрямы? В чем? Не замечала.

— А вот хотя бы настаивают, чтоб я хлопотал об открытии возле Гумнищ храма. Никаких возражений не хотят слушать.

— А вам разве помешает этот храм?

— Нет. Я служитель церкви, и было бы грешно лукавить, что не желаю открытия еще одного храма.

— Тогда вы должны быть довольны их упрямством.

— Вся беда, что теперь открытие храма Николы на Мостах невозможно. Не дадут разрешения. Вот если б, скажем, этот храм был занят под склад или зернохранилище, тогда другое дело. Я, конечно, не присягнул бы за удачный исход, но хлопотать было бы куда легче.

— Почему? — удивилась Прасковья Петровна.— Мне представляется совсем наоборот. Раз бывшая церковь занята, ее труднее освободить.

— О нет, тут есть свои выгоды! Мы бы пошли на условие — строим зернохранилище, разумеется, вместительное, удобное и добротное, а храм попросим разрешения использовать для нужд верующих.

И не в первый раз за их короткое знакомство Прасковья Петровна с удивлением вгляделась в этого человека. Уткнув бородку в грубый воротник плаща, держа на коленях вожжи своими старческими, со вздувшимися венами руками, он всей своей плотной фигурой выражал скромное достоинство.

Это не только божий агитатор, во славу господа действует не одними молитвами. Гумнищинский колхоз, который уже год не соберется поставить новый клуб, сельская библиотека ютится в одной комнате с секретарем сельсовета, а тут сколько вам нужно: сто тысяч, двести, триста — пожалуйста, не жаль средств для удобства бабки Грачихи, чтоб не бегала за двенадцать километров ко всенощной, имела храм под боком, без особых хлопот несла туда своим трудом и экономией добытые пятаки.

Отец Дмитрий незаметен, районные власти не прорабатывают его на заседаниях, не привлекают к общественным нагрузкам, живет себе, ворочает делами, ублажает верующих, себя не забывает. Вот он — кепчонка мятая, плащ дешевый, а пролетка новая, лошадь сытая... Загарьинское роно, государственное уч-

реждение, не может выхлопотать себе лошадь, школьным инспекторам приходится бегать в командировки пешком.

Молчание Прасковьи Петровны, должно быть, насторожило отца Дмитрия.— Он, повернувшись на тесном сиденье всем телом в сторону учительницы, снова заговорил с интонациями интимной душевности:

— Есть вечная, как мир, истина, Прасковья Петровна: добро должно торжествовать над злом. Всякий обязан добиваться этого своими силами. Вы это делаете по-своему, а я — по-своему, как могу.

— К чему вы это?

— К тому, Прасковья Петровна, что чувствую некоторое недоброжелательство ко мне с вашей стороны.

— Разве оно вам мешает?

— Всегда прискорбно знать, что достойный человек смотрит на тебя недоброжелательно. Не скрою, среди нынешних священнослужителей есть всякие. Есть и ловкачи, греющие руки на приходах. Есть и просто недалекие, необразованные, без особых идеалов. Но есть и такие, кто всю душу отдает служению добру. Вы не верите в Христа. Я, быть может, сам верю в него с оговорками. Но, если именем Христа я могу у людей вызвать добрые чувства, почему это должно считаться позорным? Почему это должно возмущать?

Это был уже вызов на откровенность, и Прасковья Петровна решила его принять.

— Потому и возмущает, что вы пытаетесь добрые чувства вызывать именем бога, именем Христа.

— А не все ли равно, Прасковья Петровна, через бога или через что другое вызываются добрые чувства? Лишь бы они появились.

— Нет, не все равно. Как там в библии сказано, если память не изменяет: «И сделал господь бог Адаму и жене его одежды кожаныя и одел их». Бог одевает, бог кормит, бог требует: будьте добрыми — всюду бог. А ведь человек потому и стал человеком, что он всего достиг сам, своим умом, своими руками. Вечным вмешательством бога вы отнимаете у человека право быть хозяином своей жизни.

— Как же это мы отнимаем? Помилуйте! Пусть люди пашут землю, строят заводы, рожают детей и живут в страхе перед богом, великим и справедливым, который не допустит зла.

— В страхе... Почему вы считаете, что для людей обязательно нужна моральная плетка? Почему вам кажется, что все доброе, все хорошее человек может воспринимать только из-за страха перед какой-то всемогущей силой, а не потому, что он сам по себе сумеет понять необходимость хорошего и вредность плохого? Я педагог, и я знаю, что нельзя воспитывать детей запугиванием.

Вы через запугивание пытаетесь воспитывать людей. Вредная практика! Та же бабка Грачиха всю жизнь жила в страхе перед господом богом. Но ведь это не помогло ей стать чище, лучше, достойнее других, которые давным-давно отбросили этот страх.

— Прасковья Петровна, поведение старой и, я бы сказал, неумной женщины еще не доказывает, что люди не должны жить без веры. Вы, конечно, не будете закрывать глаза на то, что вера в бога может помочь людям верить в другие полезные дела. Хотя бы, к примеру, во время войны я поддерживал среди своих прихожан веру в победу великого русского воинства. Кстати сказать, это была не только духовная поддержка: мои верующие внесли около двухсот тысяч рублей в фонд обороны. На них, наверно, была отлита не одна пушка.

— Да, верю, польза была. Но сколько вреда тем же людям вы принесли вместе с такой пользой?

— Покорнейше прошу, объясните, что за вред?

— Я учила Варвару Гуляеву, чтоб она умела во все вникать, обо всем самостоятельно мыслить. Я хотела, чтобы она стала человеком с широким кругозором, с сознательной верой в будущее. А вы, быть может, именно в эти военные годы сумели навязать ей свою веру — слепую веру, при которой не нужно думать, не нужно рассуждать. Мир для нее стал темен и непонятен. Мы победили в войне — зачем ей, Варваре, анализировать, зачем ломать голову над вопросами, отчего да почему,— просто божья благодать. С войны в гумнищинском колхозе стало труднее жить. Как поправить положение? Опять один ответ: на то божья воля. И так во всем и всюду — умственная слепота. А от слепоты, от неизвестности появляется чисто животный страх перед жизнью. Страх перед божьим гневом, страх перед начальством, перед дождем не ко времени, перед кошкой, перебегающей дорогу. А тут еще вы вдалбливаете: терпи, ибо все от бога, будь покорной. Покорность, ленивый ум и страх — этого вполне достаточно, чтобы сделать из человека духовного раба. Хотели вы или не хотели, а создавали духовно убогих людей, моральных уродов по нашему времени. Спасибо вам за вашу маленькую пользу, но знайте: мы по достоинству оценили и вред.

Отец Дмитрий сделал неопределенное движение плечами, словно говоря: «Воля ваша, как хотите думайте...»

— Мы никого, Прасковья Петровна, не тянем к православной вере за уши,— заявил он с достоинством.— Наш долг — лишь не отворачиваться от людей.

— Если бы вы тянули за уши, тогда наш разговор был бы более простой. Вы существуете, этого уже достаточно. Но как бы вы ни притворялись, как бы вы ни успокаивали себя, что ваше добро и ваша вера с нашей сладится, все равно вы знаете: буду-

щее грозит вам тленом и забвением. Не примите это как личную обиду.

Чувственные, полные губы отца Дмитрия скорбно поджались.

— Как знать, как знать,— после недолгого молчания возразил он.— Потянулись же после войны люди к богу. Всякое может случиться впереди.

— Вот вы какие! Называете себя рыцарями добра, а сами тайком ждете больших народных несчастий. Авось они вам помогут. Не так ли?

На этот раз отец Дмитрий ничего не ответил, только покачал сокрушенно головой, отвернулся. Остаток дороги проехали молча.

Прасковья Петровна сошла у райкома партии. Отец Дмитрий натянул снятую при прощании кепку, почтительно проследил взглядом, как Прасковья Петровна, чуть сутуловатая, твердо ступающая своими тяжелыми сапогами, поднялась по крыльцу и скрылась за дверями того учреждения, в которое он никогда не имел ни нужды и ни желания заходить.

24

В районе кончался весенний сев. Райком партии был пуст, все разъехались по колхозам. В общем отделе стучали машинистки, за закрытыми дверями в пустых кабинетах яростно надрывались телефоны. В кабинете первого секретаря Ващенкова, пользуясь его отсутствием, уборщицы выставляли зимние рамы, мыли стекла.

В скупо освещенном коридоре растерянно слонялись от одной двери к другой два парня в телогрейках. Видно, приехали из какого-то отдаленного колхоза, привезли с собой кучу неотложных вопросов и теперь недоумевали, на голову какого же начальника свалить их. Каждый раз, как Прасковья Петровна проходила мимо, они провожали ее пристальными, вопрошающими взглядами.

Один только заведующий отделом пропаганды и агитации Кучин сидел на своем месте. Прасковья Петровна вошла к нему.

Кучин, держа перед собой какую-то бумажку, побывавшую, видно, не в одном засаленном кармане, кричал в телефонную трубку:

— Горючего нет?.. Вы мне этим горючим глаза не заливайте! Третьего дня пять центнеров выслано... Ах, застряла! Кто ж в этом виноват: я или господь бог? Почему трактор на выручку не бросили? Три дня чешетесь! Три дня!..

Прасковья Петровна, опустившаяся на стул, с удовольствием прислушивалась к молодому упругому голосу Кучина.

Стены кабинета в несвежей штукатурке, скромный портрет Ленина над этажеркой, забитой книгами, стол с треснувшим стеклом и плечистый молодой человек за ним, напористо занимающийся будничными, земными делами,— до последней мелочи все здесь было свое, знакомое, далекое от отца Дмитрия, Грачихи, пьяного Кинди, угрожавшего ей утром.

Кучин бросил трубку, облегченно вздохнул:

— Из-за дорог, того и гляди, завалим сев. Там горючего нет, тут семенной материал застрял! Здравствуйте, Прасковья Петровна! Какой ветерок к нам прибил?

Прасковья Петровна только собралась объяснить, что за «ветерок» занес ее в этот кабинет, как снова зазвонил телефон, и ей снова пришлось долго ждать, пока Кучин с той же напористостью объяснял кому-то, что райком партии не занимается распределением льносемян, что надо обращаться к товарищу Долгоаршинному, что он, Кучин, вполне согласен, Долгоаршинный — жук, каких мало, всегда норовит «голый камушек яичком сварить», пора бы, пожалуй, потрясти его на бюро и т. д. и т. п.

Наконец оба, боязливо косясь на телефон, заговорили.

Прасковья Петровна была одним из тех немногих почтенных людей в районе, фамилии которых употребляются не иначе как с эпитетами «старейший», «заслуженный», тех, чьи фотографии перед каждым праздником украшали райисполкомовскую Доску почета, кого на собраниях обязательно усаживали в президиум. Поэтому Кучин сейчас слушал ее с особым вниманием, с подчеркнутой почтительностью.

Это был плечистый, высокий парень с буйной шевелюрой, с крепкой красной шеей и открытым лицом, от которого несло простодушным здоровьем. Узкий канцелярский стол был для него тесен, трудно было ему держать в чинной неподвижности свои большие, сильные руки, трудно сидеть не двигаясь, слушать, а не говорить, не доказывать кому бы то ни было правду-матку своим упругим голосом. Его глаза с теплой, какой-то домашней рыжеватинкой выдавали приглушенную энергию, весело стреляли то в Прасковью Петровну, то на разложенные на столе бумаги, то в окно.

Но по мере того как Прасковья Петровна объясняла, простодушное лицо Кучина окрепло, под подбородком у шеи собрались упрямые складки, рыжеватые радушные глаза потемнели.

— Эк! — с досадой крякнул он и так распрямился, что стул заверещал под ним птичьими голосами.— Мало забот у Настасьи, так новые напасти!.. Хотите верьте, хотите нет, нам обычный доклад по международному положению сделать некогда, все время

съедают горючее для тракторов, овес для лошадей, заботы вплоть до божьего солнышка.

— Для этого время должны найти.

И Кучин задумался, энергично растирая ладонью щеку, морщась от собственных мыслей.

— М-да... Дело не во времени. Когда мы говорим: надо поднять урожайность,— плохо ли, хорошо, мы знаем как. Удобрения, своевременные прополки, культивация — словом, есть целая агрономическая наука с точными указаниями, что делать, как поступать. Но вот говорят: разверните антирелигиозную пропаганду. Как ее развернуть? Начать высылать лектора за лектором, которые бы объясняли, будет ли конец мира? Во-первых, на такие лекции ходят обычно неверующие. Во-вторых, если верующие и придут, то одними лекциями их не вылечишь.

— Так почему же вас не беспокоит такая беспомощность? Вы заведующий отделом пропаганды и агитации, вы партийный просветитель в районе, почему я до сих пор не слышала вашего тревожного голоса? Почему вы занимаетесь горючим, овсом или, как там сказали, заботами о солнышке и забываете позаботиться о самом важном: о сознании людей?

Прасковья Петровна исподлобья глядела на Кучина, а тот, под ее взглядом утративший свою жизнерадостность, как-то сразу заметно отяжелевший, с крепко сжатым ртом, в углах которого появились жесткие складки, слушал, навалившись на край стола широкой грудью.

— Про сознание людей мы не забываем. А если и забудем, то нам напоминают, иной раз довольно чувствительно,— заговорил он.— В Ухтомском районе кучка стариков и старух потянула за собой молодежь на крестный ход в честь какой-то там старо- или новоявленной святой. Кому попало? Виновникам? Нет, они все здравствуют в полном благополучии. Попало секретарю райкома, попало такому, как я, заведующему отделом пропаганды.

— Правильно попало.

— Видимо, правильно, спорить не приходится. Только все же надо помнить, что здесь, в райкоме, сидят обыкновенные люди, а не какие-нибудь чудотворцы. Тысячу лет на Руси людям вдалбливали сказки о боге. Тысячу лет! А вы пришли и требуете: ну-ка, товарищ Кучин, партийный просветитель, пошевели мозгами, найди волшебный способ, чтоб вся тысячелетняя муть о царствии небесном в два счета выветрилась из голов верующих, чтобы стали они чистыми, как стеклышко!

— А кто от вас требует делать это в два счета? Вы, я помню, на своем месте сидите уже четвертый год, до вас занимал Климков ваш кабинет, до Климкова еще кто-то... Разве тогда менее остро стояли эти вопросы? Чем вы можете похвалиться? Чего вы добились?

— Добились многого. В те годы, когда Климков сидел здесь, колхозники получали на трудодень по триста граммов хлеба, теперь те же колхозники получают впятеро больше.

— Я вам про Фому, а вы мне про Ерему. При чем тут хлеб?

— А при том, что хлеб, овес, горючее — все это своего рода борьба с религией. И вы сами прекрасно понимаете. Старые приемчики борьбы — схватить попа за бороду да вытряхнуть его из храма — давным-давно осуждены как вредные. Теперь мы идем в наступление на религию не лобовой атакой, а медленным, постепенным натиском. Нельзя за год, за два, даже за десятилетия уничтожить то, что врастало тысячелетиями. Столетнее дерево не сшибешь ударом кулака, его нужно подкапывать снизу, с корней.

— Общие фразы.

— Нет, мы теперь меньше всего произносим фраз по поводу религии. Нужно добиться, чтоб самая последняя старуха верила не всевышнему, а нам. Для этого мы должны доказать, на что мы способны. Доказать на деле. Сначала кусок мяса в щах, добротная одежда к зиме, затем радиоприемник, электричество, книги, кинокартины. Вот наши доказательства, и против них не устоит господь бог. Во многих местах он уже спасовал. Поищите-ка верующих в колхозе Гриднева! Может быть, какая-нибудь древняя бабка молится в своем углу втихомолку. Исчезли у них пьяные престольные праздники. Отчего? Да оттого, что в председателя колхоза Гриднева больше верят, чем в благодать с неба... Вся беда, что Гридневых у нас в районе не густо. Потом другая сторона. Вы ждете от нас помощи, а мы ее ждем от вас. Таких, как вы, Прасковья Петровна, по нашим деревням и селам разбросаны сотни: учителя, агрономы, врачи. Нас в райкоме единицы, вас армия. Почему бездействуете? Легче всего надеяться, что ветерок из райкома разгонит тучи.

— Кто-то должен поднять эти сотни. Скажите нам — пора! И мы поднимемся. Может быть, не все сразу, но многие зашевелятся.

— Команды ждете. А эти старухи, наверное, не ждали команды, когда слетались к чудотворной. Надо, чтоб антирелигиозная пропаганда стала неотъемлемой частицей совести каждого мало-мальски культурного человека.

— Приятные речи приятно и слушать,— мрачно согласилась Прасковья Петровна.— Но что делать нам сейчас? Что делать с Родей Гуляевым? Ведь я, его учительница, не могу же успокоиться разговорами о постепенном наступлении на религию?

Кучин сидел, большой, нахохлившийся, глядел на свои крупные руки, выброшенные на стол.

— Тут я вижу только один выход. Надо этого мальчика как-то очень осторожно отделить от родителей. На время, пока у тех не пройдет угар. А там мы найдем возможность поговорить и образумить если не старуху, которую, видно, одна могила исправит, то хоть мать. Только как это сделать? В этом вы, Прасковья Петровна, должны нам посоветовать. Вы рядом с ними живете, вы должны знать обстановку.

Прасковья Петровна задумчиво вертела в руках тяжелое пресс-папье, без нужды внимательно его разглядывала, долго не отвечала. Кучин следил за ней со сдержанным беспокойством.

— Я бы могла взять на время мальчика к себе.

— Если это нетрудно...

— Мне-то нетрудно. Только его бабка и его мать поднимут шум, будут устраивать скандал за скандалом, чего доброго, через суд начнут требовать сына.

— Это было бы хорошо! — Кучин с треском заворочался на своем стуле, глаза повеселели, прежняя энергия вернулась к нему.— Пусть бы требовали через суд! Дело получило бы огласку, привлекло бы общее внимание. Разгорелся бы бой в открытую.

— И все-таки успеют на меня вылить не одно ведро грязи.

— Не посмеют. Все эти поклонники господа действуют только исподтишка. Ваш новый знакомый, как его, отец Дмитрий, первый бросится утихомиривать родителей мальчика. Для него любой общественный шум как солнечный свет для крота. Берите к себе вашего ученика, Прасковья Петровна. А мы со своей стороны комсомольские организации на ноги поднимем, нашу районную газету попросим вмешаться...

Прасковья Петровна встала со своего стула:

— Так и сделаю.

Поднялся и Кучин, высокий, под потолок, с выпуклой грудью, туго перетянутый ремнем по суконной рубашке. Его открытое лицо по-мальчишески сияло: пусть частный, пусть временный выход, но все-таки что-то нашли, на что-то решились.

В дверях Прасковья Петровна столкнулась с теми парнями, которые бродили по коридорам. Они скрылись в кабинете, и оттуда послышался напористый голос Кучина:

— Ребята, милые! Я ж вам говорил: не в моих силах достать транспорт! Понимаю, понимаю вас! Ну хорошо, давайте позвоним Егорову...

25

В Гумнищи Прасковья Петровна вошла ночью. Устало брела темными улочками к своему дому мимо закрытых калиток, из-за которых на ее шаги сонно лаяли собаки.

Около сельсовета лампочка в жестяном абажуре тускло освещала выщербленный булыжник. Рядом на столбе висел ржавый вагонный буфер. Ночной сторож Степа Казачок обычно отбивал на нем часы. Самого Казачка нигде не видно, спит, верно, дома. Да и то, чего сторожить? Давно уже не слышно, чтобы кто-нибудь покушался на покой гумнищинских обитателей.

Прасковья Петровна снова углубилась в темную улочку.

Неожиданно она услышала быстрые, легкие шажки и прерывистое дыхание — кто-то бежал ей навстречу. Маленький человек чуть не ударился головой ей в живот.

— Кто это? — спросила Прасковья Петровна.

— Это я...

Прасковья Петровна узнала Васю Орехова.

— Ты что в такой поздний час бегаешь?

— Пр... Прасковья Петровна...— задыхался он.— Родь... Родька в реку... бро... бросился!..

— Как — бросился?

— Топ... топиться из дому побег!.. Его сейчас Степан... Степан-сторож несет... Это я Степана-то позвал.

— Ну-ка, веди! Да рассказывай толком.

Прасковья Петровна взяла за плечо Ваську, повернула, легонько толкнула вперед. Васька побежал рядом с нею, подпрыгивая, заговорил:

— Он вечером ко мне прибежал...

— Кто он?

— Родька-то... Прибегает и говорит: «Я, Васька, говорит, дома жить не буду. Сбегу!.. Я, говорит, сперва эту икону чудотворную расколочу на мелкие щепочки... Ты, говорит, мамке своей не болтай, а я к тебе ночью приду, на повети в сене спать буду». Я сказал: «Спи, мне не жалко, я тебе половиков притащу, чтоб накрыться...» Холодно же!.. Он ушел. А я сидел, сидел, ждал, ждал, потом дай, думаю, взгляну, что у Родьки дома делается, почему долго его нет. Мамка к Пелагее Фоминишне за закваской ушла, а я к Родькиному дому. Подбежал, слышу, кричат. И громко так, за оградой слышно. Я через огород-то перелез да к окну... Ой, Прасковья Петровна! Родька-то на полу валяется, в крови весь, а она его доской, доской, да не плашмя, а ребром!

— Кто она?

— Да бабка-то... Доской... Родька-то икону расколотил, так от этой иконы половинкой прямо по голове.

— А мать его где была?

— Да мать-то тут стоит. Плачет, щеки царапает... Стоит и плачет, потом как бросится на бабку. И начали они!.. Родькина-то мамка бабку за волосы, а бабка опять доской, доской... Родька тут как вскочит — и в дверь. Я отскочить от окна не успел, гляжу, он уже за огородец перепрыгнул. Я за ним. Сперва тихо кричу — он бежит. Пошумней зову: «Родька, Родька!» Он из села да на луг. Уж очень быстро, не успеваю никак... Потом понял: он ведь к реке бежит, прямо к Пантюхину омуту. Я испугался да обратно. Хотел мамке все рассказать. А мамки дома нету, у Пелагеи сидит... Я на улицу, смотрю, Степан Казачок идет часы отбивать. Я ему сказал, что Родька Гуляев к реке побежал, его бабка поколотила. Дедка-то Степан послушный. «Пойдем, говорит, показывай, куда побежал...»

— Вытащили?

— Да нет... Никого на берегу не видно. Вода-то тихая. Стали кричать, никто не откликается, искали, до Летнего брода дошли, обратно повернули. Ну, нет никого, и все. А ночью под водой разве увидишь...

— И где же нашли?

— Услышали: что-то под берегом поплескивает. Заглянули под обрыв, а там темнеется... Родька-то наполовину из воды вылез и лежит на берегу весь мокрехонек. Прыгнуть-то, видать, прыгнул, а утонуть не смог — выплыл. Он лучше Пашки Горбунова плавает... Весь мокрехонек, голова ледяная аж... Стали его поднимать, а его вытошнило. Степан говорит: «Нахлебался парень...»

— Где же они?

— Степан-то — старик, сил мало. А Родька на ногах не стоит и глаз не открывает...

Они не успели выйти из села, как впереди замаячила темная фигура.

— Дедко Степан! — окликнул негромко Васька.

— Ох, батюшки! Привел-таки...— раздалось впереди старческое кряхтенье.

Прасковья Петровна, опередив Ваську, подбежала к нему:

— Жив?

— Голос недавно подавал, выходит, жив... Ох, тяжеленек парень! Ни рукой, ни ногой не шевельнет, виснет, как куль с песком.

В темноте можно было разглядеть свесившуюся голову, бледным пятном — словно все черты стерты — лицо. От его одежды тянуло вызывающим озноб глубинным речным холодком.

— Дай-ка возьму за плечи.— Прасковья Петровна осторожно просунула свои руки под мышки Родьке.— В одной рубашонке выскочил... Несем ко мне!

Степан, держа Родькины ноги, двинулся, спотыкаясь и приговаривая:

— Вот они какие, дела-то!.. Беда чистая!..

Прасковья Петровна сорвала со стола клеенку, набросила на кровать, уложила мокрого Родьку.

На плечах сквозь прилипшую к телу рубашку просвечивала кровь, грудь рубашки была запачкана грязью, в слипшихся на лбу волосах песок, все лицо, что лоб, что губы, ровного зеленоватого цвета. Прасковья Петровна протянула руку, чтобы снять грязь со щеки, и тут же быстро отдернула ее — грязный сгусток на щеке оказался спекшейся раной.

— Степан, ты не уходи: поможешь мне раздеть,— принялась командовать Прасковья Петровна.— Вася, беги к Трофиму Алексеевичу. Быстренько, родной, быстренько! — И не удержалась, выругалась негромко: — Животные! Довели мальчишку!

Вместо Трофима Алексеевича, гумнищинского фельдшера, минут через сорок появился с Васькой председатель колхоза Иван Макарович.

— В Загарье наш медик. У них совещание в райздраве. Загостился,— сообщил он громким голосом, но, взглянув на Прасковью Петровну, осекся, спросил тихо и серьезно: — Что тут стряслось? Парнишка, чуть не плача, на меня набросился. Утопился, говорит...

В своем неизменном бушлатике, в мичманке, сбитой на затылок, пахнущий махоркой и ночной свежестью, Иван Макарович, неуклюже ступая на скрипучие половицы, подошел к кровати, сосредоточенно выслушал Прасковью Петровну.

— Ну и ну, выкинули с парнем коленце! То, что карга старая ополоумела, дива нет. Но как эта дуреха Варвара допустила?

— Как допустила? — переспросила Прасковья Петровна.— Кому это и знать, как не тебе! Не под моим, а под твоим присмотром Варвара живет.

— Я-то при чем тут? У меня и без того дел по горло. Слежу, как службу ломает в колхозе, а чтоб еще от святых угодников оберегать... Нет уж, не по моей специальности.

— То-то и оно. Лишь с одной стороны на человека смотрите, как он службу ломает.

Иван Макарович не ответил, стряхнув задумчивость, неожиданно закипел в бурной деятельности:

— Степан!.. Нет, лучше ты, малый. У тебя ноги молодые. Лети, браток, на конюшню, там Матвей Дерюгин дежурит. Скажи, чтоб Ласточку запрягал. Да сена побольше пусть подкинет, да не раскачивается пусть и не чешется! Через десять минут чтоб здесь, у крыльца, подвода стояла! Парня в больницу повезем... Стой! По дороге стукни в окно к Верке-продавщице. Пошибче

стучи: спать здорова баба. Крикни, пусть сюда поллитровочку принесет. Иван, мол, Макарович велел. Парня надо водкой растереть, чтоб после холоду кровь заиграла.

— Когда же она это успеет, пока в магазин ходит да пока открывает...— посомневался Степан Казачок.

— Эх, ты, век прожил, а жизни не знаешь! Такой товар Верка всегда про запас дома держит...

Прасковья Петровна, следившая за председателем, чувствовала, что он сейчас излишне шумлив и напорист, видно, его задело за живое, теперь хоть чем-нибудь да пытается оправдаться.

— Ну, чего уши развесил? — крикнул Иван Макарович на Ваську.— Выполняй приказ! Ноги в руки, полный вперед!

Бросившийся сломя голову к дверям Васька вдруг отскочил назад. Через порог перешагнула Варвара, растрепанная, простоволосая, со страдальческой синевой под глазами. Она остановилась у порога, обвела всех бессмысленным взглядом. Степан Казачок виновато переминался в своем углу, Прасковья Петровна выжидательно уставилась исподлобья, Иван Макарович весь подобрался.

— Родьку моего не видели? — робко выдавила Варвара.

Иван Макарович шагнул на нее:

— Родьку? А на что он тебе? Снова на святых угодников менять?

И тут только взгляд Варвары упал на кровать. На похудевшем лице Родьки, на лбу и щеках расцвели вишневые пятна.

Варвара опустилась на пол, вцепилась руками в волосы, закачалась телом и сдавленно замычала. И в этом сквозь стиснутые зубы мычании, в исказившемся лице, в прижатых к вискам кулаках, в медленном раскачивании было такое истошное горе, что Иван Макарович беспомощно оглянулся на Прасковью Петровну.

Варвару, уткнувшую в ладони лицо, усадили на стул. Иван Макарович, повинуясь взгляду Прасковьи Петровны, осторожно ступая по половицам, принес ковш воды. Прасковья Петровна села напротив.

— Выпей и успокойся,— приказала она.— Сына твоего мы сейчас увезем в больницу. Не пугайся — поправится.

Варвара припала распухшими губами к ковшу.

— Но слушай,— продолжала Прасковья Петровна,— я этого оставить так не могу. Пока в твоем доме будет жить твоя мать, я Родиона к вам не пущу. Слышишь, они не должны жить вместе. Если и ты не одумаешься, и тебе не отдам сына. Понимаю, все сложно, все трудно, все тяжело, но сделать нужно. Нельзя калечить жизнь Роди. Будете препятствовать — дойду до суда.

Варвара снова залилась слезами.

26

В избу сквозь наглухо закрытые окна неприметно влился робкий рассвет. Стала отчетливо видна не только спинка кровати, но и фотографии, веером висящие на выцветших обоях, и щели на потолке.

Варвара после того, как пришла от Прасковьи Петровны, не сомкнула глаз. Она лежала на спине и думала.

Как всегда, ее мысли забегали вперед, в завтрашний день. Как всегда, этот день пугал ее. Раньше, чтоб прожить его покойно, без всяких случайностей, она просила помощи у бога, шептала молитвы: спаси, боже, помоги от напастей. Она верила в эту помощь, в надежде на нее ей становилось легче жить.

Ох, Родька, Родька! А вдруг да не выживет, вдруг да — страшно подумать — умрет в больнице!.. Прасковья Петровна говорит, что не опасно, Иван Макарович лучшую лошадь снарядил, сам поехал, обещал, что с постели подымет самого Трещинова. К доктору Трещинову из соседних районов ездят лечиться... Дай-то бог! Утром до школы опять надо пойти к Прасковье Петровне, пусть посоветует, как жить дальше. Она и сама теперь понимает: Родьке с бабкой не поладить. Крута мать, не забудет икону. Будь трижды проклята эта икона!.. Это сказать легко: Родьку от старухи отделить. Пусть Прасковья Петровна поможет, Ивана Макаровича тоже надо попросить... Сообща-то что-нибудь придумают...

Все сильней и сильней сквозь мутные окна сочился рассвет. За стеной над карнизом завозились воробьи. Варвара лежала лицом вверх, остановившимися глазами глядела в потолок. Она сама не замечала, что сейчас, забегая мыслями вперед, в наступающий новый день, искала помощи уже не у бога, а у людей.

На воле из конца в конец по селу прокричали петухи. За дощатой переборкой зашевелилась старуха. Слышно было, как, вздыхая, легонько пооxивая, спустилась она с полатей, половицы заскрипели под ее босыми ногами. Вот она стукнулась костлявыми коленями об пол, забормотала... Старая Грачиха начала свой день, как всегда, с молитвы.

Варваре все известно наперед. Если она скажет матери, что будет советоваться, просить помощи у Прасковьи Петровны и у Ивана Макаровича, наверняка старуха начнет поносить их: «Они такие, они сякие... Учительша, мол, жалованье не за то получает, чтоб чужих из беды выручать. Мы для них седьмая вода на киселе, за спасибо-то не больно люди торозаты...» И, уж конечно, один припев: молись! Почему она всю жизнь ее, Варвару, отпугивает от людей? Почему считает, что никому, кроме бога, нельзя доверять? Разве можно жить так дальше? Родька-то

не понимал всего; теперь и он учен. Ох, бедная головушка! В такие-то годы да попасть в беду!.. И в какую беду! Она, Варвара, мало ли, много, а уже успела пожить, и то у нее голова кругом пошла от напастей. Не знаешь, чью сторону принять: старухи матери или добрых людей? Нет, трудно с матерью оставаться под одной крышей! А как расстаться? Жили семьей — одни заботы, одно хозяйство...

Старуха, снова поскрипывая половицами, заходила по соседней комнате. Она показалась в дверях — взлохмаченная, в одной ветхой рубахе, с жилистыми темными руками, обнаженными по самые плечи, заметила пошевелившуюся Варвару.

— Не спишь?.. В Загарье я собираюсь,— сообщила она.

Варвара не ответила. Старуха скользнула по ней бегающим, виноватым взглядом.

— Ладно, чего там... Авось бог милостив, все обойдется. Я нашему сорванцу-то гостинчиков свезу. Небось и у меня за вчерашнее-то сердце болит.

Варвара с трудом оторвала голову от подушки, тяжело поднялась, села на кровати. Она представила себе, как у койки больного и без того издерганного Родьки появится бабка, одним своим видом уничтожит покой, мало того, начнет свои уговоры: «Бога обидел, неслух... В грех ввел...» Опять бередить душу парню! Хватит!

— Не езди к нему,— сказала глухо Варвара.

— Чего так — не езди?

— А так... Не хочу.

— Ужель тебя спрашивать буду? Не чужая ему. Внук он мне, не по задворью знакомы.

— Слушай, мать.— Голос Варвары зазвучал непривычными для нее нотками скрытой озлобленности и решительности.— Давай договоримся подобру-поздорову...

— О чем это нам договариваться-то?

— А о том, как бы жить врозь. Я с Родькой, ты сама по себе.

У старухи гневной обидой заблестели глаза, по углам плотно сжатого рта резче обозначились морщины. Секунду молча она оторопело глядела на дочь.

— Свихнулась, Варька?

— Видать, свихнулась... и давно, коль тебя во всем слушалась!

— Вскормила, вспоила тебя, стара стала — не нужна... Меня же обидели... Да какое там — бога в доме обидели! Волчонок-то до чего додумался — святую икону топором!

— Молчи!

— Так я тебе и замолчала! Как же!.. За то, что за господа заступилась, мне подарочек. Опомнись, греховная твоя душа! Подумай-ка, на какие слова твой язык повернулся! Жить врозь!

Да вы с ним подохнете вдвоем! Я на вас, как лошадь, ворочала! Вот она, благодарность-то на старости лет!..

— Если по добру все уладим, и ты жить будешь, и мы...

— По добру?! Да где у вас, у нынешних, добро-то? Что душа Кощеева, спрятано оно у вас за тридевятью замками, не доберешься. Старуху мать из дома выгнать на улицу — вот оно, ваше добро! А нет, не выгоните! Дом-то мой! Я с покойничком отцом твоим, царство ему небесное, строила, каждое бревнышко своим горбом перепробовала...

— Живи в своем доме, я уйду.

— Дождалась я! Господи! За какие прегрешения меня наказываешь? Дочь родная отрекается! Выпестовала иуду на свою голову!..

Старуха перешла на крик.

Крыша дома напротив розово осветилась от разгоравшейся зари. В свежести утра завозились воробьи, их суматошные голоса хлынули разом, как внезапный веселый дождь с крыш.

В доме же Варвары Гуляевой утро начиналось со скандала. И чем сильней этот скандал разгорался, тем больше крепло решение Варвары: под одной крышей жить нельзя!

Под вечер того же дня Прасковья Петровна, возвращаясь из школы, увидела перед своим домом лошадь с белой проточиной, запряженную в знакомую пролетку. С крыльца навстречу ей поднялся отец Дмитрий.

— Здравствуйте, Прасковья Петровна. Прошу не удивляться, я к вам на минутку по делу. Если вы не против, присядемте прямо здесь.

Оба они опустились на ступеньки крыльца. Отец Дмитрий некоторое время прощупывал учительницу спокойным взглядом выцветших глаз, наконец заговорил:

— Я глубоко удручен тем несчастьем, которое случилось вчера. Поверьте, по-человечески удручен...

— Вы только за этим приехали, чтоб выразить мне свое соболезнование? — спросила Прасковья Петровна.

— Нет. Я слышал, вы собираетесь подавать в суд на старуху, избившую своего внука. Воля ваша, но стоит ли поднимать шум и трескотню? Достаточен ли повод? Старая, выжившая из ума женщина предстанет перед законом за то, что устроила семейный скандал. Да и мальчик, хоть и получил некоторое потрясение, все же теперь находится вне всякой опасности...

— Вы боитесь этого шума?

— Не скрою, он мне большого удовольствия не доставит... Я попытаюсь уладить осложнившиеся дела в доме потерпевшего мальчика. Дочь и мать, как недавно я узнал, не желают

жить вместе. Но стоит вопрос: как разойтись, куда девать старуху? Я могу забрать ее из Гумнищ, устроить при храме уборщицей...

— С одним условием, не так ли?

— Увы, да. Не возбуждать судебного дела.

Отец Дмитрий, склонив на плечо свою крупную голову, вежливо ждал ответа, чистенький, приличный, мягкий, ничем не выдающий ни волнения, ни нетерпения.

— Значит, верно сказал мне вчера один человек,— заговорила Прасковья Петровна,— что огласка для вас как солнечный свет кроту.

— Публичное поношение никому не доставляет удовольствия.

— Нет, отец Дмитрий, людского осуждения боятся только те, у кого нечиста совесть. Разрешите мне действовать по своему усмотрению. Семейные же дела Варвары Гуляевой мы как-нибудь общими усилиями уладим.

Прасковья Петровна поднялась со ступеньки.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПОВЕСТЬ

В этой повести затрагиваются вопросы веры.

«Отрицать, верить и сомневаться так же свойственно человеку, как бегать лошади»,— сказал некогда Блез Паскаль, великий ученый и неистовый, до ханжества, религиозник. Но в данном случае он прав — да, свойственно и отрицать, и верить, и сомневаться. Тут как бы проявляется единство противоположностей духовного мира человека.

Как правило, процесс познания начинается с допущения: это должно быть так. Должно! Доказательств прямых пока нет. Есть определенная вера, рожденная весьма неопределенными причинами. Процесс познания начинается с веры.

Прежде чем Леверье открыл «на кончике пера» планету Нептун, он наверняка пережил момент, когда достаточных доказательств и логических заключений еще не было, но идея существования новой планеты уже возникла,— момент умозрительной веры, иначе не назовешь. И как только вера возникла, Леверье пришлось мысленно стать к ней в оппозицию, поставить под сомнение свою идею — а так ли, не ошибался ли я? Сомнения толкнули к поискам доказательств. Сначала вера, затем сомнения, наконец, доказательства — такова последовательность мышления. И вера его в первоначальный этап. Леверье доказал, что его исходная вера оказалась безошибочной, а вот Майкельсон и Морли, верившие в существование всемирного эфира, своими опытами опровергли эфирную теорию. В науке вера преходяща.

Религия же возводит веру в абсолют: верь в определенные постулаты и догматы и не допускай каких-либо сомнений даже тогда, когда это противоречит логике и наглядной действительности. Вера, говорит известный религиозный философ Вл. Соловьев, «превышает силу внешних фактических и формально-логических доказательств». Поверь и на этом остановись, ограничь свое мышление первоначальным этапом. Может ли это не тормозить развитие человека, не подрывать его жизнедеятельность? Было время — религия играла даже прогрессивную роль, но давно она стала по своей сути античеловечна, какими бы внешне гуманными догматами и ни украшала себя.

Читателю остается лишь познакомиться с частным случаем современной религиозности, описанным в повести.

I

Шел один из покойных периодов моей жизни. Работа, которой я отдавал все силы, казалось, была идеально налажена, люди, которыми я руководил, любили меня (и не совру — искренне), даже больное сердце — мой давнишний враг — не особенно беспокоило. Прекрасное время: пришла старость, но силы пока что имеются, а тщеславие давно уже не тревожит — не надо большего, хватит того, что есть полное равновесие. Наверное, на пенсии о такой поре не раз вспомнишь со вздохом сожаления.

Вот уже двадцать лет, как я директор средней школы в нашем маленьком городе. А до этого учительствовал и здесь, и по разным селам. У меня почти сорокалетний педагогический стаж, звание заслуженного учителя...

Утром обычно иду в школу в тот час, когда все спешат на работу. Утро для меня — своего рода путешествие в прошлое: почти через каждые десять шагов встречается мой бывший ученик, здоровается со мной.

Никто не замечает так ощутимо смену поколений, никто не чувствует с такой остротой непреклонное движение времени, как учитель.

Навстречу шагает мужчина. Он не уступает мне в толщине и солидности. Он поглядывает на встречных несколько свысока, как человек, занявший прочное место в жизни. Но едва замечает меня, как сразу же поспешно приветствует:

— Анатолий Матвеевич, доброе утро!

— Доброе утро, Вася,— улыбкой на улыбку отвечаю я.

Это Василий Семенович Лопатин, заведующий районным отделением Госбанка. Я помню его тонким, вертлявым пареньком, со вздыбленным вихорком, что в просторечии зовется коровьим зализом. У него тогда было два друга — Генка Петухов и Алеша Бурковский. Их так и звали — три мушкетера. Алеша Бурковский — профессор-хирург, получил известность на пластических операциях мышечных тканей, написал книгу, прислал ее мне в подарок. Я даже набрался храбрости и принялся ее читать — как-никак любопытно, чем живет бывший питомец,— но, увы, ничего толком не понял, заснул на пятой странице. Генка Петухов, атаман этой троицы, погиб во время войны. Погиб нелепо, при бомбежке эшелона, не доехав до фронта.

— Здравствуйте, Анатолий Матвеевич!

Тоже ученик — Яков Коротков. Он, как всегда, небрит, глядит исподлобья — резиновые сапоги, топор на плече. Работает теперь плотником. Когда-то играл первых любовников в кружке школьной самодеятельности, читал замогильным голосом Шекспира: «Быть или не быть — вот в чем вопрос!» Мечтал стать артистом,

но женился, пошли дети... Какое-то время еще появлялся на сцене районного дома культуры, становился в позу Гамлета: «Быть или не быть!..» Зато Саша Коротков, его сын, обещает стать незаурядным человеком. Учителя физики и математики в смущении разводят руками — парнишка знает больше их. Специальные работы, состоящие сплошь из формул, читает с увлечением, словно романы Дюма-отца.

— Здравствуйте, Анатолий Матвеевич!

— Здравствуйте,— киваю я.— Доброе утро! Здравствуйте!..

И при каждом «здравствуйте» встает прошлое — то далекое, то свежее, отдаленное от этого утра годом, другим; не понять, радость или грусть доставляют эти щедрые и доброжелательные приветствия. Скорей всего то и другое вместе.

Шел один из покойных периодов моей жизни. Неожиданный случай оборвал его.

2

Ко мне в директорский кабинет ворвалась десятиклассница Тося Лубкова. С силой отбросила дверь, лицо красное, распухшее от слез.

— Подлость! Все одинаковы!.. Все!!

При каждом слове с ног до головы содрогается, сквозь слезы глядят круглые злые глаза, волосы растрепаны, плечами, грудью подалась на меня — и это Тося Лубкова, неприметная из неприметных, самая робкая, самая тихая из учениц.

— Ни одного доброго человека во всей школе! Не-на-вижу!

— Сядь! Расскажи толком.

— Что рассказывать!.. Без меня расскажут... Донесут...

Голос сорвался, стиснутыми кулаками сжала виски, разметав волосы, рывком повернулась к дверям. Но в это время двери раскрылись, и Тося, передернувшись (по спине почувствовал почти животное отвращение), отскочила, свалилась на диван, уткнулась мокрым лицом в руки, плечи затряслись от рыданий.

За порог переступил Саша Коротков. Долговязый, узкоплечий, с тонкой шеей, словно жиденький дубок, выросший в тени. Сейчас он весь как струна, тронь — зазвенит. Лицо же суровое, в глазах плещет гнев.

— Что случилось?

— Вот.— Саша протянул мне толстую тетрадь.

— Что это?

— Дневник.

— Какой дневник? Чей?

— Ее.

— Тоси?

С дивана, где лежала Тося, донесся стон. Я недоуменно вертел в руках тетрадь.

— Как он к тебе попал?

— Под партой нашел.

— И что же?

— Я открыл...

— Чужой дневник?

— Так я не знал, что это ее дневник. Вообще не знал, что такое...

— Ну?

— Тут, Анатолий Матвеевич, такое написано!.. Я сразу собрал ребят — комсомольцев и...

— И прочитал им чужой дневник?

— Анатолий Матвеевич! — Шея Саши Короткова вытянулась еще сильней, в глазах сухой блеск, в голосе обида на меня.— Вы прочитайте — поймете: мимо пройти нельзя!..

— Я не привык читать чужие дневники.

Тося вскочила с дивана, запустив пальцы в волосы, закричала:

— Читайте! Все читайте!.. Все равно мне!.. Не стыжусь!..

Она рванулась к двери, хлопнула. На моем столе чернильница прозвенела металлической крышкой.

Впервые за много лет я почувствовал растерянность перед своими учениками.

Знаю всех учеников, тем более десятиклассников — школьных ветеранов. Знал, казалось, и Тосю Лубкову. Не далее, как вчера, присутствовал на уроке в десятом классе, слышал ее ответ у доски. Невысокая, с легкой склонностью к полноте, черты лица неопределенные, размытые, движения связанные, словно в стареньком платьице ей тесно, во всем теле — вяловатая девичья истома. Вдруг — какая там вялость! — бунт: «Подлость! Ненавижу!» И это брошено мне в лицо, мне, директору!

Саша Коротков глядит требовательно, возмущен, не сомневается в своей правоте.

— Разберусь. Иди. Поговорим потом.

Саша переступил с ноги на ногу, хотел, видно, возразить, но раздумал. Когда он открывал дверь, я увидел, что за ней тесно толпятся ребята, должно быть те, кому Саша прочитал дневник. При виде Саши раздались приглушенные возгласы:

— Ну что?

— Как?

— Что сказал?

Дверь захлопнулась, я остался один.

3

Дневник перестал быть секретом, выглядело бы ханжеством с моей стороны, если б я стыдливо от него отвернулся.

Обычная тетрадь, в коленкоровом переплете, наполовину исписанная крупным, аккуратным девичьим почерком. Открываю ее...

«Без веры жить нельзя. Человек должен верить в Добро и Справедливость! Но Добро и Справедливость — вещи абстрактные, их трудно представить наглядно. Я не могу представить себе число 5, но когда мне говорят: «Пять тетрадей, пять булавок» — я сразу же себе представляю. Булавки, тетради могут быть для меня формой цифры 5. Бог есть форма для Добра и Справедливости. И если я верю в Добро, должна верить в Бога...»

«Если даже Бога нет, то его должны выдумать и носить в душе...»

«Я с Ниной сижу на одной парте, знаю ее вот уже пять лет. Кажется, хорошо знаю! Подруга ли она мне?.. Меня она, наверное, считает подругой. Позавчера шли вместе из школы, и Нина мне призналась, что любит А. Если б я любила кого-то, наверное, никогда никому не сказала бы об этом. Никому. Нине тоже... Если б любила, но не люблю, не люблю, не люблю, а хочу полюбить! Я и некрасивая, и не умная, я обычная, а любят особенных, не представляю, кому я могу понравиться».

«...Ходила на танцы, ко мне подошел киномеханик Пашка Голубев, танцевал, обнимал, а рука дрожит. Не нравятся мне танцы, сборища, многолюдье... До дому шла вместе с Ниной. Я, кажется, ее ненавижу за то, что она красивая. Как это дурно! Я всегда думаю и поступаю так, что потом становится стыдно за себя. Если Нинка не подруга, то у меня совсем нет подруг. Некому рассказать о себе, да и рассказывать нечего. Если только жаловаться: страшно жить без любви! Кто поймет, кому нужно?..»

«...Но кому-то я нужна, для чего-то я родилась! Неужели случайно, без цели, без пользы появилась на свет Тося Лубкова? Просто так родилась пятого августа 1942 года, проживет лет шестьдесят, семьдесят и умрет, исчезнет навсегда. Тетя С. верит, что человек не исчезает и после смерти, самое главное в нем — душа — живет всегда. Как бы мне легко было жить с такой верой».

«...Если я вечная, если я бессмертная, то какие пустяки, что я некрасивая, что идет время, а любви нет. Временное — значит, не важное. Нет веры во мне, а без веры жить нельзя!..»

«...Человеку приложили к телу бумажку и внушили ему, что это раскаленное железо. У человека на теле появилась краснота, как от ожога. Дух, который вошел в человека, вызвал ожог. Значит, дух может стать силой, может оставлять следы. *Значит, Он существует!* Тогда почему люди не верят в Бога? Почему?..»

«...Я опять сегодня пошла к С. Она простая женщина и никогда ни над чем не задумывается, как я задумываюсь. Она просто

верит и не сомневается. А я сомневаюсь. Значит, моя вера не крепкая. С. налила мне в пузырек святой воды и сказала: «Вот увидишь, сколько ни будет стоять, а никогда не зацветет, потому что святая...» Я спрятала бутылочку в кладовке среди пустых пузырьков на подоконнике. Там свет, в темноте она и так бы не зацвела...»

«...С. мне сказала, чтобы я пошла в церковь. Зачем? Если я верю, то мне не нужна церковь. Лев Толстой не любил ее, там все фальш. И на самом деле — собираются и молятся доскам. Какая глупость! Бутылочку со святой водой я сняла с окна. Если я жду, что она зацветет на солнце,— значит, не верю. Мне же не столько Бог нужен, сколько Вера. Я все-таки плохо верю».

«...Вчера было рождество. Девчонки из нашего класса ходили в церковь, просто так, из любопытства, а потом рассказывали и хихикали. Ежели не веришь, то не ходи. Смеяться над верой! Что может быть выше веры?»

«...Опять шла служба в церкви, и я решила — схожу. Народу много, толкаются, шипят друг на друга. Мне так и хотелось сказать: «Уж если вы верующие, если молиться пришли, чтоб очистить душу, то чего же вы шипите и толкаетесь, как на базаре?» Началась служба, многие стали на колени, хор запел. Я была далеко и только разобрала слова: «Иисус Христос воскрес, смертию смерть поправ!» Какие слова — «смертию смерть поправ»! Все кругом крестились, уже никто не толкался, мне тоже захотелось вместе со всеми молиться. Я поняла, для чего церковь! Люди не должны веровать отдельно друг от друга. У них Бог общий. Поэтому они должны время от времени вместе сходиться, вместе веровать. Пусть даже молиться доскам. Бог, нарисованный на доске, не Бог, а его символ. Так же, как например, буква — символ звука. Вижу букву и произношу нужный звук. Вижу икону и испытываю то чувство, которое я должна испытывать к Богу. Молиться доскам — вовсе не глупость!»

«...Тетя С. подарила мне крестик. Я всегда ношу его на шее. Перед баней я его снимаю. Сняла и в этот раз, но он у меня выпал из кармана. Нинка увидела и спросила, откуда он. Я соврала. Я стыжусь своей веры. Мне больно! Как бы я хотела жить так просто, как живет тетя С., не думать и не сомневаться, верить и не прятаться!»

4

Я встал из-за стола.

Ленивые крупные хлопья снега бесшумно скользили мимо окна. В их упрямом однообразном полете было что-то умиротво-

ряющее, монотонное, как в голосе матери, укачивающей ребенка. За окном — крыши, заборы, сугробы, столбы, мерзнет одинокая женская фигурка у нашей ограды. Вчера — крыши, заборы, столбы. Сегодня... Завтра... Словно неторопливо падающий снег, течет жизнь нашего небольшого городка. В общем потоке лечу и я, едва отмечая уходящие в прошлое дни, недели, месяцы, года... Как много не сделано, как мало осталось жить!

Дневник Тоси Лубковой лежит на столе, открытый на последней странице... Робкая, неприметная, такая, как все. Как все? Пустые слова!

В школе девятьсот учеников, девятьсот неразгаданных душ, девятьсот несхожих друг с другом миров. Лежит на столе прочитанный дневник Тоси Лубковой. Как нужно много сделать и как обидно коротка жизнь!..

Летит крупный снег за окном. От его ровного, бесконечного полета — усыпляющий покой. Я стряхнул оцепенение, вышел из кабинета.

Шел последний урок, учительская была пуста, только Евгений Иванович Морщихин, преподаватель математики в старших классах, собирал в углу свои книги.

— Не знаете, Тося Лубкова сейчас на уроке? — спросил я.

— Ушла из школы.— Помолчал, добавил: — Скандал...

У Евгения Ивановича Морщихина наружность довольно суровая: плотный в плечах, лицо плоское, мужичье, тяжелое выражение — угрюмо-каменное, а взгляд голубоватых с младенческой мутноватинкой глаз на этой каменной физиономии постоянно ускользающий, текучий...

— Скажите, что бы вы подумали, Евгений Иванович, если б узнали, что Тося Лубкова, ваша ученица, готовит себя... ну, скажем, в монахини? Не в переносном, а в буквальном смысле слова.

Глаза Евгения Ивановича, минуя мое лицо, перебежали из одного угла учительской в другой, спрятались под веками.

— Я знаю только одно: что ей не следует готовить себя к профессии инженера-конструктора, к тому, что связано с математикой. Никаких способностей.

Он собрал книги, кивнул мне на прощание, направился к выходу.

Я проводил его взглядом — человек со странностями. Он мягок — никто не слышал от него грубого слова — и в то же время неприступно суров. Он отзывчив на какую-нибудь мелочь,— например, на безденежье молодого учителя — и ни с кем близко не сходится, не любит бывать в гостях, не охотник посещать торжественные вечера в школе. Он кажется кремневым на вид и часто теряется перед пустячным осложнением, шумно вздыхает, робко жалуется:

— Как же так, ведь Ерахов четвертую двойку получает. Не могу же я за руку к книге тащить...

И при этом маленькие глаза его виновато бегают по сторонам, жалостливо мигают.

Его личная жизнь служит темой для незлобивых пересудов.

Долгое время он жил вдовцом, совсем недавно женился на молодой. Она из дальнего починка, простая колхозница, возила молоко на сепараторный пункт. Говорят, что пережила несложную девичью беду: какой-то парень-моряк, приехав в отпуск, покрутил с ней и исчез, родился ребенок, но не прожил и недели. Как она столкнулась с домоседом Евгением Ивановичем — неизвестно. Зато всем известно, что молодая жена его преданно любит. Каждый вечер, после того как рабочий день в школе оканчивается, она встречает его на полдороге к дому. Ежели Евгений Иванович по какой-либо причине задерживается, она терпеливо ждет у школьной ограды, но ни во двор, тем более в школу не заходит. Я мельком видел ее несколько раз — простоватое девичье лицо можно бы назвать миловидным, если б оно не было неподвижным, замороженным.

Ждет и сейчас. Та одинокая женская фигура, что я заметил в окно,— она.

5

С темнотой прихватило морозцем, поднялся ветер, падавший снег стал мелким и жестким. Сбилась погода: в январе — лужи, в марте — метели, приходится надвигать глубже шапку и подымать воротник пальто.

От крыльца школы я направился дорогой, которую топчу уже не один десяток лет.

За короткий путь от школы до дому мне встречаются две старые церкви. Вечно запертые, облупившиеся, с черными провалами окон, они стоят, окоченевшие среди разгулявшейся метели, и ветер срывает с их истлевших куполов убийственно унылый ржавый скрежет.

До революции в нашем маленьком городке было пятнадцать церквей и одна гимназия. Уездный глухой городишко, изредка мимоходом упоминаемый историками, был гнездовищем купцов-толстосумов. Они торговали лесом, дегтем, кожами, хлебом и незамысловатым деликатесом — солеными рыжиками, которые прославили имя нашего городишки вплоть до Парижа. Жили эти купцы, как правило, подолгу и удушливо-скучно. Свою беспросветную скуку они не осмеливались нарушать даже разгульным пьянством, каким славились сибирские купцы. Единственно, чем разнообразилась жизнь, это обманом. Сбыть партию гнилых кож, надуть на поставке теса, облапошить мужиков при покупке скота — за неимением других подвигов такое сходило геройством.

И вот купец, доживший до восьмидесяти или до девяноста лет, почуяв наконец близость могилы, начинал оглядываться на свою жизнь и с ужасом замечал — ничего нельзя в ней вспомнить, ничего, кроме обманов. Близка смерть, а грехов много, нет времени их замолить, один выход — подсунуть господу богу взятку, и по возможности крупнее. Уходивший в могилу купец отдавал деньги на постройку храма.

Немало церквей выросло и на простой спеси. «Эвон братья Губановы в своей церкви молятся, а мы что перед ними, рылом не вышли?»

Подымались над тесовыми крышами дремучего уездного городка колокольня за колокольней, одна луковица за другой. Нет, наши храмы не походили на те, что создавались восторженными предками как возвышенная хвала прекрасному и всемогущему богу. Памятники животного страха перед неминуемой смертью, памятники тщеславия, они выглядели безобразно: пузатые, толстостенные, приземистые, как купеческие сундуки. Потому-то среди церквей нашего города не было ни одной, которая бы охранялась государством как архитектурная ценность.

Колокольня к колокольне, луковица к луковице — узаконенная религия! А в окружающих город селах, деревнях и починках в глухой вражде с этой законной верой жила и передавалась из поколения в поколение вера незаконная, гонимая — бородатое, невежественное, по-мужицки упрямое и фанатичное старообрядчество.

После революции замолчали один за другим колокола, закрывались навечно одни двери церквей за другими, попадали кресты с поржавевших куполов. Как торф после лесного пожара, еще тлела пока религия где-то в глубине, под спудом. Не развороши — почадит и потухнет.

Разворошила война. Мужья и дети на фронте, страшно за них, каждую минуту жди, что судьба ударит похоронкой. У кого искать помощи? И невольно вспомнился полузабытый бог, невольно подгибались колени перед засиженными иконами. «Спаси, господи, люди твоя!» Спаси тех, кто живет в смятении и страхе! Помоги пережить тяжкое время.

Одна из умерших церквей вновь воскресла. На ее колокольне зазвенел жидким консервным звоном уцелевший колокол. Ветхозаветный попик, вынырнувший невесть откуда, молил о ниспослании победы доблестному русскому воинству над злодеями захватчиками, собирал деньги на танковые колонны.

Война окончилась. Церковь продолжала жить, на рождество или на пасху вызванивая жестяным звоном. Война окончилась, но в нашем тыловом городе остались ее следы: в колхозах не хватало рабочих рук, поля зарастали сорняками, а тут еще не-

урожаи. И те, кто еще оставались в деревнях, потянулись на сторону: одни — на сплав, другие — на лесоразработки, третьи просто разбирали бревнышко по бревнышку свои избы и перевозили их в наш город. В городе застраивались окраины, вырастали на пустырях целые улицы. Эти переселенцы из соседних деревень обзаводились огородами, коровами, промышляли, кто чем мог: нужно починить крышу — только позови, надо промкомбинату выкатить лес — пожалуйста. Случайная работа, узкий мирок: стены дома, сарай, где стоит корова, да клочок огорода, засаженный картошкой; вечное опасение за завтрашний день: вдруг да не подвернется работа, не уродит картошка, заболеет корова — кому поведать свои надоедливые заботы? Опять бог, опять «Спаси, господи, люди твоя!..»

Ветхозаветного попика в церкви сменил рыжий парень, прибывший из семинарии. На широком лице он солидно носил бородку, одевался щеголевато, говорил книжным языком.

Из рядов верующих выдвинулись свои доморощенные апостолы. Некий старик Евсей Быков собирал у себя дома собрания, где читали и толковали, как могли, евангелие, рассуждали о достоинствах старой веры. Безрассудно считать: все это пройдет мимо школы.

Ветер бьет по ногам, отворачивает полы пальто, хлещет в лицо сухим снегом.

Я нащупал в кармане тетрадь Тоси Лубковой и свернул с привычной дороги, пряча лицо от ветра, зашагал в сторону от дома.

6

Я ни разу не бывал у Тоси Лубковой. Заходить к ученикам на дом, знакомиться с их бытом — обязанность классных руководителей.

Дверь открыла мать Тоси. На добром увядшем лице — смятение, рука суетливо ищет незастегнутую пуговицу на кофте, не ответив на приветствие, отступила назад, обронила упавшим голосом:

— Входите.

Тося в глухом шерстяном платье, волосы гладко зачесаны назад, под глазами тени, лицо осунувшееся — повзрослевшая, не та девчонка, что вчера при встречах смущенно опускала веки.

Мать Тоси приложила к глазам скомканный платок:

— Анатолий Матвеевич, что делается — школу бросает, из дому уходит. И отца нет, в командировку уехал. При отце бы не повольничала...

— Не боюсь ни отца, ни директора! Хватит! Выросла! — Голос запальчивый и ломкий.

— Вот по-взрослому и поговорим. А для начала хочу вернуть...— Я вынул из кармана ее дневник, положил на стол.

Тосю передернуло.

— Спасибо... Уже пусть им другие пользуются, мне не нужен — шибко захватанный.

— Как разговаривать стала! Анатолий Матвеевич, послушайте, как разговаривать стала.

— Не нужен? Напрасно. Эта вещь как раз и требует продолжения.

Тося опалила меня взглядом.

— Уж не хвалить ли собираетесь?

— А почему бы и нет? Всегда похвально, когда человек думает. Пусть ошибается, пусть заблуждается — все лучше, чем сплошное бездумье.

— И все слова! Все подделка! Не верю!

— Ой, Тося, неладное говоришь...

— А ты попробуй поверить. Не отталкивай с ходу.

— Не могу!

— Чем же я заслужил такое недоверие?

— А что вы — и не только вы, а все, все! — сделали для меня, чтоб я вам верила? Что вы сделали для меня хорошего?

— Неладное говоришь, доченька. Учат же тебя, глупую, учат! Это ли не добро?

— Деньги за это получают! Учат... А что толку? Может, я в себя поверила, счастье нашла в учебе? Это Коротков счастлив, ждет, что профессором станет. Пусть он и говорит спасибо. А я счастья в их учебе не вижу. В школе, как тень, слоняюсь одна-одинешенька. И после школы тоже одна, неприкаянная. Люди-то липнут к тем, кто сильней да сноровистей. А я не сноровистая, и не красивая, и ума не палата, где мне до Короткова! Кому нужна? Чего себя-то обманывать? Брошу школу — для вас убыток не велик и для меня тоже. К тете Симе уйду. Вот для нее я не посторонний человек, каждый день от нее доброе слово слышу. Ей вот верю... Э-э, да что говорить!

Тося махнула рукой, прошла через комнату, сняла с гвоздя пальто, стала натягивать.

— Тосенька!..— жалобно всхлипнула мать.

Тося застегнулась на все пуговицы, в громоздком черном воротнике — бледное, решительное лицо с ввалившимися глазами, пуховой берет натянут на брови.

— Прощайте, Анатолий Матвеевич.

Плачущая мать вышла проводить дочь. Я остался один...

И эта Тося числилась в школе тихоней! Настолько не разбираться в людях и называть себя воспитателем! До старческих морщин дожить самодовольным слепцом! Педагог с сорокалетним стажем!

Я встал со стула и принялся расхаживать по комнате.

Над тощим комодом, уныло и бессмысленно блестевшим

медными ручками, висела вырезанная из какого-то журнала репродукция «Над вечным покоем». Меня всегда волновало любое воспроизведение этой картины, пусть очень слабое, пусть только общий намек на нее. Дома у меня тоже висит большая репродукция «Над вечным покоем»: небо, загроможденное тревожными, напирающими друг на друга облаками. Ветер, рвущий и эти облака, и деревья, и траву. Ветер, пронизывающий каждую клеточку выставленного перед зрителем размашистого мира. Ветер — воплощенное беспокойство, и столетняя часовенка, и заброшенный погост. Смерть и жизнь рядом, неподвижность и бунтарское движение — вот он, мир, где мы живем, вот он, покой, единственно нерушимый. Покой извечного движения, переданный кистью художника-философа в неистовом ветре, свистящем над забытым кладбищем. Через много веков исчезнут часовенки, земные пейзажи станут выглядеть иначе, но, мне кажется, и тогда люди, наткнувшись на эту картину, задумаются над смыслом жизни.

Великая мысль бессмертна!

Но под репродукцией, на комоде, на белой салфеточке, стоит фарфоровый пастушок, а сама комната не располагает к раздумьям. В ней мне неуютно, во всем ощущаю нежилое. Казалось, пришел сюда посторонний человек, по обязанности, не особенно вдумываясь, поставил стол на самую середину, стулья — к стенам, комод — в простенок, постелил салфеточку на комод, приткнул ширпотребовского пастушонка, пришпилил картинку, первую, что подвернулась под руку. А ему могли подвернуться и лубочные лебеди на канареечном закате. Великая мысль бессмертна, но для пошлости великого не существует!

И я представил себе жизнь Тоси в этих четырех стенах: изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год мозолит глаза ничего не выражающая серенькая картинка и фарфоровый пастушок, слышится шлепанье туфель матери, назойливо мелькает ее нездоровое унылое лицо, а при этом чувствуешь себя молодой, изнемогаешь от распирающих грудь желаний... С отцом у нее тоже, видать, не много общего. Одинока дома, одинока в школе...

Вошла мать Тоси — лицо, опухшее от слез, какое-то простодушно-беззащитное в своем горе.

— Это что за тетя Сима? — спросил я.

— Сестра моя двоюродная, Серафима Колышкина. Должны ее знать.

— Колышкина? Знаю. Ее сыновья у нас учились.

— Разлетелись сыновья-то, одна теперь живет. Ничего не скажешь, любит Тосю, вместо дочери ее считает. Ох, отец-то не спустит. Он и Серафиму не переносит, а тут еще Тося школу бросить надумала. Это перед самыми-то экзаменами... Анатолий

Матвеевич, вы уж как-нибудь приструньте. Глупая она еще. На молодости-то всяк по-своему с ума сходит...

«Приструньте»... Огонь маслом не тушат. Как-то надо иначе. Как? Не знаю.

7

По-ночному пусто. Мечется ветер в приземисто-одноэтажном городишке, раскачиваются на столбах тусклые электрические лампочки, вьюжно дымятся заснеженные крыши.

Мечется ветер от одной бревенчатой избы к другой, разбивается о них, не может потревожить покой жителей.

Сколько среди них моих учеников — треть, добрая четверть? Не считал.

По тупичкам и бревенчатым закоулкам гуляет неприкаянный ветер, тухнут огни в окнах, засыпают жители. Люблю свой город, люблю людей, что живут со мной рядом.

Не стоял я под пулями, не числился в героях, вся моя сила в том, что люблю вас, дети мои! Хочу вас видеть красивыми. Хочу, чтоб после моей смерти отзывались о вас: достойные люди!

А Тося Лубкова верит не мне, а тете Симе. Стучится сейчас в дверь маленького домика на прибрежной улице. Разве эта тетя Сима, ничем не приметная покладистая старушка, с примитивной проповедью — бойся господа! — разве она сделала столько для тебя, Тося, сколько сделал я? Ушла от отца и матери, ушла из школы, стучится к тетке... Не веришь?.. Позорней пощечины не мог получить на старости лет.

8

Ночью не спал.

Вспомнился маленький случай, один из тех досадных происшествий, какие нередко бывают в стенах школы. Во время перемены в учительскую ввели второклассника Петю Чижова. Мальчуган плакал, размазывал по щекам кровь. Ударили! Кто? Ерахов! Этот великовозрастный верзила! Срочно вызвали Ерахова. Выяснилось: один из дружков Ерахова, восьмиклассник Игорь Потапов, паренек ничем особенным не примечательный, если не считать того, что имел кулаки менее тяжелые, чем у Ерахова, подозвал Петю Чижова и приказал: «Иди к Ерахову и попроси ухналь». Чижов бежит и просит: «Дай ухналь!» Ерахов неожиданно отпускает затрещину, попадает в нос, мальчуган обливается кровью. Оказывается, «ухналь» — кличка Ерахова, при одном звуке ее он свирепеет.

То, что Ерахов поступил гадко, ударив малыша, возмутило всех нас. Но никому и в голову не пришло возмутиться поведе-

нием Игоря Потапова. Он не бил, кровь из носа не пускал, прямой вины на нем нет.

Знания, знания, знания — квадратные корни и обособленность деепричастных оборотов, походы Александра Македонского и характеристика однодомных растений, образы лишних людей в произведениях классиков и ускорение свободно падающего тела — знания, знания, знания! Учеников судим — тот хорошо учится, этот средне. Характеры отличаем — усидчив, неусидчив, собран, разбросан, со смекалкой или без оной.

Игорь Потапов как раз учится неплохо, смекалист, способен, возможно, в будущем из него выйдет толковый инженер или знающий врач. Но готов подсидеть несмышленого мальчугана, получить удовольствие от того, что тому влепят затрещину, без особого повода доставить неприятность своему другу Ерахову — не явные ли признаки мелкой и гаденькой натуры? Ударил, пустил кровь из носу — хулиганство! Мы возмутимся, мы накажем. Не дай бог, в раздевалке кто-то залезет в карман чужого пальто, стащит перчатки — воровство! Позор! Недопустимо! Пресечь в корне.

А мелкая подлость, совершенная втихомолку, проходит мимо нас.

Будущий инженер Потапов, не ворующий со стола серебряные ложки, не отпускающий зуботычины, но не гнушающийся подсиживать и лицемерить!.. Хороший же подарок преподнесем мы обществу!

А Саша Коротков... Наша гордость, светлый ум! Прочитал во всеуслышание дневник, сам бесцеремонно запустил руки в чужую душу, не смущаясь, предложил другим — запускайте. Никто из ребят не возмутился этим, всей компанией вслед за Сашей пришли к двери моего кабинета, с любопытством ждали развязки, должно быть, надеялись получить похвалу за бдительность. А месяца через три все они выйдут с аттестатами зрелости. Зрелые люди! Но ведь зрелость-то бывает разная.

Тося Лубкова сталкивалась с Игорем Потаповым, с Ниной Голышевой, которая слушала чтение Саши Короткова, с самим Сашей. Тому нельзя верить, другой равнодушен, третий душевно груб — невольно замыкаешься в себе, невольно чувствуешь себя одинокой. И подвертывается тетя Сима. Она необразованна, неумна — примитивная баба, но по-бабьи может пожалеть, сказать доброе слово... Доброе, душевное слово — вот ее нехитрое оружие...

Саша Коротков и Тося Лубкова... Как у магнита нельзя отрубить один полюс от другого, так невозможно перевоспитать Тосю, не трогая Сашу.

Знания, знания, знания — естественный отбор в учении Дарвина, деятельность Петра Первого, закон всемирного тяготения... Вся моя жизнь была отдана на то, чтобы доказать: ученье —

свет, неученье — тьма. Верно: знания — свет, но не единственный, к чему тянется человек.

Мутная голубизна робко вливалась сквозь задернутые занавески. Метель за окном улеглась. И тишина после метели была особая, выразительная. Я сквозь стены ощущал устоявшийся покой наметенных сугробов, сумрачно-синюю пустоту улиц.

9

А через несколько часов я, как всегда, неторопливо вышагивал к школе. Как всегда, навстречу мне летело: «Доброе утро, Анатолий Матвеевич! Здравствуйте, Анатолий Матвеевич!..» Как всегда, я кивал направо и налево.

Ко мне все хорошо относятся, я ко всем тоже, даже находят минуты порыва, когда из души вырывается: «Люблю вас, дети мои!» Люблю, а в то же время знаю, что Вася Лопатин, с которым я почти каждое утро перебрасываюсь дружескими приветствиями, год назад враждовал с другим моим учеником, Иваном Алферовым, вышиб из-под него стул заведующего. Семен Шорохов, тоже мой бывший ученик, в пьяном виде недавно разбил голову одному парню. Аня Гольцева, работая в дежурном магазине, как открылось, обсчитывала, обвешивала покупателей, чуть не попала под суд. Я не витаю в поднебесье, до меня доходят все истории, все сплетни, прекрасно знаю, что в нашем маленьком городке живут не святые люди, и среди них мои ученики нисколько не лучше других.

Днем я испытывал подавленность. Сказывалась бессонная ночь, чувствовал себя старым, больным, беспомощным. Не уйти ли на пенсию? Пора. Пусть действуют те, кто моложе и энергичнее. Много нужно сделать, а мне уже мало осталось жить.

В десятом классе — комсомольское собрание, пришел секретарь райкома комсомола Костя Перегонов, стоит вопрос о Тосе Лубковой. И меня охватил страх: наломают дров!

Тридцать три человека поднялись при моем появлении и с великовозрастной неловкостью опустились за парты, которые давно стали им тесны.

С первой парты, что стоит напротив стола учителя, глядят с голубой доверчивой наивностью глаза Гали Смоковниковой. У нее худощавое, с прозрачной кожей личико, угловатые плечи — облик девочки-подростка, никак не поверишь, что ей семнадцать; в ее годы в старину уже выходили замуж. Нине Голышевой лет столько же (рядом с ней место пустует — Тося не пришла в школу), но в ее повадке проглядывает степенная вальяжность почти зрелой женщины. Одни ребята уже бреются, другие — мальчишески розовощеки. Все здесь сидящие прожили на свете одинаковое количество лет, но возраст их разный.

Обычно у пожилых людей вид юности вызывает умиление:

безоблачная пора — никаких забот, никаких тревог, сплошное счастье. Безоблачная? Ой, нет! Один из самых тревожных, самых беспокойных, самых неустроенных периодов в жизни. До сих пор шло детство, мир выглядел простым и ясным, как школьный глобус, где голубым нарисованы моря и океаны, желтым и коричневым — горы. Есть плохие люди, есть хорошие, есть на свете скучные профессии, есть увлекательные. Всему наперед дана ясная оценка, все означено нужным цветом — черным и белым, голубым и розовым. Но вот самостоятельная жизнь, та жизнь, что маячила заманчиво, где-то в отдалении, подошла вплотную. И сразу исчезли ясность и простота. Восторженно твердили: «Перед тобой тысячи дорог, выбирай любую!» Выбирай из тысячи! Разве это просто? Сумей понять, в какую сторону двинуться, чтоб потом не казниться всю жизнь. Так ли уж гладки эти тысячи дорог, как их расписывают? Рад бы стать инженером, но в институте конкурс — на одно место пять претендентов, берут только тех, кто успел поработать на производстве. Надо идти наниматься разнорабочим. Страшно! Вдруг да застрянешь, вдруг да не шагнешь дальше. Тупик вместо дороги! Земля не глобус, жизнь не сказка, ничто не совершается по щучьему велению. Первые прозрения, первые сомнения, первые тревоги, впервые нелегкий груз ответственности за самого себя!

Десятый класс — дверь в необъятный мир, переломное время!

Три года назад, когда этот десятый класс был еще седьмым, классным руководителем был назначен Евгений Иванович Морщихин. Он им остался и по сей день. Человек тихий, замкнутый, добросовестный, он следил за успеваемостью, проводил положенное количество классных собраний, если случались затруднения, бежал ко мне, растерянно разводил руками:

— Анатолий Матвеевич, что же делать?

Как преподаватель математики, он восторженно отзывался о Саше Короткове, в то же время заметно побаивался этого паренька: неуемен, ломает программу, лезет через голову учителя в математические дебри, всегда жди, что огорошит неожиданным вопросом,— стихия, попробуй-ка с ней справиться. К остальным ученикам Евгений Иванович относился мягко, внимательно и в то же время беспристрастно.

Его пригласили на комсомольское собрание, а на таких собраниях он, человек беспартийный, замкнутый, всегда чувствовал себя не в своей тарелке.

Сейчас сидит у окна, склонил крупное лицо, разглядывает на коленях тяжелые руки, слушает выступление Саши Короткова.

А Саша — голова в колючих вихрах, под короткими ресницами гневливая просинь глаз — продолжает прерванную моим приходом запальчивую речь.

— Так вот, говорим высокие слова о гордом и всесильном че-

ловеке, запускающем спутники и всякое другое. Гордый, всесильный и вдруг — господи, помилуй рабу божию! Добровольно считать себя рабой и носить в кармане комсомольский билет! Притворялась: мол, ваша, пока случайно не открыли — нутро-то чужое. А когда открыли — обида, злоба, все мы подлецы, она святая. Комсомол и святошество в одном лице! Или Тося Лубкова должна наотрез отказаться от своих взглядов, или мы должны ей прямо сказать: тебе не место в комсомоле!

Саша сел.

Раздался бархатно-стелющийся голос Нины Голышевой, соседки Тоси по парте:

— Но ведь шко-олу же бросает!

— Что ты хочешь этим сказать? — Саша повернулся к ней.

— Просто жаль человека. После десяти лет учебы останется без аттестата.

Поднялся Костя Перегонов. Он всего каких-нибудь лет на шесть старше ребят, сидящих за партами. Почти все помнят его учеником-старшеклассником. Теперь он комсомольский вожак всего района, депутат райсовета, студент-заочник четвертого курса одного из областных институтов — и всего-то отроду двадцать четыре года. Он красив, как только бывает красив человек в его возрасте. В посадке головы, в очертаниях губ и подбородке — законченная твердость, появляющаяся только в возмужании, а цвет кожи не утратил еще юной свежести, и румянец на щеках по-молодому неукротим, и хорошо вылепленный лоб не тронут ни единой морщинкой.

Со вкусом и веско бросает он первое слово:

— Товарищи! — А мы в школе привыкли обращаться друг к другу попроще — «ребята», «друзья» или без предисловий начинаем выкладывать то, что нужно.— Мне звонил отец Тоси Лубковой. Он только что вернулся из командировки, узнал обо всем и не находит слов от возмущения. Он требует самого высокого наказания. Вот пример принципиального подхода. Даже отцовские чувства — понимаете, отцовские! — не мешают здраво оценить положение. Комсомолка и верующая — можно ли терпеть? Нет, нельзя! А вот Нина Голышева дрогнула, поддалась жалости. Из-за жалости, того и гляди, готова идти на уступки. Чем ты поступаешься, Нина? Комсомольской совестью! Пусть верует в бога, пусть молится иконам — пожалеем бедненькую!..

Не жалеть! Оттолкнуть, выбросить! У Саши Короткова на лице упрямое и твердое выражение. Галя Смоковникова спокойно глядит перед собой голубыми, как мартовские лужицы, глазами. В голосе Кости — негодующая медь. Одна Нина Голышева, далеко не самая мягкая, не самая жалостливая по характеру, жалеет. Просто она чуть ближе других знает Тосю, сидела рядом на уроках, иной раз делилась девичьими секретами, одалживала

карандаши и тетради. Неужели все ребята так жестоки, так равнодушны? Человек в беде, их товарищ! Наказать! Оттолкнуть! Выбросить!!

Не сомневаюсь, что Саша Коротков бросится в горящий дом спасти ребенка. У Гали Смоковниковой навертываются на глаза слезы, если увидит, что кто-то ударил собаку. А Костя Перегонов?... И он не жесток. Недавно в одном колхозе лошадь наступила на сорвавшийся с высоковольтной линии провод, ее убило током. Потянули к ответу паренька-конюха, стали грозить судом. Этот Костя бегал и в райком партии и к прокурору, отстоял парня.

Жестоки? Равнодушны? Нет, просто не понимают. Я не научил их понимать — не научил Сашу, Галю, Костю Перегонова. Гордился, что за сорок лет своей педагогической деятельности через мои руки прошли тысячи учеников, что они живут и трудятся по всей стране. Тысячи! И наверняка они сталкивались с людьми, которым нужна помощь, сталкивались и не понимали — были трагедии, были сломанные судьбы, а могли не быть. Сорок лет работаю в школе, гордился растущей цифрой — тысячи! Лишний раз приходится убеждаться, что цифра не всегда-то показатель успехов.

— Разрешите два слова!

Встаю, массивный, грузный, с руками, заложенными за спину, с выставленным вперед животом — мне кажется, что вид у меня довольно воинственный, решительный, а ребята не замечают этого, в десятках пар глаз, направленных на меня, лишь сдержанное любопытство: что-то скажет Анатолий Матвеевич? Ребята не привыкли видеть меня своим противником.

— Саша Коротков требует наказания, Костя Перегонов тоже за наказание. И возражений им я не слышал, похоже — все согласны. Разве только Нина Голышева...

— Я не против наказания,— оправдывается Нина,— но смотря какое...

— Вот и Нина за наказание... Значит, все единодушно — наказать? А для чего? Для того, чтобы человеку было больно, или для того, чтобы он исправился?

— Ясно, чтоб исправился,— вставляет Саша.

— Ага! Выкинем из комсомола, оттолкнем от себя, и Лубкова исправится, будет думать иначе. А не получится ли... что, отвергнутая, презираемая, она уйдет к какой-нибудь богомольной тетушке? Вас после школы будут ждать институты, а ее — молитвы, каждый из вас своей головой, своими руками станет пробивать себе дорогу в жизнь, она — уповать на господа бога. Не духовная ли это смерть? Не убиваем ли мы с вами человека?

Тишина в классе, возбужденно блестят направленные на меня глаза.

— Предположим, не смерть,— продолжаю я.— Может, кто-то другой убедит ее, вытащит из ямы, поможет стать на ноги — спасет. Кто-то другой, а не мы с вами. Не ты, Саша Коротков, собирающийся запускать спутники. Не ты, Галя Смоковникова. Не ты, Костя... Гордые и всесильные, готовые осчастливить человечество, какое вам дело до товарища — пусть падает, пусть калечит себе жизнь!..

— Анатолий Матвеевич,— перебил меня Костя,— мы понимаем: исключение — мера решительная, но она необходима. Иначе этот позорный случай с Тосей Лубковой может послужить дурным примером.

— Для кого примером? Для них? — я кивнул на класс.— Вот как! Вас, ребята, оказывается, надо припугнуть, а то вслед за Тосей, того и гляди, толпой броситесь к иконам.

Удар попал в цель. Класс загудел, как улей, на который с ветки упало яблоко.

— Я не про них... Я вообще...— пытался отговориться Костя.

— Вообще, про массы? Оказывается, как слабы наши массы и как могущественна Тося Лубкова!

Костя не ответил. Класс гудел.

10

Меня поддержали все. Первым делом нужно было вернуть в школу Тосю. Она больше всех обижалась на Сашу Короткова, значит, он и должен поговорить с ней, убедить, что весь класс, в том числе и он, не враги ей, а товарищи. Вернуть, не дать оторваться, а там — будем думать, как дальше действовать.

Собрание встряхнуло меня. Если за каких-нибудь четверть часа я заставил тридцать с лишним человек по-иному думать, то, скажем, за пять лет можно своротить горы. А пять-то лет я еще вытяну. Много нужно сделать, сравнительно мало осталось жить,— значит, тем напряженней, насыщенней, интересней будет остаток жизни.

В учительской ко мне подошел Евгений Иванович, крупное, с тяжелыми чертами лицо покрыто красными пятнами, отчаянно косит в сторону, толстые губы вздрагивают, голос прерывающийся, смущенный.

— Анатолий Матвеевич, не могу сказать... Вы человек редкий... Человека с такой добротой не часто встретишь в наше время. Вы благородно вели себя...

И в голосе дрожь, и в лице волнение, а сам, когда шел разговор, сидел, уткнувшись взглядом в пол, не шевельнулся, не обронил ни слова.

— А что вам мешает быть таким же? — ответил я и, наверное, с досадой.— Если б я не появился, вы бы так и просидели молча?

У Евгения Ивановича обмякли плечи, он вздохнул и, глядя мимо меня, промямлил:

— Да... Сидел...

— Почему судьба Тоси Лубковой должна быть мне ближе, чем вам?

Снова вздох и ускользающий взгляд:

— Да, вы правы...— Бочком отодвинулся, сник, угрюмо замкнулся.

Не одна только Тося Лубкова одинока в школе, есть одинокие и среди учителей. Этот Евгений Иванович делает общее с нами дело, проводит уроки, пишет отчеты, сидит на педсоветах, вроде и вместе со всеми и в стороне от всех — личинка в ячейке.

Вечером я сидел в своем кабинете, просматривал старые отчеты учителей и ждал Сашу. Никаких уговоров с ним — придет, доложит — у меня не было. Я не верил, что возвращение Тоси в школу пройдет так легко, наверняка она с Сашей не найдет общего языка; наверняка Саша забежит на свет огонька в мой кабинет поделиться обидой. Я ждал.

Шел час за часом, а Саша не появлялся. На окно навалилась сырая темень. Школа опустела. Большое двухэтажное здание, где я знал каждую ступеньку, отмечал про себя каждую новую царапину на стене, без ребячьей возни или без деловитой тишины в коридорах, когда за каждой дверью идет урок, становилось мне чужим. Даже появлялись какие-то странные, непривычные запахи — пахло то ли олифой, то ли карболкой, нежилым, вокзальным.

Я уже решил идти домой, как в другом конце школы, на лестнице, раздались шаги. Вот они зазвучали в пустом коридоре, замерли перед моей дверью. Робкий стук...

— Войди! — пригласил я.

Раздевалка уже не работала, и он вошел прямо в пальто. Отец его, заурядный плотник, к тому же не упускающий случая выпить при получке, не баловал сына. Саша давно вырос из своего пальто — красные руки торчат из рукавов, узкие плечи подтянуты почти к ушам, от этого долговязая фигура выглядит скованной, а голова — несоразмерно большой. На ней, как прошлогодняя трава на обтаявшей кочке, строптиво торчат волосы. Остановился посреди кабинета, смотрит на меня недобро.

— Садись. Рассказывай.

По-деревянному дернул плечом, словно пальто душит его (жест, который бы должен означать независимость), сел, положив ушанку на колени, молчит. Эге, значит, был скандал, расстались еще большими врагами...

— Анатолий Матвеевич, почему я должен переносить оскорбления?

— Чем же она тебя оскорбила?

— Не она. На ее оскорбления мне наплевать. Вы оскорбили, а это тяжелее.

— Я?..

— И ребята тоже, а вы больше всех.

— Ну-ка...

— Послать меня к этой... И зачем? Чтоб упрашивал. Я — ее! Просить, вымаливать, набиваться к ней в товарищи, получать от нее словесные оплеухи... Анатолий Матвеевич, ведь это же унизительно!

Смотрит на меня исподлобья — угрюмо и недружелюбно. Не на шутку обижен. И в эту секунду я в нем увидел то, чего раньше не замечал,— презрение, холодное самоуверенное презрение к таким, как Тося Лубкова. Он, Саша Коротков, все свое свободное время убивает не на легкомысленные танцульки, не на компании молодых вертопрахов, что обычно торчат в подворотнях и задирают прохожих, не на топтание вокруг клубного бильярда,— нет, он влезает в науку, роется в библиотеках, читает научные журналы, его интересы высоки, помыслы благородны. А Тося Лубкова из книг, должно быть, читает одни лишь романы с любовной завязкой, интересуется если не танцульками, то нарядами, ковыряется в своей душонке, мечтает, верно, выскочить замуж, наплодить детей, обложиться пеленками, переживает, что неприметна, мало того, еще бросилась к богу, сама на себя не надеется, за ради Христа хочет вымолить себе куцее счастье. И Саша презирает не только Тосю, но, наверное, и Нину Голышеву и Галю Смоковникову — они не меньше Тоси увлекаются танцульками и нарядами,— презирает Гошу Артемьева, разбитного парня, футболиста и лучшего в школе лыжника. Талант — милость природы, но Саше Короткову невдомек, что он может стать и наказанием. Его не так-то легко пронести по жизни. Люди никогда не прощают презрения к себе.

Я разглядывал его, скованного тесным пальто, сердито нахохлившегося, а он говорил тихо, с болью, с искренним возмущением:

— Ребята меня послали, так они не понимают. Но вы послали! Вы! Вы-то должны понимать. Я к ней с раскрытой душой, а она — не верю.

— А отчего?

— Оттого, что всех ненавидит, а меня — больше всех.

— Отчего же больше?

— Наверное, за дневник.

— Вот то-то и оно, око за око, зуб за зуб. Ты на ее слова оскорбился, а представь себя на ее месте. Представь, что у тебя берут дневник, который ты писал только для себя, берут и читают всем. Это ли не оскорбление? Раздел душу и вывесил: любуйтесь, добрые люди, не стесняйтесь, что душа-то корчится от стыда и унижения. Ты имеешь право оскорблять — она нет. Ты —

человек с гордостью, она — существо более низменное. Так, что ли?

— А я, Анатолий Матвеевич,— сурово ответил Саша,— до сих пор не знаю, как поступить иначе. Спрятать дневник? Скрыть? Пусть живет, как жила,— наружно вроде наша, нутром чужая? Как нужно?

— Как быть бережным к человеку? Как быть тактичным? Надо соображать. Готовых рецептов нет. Пришло тебе в голову, скажем, самое простое — поговорить с ней с глазу на глаз? Нет. Решил ты с кем-нибудь посоветоваться, хотя бы со мной, как с человеком более опытным? Нет. Ты сразу выступил против нее как враг. Теперь она как врага тебя и принимает.

— И вы, конечно, знали, что она примет меня как врага?

— Догадывался.

— И послали?

— Послал. Справишься, найдешь для нее человеческое слово — честь тебе и хвала. Не справишься — урок на будущее.

— Человеческое слово! Да она его не понимает. Попробуйте сами поговорить — узнаете.

— Кому-то придется попробовать, если ты не сумел. Не бросать же в беде человека.

Саша уже не глядел на меня, сидел насупившись, поигрывал желваками. Нет, на его лице я не видел раскаяния.

— Ладно. Все ясно. Иди,— сказал я.

Он поднялся, теребя красными руками старую шапку, пряча глаза, боком вышел. Шаги его прозвучали по коридору, потом по лестнице, заглохли внизу. Громко хлопнула дверь на выходе.

Я сидел, подперев кулаком голову. Легко было повернуть класс. Не жестоки, не равнодушны, только не понимали... Открыть глаза, объяснить можно и за пятнадцать минут. Тут же не только непонятливость... Саша, должно быть, не первый год глядит свысока на Тосю, на Нину, на Галю, на всех тех, кого он считает заурядными. Это стало привычкой. Иногда от таких привычек излечивает время, иногда житейские катастрофы и потрясения. Иногда они остаются на всю жизнь.

И я представил себе Сашу ученым мужем, верящим в свое высокое призвание, тиранящим своих близких, спесиво разговаривающим с теми, кто ниже по уму, по заслугам, по образованию. А такие себялюбы ниже себя считают любого и каждого.

В жизни есть свои цепные реакции. Стоит чуть-чуть проявить недоброжелательство, как люди ответят тем же, в свою очередь это вызовет новую оскорбленность, новую спесь и так далее, чем дальше в лес, тем больше дров — озлобленность, ненависть, зависть, неврастения, инфаркты и больная печень, пока смерть-спасительница не успокоит мученика. Умение жить с людьми должно стать наукой, которой надо обучать с детства.

11

Я вышел на крыльцо. Впервые в этом году в лицо ударил не промозглый холод, а мягкий и влажный, густой и пахучий воздух обнял меня. Изумленно ахнув, разбилась возле моих ног сорвавшаяся с крыши сосулька. Весна...

Дыша с наслаждением, чувствуя легкое опьянение, впечатывая в податливый снег свои стариковские боты, я не спеша направился через просторный школьный двор. На улице возле калитки маячила в темноте одинокая женская фигура. И я удивился: Евгений Иванович давно ушел из школы, почему же молодая жена ждет его? Кто же, кроме нее, будет еще тут дежурить.

Женщина потопталась, нерешительно двинулась мне навстречу. И тут я узнал — ба! — да это же Тося Лубкова!..

Низкое, без просвета небо. Кряхтение оседающих сугробов. Звон капели. Окоченевшие за зиму ветви деревьев, казалось, шевелятся, с хрустом, с болью, с натугой расправляются, пробуют силы. Как змея, меняющая кожу, тайком, в одиночку, наглухо скрытая сырой тьмой, перерождается земля. Изнеможение от избытка сил, мучение, наслаждение — счастливые корчи взбудораженного мира. И в этом мире — она со своими тревогами, со своей смятенностью. Пришла. Ждет. Кого ждет? Всего десять минут назад по этой дорожке прошагал Саша Коротков. Она ли спряталась, он ли отвернулся? Ждет. Кроме меня и Саши, в школе не было никого. Похоже, ждет меня.

— Тося — ты?

— Анатолий Матвеевич! — Голос прозвенел и сорвался.

Я взял ее за локоть, как можно спокойнее, как можно будничнее сказал:

— Тебе куда? Пошли вместе.

Приходилось часто обходить стынувшие на снегу лужи. Среди капели и таинственных шорохов звук наших шагов был неестественно громок и груб. Кто-то далеко за дворами, на другой улице басом прокашлялся.

— Анатолий Матвеевич, это вы ко мне Короткова подослали? — спросила Тося с вызовом.

— Нет, не я.

— Сам пришел кланяться?

— Весь класс послал его.

— Не верю! Всем не верю!

— Ты пришла, чтоб сказать только это? Так я это уже и раньше от тебя слышал.

— То я для Короткова и для всех — святоша, то подкатываются,— мол, счастья тебе хотим, мы тебе товарищи...

— Разве можно упрекать людей за то, что они в конце концов стали думать правильно?

— Успокаиваете, а я...
— Что — ты?.. Договаривай.
— Сами знаете.
— Не веришь?
— Да, не верю.
— Тебе тяжело, если тебя оскорбляют, а почему оскорблять других ты считаешь своим правом?
— Кого же я оскорбила?
— Скажем, меня.
— Вас?!
— Упрямо долбишь: не верила, не верю, не буду верить! В прошлый раз даже бросила: не за что верить, мало хорошего сделал. Предположим, хотя и заботился, чтоб тебя учили, но мало этого, недостаточно! Однако и плохого я ничего не сделал. Или я к тебе придирался, был несправедлив, когда-нибудь наказывал без причин, клеветал на тебя, обманывал?
— Я этого не говорила.
— И не могла сказать, но все же не доверяешь. Почему я должен выносить это оскорбительное недоверие? Возмущена — к тебе несправедливы, а оглянись — справедлива ли ты к другим?
Звучали шаги по талому снегу, окна обливали теплым светом голые кусты палисадников.
— Вгорячах в прошлый раз сказала... Потом жалела. Наверно, потому к вам пришла... Вам я больше других верю.
— А на эти слова, помня старую обиду, я отвечу: теперь моя очередь не верить.
— Ну и не верьте,— дернула плечом Тося.— Я от души...
— Ага, обиделась. Вот оно недоверие-то. Вот так-то и начинается вражда. Так-то и появляется темное, плохое между людьми. Саша Коротков, переступая через свою гордость, предложил — станем товарищами, прими мою помощь. Не приняла, не верю, пошел прочь! Он нес к тебе самое лучшее, а ты оттолкнула. Мечтаешь о хорошем, так помоги Саше стать хорошим.
— А разве он, на ваш взгляд, плохой? Он и умный и талантливый, чего еще не хватает?
— Кой-чего не хватает.
— Чего же?
— Ну, скажем, чуть-чуть душевной тонкости, чтоб при случае понимал — с чужими дневниками надо бережнее обращаться... Уж опять не веришь, уж не думаешь ли, что подлаживаюсь к тебе.
— Нет, верю, но не понимаю... Мне — и помогать Короткову.
— Почему бы и нет?
— Я-то беспомощнее его. Мне же самой помощь нужна.
— Тебе от него, ему от тебя. Глядишь, и не будет обиженных.
— Почти как по евангелию.

— Ну нет. Евангелие предлагает — возлюби врага своего. А я — не прими друга за врага. Евангелие требует — прощай без разбора, а я — разберись. Разница. Как думаешь?

Тося ничего не ответила, шагала, склонив голову.

На минуту что-то неуловимо изменилось вокруг. Должно быть, налетел легчайший, неприметный для нас ветерок, но он поднял целый бунт. Капли застучали веселее, шорохи и невнятный хруст усилились. Кроме пресного запаха тающих снегов, во влажном воздухе появились запахи отпотевших бревенчатых стен. Оживает все, даже мертвые бревна дают о себе знать.

— Анатолий Матвеевич, скажите, вы думали о том, что вы когда-нибудь умрете, а это все...— На этот раз ни сухости в ее голосе, ни напора, напротив, чувствуется застенчивость: — Все, все останется. И эти лужи будут лежать, и кто-то обходить их будет... Кто-то, а не мы. Умрем, и все!

Ах, глупая девочка! Наткнулась на вопрос: почему жизнь отмерена на время, почему нет вечности? Он настолько стар, что люди устали ужасаться ему. Я, пожалуй, чаще ее задумываюсь о смерти. У нее еще много десятилетий впереди, а у меня их — одно, ну, посчастливится, два от силы. Через каких-то десять, пятнадцать лет будут также разбиваться сосульки, кряхтеть оседающие сугробы, а меня не будет, я исчезну. Страшно ли мне? Конечно, страшно. Конечно, не хочу смерти, хочу жить, хотя мне жить становится год от года труднее — мучит бессонница, одолевает одышка, бастует сердце,— но даже на это согласен, только бы жить.

— Хочешь верить в бессмертие души? — заговорил я.— Боишься исчезнуть совсем? Так я скажу тебе: да, существуют бессмертные человеческие души или почти бессмертные... Удивлена, что это говорю я, не верящий ни в бога, ни в черта, ни в переселение безгрешных душ в райские кущи? А вот сколько раз ты слышала стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла»? Помнишь: «Мне грустно и легко, печаль моя светла...» Минутное состояние души, оно нас с тобой волнует, шевелит мою и твою душу. «...Печаль моя светла...» Кости Пушкина давно истлели, а это живет. Душа живет, внутренний мир! Умрем мы, будет жить и после нас. Придешь домой, возьмешь в руки кусок хлеба — задумайся. Растертое в муку зерно, вода, дрожжи, соль — только ли это должно насытить тебя? Нет, мука, дрожжи, соль, а еще и души, да, души многочисленных, безвестных, очень далеких предков... Опять удивляешься. Наверно, считаешь меня или сумасшедшим стариком, или верующим на свой лад... Кусок хлеба! Что может быть проще? Но даже в нем заложены наблюдения, соображения, догадки не сотен, а многих тысяч людей, духовные проявления огромной армии, жившей в разные века, в разных странах. Кто первый догадался насадить на ось колесо? Никто не знает. Духов-

ный вклад! Он живет и сейчас в любой автомашине, в любом самолете. Бессмертна душа этого неизвестного человека!.. Тебе отмерено шесть, семь или восемь десятилетий, сумей их использовать, подари что-то новое, пусть маленькое, но свое, подари его тем, кто станет жить после тебя. Бессмертие только в этом, другого не существует...

Всхлипывала вода под ногами, тяжело шлепнулся съехавший с мокрой крыши снег. Тося молчала. Неожиданно она остановилась:

— Мне сюда.

Маленький дом, отпрянувший от дороги, два окна, как два слепых глаза, масляписто блестят в темноте, низко надвинута на них крыша. Здесь живет тетка Тоси, Серафима Колышкина.

— Вы меня осуждаете, Анатолий Матвеевич?

— Разве тебе здесь лучше, чем дома?

— Лучше.

Постояли, вслушиваясь в шорохи.

— Тетя Сима — легкий человек,— виновато и доверчиво заговорила Тося.— И бог-то у нее ненавязчивый. Если б я не верила ничему, тетя Сима меня не меньше бы любила. Сыновья-то у нее неверующие, а она их любит.

Тося взялась за ручку калитки.

— До свидания, Анатолий Матвеевич.

— Так придешь завтра в школу?

— Н-не знаю!

— Это как понять?

— Анатолий Матвеевич, ведь мучение, когда к тебе будут приглядываться. Теперь верю — смеяться не станут и плохого в глаза не скажут. Но глядеть-то им все равно не закажешь. Для них я вроде больной — ненормальная. Тяжело же.

— А прятаться от людей легче?

Секунда, другая молчания.

— Нет, не легче.

— Не придешь, значит, поймут — не верит, вызовешь в ответ такое же недоверие. Рано ли, поздно придется переломить себя. Прошла трещина, растет она, чем дальше, тем шире — не перескочишь.

Молчание, затем тихий ответ:

— Приду... До свидания.

Прошуршали по мокрому снегу шаги, звякнула щеколда, хлопнула дверь.

А густой, сырой воздух напирал на лицо, и запахи мокрого дерева, оттаявшей коры слегка кружили голову, и не слухом, а каждой клеточкой кожи, сквозь толстое зимнее пальто я ощущал сейчас таинственное, скрытое темнотой движение. Великие собы-

гия тайком от людей происходят в эти минуты. После них из корней по стволам тронется сок, поползет трава, лопнувшие почки выбросят листья.

Именно после этих минут оживет мир, месяцами спавший под снегом. Первое пробуждение! У природы дрогнули веки!

Я стоял у калитки и вслушивался в это пробуждение. Тося все же ушла от меня к тете Симе. После моих слов она снова столкнется с ненавязчивым, как она сказала, богом Серафимы Колышкиной. Что ж, пусть выслушает теперь свою тетку, пусть сравнит мои речи с ее речами, пусть после этого задумается. Главное, чтоб задумалась, чтоб не верила на слово.

Я повернулся, чтоб идти домой...

12

Я повернулся, но не успел сделать и трех шагов, как наткнулся на прохожего. Я потеснился к изгороди, уступил дорогу, но встречный не двинулся с места.

Поднятый воротник пальто, с твердой тульей картуз, надвинутый на нос, руки глубоко засунуты в карманы, невысок, коренаст, мрачен. И я узнал — передо мной стоит сам Лубков, отец Тоси, глядит в упор.

— Т-варищ Махотин! — Слово «товарищ» не произнесено, а брошено, как копье, которым собираются проткнуть насквозь.— Могу ли я спросить вас, как это вы здесь оказались?

— Провожал вашу дочь.

— И вы знали, куда она шла?

— К своей тетке.

— А почему она прячется у своей тетки — вы не поинтересовались?

— Интересовался.

— И вы, старый педагог, вы, директор школы, где она учится, позволили ей переступить порог этого дома?

— Она, признаться, не спрашивала моего позволения. Но...

— Но?!

— Но я не вижу ничего предосудительного, что моя ученица пошла ночевать к своей родственнице.

— К родственнице, которая вбивает этой ученице в голову религиозный дурман!

Я шагнул к Лубкову, заговорил как можно миролюбивее:

— Юрий Петрович, у нас одинаковые взгляды, одни интересы...

— Но, похоже, разные повадки.

— Давайте без запальчивости потолкуем о моих повадках, постараемся понять друг друга. Стоит вопрос: как у вашей дочери изменить мировоззрение? Понимаете — мировоззрение? Вы хо-

тите решить это запретом: не ходи к тетке, не смей думать о боге! Хотите приказать ей — думай правильно! Как бы мы не запрещали, все равно ваша дочь через хитрость или обман будет встречаться со своей теткой, все равно будет думать о боге и, быть может, даже больше, чем думает теперь. Недаром же говорится, что запретный плод сладок. Каждое теткино слово она станет тогда ловить с обостренной жадностью, встречи с нею приобретут значительность...

— Уж не собираетесь ли вы уговаривать меня: пусть, мол, встречается, не будем мешать.

— Именно, пусть встречается.

— Пусть, развесив уши, слушает старушечьи бредни, верит им!

— Постараемся, чтоб не верила. Не приказом, а убеждением.

— Т-варищ Махотин! Все эти замысловатые рассуждения — ни больше, ни меньше как обычные интеллигентские штучки. Подпустить философии, замутить, затемнить, вместо того чтобы решительно действовать. Я предпочитаю ясность и простоту, т-варищ Махотин!

— Я тоже предпочитаю ясность и простоту, но что поделаешь — в жизни на каждом шагу сложности. И нет ничего сложнее внутреннего мира человека. Душа человеческая не веревка — с маху не разрубишь, придется терпеливо и бережно распутывать.

Я почувствовал, как Лубков распрямился, подтянулся, выставил грудь вперед.

— Я люблю смотреть правде в глаза. Моя дочь — советская ученица, моя дочь — комсомолка. Она верит в бога. Достойно или недостойно ее поведение? Нет, не-до-стойно! Следовательно, нужно, не теряя времени, не ковыряясь в каких-то там душевных петельках, пресечь — решительно и бесповоротно!

В темноте я не видел выражения лубковского лица, зато в голосе его слышал неприкрытое презрение: вместо того, чтобы действовать, разводит турусы на колесах.

Я был мало знаком с этим человеком, встречался на собраниях, обменивался вежливыми кивками, не раз слушал его выступления. Вне всякого сомнения он был неподкупно честен. С подобным качеством люди, как мне кажется, делятся обычно на два вида. Одни не замечают своей честности и неподкупности, как здоровый человек не замечает работу сердца, другие при любом случае громогласно напоминают об этом, мало того, всех без исключения подозревают, что-де недостаточно честны, недостаточно принципиальны. Лубков, судя по его выступлениям, относился ко вторым. И сейчас я почувствовал себя бессильным: объясняй, доказывай, разбейся в лепешку — не поймет.

— Правде в глаза, т-варищ Махотин, правде в глаза! Извини-

те, но у меня нет сейчас времени вести разговоры на свежем воздухе. Я пришел за дочерью. Я раз и навсегда пресеку эти посещения!.. Всего вам хорошего.

Он решительно потеснил меня к изгороди, прямой, преисполненный достоинства, прошагал к калитке. Четкие шаги, громкий стук железной щеколды, голос:

— Таисья! Серафима! Откройте!

Я не стал дожидаться, чем кончится этот ночной отцовский набег, не спеша отправился своей дорогой.

Как упрек, бросил мне: надо смотреть правде в глаза! Правда поверхностная, правда-недоносок, не сродни ли она лжи? «Пресечь — решительно и бесповоротно!» Эх, эти районного масштаба Александры Македонские, направо и налево рубящие гордиевы узлы.

«Пресечь» — в этом слове заложено не созидание, а разрушительство.

13

Утром Тося пришла в класс и села рядом с Ниной Голышевой.

В этот же день собрались на педсовет учителя — мой штаб, мои маршалы в вязанных кофтах, в потертых пиджаках, с кем бок о бок совершал скромные завоевания. Это вместе с ними я оборонялся против страшного врага учебы — очковтирательства. С нас требовали: повышай процент успеваемости — и никаких гвоздей! Повышай, иначе все вы и ваша школа будут числиться в отстающих, на вас посыплются административные пинки, директивные колотушки! Сыпались... Мы от них отбивались, мы их сносили, тех из нас, кто оказывался слаб натурой, брали в оборот, иногда заставляли уходить из школы.

Наши победы не из тех, что заносятся в скрижали истории. Их признали и забыли.

Мой штаб, мои маршалы... Я готов чествовать высокими титулами этих людей в вязанных кофтах и скромных пиджаках, так как то дело, которое они выполняют, считаю более достойным и величественным, чем кровавые обязанности, какие, скажем, несли Мюраты и Неи при наполеоновской армии.

Я сработался с ними, но это не значит, что всех их одинаково уважаю, всеми доволен, не желал бы, чтоб кто-то из них стал лучше, чем он есть на самом деле.

По правую руку от меня сидит завуч школы — Анна Игнатьевна. Как всегда, с дрябловатого лица пятидесятилетней женщины преданно уставились на меня светлые глаза, в них даже не наивность, а какая-то младенческая чистота. Передо мной она преклоняется, всякое мое указание выполняет с усердием, даже

с излишним. Если я мимоходом замечаю, что такому-то учителю за то-то следует поставить на вид, то Анна Игнатьевна мчится к нему сломя голову, устраивает разнос со скандалом, объявляет выговор. Если я прошу доставить мне краткие сведения, Анна Игнатьевна подымет на ноги всех преподавателей, требует от них самых пристрастных отчетов, а я потом утопаю в целом ворохе бумаг и не могу отыскать то, что мне нужно. Мне это осложняет, а подчас сильно мешает в работе. Можно бы среди учителей легко подыскать более толкового заведующего учебной частью, но у нас как-то не принято снимать с работы или понижать в должности за излишнее усердие.

Зато преподаватель литературы в старших классах Аркадий Никанорович постоянно мне противоречит. Если я говорю «да», то он всегда находит повод, чтоб сказать «нет». Острый подбородок, острый нос, остро и внимательно поблескивают из-под очков глаза — колюч и ехиден. Аркадий Никанорович, как это ни странно, мой большой помощник. В моих предположениях не кто другой, а он первый находит слабые места. При нем я невольно становлюсь придирчивее сам к себе, но, разумеется, не всегда с ним соглашаюсь, точнее сказать, соглашаюсь редко. Анна Игнатьевна боится Аркадия Никаноровича, недолюбливает его, а я, если не задерживают в школе дела, с удовольствием провожаю его после работы до дому. И, наверно, жители нашего городка не без улыбки поглядывают на две так не подходящие друг к другу фигуры: мою, толстую, грузную, весьма-таки неуклюжую, и Аркадия Никаноровича, тощую, подобранную, вышагивающую энергичной походочкой. Бывает, что я захожу к нему домой, он выставляет на стол настойку, и уж тогда засиживаемся до полуночи,— разумеется, спорим, разумеется, не сходимся во мнениях.

Я больше всего уважаю не тех, которые делают, что я захочу, а тех, кто может сделать, что мне невдомек или не под силу. Молодые учителя, муж и жена Тропниковы, отчаянные экспериментаторы, мне постоянно приходится следить, чтобы они не наломали дров. Семь попыток из десяти кончаются у них неудачей, зато три — наверняка успех, причем такой, какого я обычно не в состоянии предвидеть.

За общим столом сидят и такие учителя, как Мария Митрофановна Кологривова. Она более сорока лет проработала в школе, в свое время гремела по области, получила звание заслуженного учителя, награждена орденом, сейчас уже слаба здоровьем, работает через силу, но все еще медлит уходить на пенсию. Сидят и такие, как Наталья Федоровна Ромашкина,— девочка, сама похожа на школьницу. Сидят и вроде Евгения Ивановича Морщихина добросовестные работяги, на кого всегда можно положиться, но пороху они не изобретут.

Случай с Тосей Лубковой... Можем ли мы ручаться, что это

редкое исключение, что подобные случаи никогда не повторятся в стенах нашей школы? Так ли?..

Тося Лубкова знает из наших уроков, что человек, например, произошел от обезьяны, вряд ли верит в наивную сказку об Адаме и Еве. Знает — и признает бога. Почему?

В нашем городе вся антирелигиозная пропаганда сводится к одному — раз или два раза в месяц выдавать на-гора́ лекцию вроде «Было ли начало и будет ли конец мира?». Подойдет это нам?..

Верующие тетушки типа Серафимы Колышкиной действуют другим способом. Они не читают лекций, не выступают с докладами, просто находят человека с житейскими неувязками, душевными сомнениями, сочувствуют ему, влезают в душу, интересуются его болями, его сомнениями. Своего рода индивидуальный подход. Может, нам перенять метод Серафимы Колышкиной?

Вопросов много, и это не вопросы повышения активности на уроках, не подведение итогов перед весенними экзаменами, не то, о чем мы привыкли говорить на педсоветах, в чем чувствуем себя уверенно.

За длинным столом тесно сидят учителя. Тридцать с лишним человек, почти у всех высшее образование, добрая половина из них десятилетиями копила педагогический опыт. Отряд культурных людей, пожалуй самый многочисленный и в городе и во всем районе.

14

Чета Тропниковых выдвинула свой боевой план.

Кто-то из учителей должен взять на себя обязанности воинственного защитника богословских идей, на один вечер перевоплотиться в попа. Другие учителя подготовят учеников, заглянут с ними в библию и в евангелие (глупо возражать тому, о чем знаешь лишь понаслышке), познакомятся с работами философов-материалистов, писателей, ученых. Учитель, принявший обличье попа, и ученики встретятся на глазах всей школы. Это будет не столько диспут или поединок, сколько игра. Не война, а маневры. Однако игра должна идти всерьез. Маневры, если они своими трудностями, тяготами, сложностью поставленных задач не будут напоминать настоящую войну, бесполезны. Спор непременно должен быть ожесточенным, поповские выпады — глубоки, содержательны, остры. Легкая победа вызовет или недоверие, или заставит пренебрежительно думать о враге. А нам нужно, чтоб в таких маневрах рождались закаленные бойцы, которые в будущем, при нужде, смогли бы выдержать войну настоящую.

На Тропниковых сразу же набросился Аркадий Никанорович.

Тося Лубкова знает, что человек произошел не от созданного

богом Адама, а от обезьяны. Знает — и верит в бога! Причины Тосиной веры не в темноте, не в незнании каких-то истин. Доказывать ей, что библия обманывает, что Адама не существовало, повторять основы дарвинизма, которые она проходила на уроках, безполезное дело. Почему Тося верит в бога? Да потому, что перестала верить в людей, в товарищей. Ей не столько нужен диспут, открывающий глаза на научные истины, сколько моральная поддержка.

Чета Тропниковых: он — учитель физики, она — химии. Он высок, плечист, лобастая голова всегда в упрямом наклоне, взгляд решительный, исподлобья — не человек, а стенобитное орудие, всегда готов идти напролом. Она тонкая, светлая, с серыми глазами, мягкая на вид, обманчиво наивная, с женской хитрецой и с женским сумасбродным упрямством. Он глушил Аркадия Никаноровича своим басом, она опутывала лирическим сопрано. Но Аркадий Никанорович, как кремневая сосенка на песчанике, не гнулся, горячо блестел очками в сторону Тропникова-мужа, отпускал отточенные улыбочки Тропниковой-жене.

— Учтите: Тося Лубкова уже вернулась в школу! — напомнили ему.

— И что же? Может, хотите сказать — перестала верить? Тогда о чем спор, разойдемся по домам, довольные и успокоенные.

— Она вернулась, значит, как-то доверилась одноклассникам!

— Ой ли?

— Улыбайтесь сколько хотите, а первый шаг к доверию сделан.

— Дальше?

— Дальше добьемся, чтобы ее доверие к ребятам росло.

— Оч-чень хорошо! Дальше?

— А дальше ее товарищи, которым она как-то доверяет, начнут диспут о боге!

— И, разумеется, переубедят ее.

— Пусть Тося не будет принимать прямого участия в диспуте, пусть следит со стороны...

— А если она станет не следить, а избегать?

— Не станет!

— А вдруг да... Вдруг да эти диспуты заставят ее опять отдалиться от товарищей. Не придется ли, уважаемая Ирина Владимировна, снова возвращать ее в лоно нашей матери-школы и снова тянуть песенку про белого бычка.

— Станет следить! Не может не следить! Любой разговор о боге у нее неизбежно вызовет болезненное любопытство. Понимаете — болезненное! Магнитом потянет! Это ли не сближение! Это ли не решение вопроса!

— Вашими бы устами да мед пить.

Как и должно быть, одни учителя стали на сторону Тропниковых, другие — на сторону Аркадия Никаноровича. Учительская забурлила.

Мало-помалу один за другим все повернулись ко мне.

— Согласен с Аркадием Никаноровичем,— начал я,— согласен, что для Тоси нужнее сейчас не наше просвещение, а наша человеческая поддержка. Мы все силы, все время отдаем обучению. Считай, другим не занимаемся. Уроки, домашние задания, дополнительные занятия... Учим и ревниво напоминаем: слушай объяснения учителя — нужно для тебя, выполняй домашние задания сам, отвечай за себя. Всюду сам и для себя!

— Анатолий Матвеевич! — Верный завуч Анна Игнатьевна, округлив от удивления девичьи наивные глаза, воззрилась на меня.— Разве можно иначе?

— Наверно, нельзя. Думаю, и дальше будем учить, как учителя, по-старому.

— И все-таки...

— И все-таки в противовес тому, что над алгебраической задачей или литературным сочинением ученик должен думать в одиночку, нужно найти такое, над чем бы думали все, сообща, коллективно, школой. Думали, искали, спорили, тесно общались. Что-то, помимо той учебы, которая предопределена программой.

— Придется задавать шарады и головоломки в общешкольном масштабе,— усмехнулся Аркадий Никанорович.

— Жизнь сама задает шарады и головоломки. Не так давно зашел спор... Сейчас век техники, век великих научных открытий, должны ли уйти культура и искусство на второй план как менее важная сторона жизни? А если б мы этот спор вынесли за стены учительской, заставляли задуматься над ними всех учеников... Наука или культура, физики или лирики? Не так важно, изменим ли мы вообще взгляд на этот вопрос. Важно, что, решая, сами изменимся...

— Не пойму — наука и культура? Слишком нейтральное. Почему сразу не взять быка за рога и не поднять дискуссию на антирелигиозную тему? — спросила Ирина Владимировна Тропникова.

— Представьте, что завтра возьмем быка за рога, поставим вопрос ребром — есть бог или нет его? Тося Лубкова еще больше замкнется в себе. Саша Коротков произнесет во всеуслышание всем известные истины. Нам же нужен спор как коллективная форма мышления. Коллективная! Чтоб вглядывались друг в друга, искали единомышленников, убеждали противников, духовно общались между собой. Начнем, скажем, с вопроса — наука или культура. Вы говорите — нейтрален для атеистической пропаганды? Нет! Это трамплин и к разрешению религиозных проблем.

Пусть учеба идет своим чередом, пусть на уроках преподаются, как и раньше, законы Ньютона, теоремы Пифагора, пусть там ученик отвечает сам за себя, но зато после уроков, во время перемен он должен попадать в атмосферу неостывающих дискуссий. Будут меняться темы и вопросы, одни отмирать, другие рождаться, а спор пойдет изо дня в день. Культура, наука, мораль, религия — широкий охват, общие интересы, общая жизнь, нельзя остаться в одиночестве. Тося Лубкова в конце концов найдет товарищей, более интересных и более близких духовно, чем тетя Сима с ее ветхозаветным богом.

Я замолчал.

Первый подал голос Аркадий Никанорович:

— Благими помыслами дорога в рай вымощена. Как это сделать? Конкретно!

— Как? — обнадеживающий вопрос, с него начинается исполнение замысла. Давайте думать,— ответил я.

15

В конце педсовета меня позвали из-за стола к телефону.

— Анатолий Матвеевич,— женский голос,— с вами хочет встретиться товарищ Ващенков. Не смогли бы зайти сейчас?

Ващенков — первый секретарь райкома партии. Он человек сравнительно новый, всего год назад появился в нашем районе. Говорили, что перед приездом сюда он пережил семейную драму — жена его влюбилась в учителя,— что Ващенков до сих пор отправляет ей по два, по три письма в неделю: должно быть, не может ее забыть. Он весь отдался работе, даже жил прямо в райкоме, в комнате, где некогда останавливались командировочные из области. В экстренных случаях какой-нибудь председатель колхоза из отдаленного сельсовета, если не заставал Ващенкова в кабинете, то проходил по этажу и стучался прямо в комнату, иногда подымал секретаря райкома с постели. Не было случая, что Ващенков возмутился, повернул от двери неурочного посетителя. Высокий, сутуловатый, с длинными руками, неловко болтающимися у самых колен, с замкнутым лицом и внимательным взглядом маленьких, глубоко запавших глаз, одним своим видом он вызывал уважение. Я довольно часто наблюдал за ним на собраниях: всегда сосредоточенно озабочен, быть может, потому, что дела в районе не блестящи. Прежний секретарь Хомяков переусердствовал — сдавал на мясопоставку дойных коров, даже быков-производителей отправлял под нож,— за что и полетел с работы.

Вызывает неспроста! И я не ошибся.

По кабинету Ващенкова вышагивал Лубков, о чем-то говорил, при моем появлении оборвал себя на полуслове.

Коротко остриженная голова слишком кругла, сглажена, напоминает шляпку только что проклюнувшегося из земли подберезовика. Лицо щекастое, румяное, моложавое, по нему никак не подумаешь, что у этого человека дочь — десятиклассница. Одет он с претензией на моду. А в нашем городе своя мода, не столичная и отнюдь не западная,— узкие брюки не признаются. Пухлую, выдающуюся вперед грудь Лубкова обтягивает перехваченная широким ремнем гимнастерка, ноги упрятаны в просторнейшие бриджи, напоминающие юбку, широкими складками они ниспадают на узенькие хромовые сапожки.

В сутуловатой осанке Ващенкова чувствовалось что-то подчеркнуто бесстрастное, судейское. Он утомленно взглянул на меня, попросил садиться.

— Анатолий Матвеевич,— голос глуховатый, мягкий, но какой-то отрешенный, таким голосом можно разговаривать и с ребенком и с человеком, в неправоте которого убежден,— у вас в школе произошел досадный случай! Думается, что его надо принимать как сигнал какой-то опасности? Не так ли?

— Так,— ответил я.

Ващенков секунду-другую глядел мне в лицо своими запавшими голубыми глазами.

— Очень хорошо. Какие вы приняли меры?

Меры?.. Пощечина Тоси — «не верю!». Метель, мечущаяся в пустынном городе, бессонная ночь, голова, распухшая от мыслей, разговор с десятым классом, Костя Перегонов, Саша Коротков, снова Тося Лубкова, наконец — педсовет... Можно ли все это втиснуть в привычную до зевоты фразу: принял меры?

— Меры... Я уже не думаю о них.

Лубков, услышав мой ответ, застыл, как охотничья собака, почуявшая в камышах уток.

— Как вас понять? — вежливо осведомился Ващенков.

— Хочу, чтоб школа жила по-новому, а это несколько шире, чем принять обычные меры.

— По-новому... Переворот?

— В какой-то степени.

— Значит, этим признаете, что до сих пор вы неверно работали?

— Приходится признавать.

— Сколько лет вы директором?

— Двадцать.

— И теперь считаете, что в течение двадцати лет вы действовали ошибочно?

— Не во всем, а в чем-то да.

— Ваша школа была, кажется, не на плохом счету?

— Считалась одной из лучших в области.

Ващенков замолчал, не сводя с меня испытующего взгляда.

И тут вступил в разговор Лубков. Энергично вышагивая по крашеному полу, он обрушился на меня:

— Разве можно верить этому! Двадцать лет работы! Школа пользовалась заслуженным успехом. Вдруг перечеркнуть все крест-накрест. Не-ет, т-варищ Махотин, эт-то что-то подозрительно. Не тогда вы впадали в ошибки и заблуждения, а теперь! Да, да! Вглядитесь в себя, с вами что-то произошло. И что-то очень странное...

— Простите,— перебил я его,— вы когда-нибудь в жизни признавались себе, что неправы, что можете ошибиться?

— Я, т-варищ Махотин, готов прислушаться к любой критике, и вот вы... Вместо того чтобы принять меры, действовать решительно, пресечь в корне зародыш религиозного дурмана, вы сейчас перед нами рассуждаете о каком-то перевороте, о начинании новой жизни. Готовы даже бить себя в грудь, отказаться от своих прошлых заслуг. Это рисовка! Это желание прикрыть благодушными рассуждениями свою бездеятельность!..

И пошел, и пошел... Я пережидал. Ответственный райкомовский работник, и вдруг — его родная дочь верует в бога. Он не из тех, кто колеблется и сомневается. Раз дочь подвела, значит, она — враг, и он, ее отец, не допустит мягкотелости. Он искренен в своем негодовании.

Ващенков перебил его:

— Попробуем разобраться: в чем же ваши ошибки, Анатолий Матвеевич?

— Шесть лет назад я, скажем, выпустил из школы Костю Перегонова...

— Так,— склонил голову Ващенков.

— Вчера этот Перегонов с легким сердцем требовал исключить Тосю Лубкову из комсомола...

— Правильно требовал! — заявил Лубков.

— Исключить, когда ваша дочь, товарищ Лубков, собралась бросить школу — значит, оттолкнуть ее от себя к верующим, выбросить ее из нашей жизни. Жестоко?.. Да, но Перегонов не жесток по натуре. Он просто не понимает, мы не научили его этому. Разве не грубейшая ошибка — наша ошибка, моя?

И Лубков вновь вскипел:

— Грубейшая ошибка — потворствовать, спускать, не понимать, что принципиальное, строгое наказание есть своего рода воспитание. Да, да! Если на заседании бюро мне по заслугам влепят выговор с занесением в личное дело, что ж, по-вашему, я должен считать — бюро действует ради одной лишь любви к наказанию? Нет, оно пытается воспитать меня, а на моем примере и других!

— Хотите угрозами заставить думать иначе? Не получится. Угрозами можно запугать человека, он сделает вид, что думает,

как вам угодно. Сделает вид, не больше того. Можно палкой поднять с постели больного, но от этого он не станет здоровым.

— Ты бы сел, Юрий Петрович. От твоего мелькания в глазах рябит,— с легкой досадой попросил Ващенков.

Лубков понял, что ему предлагают помолчать, опустился на стул, прямой, с отведенными назад плечами, выпуклой грудью, ладонями, симметрично положенными на колени,— ни дать ни взять божок, нагоняющий страх на идолопоклонников.

Ващенков навалился на стол.

— Рассказывайте.

И я стал рассказывать о наших делах: индивидуализм, разобщающий в школе людей, учеба, основанная на требованиях — выполняй сам, отвечай за себя; атмосфера дискуссий и споров, которая заставит сообща искать, сообща думать, объединит учеников...

Худощавое лицо Ващенкова с большим нависшим носом, как всегда, выражало бесстрастную, вежливую замкнутость, но из темных глазниц неяркие голубые глаза глядели напряженно, пытливо. Человек в человеке: один — обычный, скучноватый, другой — таинственный, не совсем для меня понятный.

Ващенков долго молчал, наконец провел крупной рукой по лбу.

— Что-то похожее я уже слышал... От других учителей...

— Почему другие учителя не должны об этом думать — назрело,— ответил я.

— Да...— Ващенков снова погладил лысеющий лоб.— Двадцать лет работали...

Лубков решил — Ващенков колеблется, ему нужна поддержка, вновь подал голос:

— От лукавого! Пытаетесь достать ухо через голову!

Ващенков встал, протянул мне через стол свою широкую ладонь.

— Действуйте... Если нужно, буду рад помочь.

Лубков прикусил язык.

16

В конце коридора поставил две урны для голосования. На одной выведено «Физики», на другой — «Лирики». Над каждой урной, на стене,— по размашистому плакату. Рукой лучшего в школе шрифтовика Лени Корякина черной тушью по ватману отпечатано: на левом — «Декларация «физиков», на правом — «Декларация «лириков».

Текст первой декларации писали учителя Тропниковы — самые воинственные представители науки в нашей школе. Он гласит:

«История человечества началась с изобретения. Первобытная обезьяна, соорудив из камня топор, перестала быть животным. Труд создал человека! Не картины Рафаэля, а паровые машины, не сонаты Бетховена, а открытие электричества, не «Стихи о Прекрасной Даме», а самолет братьев Райт подымали могущество рода человеческого.

Мы стоим на пороге в космос, в наши дни уже тесна Земля — вот пример человеческого всесилия. И те межпланетные корабли, которые скоро возьмут курс на Марс и Венеру, полетят не потому, что гениальные поэты напишут вдохновенные поэмы, а скульпторы изваяют прекрасные памятники. Расчеты математиков, открытия физиков, химиков, биологов понесут эти корабли к неведомым мирам.

Пусть себе искусство украшает жизнь, движет же ее вперед НАУКА — в ней сила человека, ей по достоинству первое место! КТО — ЗА?»

Текст же декларации «лириков» сочинял Аркадий Никанорович:

«Снимем шапки перед наукой — она воистину всемогуща. Она в состоянии сделать руку более сильной, глаз более зорким, даже мозг более проворным. Она стерла с лица нашей планеты чуму и холеру, черную оспу и желтую лихорадку. Но пусть ответит всемогущая, какими прививками вылечить людей от черствости и равнодушия? Какими формулами высчитать нравственную красоту? А без красоты нравственной, красоты духовной загниет жизнь — ненависть восторжествует над любовью!

О любви можно написать научный трактат. Он объяснит, но не научит любить. А кто возразит, что Левитан своими картинами не учит любить природу, а рассказы Чехова — человека?

Напомним науке, что она дала человечеству не только мирные спутники, но и водородные бомбы. А что, если эти бомбы попадут в руки людей с багажом знаний, но без нравственной красоты, с расчетливым мозгом, но без души? Бездушный человек, наделенный силой разрушения,— что страшнее этого? Сметенные с лица Земли континенты, гибель народов, гибель цивилизации, в том числе и гибель самой науки,— всего можно ждать.

Наука! Шапку долой перед лириками, если хочешь творить счастье! КТО ВОЗРАЗИТ ПРОТИВ ЭТОГО?»

Щели обеих урн до поры до времени заклеены бумагой. Пусть ребята поспорят, покричат, поварятся в своем соку, только тогда будет сорвана бумага и начнется голосование.

Лишь старшеклассники более или менее самостоятельно

могут разобраться, куда их влечет — к «физикам» или к «лирикам». Большинство же школьного населения — беззаботнейший народец; до сих пор их волновали запруды на ручьях, лапта на непросохшем дворе, нерешенная дома задачка перед уроком матемитики. «Физики» или «лирики»? — за всю свою короткую жизнь им ни разу не пришлось подумать об этом. А так как они — большинство, то их голоса и решат, на чьей стороне будет победа.

Если ты учишься в восьмом или девятом классе, отдаешь сам себе отчет, что правы, например, только «физики», декларация «лириков» тебе чужда, даже вызывает возмущение, то действуй, не жалей сил и времени! Если тебе поручена опека над пионерами младшего класса, собирай их, если же нет этой возможности, лови на переменах тех, кто незрел, объясняй, убеждай, открывай им глаза на истину, перетягивай голоса к дорогим твоему сердцу «физикам», поноси сколько угодно «лириков» — не возбраняется. Запрещено только одно: действовать угрозами. Если какому-нибудь пареньку из-за простого каприза или по упрямству захочется голосовать против — что ж, на то его святая воля.

Итак, «физики» или «лирики»?

Тесная толпа ребят заполнила конец коридора. Вразнобой громкое чтение, неопределенные возгласы, легкая давка, юркие малыши протискиваются под локтями старшеклассников и с философским безразличием принимают назидательные тычки. Во всем пока ощущается настороженность, какое-то недоумение. Еще далеко не каждый ученик решил, на чьей он стороне, еще нет горячности.

— «...Не картины Рафаэля, а паровые машины...» — упоенно читает чей-то голос.

А возле него говорок тесно сбившихся пятиклассников:

— Это кто такой — Рафаэль?

— Не слышишь разве — картины рисовал.

Не все знают Рафаэля, не все еще понимают, о чем идет речь. Поймут и узнают, примут чью-то сторону — и уже наверняка со страстью.

Звонок — перемена окончена. Но толпа перед декларациями раскачивается, не желает двигаться с места. Упоенный голос продолжает читать:

— «...И те межпланетные корабли, которые скоро возьмут курс на Марс и Венеру...»

Появляются учителя с классными журналами под мышкой.

— Кончайте, кончайте, друзья! На следующей перемене прочтете. На урок, на урок!..

Упоенный голос восклицает:

— «...Кто — за?» — И умолкает.

Толпа зрителей тает. Вдоль всего коридора хлопают двери классов.

Перед декларациями остаются двое — насупленный и серьезный Саша Коротков: он о чем-то напряженно думает, поигрывая желваками, разглядывает текст, отпечатанный красивым шрифтом на белой бумаге. Рядом с ним, долговязым, коротышка — второклассник Петя Чижов: круглая, щекастая физиономия выражает предельную завороженность, рот открыт. Саша Коротков с усилием отрывает взгляд от декларации, угловато поворачивается, нервным широким шагом идет к своему классу. Петя Чижов срывается, бежит вприпрыжку, по пути останавливается, круто сворачивает к уборной — эх, загляделся, обо всем забыл. В школе начинается очередной урок.

Как всегда, в этот день в положенное время раздавались звонки, как всегда, деловая тишина уроков сменялась шумом перемен. Но можно было уловить, что сегодняшний шум не похож ни на вчерашний, ни на позавчерашний. Не исчезли смех, крики, возня, но в воздухе какая-то новая возбужденность, непривычная напряженность. Одни кучки быстро распадаются, другие же, наоборот, растут, иногда вдруг раскалываются надвое...

И в учительской оживление. Нина Федоровна Ромашкина, преподавательница истории в пятых, шестых — свежее личико в ямочках, белые руки прижаты к груди,— подходит ко мне.

— Анатолий Матвеевич, пол-урока сейчас пропало: требовали объяснить — за «лириков» я или за «физиков»?

— А все-таки, за кого вы? — поинтересовался я.

Опустила ресницы:

— За «лириков».

Жена и муж Тропниковы, «физики» и по профессии и по убеждениям, не жалуются, что у них уходит на уроках драгоценное время, они, я уверен, воздают хвалу своему кумиру, ниспровергают «лириков». Уверен в этом и Аркадий Никанорович, он открыто заявляет:

— Мы тоже не молчим. Не-ет, не молчим — действуем!

Анна Игнатьевна, должно быть, не решила, чью сторону взять, все время ходит вокруг меня, прислушивается — не проговорюсь ли, за кого я, тогда и она будет знать, каких взглядов держаться.

На последней перемене она ворвалась ко мне в кабинет, краснея от возмущения:

— Безобразие творят!

— Кто?

— Коротков подобрал компанию!

— В чем дело?

— Мероприятие срывают! Слушать не хотят! Вы только выйдите, полюбуйтесь...

Выхожу. У стены, где висят декларации, опять столпотворение. В самом центре Саша Коротков, рядом с ним девятиклассники, братья-близнецы Олег и Сергей Зобовы. Олег — лучший во всем районе шахматист, Сергей — без особых увлечений, зато круглый отличник. Олег торжественно держит лист какой-то серой бумаги. Сергей не менее торжественно молчит, а Саша Коротков ораторствует со свирепым лицом:

— А мы не согласны ни с теми, ни с другими! Истина посредине! Да, посредине! Обе стороны ошибаются!..— заметил меня, попробовал протолкаться навстречу, застрял в плотной стене любопытствующих малышей.— Анатолий Матвеевич! У нас свой взгляд! Рядом с этим,— он мотнул ершистой головой на декларации,— хотим вывесить свое слово! Почему не разрешают?

— Это же безобразие, Коротков! — строго урезонивает из-за моей спины Анна Игнатьевна.

— Спор с зажимом или свобода мнений?

— Ну-ка,— попросил я.

Десятки рук передают мне через головы широкий лист. На обратной стороне куска старых обоев химическими чернилами вкось и вкривь — новая «декларация»:

> «Мы отказываемся голосовать за тех и за других! Не может быть разделения на «физиков» и «лириков»! В любом деле есть поэзия! В математике, физике, химии ее не меньше, чем в литературе и живописи! Мечта о новом, предчувствие нового, открытие нового — вот поэзия! Истинный физик всегда поэт!! А те «физики», что отрицают лирику, обворовывают сами себя! «Лирики», возражая им, не понимают сути поэзии! Они не «лирики»!! ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАШУ ДЕКЛАРАЦИЮ!!!»

— Очень хорошо. Повесьте рядом,— сказал я.

И между двумя декларациями, с такой тщательностью и любовью выполненными лучшим в школе шрифтовиком-художником Леней Корякиным, втиснулась третья, варварски кричащая кривыми буквами, изобилующая восклицательными знаками,— воистину бунтарский документ.

Сторонники этой декларации гордо стали именовать себя «независимыми», а с той и с другой стороны их непочтительно — и, пожалуй, несправедливо — прозвали «болотом».

17

Митингуют в коридорах, на лестницах, во дворе, под моим окном. Митинги вспыхивают после уроков в тесной раздевалке. Спорят с таким вдохновенным ожесточением, словно судьбы науки и культуры, судьбы всего необъятного человечества зависят только от них и ни от кого больше.

Самой типичной фигурой становится мятущийся. Какой-нибудь Женя Сысоев из шестого «Б» или Вася Ушаков из пятого «А» — та многоликая серединка, галдящая, носящаяся сломя голову на переменах, извечные «казаки-разбойники», несгибаемые «троечники»,— потолкавшись на одном митинге, проникаются неистовой преданностью к «физикам». Ракеты, летящие на Марс, кибернетические машины (шутка ли, сами решают задачи) — «физики» превыше всего! А через пять минут слушают стойкого лирика, проповедующего: «Гордая наука, шапку долой!..» — и «физики» ниспровергнуты. А тут еще появились такие, кто обвиняет и тех и других. Как устоять против их декларации, нагло занявшей центральное место на стене? Женя Сысоев и Вася Ушаков настраиваются воинственно: «Болото? А в нос хошь?.. Не «болото» мы, а «независимые!» Однако и эта независимость длится до следующей перемены...

Шумит школа, мечется, сомневается, негодует, утверждает кумиров, ниспровергает их. Противники становятся друзьями, друзья — противниками, мгновенные союзы, расколы, снова союзы — все смешалось в нашем доме.

И в этом вавилонском смешении ходит Тося Лубкова. Одна десятиклассница, человек куда более зрелый, чем легкомысленные Жени Сысоевы и Васи Ушаковы. Настороженность, внимание со стороны ребят, которое, верно, чувствовалось после того, как вернулась в школу, теперь ослабло — до нее ли! Тихая, неприметная, словно и не было истории с дневником. Но в стороне ото всех теперь не останешься, невольно будешь прилипать то к одной группе спорщиков, то к другой, пусть мысленно, но будешь возражать.

Весна напирала. Школьный двор стал пестрым. В моем кабинете выставили зимние рамы. И хоть было еще довольно прохладно, но я любил на минуту-другую приоткрыть окно, подставить лицо под влажный сквознячок.

Во время большой перемены прямо под моим окном, у стены, согретой солнышком, ребята обступили Сашу Короткова. Тот развивал свою декларацию: «физики» узколобы, взгляд «лириков» куцый... Словом, нет бога, кроме аллаха, и Магомет пророк его...

И тут я услышал голос Тоси Лубковой:

— Мертвая аксиома — вот твоя позиция!

Общий шум! Разгневанный Сашин баритон вырывается из него:

— Счеты сводишь?

— Нужно мне...

— Тише вы! Пусть объяснит!

— Объясню!

— Тише!

— «Физики» хоть что-то обещают: машины, полеты... «Лирики» говорят о красоте... А ты что обещаешь? Ничего. Голосуйте! Я нашел аксиому! А от твоей аксиомы никому ни жарко ни холодно.

Снова шум, крики, полная неразбериха. Я прикрыл окно.

Тося Лубкова спорит не только мысленно. Спорить — значит думать, спорить — значит не только опровергать противников, но и искать единомышленников, спорить — как-то жить в нашем школьном обществе. Одно это уже выбьет закваску Серафимы Колышкиной. Здесь Тосины одногодки, горячность, напористость, желание заглянуть в будущее, там — старушечье умиление, дряхлые, безликие мотивы добра и зла. Сталкиваются два лагеря: молодость и старость, энергия и покой, надежды и отказ от них. Сталкиваются не где-нибудь, а в Тосиной голове, в Тосиной душе. А мы ведь не остановимся на «физиках» и «лириках», дай срок, и наш спор влезет прямо в религию.

Я слишком просто понимал прежде воспитание: вызови к себе ученика, поговори, потолкуй, воздействуй на него своим педагогическим обаянием. Ерунда! Нельзя воспитывать, вырывая человека из коллектива, нужно действовать так, чтоб весь коллектив стал воспитателем! Для каких-то педагогов это, верно, банальная истина, для меня — открытие. После сорока лет работы! Трудился и мало думал над своим трудом.

18

Не было нужды проводить тайное голосование, решили голосовать парадно.

Урны и декларации перенесли в спортзал — он же наш конференц-зал. Для «независимых» урны не оказалось. Один из поклонников Саши Короткова, Лева Кушелев, отыскал в реквизите кружка самодеятельности старый громоздкий барабан с медной позеленевшей тарелкой и продырявленным боком. Когда-то этот барабан был принесен из районного Дома культуры, для того чтобы изображать раскаты грома во время спектакля, да так и остался у нас. Продырявленное место аккуратно обрезали, получилось отверстие, куда можно просунуть руку, барабан водрузили на столик — опускайте голоса, даже вид у такой урны символический, отвечает боевому духу «независимых».

Открывать голосование предложили мне.

Обширный зал набит битком, собралась вся школа от первых классов до десятого. Лица, лица, лица, и в каждом из них я чувствую оживление. Вне всяких календарей и планов у нас сегодня в школе праздник.

— Дорогие друзья! — начал я торжественно.— Мы спорили три дня и спорили бурно. Должно быть, каждый из вас решил —

за кого он. Меня могут спросить: что за спор, если мы не пришли к единому мнению? Одни сейчас проголосуют за «физиков», другие — за «лириков», третьи опустят свои голоса в барабан. Но ведь так и должно быть. Представим, что мы думаем одинаково: я, как Саша Коротков, Саша, как Петя, Петя, как Вера,— все на одну колодку, никто никому не сможет подсказать, не от кого ждать смелой мысли или открытия, и если весь мир будет состоять из одинаково думающих людей, то можно представить, какой однообразной, тусклой, унылой станет жизнь. То и хорошо, что мы, все разные, сошлись, обменялись, возразили друг другу. Наверняка каждый из нас в чем-то стал богаче, как-то шире начал глядеть на мир. Итак, «физики» или «лирики» — поставим точку. Но как в старину восклицали: «Король умер! Да здравствует король!» Так и мы бросим лозунг: «Спор кончен! Да здравствует спор!» Нас ждут другие вопросы. За эти дни мы часто говорили о духовном мире человека, часто приходилось упоминать слово «душа». Почему бы, скажем, нам не поспорить о том, существует ли бессмертие человеческой души?..

Зал недоуменно загудел.

— О, вы шумите, вам кажется ясным — нет бессмертия души, и все тут! Но доживем до того дня, когда будут вывешены правила новой дискуссии. Таким ли уж простым покажется вам этот вопрос...

Заинтриговав ребят — пусть с нетерпением ждут нового спора,— я закончил:

— Приступим, друзья, к голосованию!

Торжественно подошел к урнам, сорвал бумагу, которая закрывала щели. До сих пор оживленно шумевший зал притих, сотни ревнивых глаз, ярые сторонники «физиков», «лириков», «независимых» следили за каждым моим движением: «Анатолий Матвеевич первым из всех опустит свой голос. На чьей же стороне он окажется?»

При общем молчании я написал на клочке бумаги свое имя и... опустил в урну «лириков». Тишина лопнула от сотен голосов, возмущенных, торжествующих, просто удивленных, зазвенели стекла в окнах.

— Объяснить!

— Почему за «лириков»?

— Правильна-а, Анатолий Матвеевич!

— Объяснить!!

Я выждал, пока все успокоятся, и пояснил:

— Я же прирожденный лирик, разве не замечали за мной такого греха?

Раздался смех. «Лирики» устроили овацию. Я спустился со сцены.

Один за другим выходили учителя. Мужа и жену Тропнико-

вых, как только они появлялись возле урны, «физики» встречали аплодисментами. Аркадию Никаноровичу восторженно хлопали «лирики»...

Осторожно ступая тяжелыми сапогами, словно продвигается не по полу, а по тонкому осеннему льду, со склоненной набок крупной головой и напряженной улыбкой на мужественном лице появился Евгений Иванович Морщихин.

Этот человек, когда школа гудела от споров, ходил по коридорам бочком, не задерживался возле спорящих, в учительской не вступал в разговоры, казался безучастным как к «физикам», так и к «лирикам». Ждали — раз он преподаватель математики, то должен отдать свой голос «физикам» и, наверно, сделает это без энтузиазма, снова стушуется, отступит в тень.

Но Евгений Иванович приблизился к урне «лириков» и опустил в нее свою бумажку.

— Объяснить! — прорвались требовательные голоса.

— Математик — за «лириков»! Объяснить!

— Дать слово Евгению Ивановичу!

За последние дни все как-то привыкли, что никто не только не скрывает своих взглядов, а, наоборот, навязывает их, обнажались характеры, открывались тайнички, а тут — непонятный человек, поступки его неожиданны, он их не афиширует. Быть себе на уме, когда остальные распахиваются друг перед другом!

Евгений Иванович с прежней неловкой улыбкой, бережно ступая по сцене, собирался было удалиться. Но крики возросли:

— Объяснить!!!

— Два слова — почему «лирики»?!

Евгений Иванович остановился, согнал улыбку с лица, глядя на носки своих сапог, переждал шум, заговорил по-учительски размеренно, сразу впадая в привычный тон:

— Наука может сделать жизнь человека удобной — самолеты, телефоны, радиостанции, телевизионные установки... Удобно! Но удобная жизнь еще не значит счастливая. Счастье может быть только тогда, когда человек заставил себя быть добрым, а не злым, благожелательным, а не завистливым, справедливым, а не бессовестным. Секрет счастья в самом человеке, в его внутреннем мире. Наука во внутренний мир вкладывает лишь знания, а этого недостаточно. Искусство же, культура в чем-то меняет душу. В чем-то, а не во всем. Так мне кажется. Поэтому... Поэтому, раз мне предоставили выбор, я выбрал «лириков».

Сторонники «лириков» проводили Евгения Ивановича аплодисментами, а я, глядя в его широкую, ссутулившуюся спину, снова подумал о том, что мало знаю этого человека, проработавшего со мной бок о бок десять лет,— никогда не говорил с ним по душам, не было откровенности между нами, и чужим не посчитаешь и близким не назовешь.

Учителя кончили голосовать. На сцену класс за классом полезли ученики — последние споры, жестикуляция возле урн, шум.

Поздно вечером, как обычно, я задержался в школе.

Передо мной лежала папка, куда были вложены первые листы: тексты деклараций, подсчеты голосов — итоги трехдневного спора. Большинство получили «лирики»,— быть может, потому, что на их стороне оказался директор...

Я глядел на бумаги — всего четыре листка, но теперь с каждой неделей в эту папку будут ложиться новые документы, она распухнет, станет своего рода летописью, отмечающей страсти, увлечения, столкновения... Летопись начата, а конца ей, надеюсь, не будет.

Жалко, что все бесчисленные споры отшумели в стенах школы и не оставили следа. Если бы их как-то записать, пусть не целиком, частично, намеками. С каким удовольствием я бы рылся сейчас в таких записях, сколько бы нового узнал о своих учениках, какие бы, наверно, неожиданные характеры открыл, каким бы прозревшим встал после этого из-за стола. Надо подумать...

Надо о многом подумать... На днях начнем спор о смертных и бессмертных душах. Могут упрекнуть: не тянете ли вы к идеализму? К идеализму?.. Нет, к идеалам! А это разные вещи!

В мире давно существует один неразрешенный вопрос: «Для чего живет человечество?» Для чего оно строит города, изобретает машины, создает памятники искусства, мечтает вырваться не только к ближайшим планетам, но и за пределы солнечной системы? Для чего? Бесстрастный естествоиспытатель ответит: человек — не что иное, как особая форма существования белковых веществ, в этом он сходен с кроликом, с папоротником, с деревом, с мухой, с простейшей амебой; основа одна, отличие только в сложности: амеба существует ради существования, человек в конце концов живет ради того, чтобы жить, лишь сам процесс жизни его намного сложней, чем у амебы. Стоит преклонить колени перед этим, в общем-то правильным, научным постулатом, принять его к руководству, и у человека пропадет охота проникать в секреты природы, изобретать новые машины, развивать искусство, человек перестанет быть человеком! А он верит в свое высокое призвание, видит перед собой великие цели, открывает, проникает, мечтает — высокие идеалы двигают его жизнь вперед.

Математической формулой или бесстрастным выводом естествоиспытателя не объяснишь существование людей, где созидающий дух поднялся над многоликими превращениями белковых тел.

Я за высокие идеалы! Хочу, чтоб каждый из моих учеников мечтал чем-то обессмертить свою душу, мечтал и верил, что это возможно.

Передо мной тощая папка, начало большой летописи. То, о чем и сейчас думаю один в тихой, опустевшей школе, завтра выложу перед учителями. Сейчас они — моя сила, мои помощники. Кому-то из них суждено продолжать начатое, кто-то продолжит... Уйду я, забудут меня, а что-то мое, пусть неприметно маленькое, будет жить среди людей. Я тоже мечтаю о бессмертии своей души. Пусть упрекают меня в идеализме...

Телефонный звонок оборвал мои мысли.

— Я слушаю...

— Анатолий Матвеевич...— Голос сначала показался мне незнакомым.— Говорит Ващенков. Не зайдете ли ко мне сейчас? Очень нужно.

Трубку повесили.

19

Меня ждали трое: Ващенков, Лубков и Костя Перегонов.

Костя сидел, поджав под диван ноги; он метнул на меня взгляд, опустил ресницы, смутился.

Лубков по обыкновению пружиняще ходил по кабинету, скрипел сапожками, колыхал просторными бриджами. Что-то парадное чувствовалось в его выправке, в том, как держал подбородок, как выставлял вперед грудь. На секунду он остановился, оглядел меня и снова зашагал.

Ващенков был угрюм, его крупные руки с вздувшимися венами устало лежали на столе. Кивком он пригласил меня садиться.

От предчувствия чего-то недоброго споткнулось сердце и забилось беспорядочно, судорожно, как тяжелый лещ, выброшенный из воды на берег. Мое больное сердце... С ним у меня борьба многолетняя, застаревшая, отчаянная. Иногда оно смиряется, как и было в последние месяцы, я редко вспоминаю о нем. Чаще же я и оно находимся в неустойчивом перемирии, постоянно чувствую его каменную тяжесть в груди, жду каверзы. Несколько раз оно уже валило меня с ног, я отлеживался в постели, но пока выходил победителем. Пока... Я знаю, в конце концов победит оно, хотя и не могу привыкнуть к этой мысли. Что-то давненько не давало о себе знать, сейчас сорвалось, обрадовалось неизвестной беде...

— Расскажите, Константин Валерианович,— услышал я голос Ващенкова.

Константин Валерианович?.. Кто это? Ах да, Костя Перегонов! Я и не знал, что его величают Валериановичем.

Костя заерзал на диване, заговорил, обращаясь ко мне, но не подымая на меня глаз:

— Анатолий Матвеевич, я это узнал совершенно случайно. К нам в райком пришла одна комсомолка. Она в Воробьевском по-

чинке живет. В том починке, где раньше жила эта... Ну, жена Евгения Ивановича, математика нашего. Заговорили, что скоро пасха, заговорили о верующих. Тут эта комсомолка и говорит, что из молодых была у них одна верующая, Настя Копылова. А эта Настя — теперь жена Евгения Ивановича. У нее, должно, знаете — несчастье было, парень обещал жениться, да бросил, ребенок от него умер. После этого она словно помешалась — молилась, о монастырях расспрашивала... А Евгений Иванович в починок приезжал. Так вот, Евгений Иванович приехал за дранкой и встретился с этой Настей, они сошлись...

Костя замолчал. Сердце у меня поуспокоилось, но теперь я уже чувствовал знакомую, сосущую тяжесть. Лубков продолжал ходить из угла в угол, и это раздражало меня.

— Уж не подозреваешь ли ты, Костя,— заговорил я,— что Евгений Иванович Морщихин сошелся с этой девушкой потому, что он сам верующий?

— Так оно и есть,— ответил Костя.

— Он десять лет в нашей школе. Тебя учил года четыре. Замечал ты за ним, что он верующий?

Сапоги Лубкова перестали скрипеть...

— Десять лет! — бросил он резко.— То-то и оно, т-варищ Махотин, десять лет не раскусили — бок о бок живет и работает мракобес. А мы-то гадаем: откуда, мол, религиозная зараза в школе? Чего ждать, когда попы-расстриги устроились в учителях!

— Не преждевременно ли делаете такие категоричные выводы? — повернулся я к Лубкову.

— К сожалению, не преждевременно, а запоздало! На десять лет запоздали с этими выводами!

— Не верю! Противоречит здравому смыслу! В нашем городе не так-то легко скрыть свои убеждения — у любого человека жизнь, как на ладони. Быстро бы заметили: посещает церковь, связан с другими верующими, наконец, словом или намеком за десять лет непременно выдал бы себя перед каким-либо учителем. Не позволю клеветать на человека!

Костя не глядел на меня. Ващенков угрюмо молчал, а Лубков усмехнулся, энергично приблизился, сел напротив меня с победным видом.

— Клеветать!.. Слушайте же. Едва мне только стала известна эта позорная новость, я решил немедленно проверить ее. Самолично проверить, т-варищ Махотин! Всего какой-нибудь час назад я заявился в гости к этому Морщихину. Да-да, незваным, непрошеным — прямо на дом! Хозяин хотел удержать меня в передней комнате, даже вежливо загораживал дверь в заднюю комнатушку. Но я все же вошел. На столе, знаете ли, школьные тетради, а на стене... А стена-то в иконах, т-варищ Махотин. Школьные тетради и лики святых в мирном, так сказать, соседстве.

Кстати, Морщихин только что вернулся из школы, где, кажется, держал речугу и сорвал аплодисменты... Так вот, одна стена почти целиком увешана иконами. Молится он на дому, в церковь во избежание неприятностей не ходит, гостей у себя не принимает. Был у меня с ним разговор — короткий, но весьма впечатляющий. Я его спросил в лоб: верит ли? Он вынужден был признаться: да, мол, верю. Теперь скажите еще раз, т-варищ Махотин, что клевещу на безвинного человека...

Я сидел ошеломленный. Лубков свысока глядел на меня, Ващенков молчал.

— Понимаете теперь,— продолжал Лубков,— откуда моя дочь набралась религиозной заразы? Понимаете, кого вы пригрели? Святоша на месте школьного учителя! Такой научит уму-разуму. А теперь вглядимся в ваше поведение, т-варищ Махотин. Нужно было принимать решительные меры, а вы либеральничали. Вместо прямой религиозной пропаганды затеяли какую-то возню вокруг «физиков» и «лириков». Мало того (час от часу не легче!), рассказывают, что будто бы вы с помощью диспутов собираетесь проповедовать бессмертие души! Это уж слишком, т-варищ Махотин. Слишком! Уважаемый директор школы, старый советский педагог, член партии и... проповедник религиозного дурмана!

Ващенков молчал.

Я перевел дыхание, спросил, не узнавая своего охрипшего голоса:

— Уж не подозреваете ли меня в прямом пособничестве религии?

— Не смею утверждать. Просто ваше заумное поведение сделало вас если не прямым, то невольным пособником наверняка. И то, что вы невольный, никому от этого не легче. В прошлый раз вам удалось опутать нас своими речами, теперь не удастся.

Ващенков пошевелился наконец, оторвал взгляд от устало выброшенных на стол рук, взглянул на меня запавшими глазами.

— Анатолий Матвеевич,— сказал он глухо,— давайте порешим, как поступить. Перво-наперво нельзя дальше держать возле детей в качестве наставника человека с чуждым мировоззрением...

Я кивнул головой:

— Понимаю...

— Кроме того,— продолжал Ващенков глуховато и отчужденно,— придется вам что-то пересмотреть из своих планов. Быть может, что-то, а не все. Лично я верю вашему опыту — как-никак сорокалетний педагогический стаж. Но... Но, наверно, надо действовать более прямо и решительно...— Сморщился с досадой, покрутил головой: — Какая, однако, неприятная история! В лучшей школе — сначала верующая десятиклассница, потом верующий учитель!

— Не случайно,— скупо, но внушительно заметил Лубков.

Разговор кончился. Я вышел на улицу, ощущая свинцовую тяжесть под лопаткой, напротив больного сердца. Присел на минуту на ступеньку райкомовского крыльца, чтобы отдышаться.

20

Жена Евгения Ивановича упавшим голосом несколько раз переспросила через дверь:

— Да кто же это?

— Откройте, пожалуйста. Это я — Махотин.

— Какой такой Махотин?

— Это я, Анатолий Матвеевич, директор школы. Мне нужно поговорить с вашим мужем.

Только после такого пояснения непослушные руки принялись отодвигать неподатливую задвижку.

Ударившись в темных сенцах головой о какие-то полки, я наконец вошел в комнату. Молодое, с правильными, выразительно неподвижными чертами лицо жены Морщихина было бледно, глаза, застывшие и округлившиеся, уставились на меня испуганно.

— Прошу прощения, что так поздно,— довольно-таки сумрачно извинился я.— Где же Евгений Иванович?

А Евгений Иванович уже сам появился из другой комнаты, в просторной нательной рубахе, заправленной в брюки, из-под брючного ремня сквозь рубаху выпирает круглый живот, ворот распахнут, видна волосатая грудь, на его грубоватом, губастом мужицком лице ни смущения, ни удивления, только маленькие глаза косят в сторону сильней, чем всегда.

— Садитесь, Анатолий Матвеевич,— просто сказал он, подвигая стул.

Мы уселись. Хозяин повернул ко мне широкое лицо, но взглядом уперся куда-то в угол.

— Настя,— негромко попросил он,— собери-ка на стол. Самовар, поди, еще не остыл.

— Не нужно! — решительно возразил я.— Я пришел поговорить с вами с глазу на глаз.

— Настя, иди к себе,— тем же ровным, негромким голосом, упорно глядя в угол, приказал Морщихин.

И только тут я заметил, что он волнуется, у него чуть приметно дрожат губы.

Хозяйка тихо, как тень, качнулась к двери, с боязливой бережностью прикрыла ее.

Электрическая лампочка из вылинявшего шелкового абажура освещала чистую, без единого пятнышка, без единой морщинки, скатерть на столе. В углу комнаты — загруженная книгами этажерка. Над приземистым узеньким диванчиком — незатейливый

коврик, посреди коврика застекленная фотография женщины, первой жены Евгения Ивановича. На другой стене в такой же рамке репродукция рафаэлевской «Сикстинской мадонны». Ничто не напоминает, что в этих стенах живет верующий. Обычное скромное жилье сельского учителя. Неужели за стеной, в другой комнате — иконы!..

Морщихин продолжал сидеть передо мной, чинно сложа руки на скатерти, отведя глаза в угол.

— Вы догадываетесь, на какую тему предстоит разговор? — спросил я.

— Догадываюсь,— ответил он, дрогнув губами.— Я даже ждал вас...

— Догадываетесь и о последствиях нашего разговора?

Лицо Морщихина потемнело, он медленно перевел на меня глаза, и я в них увидел тоску.

— Анатолий Матвеевич,— заговорил он приглушенно,— я вас десять... Нет, даже одиннадцать лет знаю...

— До сих пор и я считал, что знаю вас.

— Я всегда видел в вас высокопорядочного, по-настоящему благородного и справедливого человека...

— К чему сейчас комплименты?

— Это не комплименты, это мое глубокое убеждение. И оно мне подсказывает, что вы меня поймете...

— Начнем наш разговор не с середины, а с самого начала,— перебил я его.— Вы работаете в школе, которая, как и все школы в нашей стране, стоит за материалистическое воспитание детей. Не так ли?

Морщихин уныло кивнул крупной головой.

— Ваши же взгляды прямо противоположны задаче школьного воспитания. Не так ли?

— Кому мешают мои взгляды? Я же их не афишировал, даже больше того, всячески прятал.

— Встаньте на минутку на мое место и ответьте за меня: могу ли я быть уверен, что, скажем, в истории с Тосей Лубковой вы ничем не замешаны? Так же, как вы скрывали свои убеждения, так вы могли и скрывать свое влияние на некоторых учеников.

Морщихин тяжело зашевелился за столом, заговорил, бросая на меня свои мимолетные, тоскливые взгляды.

— Анатолий Матвеевич, да, я верующий, да, я уже много лет молюсь, да, я и душой и сознанием признаю бога. Но это мое глубоко личное дело, если можно так сказать, собственность моей души. Я никого не подпускал к этому и не собираюсь подпускать. Анатолий Матвеевич, скажите: какой страшной клятвой поклясться перед вами, что за все время моей работы с вами ни одного слова ни с одним учеником я не обронил о вере?

Широкое, с раздвинутыми скулами лицо Евгения Ивановича расцвело пятнами, невысокий, плоский лоб нахмурился, залоснился испариной, глаза беспокойно гуляли по сторонам, встречались с моим испытующим взглядом, и в эти короткие секунды я видел в них просьбу, какую-то глухую, безнадежную.

Я пришел к нему, чтоб обличить, вырвать признание. И не то чтобы я поверил в его искренность, нет, клятвенные заверения, просящие взгляды не слишком-то веские доказательства, но у меня против желания появилось сомнение — могу ли я не доверять ему целиком?

— С одной стороны — бог, с другой — пестование людей, отрицающих этого бога. Простите, Евгений Иванович, но для меня дико выглядит такое духовное двурушничество. Непонятно, как в этом положении может существовать человек?

Морщихин, уставясь в угол, пожал плечами.

— А что мне оставалось делать? Я преподаватель математики, другой специальности не имею. Стать донкихотом, воевать, не надеясь на победу, остаться без куска хлеба?.. Нет, не могу. Преподношу понятия о логарифмах, об уравнениях, о квадратных корнях, благо мое преподавание в стороне от больных вопросов. Если я не сказал в стенах школы в пользу существования бога, то и против бога я не обронил ни слова. Живу и молчу, был доволен, что меня не трогали, не влезали в душу.

— А если б была возможность воевать?

Снова неловкое подергивание плечом.

— Ну какой я воин...

Мы помолчали. Я продолжал разглядывать Евгения Ивановича. По книгам, по старым сказаниям я много слышал об отшельниках, во имя служения богу добровольно замуровавших себя в кельях. Предо мной сейчас сидел отшельник нового типа. Не старец с патриаршей бородой, не истощен постами и молитвами, носит не тряпье, не вериги, а приличные костюмы, сорочки, галстуки, ходит в кино, встречается каждый день с людьми, а все-таки в стороне от них, все-таки отшельник. Жить среди людей и быть им чужим — это даже страшней удаления на пустынное житье. Там можно обо всем забыть, занимать досуг молитвами, слушать пение птиц, наблюдать цветение трав, умиляться божьему творению — ничто не отвлекает, предоставлен сам себе. А тут каждый день встречайся со знакомыми, беседуй о делах, прилежно занимайся этими делами и помни ежеминутно, что люди не разделяют твоих взглядов, от них нужно скрываться, отмалчиваться. Отшельничество на людях — годы, десятилетия, до гробовой доски! Не значит ли это — посадить свою душу за решетку?

Подумать только — десять лет мы знали его.

— Как-то даже не укладывается в голове, что учитель, мой

сотоварищ, искренне убежден в существовании бога,— произнес я.

— Я бога представляю не таким, каким он нарисован на иконе. Для меня бог — некое духовное начало, толчок к существованию галактик, звезд, планет, всего того, что живет и плодится на этих планетах, от простейших клеток и кончая человеком... Впрочем, зачем мне вам рассказывать. Мои взгляды не оригинальны, вы их знаете.

— Взгляды обычного идеалиста.

— Это слово в наше время звучит как ругательство, а я, что ж... признаюсь, отношусь к нему почтительно.

— Любопытно, как вы пришли к этому?

— У меня была глубоко верующая мать...

— Мать приучила к богу, к молитве, и это с детства стало привычкой? — допрашивал я.

— Не так все просто. Отец мой погиб в империалистическую. На руках у матери осталось четверо, я был младший. Трудная ей выпала жизнь — не от кого ждать не только помощи, но и доброго слова. Вы человек старый и, должно быть, знаете, что́ за сиротливые вдовы встречались тогда по деревням. Впрочем, все мы сироты в этом мире, каждому из нас нужны опекуны, понимающие, жалеющие, оправдывающие, поддерживающие. Кто мог еще поддержать мою мать, кому она могла пожаловаться?.. Только богу. Без бога она, верно, не выдержала бы, сломалась. А так жила, выбивалась из сил, ставила нас одного за другим на ноги. Я, например, получил образование, стал учительствовать. И, конечно, за время учебы я понахватался разных модных идей и, конечно, считал себя воинствующим безбожником. Молитвы матери, ее бог, которому она доверила свои горести, бог-поддержка, бог-опора, бог-сила, не дававшая опускать руки,— все было забыто. Я учительствовал в селе Лыково, всего в семи километрах от моей родной деревни. Напротив школы стояла церковь. Именно в это село Лыково, в эту церковь по большим праздникам мать приводила за руку меня, сопливого деревенского мальчишку. Помню, что меня церковь тогда поражала богатством: золоченые ризы на иконах, картины по стенам, пение, свечи... Отец Амфилохий, лыковский священник, казался мне чуть ли не самим богом. Громадная рыжая борода, высокого роста, толстый — я его панически боялся, мать силой тащила под благословение... Да-а...

Евгений Иванович на минуту замолчал, удрученно поморгал в угол.

— Вам, верно, это все не любопытно. К делу-то прямого касательства не имеет.

— И к делу касательство имеет и любопытно,— возразил я.— Рассказывайте до конца, раз начали.

— Да-а... Так этот отец Амфилохий в те годы, как я стал учителем, продолжал еще служить на старом месте. И уже не казался мне большим, и борода его свалялась, из рыжей стала седой с эдакой подозрительной прозеленью, и ходил он как-то сгорбившись, бочком... Да-а... Молодость беспощадна. Вместо того чтобы жалеть его, я презирал. Презирал за старость, за жалкий вид, за то, что от него пахло пыльной кладовкой, а больше всего за то, что он служитель культа, который морочит головы людям...

Словом, я оказался одним из активистов, что настояли закрыть церковь. Я лазал на колокольню сбрасывать колокола, я митинговал перед лыковскими жителями, что-де эти колокола нам нужны для тракторов, что у страны не хватает металла... Моя мать узнала, что ее младший сын, ее последыш, кого она любила, пожалуй, больше других, разрушил храм, надругался над святыней. Добрый человек, ни разу в жизни не обозвавшая меня дурным словом, она не бросилась проклинать меня. Нет, она подумала о моем спасении, она решила замолить мои страшные грехи — насушила сухарей, надела на плечи котомку и отправилась... Куда? К святым местам. А где в нашей стране в те годы были святые места? Всюду закрывались церкви, всюду рушилась вера, прошло время святых странников, моя мать, видать, была последним из них...

И снова Евгений Иванович замолчал, с трудом отвел взгляд от угла, направил его на меня, спросил глухо:

— Анатолий Матвеевич, вы верите, что человек без видимой причины, на расстоянии, каким-то особым чувством — сверхинтуицией — может почувствовать боль и душевную катастрофу другого человека, близкого ему? Верите?.. Нет. А я верю. Именно в тот день, когда мать ушла, я вдруг до беспамятства, до помешательства потерял покой. Не мог ни работать, ни читать, ни ходить по улицам, а только думал: как она там, не случилось ли с ней чего? Я верующий, но не мистик. Однако, вспоминая сейчас тот день, я до сих пор ощущаю чуть ли не мистический ужас. Вечером я почти бегом пробежал все эти семь километров. Наша изба была заперта. Соседи сказали — ушла. Куда? Никто не знал. Ночь я провел в пустой избе... Стало светать, медленно проступали законопаченные паклей темные стены, стол, лавки, печь с ухватами — нищенское вдовье жилье. Каждая вещь напоминала мне о матери и о самом себе. Полати... Сколько раз я тайком глядел с них, как молится по вечерам мать. Выскобленный, некрашеный стол, на нем я знаю каждый сучок, каждую щель, каждую щербинку. Припомнил то время, когда я не доставал подбородком до края стола. Припомнил, как мать подавала мне прямо от печи горячие оладьи, как черствой от работы рукой гладила по волосам. Слышал ее голос: «Ешь, чадушко, ешь, кровинка. Да не спеши, оладушки-то с жару...» В этих закопченных бревен-

чатых стенах прошла ее многолетняя и непосильная битва за мое здоровье, за мою жизнь, за мое счастье. И кто знает, вышла бы мать победительницей, если б у нее не было поддержки в боге, если б она после дня, заполненного каторжной работой, после больших и мелких бед не жаловалась бы своему богу, не просила бы у него милостей. И я, ее сын, вскормленный ее грудью, вынянченный ее руками, поднятый на ноги ее трудом, я замахнулся на ее покровителя, ее опору... На ее веру, Анатолий Матвеевич... Утром я нанял лошадь и поехал ее искать. Верст за двадцать от нашей деревни жила старшая сестра, но матери там не было. В городе работал брат, но и у него мать не останавливалась... Я целую неделю ездил от деревни к деревне, спрашивал у знакомых и незнакомых, описывал на словах ее вид — старушечка, мол, согнутая, одетая в шушун с выпушками... В одной из деревень мне указали на свежую могилу, где похоронили нищую старуху. Никто не знал ни ее имени, ни фамилии. Быть может, это была моя мать... Больше я ее не видел...

Крупное, размякшее лицо Евгения Ивановича нависло над руками, неподвижно лежавшими на белой скатерти. Я спросил осторожно:

— После этого вы и стали верующим?

— Нет, опять не так просто. Я понял веру своей матери, но сам еще не верил. Я был уже другой человек, и вера моей матери мне не подходила. Я не мог признать бога на иконе, не доказав сам себе, что он существует.

— И вы доказали? Насколько я знаю, этого еще никому не удавалось.

— Я доказал сам себе. Другие могут не соглашаться с моими доказательствами.

— И как же? Если не секрет.

— Выражаясь языком математики, я отверг одну аксиому и начал доказательство от противного.

— Как так?

— Мне говорили, что окружающий нас мир существует вечно, что не было ни начала, не будет конца этого мира... Так мне говорили, я этому верил. Заметьте, верил на слово, без доказательства, как верят в геометрии, что параллельные прямые при своем продолжении не пересекаются. Никто не может доказать — было ли начало и будет ли конец мира... Материалисты нисколько не конкретнее идеалистов. Они упирают на то, что никто не видел созидающий дух, ни один ученый не уловил своими инструментами, не доказал расчетами присутствие бога, следовательно, бог отсутствует, опыт жизни подтверждает это. Но опыт жизни подтверждает и аксиому Евклидовой геометрии — параллельные прямые при своем продолжении не пересекаются. Однако появился Лобачевский и заявил — параллельные прямые при беско-

нечном продолжении пересекаются! И он оказался не менее прав, чем Евклид. Почему я не могу отвергнуть аксиому материалистов и не поверить в духовную силу, создавшую мир?

— Выходит, правы вы, прав я. Сплошной компромисс, думай кто во что горазд, не так ли?

— Я могу ответить только одно: я верю в свое.

— Все-таки не доказав себе?

— Для меня достаточно и этих доказательств.

— Ну тогда вы мне напоминаете незадачливого судью, который говорит подсудимому: ты не привел мне доказательств, что ты не украл, я не могу доказать, что ты украл, следовательно, ты виноват.

Морщихин в ответ упрямо молчал.

Бескрайне велик, сложен, запутан мир, в котором живет человечество. Одних это величие, эта сложность панически пугает, они напоминают им — мал, ничтожен, слаб человек перед необъятной природой. Проще придумать некоего бога, все непонятное списать на него, успокоиться, узаконить свое бессилие. Долой сомнения! Да здравствует слепая вера!

Другие с вызовом смотрят на бескрайнюю природу. Они верят, что ее секреты доступны уму. И если они признают свои слабости, то признают честно, не прикрывают их недоступным богом.

Для одних человек — раб божий. Для других — сам по себе бог, умеющий творить чудеса. Считают, что воюют только два взгляда на мир,— нет, враждуют в человеческой среде два характера: пассивный и активный, робкий и дерзкий.

И пусть меня не ловят на слове. Я не утверждаю, что идеалисты не могут обладать личной дерзостью и активностью. Но все-таки мир двигали вперед материалисты, хотя бы они по привычке или из-за заблуждения возносили подчас искренние молитвы к несуществующему богу. Говорят, Дарвин был примерным прихожанином — какое мне до этого дело! Я знаю, его учение стало мощным оружием против господа бога!

Когда-то библейский бог был непогрешим, теперь в более или менее просвещенных умах таких вот морщихиных спешно создается новый бог, которого пытаются подпереть со всех сторон теориями Лобачевского или Эйнштейна. Боги ниспровергаются, человеческие слабости остаются!

— Вы не верите в примитивного бога, которого преподносит церковь,— заговорил я после молчания.— Тем не менее вы держите в доме иконы. Для чего? Вы молитесь перед ними?

— Да, молюсь.

— Тому богу, который на них нарисован?

— Не совсем... Когда я хочу обозначить в формуле неизвестное число, то ставлю значок икс. Я бы мог своей властью поста-

вить любую букву латинского, славянского, какого угодно алфавита. Мог бы икс заменить замысловатой закорючкой, запятой, знаком восклицания или знаком вопроса — все означало бы неизвестное мне число. Но я привык ставить икс. Так и обычная икона для меня условное обозначение бога. Не я его ввел, не мне его изменять. Когда мне нужно как-то выразить свою веру, я иду к иконе, пользуюсь заученными молитвами...

Я узнал наконец-то, что за человек Евгений Иванович Морщихин. Узнал с запозданием на целых десять лет! Было жаль его. Он обмолвился: «Все мы сироты в этом мире». Нелепое, никому не нужное подвижничество осиротило его, отдалило от людей. Сам виноват — верно! Но разве человека, попавшего по своей вине под машину, ставшего на всю жизнь калекой, меньше жаль, чем того, с кем случилась такая же беда по чужой вине? Сирота!.. А этому сироте перевалило за пятьдесят.

21

Евгений Иванович проводил меня до калитки.

Вчеканенная в черное небо луна висела над тесовыми и железными крышами, над дымчато-голыми деревьями, над раскисшими от грязи улочками и переулками, над всем нашим тесным городом. И где-то за дворами тяжко ворочалась выпиравшая из берегов река.

И широкие лужи прятались в густые тени домов и в узорчатые тени деревьев. И в кротком воздухе тянуло вдруг пресно пахнувшей студеной водой. А над всем ласковое, всепобеждающее, чудодейственное тепло весны...

Радуюсь я возвышенной чистоте лунного света (живой человек — не могу не радоваться), а все же заботы дня сильней этой радости: они тревожат, они гнетут, не в силах отмахнуться от них...

Евгений Иванович стоял рядом, в пиджаке, накинутом поверх нижней рубахи, безмолвный, застывший, широкое лицо при свете луны казалось вырубленным из темного дерева. Неподвижным взглядом он упрямо глядел в конец улицы.

Несмотря на поздний час, город не спал. От соседней калитки, накрытой просторной тенью, доносилась тихая, токующая беседа. Вдали, в той стороне, куда упорно уставился Евгений Иванович, пела молодежь. Пели бесхитростно и счастливо, пели, словно дышали. И слова песни, просты, бездумны, в другое бы время казались затертыми, опостылевшими:

Расцвела сирень-черемуха в саду
На мое несчастье, на мою беду...

Мы стояли бок о бок и молчали. Два человека, живущих в одном мире, делающих одно дело, встречающихся ежедневно с од-

ними и теми же людьми. Светит луна, а я на нее гляжу одними глазами, он — другими; поют про «сирень-черемуху» — я слушаю так, он — иначе... И на счастье мы смотрим по-разному. «Все мы сироты в этом мире...» Отшельник среди людей, он ищет счастья внутри себя. А если и бывает счастье, упрятанное от других, то оно наверняка минутное, преходящее, неустойчивое, а значит, и ненастоящее. «Все мы сироты в этом мире...» Что за страшный был бы мир, если бы его населяли такие вот нелюдимые отшельники!

Стоим и молчим...

— Анатолий Матвеевич,— заговорил он стеснительно прерывающимся голосом,— я более десяти лет работал вместе с вами... и, кажется, работал безупречно... Анатолий Матвеевич, мне осталось всего два года до пенсии...

«Два года до пенсии...» — эти слова сказали мне больше клятв и заверений. Еще два года до покойной жизни, он дорожит этим. Не оставалось сомнения — он не осмеливался заикаться в стенах школы о боге и не осмелится, если сохранить в нем надежду на пенсию. Два года... Нельзя же не принимать это в расчет. Что с ним делать?

— Но вам сейчас будет трудно работать,— возразил я.— До сегодняшнего дня учителя и ученики принимали вас... не могу подыскать другого слова — за единомышленника, скажем. Теперь же — обострятся отношения... Подумайте.

Евгений Иванович по-прежнему смотрел в конец улицы, в дальнюю песню.

— Я думал об этом...— заговорил он с усилием.— Два года до пенсии... Чуть не полжизни ждал, ну еще два года потерплю как-нибудь. Что скрывать, мне ведь и до этого нелегко было: таись, оглядывайся, сторонись, ежели люди к тебе тянутся... Нелегко... А теперь, может, проще станет. Буду учить, как учил. Принимайте от меня логарифмы, доказательства теорем, понятия о квадратных корнях, берите все, что могу дать полезного, а от остального увольте... Остальное — мое. Два года, Анатолий Матвеевич...

Я молчал, испытывая растерянность и гнетущую тяжесть от соседства этого человека. Наконец я произнес:

— Ничего не могу пока обещать. Хочу обдумать...— Сдержанно простился: — До свидания.

Евгений Иванович проводил меня тяжелым вздохом.

Выбирая дорогу, оскальзываясь на грязи, я шагал навстречу песне. С той и с другой стороны на затененных крылечках возле каждого дома вспыхивали и гасли огоньки цигарок — город не спешил спать в эту ночь.

Что с ним делать? Освободить от работы и забыть?.. Но, если освободим, Морщихин не исчезнет из города, будет жить рядом,

в десяти минутах ходьбы от школы. И уж тогда он будет не простым Морщихиным, а обиженным человеком, со славой пострадавшего правдолюбца. Кто помешает, скажем, той же Тосе Лубковой посочувствовать ему, кто помешает ей бывать у опального учителя?.. Освободить? Ой ли... А тут еще — два года до пенсии. Нельзя же от этого отмахнуться...

Я остановился посреди улицы.

С неба щедро лился лунный свет. Разливалась песня, снова про черемуху, но уже другая, с иным характером, поднятая новым голосом:

Под окном черемуха колышется,
Распуская лепестки свои...

Точили землю невидимые ручьи, жила река за моей спиной, уютно желтели окна домов, вспыхивали цигарки на крылечках...

В молодые годы в такую ночь плюнул бы на все, ходил бы, распевал песни, а теперь, увы, отпел свое, тянет к общению, к застольной беседе, к уютному углу, к понимающему другу.

А как мне нужен сейчас друг, который был бы старше меня, умнее меня! Как мне нужен совет! Пойти к кому-нибудь из учителей — к Аркадию Никаноровичу, к Тропниковым? Нет, Аркадий Никанорович примется красноречиво рассуждать, а совет... вряд ли. Тропниковы же молоды. У меня много помощников, но, оказывается, нет советчиков.

И вдруг мне пришла мысль...

Я пересек площадь — застойное озеро лунного света среди домов, направился к высокому зданию райкома партии.

22

На крыльце райкома, как и на крылечках тех домов, мимо которых я проходил, вспыхивал огонек папиросы и доносились два голоса, мужских, приглушенных. Я распознал голос Ващенкова и остановился в нерешительности. Рассчитывал на место собеседника с ним, а оно, увы, занято. Нарушать же в такой час тихую беседу с глазу на глаз преступно. Я уже хотел было повернуть восвояси, как огонек папиросы упал на землю, собеседник Ващенкова начал прощаться.

— Спасибо, Петр Петрович.

— За что же?

— За доброе слово. Не обидели человека, прямо скажу.

— Не обидеть — значит ничего не сделать. За что же спасибо?

— Ну все-таки.

Когда собеседник Ващенкова вышел на освещенную мостовую, я, к своему удивлению, узнал в нем плотника Якова Короткова,

отца Саши. Погромыхивая сапогами по грязному булыжнику, по привычке сутулясь, он удалился.

Ващенков нисколько не удивился моему появлению. Подвинулся, словно мы уговорились с ним встретиться в этот час на этом месте, пригласил:

— Садитесь, Анатолий Матвеевич.

— Потянуло поговорить, Петр Петрович.

— Ну и славно. Только что сидел тут у меня один, любопытная личность.

— Я-то его знаю, а вот где вы с ним познакомились?

— Пришел, сел и познакомились... Ко мне ведь каждый вечер кто-нибудь приходит, каждый вечер с кем-нибудь знакомишься,— пояснил Ващенков.

— И по ночам нет отдыха.

— А что такое отдых? Сидеть сложа руки? Прятаться от людей? Такого отдыха я бы не выдержал. Представьте себе: принимаешь посетителей, связываешься с колхозами, звонишь, отвечаешь на звонки, вызываешь, указываешь, словом — работаешь. И вот рабочий день кончается, и вот вокруг тебя тишина и пустота. Невольно приходит в голову — ты нужен людям только потому, что занимаешь место, без этого места никому нет до тебя дела, никому ты не нужен. Отдыхай... Ищи друзей, развлекай себя досужими разговорами, убивай свободное время, искусственно прячься от одиночества... Вы курите? Нет. А я бросал в свое время и опять начал...— Ващенков закурил, осветив на секунду свое лицо. Оно было обычным, лишь чуть, быть может, размягченным.

— Ко мне не являются по вечерам ни Лубков, ни Коротеев, ни кто-либо из моих сотрудников,— продолжал он неторопливо.— Нет, они тоже считают — вечер и ночь для секретаря райкома святы, он должен отдыхать. А идут те, кто боится секретарши у дверей чинного кабинета, письменного стола... Вчера была одна старушка... Троих сыновей вырастила, всех троих на фронте убило, теперь с пенсией волынят... Вчера — старушка, сегодня — этот Коротков. Вчера просили похлопотать о пенсии, сегодня — устроить на освободившееся место в Доме культуры. Вчера пришлось выслушать старушечьи причитания, сегодня мне декламировали с пафосом: «Король — и до конца ногтей король!..»

Ващенков замолчал, затягиваясь папиросой.

— О детях много рассказывают. Больше половины всех историй связано с детьми. Коротков, кажется, побаивается своего сына... Эх, дети!..— Ващенков помолчал, обронил: — У меня дочка умерла. Сейчас бы училась в восьмом классе.

— Я тоже сына потерял... Под Великими Луками убили, в сорок третьем,— сообщил я.

— Вот как. А мне почему-то казалось, что вы, Анатолий Матвеевич, благополучно прошли по жизни.

— Жизнь-то была довольно долгой, всякое случалось... А впрочем, если мне удастся сделать то, что сейчас задумал, перед смертью буду доволен своей жизнью.

— А если не удастся? — спросил Ващенков.

— Не удастся, значит, была только подготовка, а настоящего, главного, для чего жил, не случилось. Обидно.

— Даже так? — удивился Ващенков.— Сорок лет работы и все они — только подготовка?

— Я, видать, не из тех, кому суждено свершить на веку многое. Есть писатели одной книги, есть поэты одной песни, есть ученые одного открытия.

— И сколько еще лет понадобится, чтоб кончить то, что задумали?

— Кончить? Нет, конца не будет. Начать, заставить поверить, что нужно, что без этого не обойтись,— а конца нет...

Ващенков опять замолчал. В домах за площадью потухли окна, смолкли песни на улицах, торжественный, сказочно завороженный, раскинулся под луной наш неказистый, бревенчатый город. Возвышаясь над крышами, стояли в каменной дреме колокольни старых церквей. И сейчас не заметны были дряхлость их куполов, облезлость стен — молоды и величавы, словно и не было тех разрушительных столетий, что прошумели над ними.

— Рассказывайте, Анатолий Матвеевич,— нарушил молчание Ващенков.— Вы же не просто пришли поболтать со мной, тоже принесли что-то.

— Только что видел Морщихина,— сказал я.

— Догадываюсь.

— Не хочу снимать его с работы...

Ващенков не пошевелился, сидел ссутулившись, опираясь локтями на колени.

Невольно приноравливая свой голос к ночной тишине, я начал рассказывать. Морщихин более двадцати лет трудился в школе, работал не хуже других, не упрекнешь — хорошо преподавал. Ни по моральным, ни по государственным законам не имеем права обездолить только за то, что он верующий. Если б его пребывание в школе грозило опасностью, я бы готов поступиться законами... Сейчас он не пропагандирует во славу божию — связаны руки, а снимем с работы — руки развяжутся: обиженный, с венцом мученичества на челе, он будет жить рядом со школой. Он не Серафима Колышкина, в пользу господа станет орудовать не одними изречениями из Ветхого завета, а теорией Лобачевского...

— Открытие, что он верующий, теперь ведь не останется секретом? — спросил Ващенков.

— Нет, конечно.

— Ученики тоже об этом будут знать?

— Рано или поздно узнают.

— А так как верующий учитель,— продолжал спокойно Ващенков,— явление редкостное, чрезвычайно любопытное, то те же ученики сперва исподволь, потом смелей начнут тормошить Морщихина: «Как вам представляется господь бог? Как вы понимаете мировой дух?» Будут спрашивать?

— Скорей всего — да,— согласился я.

— А Морщихин вынужден будет отвечать. Не станет же он кривить и в угоду нам отрекаться от своих убеждений. Хочет он того или нет, а станет чистой воды пропагандистом во славу религии.

Я задумался: все так, Морщихин скорей согласится бросить работу, чем покривить душой, отречься от веры. Все так, но... И я решительно заявил:

— Пусть ведет себя, как ему угодно.

— Пусть станет божьим агитатором в стенах школы? Что это значит?

— Это значит, Петр Петрович, что в нашу силу я верю больше, чем в силу Морщихина. Он будет говорить свое, мы — свое. Кто — кого. Разве плохо, если ученики не просто на слово, а в результате каких-то столкновений, подталкивающих на размышления, примут в конце концов наши, а не морщихинские взгляды на мир?

— А вдруг не наши, а чужие?

— Это «вдруг» исключено.

— Почему?

— Силы не равны. С одной стороны Морщихин, с другой — все учителя. А среди них есть и умные, и талантливые — не чета Морщихину. Не выдающаяся личность, а скромная посредственность выступает против коллектива. Разве можно сомневаться, что победим мы.

И снова Ващенков надолго замолчал, глядел в землю и думал.

— Хорошо,— сказал он наконец.— Предположим, что вы убедили меня. Но этого мало...

— Что же еще? Вы партийный руководитель района, вы сила, с которой считаются.

— Но есть сила более внушительная.

— А именно?

— Общественное мнение. Представьте: директор школы не принимает прямых мер к верующей ученице-комсомолке, он прикрывает своей грудью учителя с враждебными убеждениями, вместо того чтобы пропагандировать, проводит какие-то отвлеченные диспуты о «физиках» и «лириках» или, еще того не легче, собирается вести разговоры о бессмертии души. С точки зрения неискушенного человека — это чудовищно. Не только Лубков, но и многие другие станут считать вас чуть ли не тайным пособником поповщины. Родители испугаются за судьбу своих детей. На вас обрушится такой ураган негодования, что можно не сомневаться —

не устоите на ногах. И мало что изменит, если секретарь райкома Ващенков станет на вашу сторону. С общественным мнением не справится ни один авторитет. Сначала будут недоумевать, потом с тем же возмущением обрушатся на меня. Дадут знать в область, а в области сидят не святые провидцы — самые обычные смертные. Поставьте меня или вас на их место; разве мы не возмутились бы фактом — святошу-учителя директор школы пригревает, а секретарь райкома ему потворствует. Да гнать в шею и директора и секретаря райкома! Общественное мнение против нас! Вы понимаете, чем это пахнет?

Я снова почувствовал под сердцем сосущую тяжесть. Близко от меня пытливо сквозь темноту уставились глаза Ващенкова. Я не вижу, а скорей, чувствую их сумрачный блеск.

— Что делать? — спросил я.— Отступать? Поднять руки?

— Нет. Попробуйте убедить общественность. Я предоставлю такую возможность.

— Убедить? Как?

— На днях созовем бюро райкома партии с активом. Соберутся не обыватели, нет — люди, которые ворочают жизнью района. Выступите... Выпустим Лубкова, выпустим вас... Два выступления, два взгляда. Сумейте убедить. Если убедите, все задумаются — не один человек поверил, а десятки, причем люди авторитетные, цвет района, значит, нельзя отмахнуться от того, что предлагает директор школы.

— А на бюро вы будете за меня? — спросил я в лоб.

— Могу сказать, что я вам верю. А меня спросят: на слово? Как я должен ответить? Увы, да, на слово. Потому что ваше дело только начинается, оно невысиженное яичко, и никому не известно, что из него проклюнется — петушок ли, курочка или вовсе окажется болтушком.

— Любой план, даже самый совершенный, не исключает сомнений. Если у вас нет лучшего, рискуйте, поддерживайте этот.

— Хорошо, рискну. Выступлю — мол, верю безоговорочно. Глядя на меня, поверят другие. Поверят слепо, без убеждений. При первой же неудаче... Или вы думаете, что неудач у вас не случится?

— Вовсе не думаю.

— Так вот, при первой же неудаче эти сторонники, поверившие, но неубежденные (понимаете — неубежденные!) спохватятся, представят себе, что их ввели в заблуждение, начнут войну и не столько против вас, сколько против меня. Это мне они поверили, это я их ввел в заблуждение. Не думайте, что меня пугают такие неприятности. Я готов на них идти, но ради чего-то, ради какой-то пользы. А здесь пользы не ждите! Один выход — убедить так, чтоб не сомневались, чтоб стали активными сторонниками.

Я молчал. Что ж, он прав. Надо рассчитывать на себя. Предлагают помериться на людях силою. С кем? С Лубковым... Противник не из сильных, как-нибудь свалю.

Я поднялся, протянул руку, сказал:

— Решено.

Луна опустилась чуть ниже. Длинные тени избороздили улицы. Длинные, пещерно непроницаемые тени и холодно-голубоватые, парадные полосы света. Два цвета у города, одинаково сильных, одинаково звучных, непримиримых друг к другу. Деревья привольно расправили голые ветви, расправили и — стоп! — замерли, уснули до утра. Спят дома, низко нахлобучив крыши на темные оконца. Спят замкнутые на ночь калитки. Спит город, не движутся тени, не колеблется свет. Я один бережно шагаю, боюсь ненароком потревожить свое больное сердце.

Но один ли?.. Впереди из глухой тени вынырнули двое, идут медленно, рука к руке, плечо к плечу — парень и девушка. Он высок, чопорно прям. В наклоне ее головы, в ее скупой походке что-то знакомое. Тося Лубкова?.. Она!.. Не спит, когда все уснули. Не спешит возвращаться домой, когда — я знаю — отец ревниво следит за каждым ее шагом. Значит, не простая прогулка, блуждает по городу рука об руку не для того, чтоб убить время. А могу ручаться, что совсем недавно, во время истории с дневником, никого не любила и страдала, что ее никто не любит. Новое событие в ее жизни: видать, уже не чувствует себя одинокой, пожалуй, иными глазами смотрит теперь на недавнее заблуждение...

Медленно-медленно пара пересекает светлую полосу. У парня крохотная кепчонка на голове, топорщащееся длиннополое пальто — нет, не из нашей школы, мне незнаком. Шагайте счастливо своей дорогой, в таких случаях хочу верить: все к лучшему в этом лучшем из миров.

Они снова окунулись в тень, а я свернул на свою улицу.

23

Уже на следующий день вся школа знала, что преподавателя математики в восьмых — десятых классах Евгения Ивановича Морщихина разоблачили: верует в бога, тайком держит дома иконы, молится им! Для ребят, которые не привыкли ни всерьез задумываться, ни огорчаться, эта новость была лишь сенсацией, не вызывающей ничего, кроме острого любопытства и неуемного возбуждения: подумать только, учитель верует — скандал! Учителя все до единого были подавлены, ходили вокруг меня, заглядывали в глаза, ждали — на что решусь, что предприму.

Сам Евгений Иванович, как всегда, появился в учительской за десять минут до первого звонка. Ни на кого не глядя, с усилием

кивнув, с еще большим усилием выдавив из себя общее для всех «здравствуйте», прошел в угол, уселся на стул. Обычная каменная неподвижность в лице, знакомая всем угрюмоватость, опущенные к полу глаза, напряженно приподнятые широкие плечи.

Чувствовалось, он смиренно приготовился вынести все осложнения, всю тяжкую неестественность своего положения. Что-то выжидательно жалкое, беззащитное было в его крупной фигуре, и кой-кто из сердобольных учительниц через минуту стали поглядывать на него с откровенной жалостью.

Томительно тягучи были эти десять минут. Наконец раздался звонок. Евгений Иванович взял книги со стола, с полки — классный журнал, направился на урок. День пошел своим чередом.

После большой перемены я сходил домой, наскоро пообедал — сегодня наверняка задержусь допоздна. Возвращался из дому в конце первой смены.

Шаг за шагом, не спеша подымался по лестнице. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, а когда-то я взлетал по этой лестнице, не замечая ее. В последние дни особенно сдает сердце. Не ко времени. Впереди сложные разговоры, неизбежные баталии, потребуются выдержка и хладнокровие, сейчас, как никогда, должен собрать все силы, и глупо, если шальной каприз изработавшегося сердца свалит меня в постель. Потому-то сейчас я заискивающе внимателен к нему, прислушиваюсь на каждой ступеньке.

Длинный коридор пуст, все двери плотно прикрыты, из-за них слышны приглушенные голоса учителей. Я узнаю их сразу: седьмой «Б» — высокий, уверенно требовательный голос Ирины Владимировны Тропниковой, в седьмом «Б» урок химии; в соседнем, девятом «А» — ехидно вразумляющий голос Аркадия Никаноровича: кому-то читает нотацию. Десятый класс... Почти перед самым моим носом дверь распахивается, вылетает Саша Коротков, не замечая меня, поворачивается в сторону класса, краснолицый, взъерошенный, громко отчеканивая каждое слово, держит речь в открытую дверь:

— Мы с вами на разных полюсах! Мы с вами враги по духу! А от врага я не желаю ничего принимать! Никаких знаний! Не считайте меня своим учеником!..

Он хлопает дверью, рывком поворачивается и деревенеет перед моими директорскими очами.

Молчим, глядим друг на друга. Мой вопрос ясен без слов. Расширяющееся от подбородка ко лбу лицо Саши цветет вишневыми пятнами, дрожат ресницы над остекленевшими глазами.

— Ну,— недобро подбадриваю я его.

— Анатолий Матвеевич!..— Голос Саши звенит от отчаяния, но за дверью его не слышат — там свой взволнованный шум, своя неразбериха.

— Анатолий Матвеевич! Все могу простить! Все! Даже Луб-

ковой. Она глупа. Но этот-то человек умный. Науку преподает. Не умещается в голове... Всякое общение с ним противно.... Я не выдержал... сказал ему...

Я беру за плечо Сашу, открываю дверь, легонько вталкиваю его в класс, вхожу сам. Гул голосов обрывается, хлопают крышки парт, все вскакивают со своих мест. Тишина. Хмуро киваю: садитесь. Со сдержанным шумом усаживаются, снова тишина.

У Евгения Ивановича, стоявшего за учительским столом, бледное лицо, лоб и крылья массивного носа лоснятся от пота, плотно сжатые губы дрожат. Он неуверенно придвигает мне стул. Но я не сажусь. Я стою перед классом прямо в расстегнутом пальто, с шарфом, свисающим с шеи, с шапкой в руке. Обычно я пользуюсь директорским правом, снимаю пальто не в общей раздевалке, а в своем кабинете. Сейчас не успел этого сделать. Никогда еще ни в одном классе я не появлялся в верхней одежде, мой вид непривычен, потому он действует подавляюще на ребят.

— Евгений Иванович был и остается учителем,— говорю я громко.— В любом случае оскорбление учителя — самый тягчайший проступок в стенах школы. Я не собираюсь расследовать в подробностях, что сейчас здесь произошло. Я знаю одно — Александр Коротков оскорбил учителя.— Я поворачиваюсь в сторону Саши. Он стоит перед классом, выставив лоб, опустив руки по швам, глядя в пол.— Сегодня вечером в семь часов собирается педсовет. Вы, Коротков, явитесь туда. Это мой приказ!

Тишина. За окном сквозь открытую форточку слышна взбалмошная весенняя возня воробьев. Коротков неподвижен.

— Вы слышали, Коротков?

— Слышу,— роняет он угрюмо.

— Во сколько часов?

— В семь.

— Не вздумайте опоздать хотя бы на минуту.

На педсоветы, случается, вызывают родителей, еще чаще на педсоветах обсуждают поведение того или иного ученика, обсуждают, но не вызывают. Предстать же перед педсоветом самолично — случай редчайший. Класс подавлен, а воробьи за форточкой беззаботно воюют.

Я не спешу уходить, пристально оглядываю лицо за лицом. И каждый, на ком останавливается мой взгляд, поспешно опускает глаза. Мое внимание задерживает лицо Тоси Лубковой. Она смущена, но не как все. В ее смущении что-то жалкое, растерянное, низко опущенная голова ушла в плечи, вид такой, что с радостью бы спряталась под парту. Что-то не так... Но что?.. И вдруг меня осеняет: *она не защитила Евгения Ивановича, а должна была это сделать! Ей стыдно.*

— Могу ли я, ребята, задать вам один вопрос? — В голосе моем уже нет начальственного металла, и класс зашевелился —

поднялись головы, расправились плечи.— Если вам не захочется отвечать, не настаиваю. Скажите: нашелся ли среди вас кто-нибудь, который подал голос в защиту Евгения Ивановича?

Шумок, переглядывание, затем с задней парты хмуроватый бас Алексея Титова, веснушчатого, рассудительного паренька.

— А что тут скрывать, многие защищали.

— И ты, Титов?

— Ну и я... В больное-то место бить...

А у Тоси Лубковой краснеет даже лоб: многие защищали, она — нет, а давно ли негодовала на других, что несправедливы.

Саша Коротков продолжал стоять перед классом, не смея пошевелиться, не подымая глаз от полу.

— Евгений Иванович,— обратился я подчеркнуто вежливо,— с Коротковым решайте по вашему усмотрению: хотите — оставьте в классе, хотите — удалите его.

— Коротков,— проговорил Евгений Иванович,— садитесь на свое место.

— Анатолий Матвеевич,— Саша дернулся в мою сторону,— разрешите мне не присутствовать на уроке.

— Не я веду урок, а Евгений Иванович. Он требует, чтоб вы сели на свое место, Коротков!

Тяжело-тяжело, с усилием он двинулся, вяло побрел к парте. Я в последний раз окинул класс — голова Тоси Лубковой по-прежнему низко склонена.

24

Учителя собирались на педсовет, шумно двигали стульями, перекидывались случайными словами, косились на Морщихина, сидящего на своем месте за столом.

Морщихин вдруг встал, решительно подошел ко мне.

— Анатолий Матвеевич...— Глаза по обыкновению скользят мимо моего лица.— Может, мне лучше не присутствовать сегодня на этом совете?

— Почему?

— Вам всем будет свободнее говорить обо мне.

— Говорить за вашей спиной?

— Вы надеетесь меня перевоспитать?

— Нет. Нам нужно, чтоб вы знали, что мы о вас думаем.

— Приблизительно знаю.

— Вы считаете себя правым?

— Да, Анатолий Матвеевич, считаю.

— Тогда чего ж вы боитесь?

Евгений Иванович отошел, приблизилась Анна Игнатьевна.

— Анатолий Матвеевич,— многозначительный кивок на дверь,— там Коротков... Уверяет, что вы приказали ему присутствовать на педсовете.

— Приказал. Пусть войдет и садится.

— Но, Анатолий Матвеевич... Мы же сейчас будем обсуждать вопрос о Морщихине!

— Совершенно верно.

— Ученик станет слушать, как критикуют учителя!

— Для этого и позвал его. Пусть знает, насколько сложно наше отношение к Морщихину.

— Но поймет ли?..

— А вы еще считаете его ребенком? Через три месяца этот ребенок закончит школу и станет самостоятельным человеком. Пора ему уже разбираться в сложных вопросах.

Анна Игнатьевна ввела Сашу Короткова, усадила за длинный конец стола. Взлохмаченная Сашина шевелюра поднялась между лоснящейся лысиной учителя черчения и рисования Вячеслава Андреевича и седым пробором Агнии Львовны, преподавательницы немецкого языка. Парень в явной тревоге, хотя и напустил вид, что ему все трын-трава.

Я поднялся со своего места, оглядел учителей. Мой штаб, мои маршалы... Среди них — Евгений Иванович Морщихин, нынче он уже не сотоварищ по делу, а противник. Не по себе этому противнику, не верит в свои силы, переполнен страхом и сомнениями, не хотел бы он с нами войны. Десять лет прятался, теперь прятаться нельзя.

— Разрешите начать, товарищи...

Разговоры и скрип стульев прекратились. Через головы учителей я обратился прямо к Морщихину:

— Евгений Иванович, если завтра к вам подойдет, скажем, Тося Лубкова и спросит: на самом ли деле вы, ее учитель, веруете в бога? Как вы ответите: да или нет?

Все головы повернулись в сторону Морщихина. А тот низко склонил к столу лицо. В густых жестких волосах видна обильная седина — как-то раньше она не замечалась.

— Да или нет?

— Я скажу...— Голос Евгения Ивановича хриплый, слежавшийся.— Скажу ей, что не хочу говорить на эту тему.

— А если она будет чересчур настойчива?

— Не отвечу.

— Предположим, что вы переупрямите, не скажете ни ясного да, ни ясного нет. Будет ли это означать, что Тося Лубкова останется в неведении? Не кажется ли вам, что ваш упрямый отказ отвечать только подтвердит, что да, вы верите, вы, ее учитель, ее наставник! А ей, значит, уж и вовсе не зазорно. Даже молчание ваше станет агитировать за религию. Избежать этого можно только одним путем — решительным отрицанием: нет, не верю, бога не существует. Вы должны стать своего рода агитатором атеизма. Согласитесь ли вы выполнять такую роль, Евгений Иванович?

Долго, долго не отвечал Морщихин. Все ждали. Наконец крупная, тяжелая голова медленно поднялась над столом.

— Нет... Кривить душой не буду.

Учителя угрюмо молчали.

— Какой из этого вывод сделали вы, товарищи?

Минута тишины, и вслед за ней с разных концов возгласы:

— Несовместимо со школой!

— Вынуждены удалить с работы!

— Не можем ради жалости калечить мировоззрение детей!

— Значит, снять с работы? — продолжал я.— А взглянемте-ка на дело с другой стороны. Мы снимаем Евгения Ивановича, он уходит из школы. Что помешает той же Тосе Лубковой пойти к нему на дом? И уж тут Евгению Ивановичу не придется отмалчиваться, он приобретет моральное право давать Тосе подробные объяснения. Снять с работы недолго, а чего мы добьемся этим?

Молчание. Учителя косятся друг на друга. Поднялась сухонькая рука Аркадия Никаноровича:

— Два слова с вашего разрешения, Анатолий Матвеевич.

— Прошу.

В пригнанном шевиотовом костюме, белые манжетики высовываются из рукавов, очки внушительно блестят в золоченой оправе — вид у Аркадия Никаноровича бесстрастно-строгий, в голосе ледок.

— Снимать или не снимать Морщихина с работы — вопрос, мне кажется, праздный. Да, да, праздный! Если мы не снимем его сейчас, через какое-то время он уйдет сам.— Аркадий Никанорович повел очками в сторону Морщихина.— У вас нет иного выхода, Евгений Иванович. С одной стороны, вам придется отмалчиваться, увиливать, прятаться от досужих вопросов. Ежедневная игра в кошки-мышки. Причем роль преследуемой мышки достанется на вашу долю. Я бы лично не хотел для себя такой участи. Но это не все, есть и другая сторона, не менее для вас огорчительная. Никто из нас, и вы в том числе, не поручится, что в классах, где вы преподаете, не найдутся чересчур горячие атеисты. Они проникнутся презрением к верующему учителю. Не исключено, начнут разжигать презрение и ненависть среди других учеников. Рухнет ваш авторитет как преподавателя, расшатается дисциплина на ваших уроках, снизится успеваемость по вашим предметам. И неизвестно — не придется ли нам через месяц-другой ставить вопрос на педсовете о вас как о педагоге, который не справляется со своими обязанностями. Взгляните трезво правде в глаза и решите — стоит ли вам оставаться в стенах школы?

Каменное лицо Морщихина покраснело и обмякло, он напряженно наморщил лоб, заговорил медленно, с усилием подыскивая слова:

— В кошки-мышки... Может быть... Но ведь любая игра в конце концов приедается. Ну неделю, ну другую станут меня преследовать ученики, потом надоест — отстанут. А что касается дисциплины на уроках, я не сомневаюсь — удержу свой авторитет. Как-никак у меня солидный педагогический опыт... Я не осмеливаюсь просить всех, здесь сидящих, помогать мне... поддерживать мой авторитет... Хотя бы с величайшей благодарностью принял помощь...

— Если мы вас оставим, можете не сомневаться — будем помогать вам как педагогу,— заявил я.

Аркадий Никанорович пожал плечами и сел.

— Мое личное мнение,— продолжал я,— оставить, раз Евгений Иванович сам того хочет. И я бы с вас, Евгений Иванович, не брал никаких обязательств. Хотите отмалчивайтесь, хотите — отвечайте ученикам, как подскажет ваша совесть. Отвечайте, что верите в дух святой, но помните, что свобода вероисповедания у нас допускается, но религиозная пропаганда запрещена законом.

Учителя возбужденно шевелились. Морщихин по-прежнему сидел в оцепеневшей позе.

— Предлагаю: завтра же после уроков провести классные собрания. Нужно откровенно объяснить ребятам, что учитель математики Евгений Иванович Морщихин придерживается чуждых им взглядов.

— Откровенно? — раздались голоса.

— Дети же! Поймут ли правильно?

— Запутаемся!

— Обострим положение!

— Только откровенно! Только прямо! Не скрывая! Если мы будем скрывать и утаивать, то среди учеников создастся впечатление чего-то запретного, таинственного, страшного. И они правдами и неправдами, через разные слушки и слухи, наверняка извращенные, недостоверные, преувеличенные, будут узнавать все. Так пусть лучше узнают от нас. Пусть узнают правду!

— Но авторитет-то Морщихина как преподавателя мы подорвем этим! — бросил Аркадий Никанорович.

— Одновременно нужно объяснить, что мы воюем не с учителем Морщихиным, а с его взглядами. Евгений Иванович обладает знаниями по алгебре, геометрии, тригонометрии, и было бы глупо ими не пользоваться. Пусть преподает, нужно учиться у него. Предупредите: если на уроках кто-нибудь вздумает совершать выпады против Евгения Ивановича, мы станем рассматривать это как злостное нарушение дисциплины. Злостное! — Я снова повернулся в сторону Морщихина.— Евгений Иванович, мы с вами в разных лагерях. Прятаться больше нельзя. Войны не избежать.

Учителя возбужденно переглядывались. Морщихин сидел, уны-

но потупив голову, всем своим видом говорил: действуйте, я покорен.

— Мы собираемся воспитывать не фрондирующих атеистов, умеющих лишь бездумно охаивать религию, нам нужны атеисты вдумчивые, тактичные, способные убеждать верующих, не оскорбляя их религиозных чувств. Вот этому-то такту пусть и учатся наши ученики на отношении к Евгению Ивановичу Морщихину.

Педсовет кончился, когда школьный двор за окном затянуло темнотой. Учителя расходились. Что-то схожее было во всех лицах, все молчали, взгляд каждого был направлен внутрь себя.

Хлопнула дверь в последний раз. В ярко освещенной, ставшей вдруг просторной комнате, кроме меня, остались двое: Евгений Иванович, тяжело уставившийся в стол, неподалеку от него — Саша Коротков, высоко поднявший взлохмаченную голову. Саша молча переводил глаза то на своего учителя математики, то на меня.

Наконец Евгений Иванович устало поднялся, кивнул слабо мне на прощание, медленно прошел к двери, и как только дверь за ним прикрылась, Саша вскочил с места.

— Я все понял, Анатолий Матвеевич!

— Очень хорошо. Я в этом не сомневался.

— Я был не прав! Я хочу... Я просто требую, чтоб мне вынесли должное наказание!

— Опять наказание...— Я устал, и в эту минуту мой голос, верно, был старчески брюзглив.— Наказывать после того, как человек понял. Наказание ради наказания... Пора уж, Саша, поумнеть. Завтра в вашем классе собрание. Ты там отчитываешься обо всем, что слышал здесь. Ясно?

Саша судорожно глотнул воздух:

— Ясно.

25

Утром, как только начались занятия в школе, из райкома позвонили:

— В пять часов в парткабинете состоится расширенное бюро райкома партии. Вы готовы к выступлению?

— Готов.

Но едва кончились уроки первой смены, я закрутился — во всех классах проходили собрания, почти каждый классный руководитель рвался поговорить со мной, дверь в мой кабинет не закрывалась.

— Анатолий Матвеевич, ребята спрашивают, когда начнется диспут о душе?

— Анатолий Матвеевич, тут возник вопрос —рассудите...

— Анатолий Матвеевич, выслушайте... Анатолий Матвеевич, уделите минутку...

Я спохватился, когда часы показывали без пяти минут пять,— батюшки, опаздываю!

Я думал, что меня будут ждать, что мне придется извиняться, выносить косые взгляды. И действительно, я опоздал.

Когда я, запыхавшись, ввалился в заполненный народом парткабинет, заседание уже началось. Однако никто не заметил моего опоздания, только ближайший к двери массивный мужчина, с крупным властным лицом, в болотных сапогах, испачканных грязью, молча придвинул стул, взглядом пригласил: «Садись».

Говорили о весеннем севе, который вот-вот должен начаться.

Над всклоченными шевелюрами, над короткими стрижеными ежиками, над лысинами с седыми макушками висел табачный дым. Я принялся разглядывать собравшихся, тех, кого обязан убедить. Обдутые ветром, продубленные морозом лица — полные и худощавые, молодые и старческие, открыто-простодушные и лукаво-хитрые, властные, запоминающиеся, как у моего соседа, и неприметные на первый взгляд, как у пожилого товарища с обликом колхозного счетовода, почему-то свободно занимающего место по правую руку от Ващенкова. На всех лицах общее — какая-то деловитая, независимая сосредоточенность. Общее и в одежде — полное пренебрежение к ней: выгоревшие пиджаки, штопаные свитера, косоворотки, распахнутые плащи. На многих, как и на моем соседе, болотные сапоги, измазанные грязью,— видно, что ехали из дальних углов района. Все это председатели колхозов, агрономы, механизаторы... Знаю председателя «Власти труда», у которого мои ученики проходили трудовую практику, знаю мельком еще двух-трех, остальные незнакомы.

Но мой сосед в охотничьих сапогах откликнулся на фамилию Лапотников. И я вспомнил, что не раз слышал: Лапотников — тридцатитысячник, Лапотников добровольно принял самый отстающий колхоз, Лапотников года за два восстановил развалившееся хозяйство... Пожилой человек с неприметным обликом колхозного счетовода оказался агрономом Савелием Гущиным, недавно награжденным орденом Ленина. Он своего рода знаменитость в области, ежегодно получает самые высокие урожаи.

Районных работников знаю всех, они сейчас как-то затерялись среди этих тузов периферии. Вон и Лубков — скромно сидит в углу, пристроив на колени блокнот, поигрывает карандашом, демонстративно не глядит в мою сторону, прилежно слушает, что говорят.

Стал слушать и я. Земля подсыхает. Дня через три подымать клеверища. Не присланы запасные части для тракторов... На складах при станции лежат запчасти... Нет, не запчасти, а одни только пальцевые шестерни... Горючее прибыло... Вовремя же прибыло, развози его, когда дороги размыло, реки разлились, на тракторах не пролезешь... Почему только в последние дни спохвати-

лись, что семена некондиционные?.. Почему ремонтная станция до сих пор задерживает партию широкорядных сеялок?.. Почему минеральные удобрения мокнут под открытым небом?.. Опять дороги! Опять нет транспорта! Изворачивайтесь! Хватит волынить! Не ждет время, через несколько дней подсохнет земля! Весна подпирает!

Для меня весна — ежегодное предэкзаменационное оживление в школе, широкие лужи на городских улицах, заматерелый сугроб, истлевающий на задворках под дровяным сараем, просыхающая земля, один вид которой вызывает смутное детское желание побегать босиком... Я, родившийся в крестьянской семье, забыл, что подсыхающая весной земля может не только пробуждать детское желание, но и тревожить, лишать сна. Сейчас из разговоров этих людей я словно в разрезе увидел наш район: влажная зябь, томящаяся под солнцем, раскисшая озимь, вот-вот готовая распушиться, разбухшие от грязи дороги, по которым даже пеший пробирается с трудом, дороги, замораживающие жизнь. Эти люди ответственны за то, чтоб район с его полями, лесами, деревнями, размытыми дорогами жил нормальной жизнью, чтоб я, учителя, мои ученики, все жители нашего города не остались без хлеба. Идет весна, подсыхает земля — не упусти время!

Я с невольным уважением глядел на Ващенкова. Он сидел за столом — лицо тронуто щетиной, глаза запавшие, потертый, узкий в плечах пиджак, ширококостные руки вылезают из коротких рукавов. В этих руках все нити запутанной жизни, где так трудно свести концы с концами. Наши взгляды встретились, он чуть приметно кивнул головой.

Табачный дым подымается к потолку, озабоченные лица повернуты в сторону мослаковатого мужчины, директора ремонтной станции. Он комкает в руках тетрадь, сердито доказывает, почему не успели отремонтировать широкорядные сеялки. Вместе с уважением к этим людям я начал ощущать беспокойство. Сумеют ли они, утонувшие в своих запутанных делах, понять мое сложное дело? Сумею ли я объяснить им?

Директор ремонтной станции сел. Ващенков обратился к собравшимся:

— Товарищи, мы свои дела быстро не решим. Хорошо, если к вечеру управимся. А здесь ждет Анатолий Матвеевич Махотин. Быть может, мы обсудим его вопрос?

Все глаза обратились в мою сторону. Несколько доброжелательных голосов поддержало:

— Нашему царствию небесному не будет конца.

— Нас не пересидишь.

— Чего задерживать человека.

— Прошу, Анатолий Матвеевич,— пригласил Ващенков.

Я вышел к столу. Обветренные лица, выжидающие глаза —

эти люди вызывают во мне не только уважение: мы воюем заодно, только наступаем с разных концов, и будет обидным недоразумением, если они меня не поймут. Мой взгляд наткнулся на взгляд Лубкова. Он смотрел на меня прямо, твердо, с вызовом. Он, видать, чувствовал себя уверенным, а я сомневался. Впрочем, сомнения вообще не в характере Лубкова. Неужели я отступлю перед ним? Неужели я не окажусь сильнее? Я сказал:

— Перед вами, дорогие товарищи, стоит человек, который носит в кармане партийный билет, а в то же время укрывает возле детей учителя-святошу, верующего в отца, сына и духа святого. Он считает себя советским педагогом, воспитывающим новое поколение, а сам, вместо того чтобы бороться с проникновением религиозного дурмана в стены школы, отвлекает посторонними диспутами о «физиках» и «лириках», он даже обещает в будущем коллективно потолковать о бессмертии души... Таким готовы меня видеть некоторые товарищи...

На обветренных лицах откровенное любопытство: «Ну-ка, ну-ка... Видим, что не прост, а как дальше выкрутишься?»

— Чем же я вызвал такое отношение к себе? Почему на меня глядят как на врага? Да только потому, что я не действую в лоб. Представьте, в каком-то колхозе вырастает недостаточно высокий урожай. Решают его поднять. Агроном начинает приглядываться к земле, подсчитывать, сколько нужно внести минеральных, сколько органических удобрений. А его берут за горло и говорят: что ты приглядываешься, что ты подсчитываешь, что ты занимаешься частностями? Нужен урожай, а не твои подсчеты, работай, и баста! Заставляй других работать!..

— Бывает,— согласился сидящий рядом с Ващенковым агроном Савелий Гущин.

— Не думаю, что вы оставались довольны этим. Вот и я недоволен, и я сопротивляюсь. Мне говорят: чего вы это мудрите, занимаетесь частностями — действуйте!.. Как агроном, не изучив почву, не получит высокого урожая, так и я, если не пойму причин, не учту всех частностей, наверняка загублю дело. Я действую, но не в лоб, и этим вызываю упреки. А для того чтобы вы поняли, в чем состоит моя деятельность, я должен рассказать об этих причинах и частностях. Наберитесь, товарищи, терпения и выслушайте внимательно.

И я начал говорить, что же, на мой взгляд, толкает людей к богу, о доверии к человеку, о взаимопонимании и поддержке, об индивидуализме и коллективизме, о роли диспутов, о положении Морщихина в школе, о том, почему не считаю нужным снимать его с работы...

Я всю жизнь занимался обучением, безошибочно привык узнавать по молчанию слушателей, по выражению их лиц — понимают ли меня, сочувствуют ли мне. Сейчас мне сочувствовали,

хотя я и ощущал некоторую настороженность. Выложив все, я прошел к своему месту и сел. С минуту слышалось лишь сдержанное покашливание.

— С возражением товарищу Махотину выступит Лубков,— объявил Ващенков.

Упруго подрагивающей походкой Лубков вынес к столу свое плотно сбитое тело.

Он прочно стал на место, где минуту назад стоял я, вынул из блокнота две аккуратно сложенные бумажки, решительно поднял их над головой и словно хлестнул по кабинету:

— Т-варищи! Это письма от трудящихся нашего города! Письма от родителей! — На секунду замолчал, повернул направо, повернул налево коротко стриженную круглую голову, продолжал с напором.— Они полны негодования! Они требуют обуздать самовластие директора, авторы их обеспокоены за судьбу своих детей. Здесь два письма. Пока только два. Вам, должно быть, такая цифра покажется недостаточной. Из двенадцати тысяч жителей два подали голос — капля в море! Но учтите, товарищи, что прошло всего четыре дня, как стало известно о том, что один из учителей школы оказался мракобесом-религиозником. Всего-навсего два или три дня назад Махотин пришел к решению — не давать этого учителя в обиду. Пока только единицы знают об этой истории, слух о ней не дошел еще до широких масс. Скромная цифра «два» означает много, слишком много. Это первые ласточки! Не завтра, так послезавтра подобные ласточки стаями посыплются на наши головы! Мы должны заблаговременно принять решительные меры!.. Я не хочу отнимать у вас дорогое время и не буду читать эти письма, тем более что одно из них довольно пространное. Но желающие могут ознакомиться с ними по ходу дела...

К Лубкову протянулось несколько рук, и он передал письма.

— Т-варищи! — продолжал он.— Я внимательно, оч-чень внимательно слушал т-варища Махотина. Даже больше скажу — не без удовольствия слушал. Человек он образованный, умеет красно говорить. Но давайте, так сказать, снимем с его выступления красивый наряд, оголим до фактов. Останется: в школе атмосфера поповщины, вместо решительных мер директор вглядывается и приглядывается, раздувает ни к чему не обязывающие диспуты, занимается всем, чем угодно, но только не боевой пропагандой. Он здесь распространялся насчет причин и следствий — мол, без них-де не обойтись, мол, деятели, подобные Лубкову, хватают его за руку, мешают заниматься полезным делом. Т-варищ Махотин! Почему вы ни словом, ни намеком не упомянули о такой важной вещи, как время? Время идет, скоро начнутся экзамены, за ними каникулы, а там блаженный отдых, там поздно будет действовать. Время идет, а никаких решительных мер

не принимается! А если еще учесть, что десятый класс совсем покинет школу, то медлительность директора Махотина по отношению к этим тридцати с лишним ученикам совсем не имеет никакого оправдания. Десятым классом руководил мракобес Морщихин, в десятом классе моя дочь, ученица-комсомолка, оказалась верующей — не случайно. Это не может не пугать, надо спешить, надо срочно взять в оборот десятый класс, иначе в жизнь выйдут люди, зараженные враждебным миропониманием. А Махотин развлекает их «физиками» и «лириками», намеревается развлекать и дальше. Разве не преступна такая безответственность?! Вдумайтесь только: Махотин мракобеса Морщихина подает нам под соусом чуть ли не помощника в борьбе с религией. Расчет не хитрый, но, простите, подлый: простаки сидят в этой комнате, что ни преподнесу — все скушают! Чу-до-вищ-но!..

Мой сосед Лапотников перебил Лубкова гудящим басом:

— Ты что же, считаешь — Махотин сознательно подыгрывает верующим?

Лубков упруго повернулся на каблуках:

— Сознательно? Скорей всего — нет! Махотин усердно сидел над книгами, жизнь видел только из окна своего кабинета да по дороге из дому к школе. Привык думать книжно, а не практично. Просто, без затей вести антирелигиозную пропаганду ему, видите ли, скучно, давай сделаем с фокусом, чтобы начать издалека от «физиков», чтобы верующий учитель остался на своем месте, как редкая диковинка. И философийку по этому поводу сочиним, факты под ней упрячем, чтоб мы, простачки, не разглядели. А факты, как известно, упрямая вещь. Нам не нужна оригинальность. Нам нужен результат! В школе не должно пахнуть религиозным опиумом!..

Лубков с ожесточением рубил ладонью воздух, гремел так, что зудяще откликались оконные стекла.

— Не нужно!.. Не должно!.. Не допустим!..

Теперь я чувствовал всей кожей — Лубкову верят. Его доводы просты, как яблоко в разрезе. Не стоит особенно задумываться, нет нужды искать, все настолько ясно, что не вызывает сомнений. «Физики» и «лирики» не связаны тесно с отрицанием господа бога. Верующий учитель рядом с детьми опасен, будет спокойнее, если его удалить. Я доказываю обратное — значит, я мудрю, темню, выступаю против очевидной для всех простоты. Эти люди, которые, попыхивая дешевыми папиросами, слушают Лубкова, заняты севом, запасными частями для тракторов, семенами, надоями, нет времени думать о проблемах воспитания и религии. Сейчас за каких-нибудь полчаса — сорок минут они должны решить. За полчаса! В перерыве между разговорами о семенах и горючем. Разве можно их винить, что они не могут глубоко вдуматься, хватаются за решения, которые понятны с первого слова?

А всегда ли простое решение правильно? Ой, нет! Но как доказать? Если бы мне предоставили не один вечер, не какой-нибудь урезанный час, а дни и недели, все эти люди поверили бы мне, а не Лубкову. Но что об этом думать! Через два-три часа они утрясут вопросы, сядут в машины или подводы, разъедутся по своим деревням и селам, чтоб с головой утонуть в привычных заботах о горючем, о подвозе семян, о запасных частях для тракторов. Переступив порог райкома, они забудут и обо мне, и о Морщихине, и даже о проблемах религиозной пропаганды.

Лубков кончил, победоносно колыхая бриджами, прошел на свое место.

Приподнялся агроном Гущин:

— Позволю себе не критиковать вас, а спросить: а вдруг да случится, что детям после привычных материалистических толкований идеалистические мысли покажутся свеженькими, неожиданными, чем-то заманчивым? Что, если поверят Морщихину?

— Если поверят Морщихину, то школьный коллектив вместе со мной нужно снять с работы,— обронил я.

— Ответец,— неудовлетворенно хмыкнул Гущин.

Мой сосед Лапотников, громыхнув стулом, поднялся во весь свой могучий рост.

— Прошу слова! — Его голос сразу же заполнил кабинет.— Вы, дорогой товарищ, предлагаете: повремените, вот вгляжусь, испытаю, условия подходящие найду, тогда увидите, что я-де был прав — черные барашки станут беленькими. Сколько времени ждать прикажете? Неделю? Месяц? Год? А может, лет десять? Даже если неделю, вряд ли можно согласиться. За эту неделю святоша в должности учителя может так настроить детей, что потом вы и их родители годами кашу не расхлебаете...

Густой бас гудел у меня над головой, переполнял кабинет, отдавался в оконных стеклах. У меня тупо и упрямо тянуло вниз сердце. Душная, густо прокуренная комната, пристальные, чужеватые взгляды. Я сижу на узеньком стуле на виду у всех — громоздкий, толстый, старчески рыхлый. Сижу и гляжу в пол. Знаю, что я прав, мне нечего стыдиться, но мне стыдно, без причины чувствую себя виноватым. Велика, видать, сила большинства, если даже оно и заблуждается.

26

Вышел из райкома, с наслаждением и осторожностью, чтоб не потревожить ноющее сердце, втянул воздух.

У крыльца и вдоль забора дремали над сеном запряженные в пролетки и оседланные лошади, привычно ждали, когда хозяева кончат заседать. Воздух неподвижен, тяжел. За домами, на огородах, решительнее, чем всегда, шумят ручьи. И в этом неподвиж-

ном воздухе, и в чрезмерно отчетливом рычании ручьев было что-то тревожное, выжидающее.

Вялыми шагами я направился к дому.

Шумят ручьи на огородах... Свое дело я считал первым, робким ручейком. Надеялся: подмоем сугробы казенщины, вызовет к жизни другие ручьи, обширное половодье новой пропаганды захлестнет наш город, люди со вниманием станут приглядываться друг к другу. Приглядеться к соседу, понять его, поверить в него! Вера в человека, не в отвлеченного, не в далекого, не в безликий символ, а вера в того, с кем встречаешься каждый день, с кем работаешь бок о бок и размышляешь вместе над жизнью, вытеснит робость, неуверенность, страх. А ведь страх и заставляет хвататься за господа бога!.. Это было бы моим скромным подвигом — первым и последним. И тогда уж спокойно бы встретил смерть — что-то сделал, что-то свое оставил людям.

Ничего похожего не случится. Будем проводить лекции и доклады, заманивать на них припиской в афишах: «После лекции танцы», будем прорабатывать Тосей Лубковых на собраниях, запрещать им знакомиться с Серафимами Колышкиными... А я сам уйду на пенсию...

Я шел, волоча ноги по расквашенной дороге. Сердце пошаливает. Лечь, уснуть — утро вечера мудренее. Утром на свежую голову взвесить.

В лицо ударила капля, другая...

Туча, нависшая над городом, открыла над темными крышами полосу заката — густо-багровую, но вовсе не тревожную. Дерзкий, крикливый закат, бьющий в широкую щель... И набухшие, изнемогающие почки на голых ветвях, что тянутся к лицу через ветхие изгороди... И обремененные своей тяжестью капли возле этих почек, капли, впитавшие в себя раскаленный закат, сами раскаленные и холодные одновременно... И запахи, какие запахи!..

Первый дождь! Почтенный отец всех грядущих дождей и гроз, что прольются на наш город вплоть до нового снега.

Звук дождя походит на шепот, горит закат, и на земле вдруг становится уютно и празднично. Такое чувство изредка бывает в новогодний вечер, когда зажигаешь нарядную елку,— суета, вызванная приготовлениями, позади, мусор выметен, на белой скатерти пироги, а гостей пока нет, тишина...

Льет дождь, смывает остатки зимы. Что там неудачи, что там невзгоды — они есть, от них не отвернешься, но ведь ты сейчас присутствуешь при счастливой молодости земли, на которой прожил много лет. Что значат временные житейские оказии по сравнению с юностью весенней земли. И даже сердце с его неприятно-томной, тянущей болью не портит минуту.

С тихой, счастливой грустью я пришел под дождем домой. Моя жена сразу же накинулась на меня:

— Толик! Ты же промочил ноги!

Так всю жизнь. И всегда права: ее Толик все-таки промочил ноги.

Мы женились рано: мне было восемнадцать лет, ей шел тогда двадцать первый. Считай, прошло без малого полвека, и до сих пор она старшая, я младший.

— Толик! Надень теплые носки! Выпьешь чаю с сушеной малиной!

И нужно слушаться, надевать вязаные носки, пить чай с малиной.

Тянет сердце, где-то стороной бродят тревожные мысли, напоминающие о большой неудаче. Но не хочу тревожить себя. Я дома, мне тепло и уютно. Стены, оклеенные свежими обоями, книжные полки, портрет сына. Сыновей у меня двое, но только портрет старшего Николая висит на стене. Он убит на фронте, потому всегда считался в семье самым умным, самым талантливым, самым любимым. Младший, Алексей, жив, здоров, скоро закончит институт. Он немного огорчил отца — не захотел стать учителем, предпочел профессию инженера-строителя. Вот Николай был бы педагогом... Хорошо дома, и крепнет желание: выйти на пенсию, дожить остатки века без суеты.

— Мне что-то нездоровится...

Я направился в спальню, но в дверях, ухватившись за косяк, сполз на пол...

Врач запретил мне вставать с постели, делать резкие движения и не только заниматься какими бы то ни было делами, но даже интересоваться ими.

27

Форточка постоянно открыта, но она слишком мала, чтобы освежать комнату. Наволочка на подушке и простыни влажны от пота. Я чувствую себя каменно-тяжелым и в то же время рыхлым.

Смятая постель, окно, где видно несколько веток с лопнувшими почками, тумбочка с открытой книгой и пузырьками, запах лекарств — устоявшийся запах нездоровья. А на стене висит большая репродукция в раме...

На стене — другой мир. Ветер, рвущий облака, деревья, траву, пасмурная гладь воды, столетняя часовенка, заброшенный погост. Вся картина — неподвластное разуму движение, стихия, которую нельзя остановить, беспокойная вечность, для которой нет конца, нет смерти. На стене перед моими глазами — необъятность пространства и времени, откуда мне выделена микроскопически малая частичка. Великий мир и я, придавленный к постели, поставлены лицом к лицу.

С разглядывания «Над вечным покоем» и начинается утро.

Дни бессмысленные, дни пустые, они как бескрайние озера: по утрам я со страхом думаю, как переплыву к другому берегу — к вечеру, к ночи, когда можно будет потушить свет и заставить себя уснуть.

Жена приносит мне завтрак.

Ее лицо, полное, со старчески румяными скулами, ее глаза, которые не только не выцвели, а стали еще синее со временем, морщинки в углах мягких губ, крупная родинка с золотящимися волосками — все настолько родное, что становится страшно и за себя и за нее: а вдруг в самом деле умру! Я вспоминаю ее молодой. У нее были густые волосы, простодушно чистые глаза, иной румянец, греющий на расстоянии.

Вспоминаю, как мы работали в начальной школе в селе Богатые Лужи. Небольшое село с игрушечной церковью стояло на высоком берегу обширного плеса. Наша школа, обычная деревенская изба-пятистенок, торчала над самой водой. В жаркие дни во время перемен ребятишки скатывались по обрыву, скидывали на ходу рубашонки и ныряли. Уборщица тетка Матрена выходила на крыльцо и трясла звонком. Ученики садились за парты мокроволосые, посиневшие от холода, возбужденные... Мы тогда были оба очень молоды. Без особых затей выполняли свое дело, гордились им, а мне не приходило и в голову задумываться над вечностью и смертью. Были ли счастливы? Да, конечно... Но мне сейчас почему-то кажется: все же самое счастливое время жизни не те далекие дни молодости, а эти последние дни перед болезнью, напряженные, суетливые, тревожные, когда я надеялся совершить большое дело на своем веку. Быть может, потому, что недостигнутая удача всегда кажется самой значительной, упущенное счастье самым высоким... Быть может...

— Маша, помнишь Богатые Лужи? — спрашиваю я.

И она, вместо того чтобы вместе вспомнить, вместе порадоваться, пугается: прошлое припоминает — плохой признак,— значит, настоящим недоволен. Отвечает мне с напускным равнодушием:

— Чего вспоминать, сидели у черта на куличках, сами дичками были, дичков из школы выпускали. А школа-то — эх!..

Она любила детей, дети любили ее, право, была неплохим педагогом, но как-то легко рассталась с работой, вышла на пенсию, и никогда не слышал, чтоб пожалела. Беспокоится теперь о теплых носках, об обеде, о том, чтоб Алешка вовремя получал деньги и посылки... Никогда ее не заботило бессмертие души, легко и бездумно живет — получится ли так у меня?

Идет жизнь за стенами. Да идет ли? Не остановилась ли?.. Мое окно выходит в глухой переулок, редко-редко когда по нему простучит телега. Что-то сейчас в школе? Учителей ко мне не

допускают — начнут говорить о деле, буду волноваться... Не понимают, что унылое томление намного тягостней самых больших волнений. Не пускают — таков приказ старшего врача нашей поликлиники Кирилла Фомича Прохорова.

Перед обедом каждый день он является ко мне собственной персоной. У него большая голова с внушительной лысиной, сухощавое, маленькое, но крепкое тело. Он до беспамятства любит Чехова, по книгам Чехова знает, что некогда существовали на Руси земские врачи, скромные подвижники, пытавшиеся сеять в людях добро. Оттого-то сам Кирилл Фомич во всем пытается походить на них, носит очки без оправы, отдаленно схожие с чеховским пенсне, холит рыжую бородку, обращается не иначе как «батенька».

— А у нас, батенька, дела не так уж и плохи.

— Учителей ко мне пустите. Не может быть, чтоб они меня забыли.

— Не забыли, батенька, помнят, рвутся к вам, но не пущу. Марии Алексеевне строго-настрого наказал — выпроваживать: сплоховали, так уж несите свой крест.

Первый человек из школы, который появился возле моей постели, был наш завхоз Федор Кузьмич. Он принес с собой запах олифы и суровую почтительность. На мой вопрос: «Что нового в школе, Федор Кузьмич?» — покосился на мою жену, стоявшую в дверях, вздохнул, бросил односложно: «Ничего» — и принялся выставлять зимнюю раму.

Я догадывался — в школе дела не блестящи. Мое место заняла Анна Игнатьевна, а уж она-то не пойдет против течения, мало того, растеряется, станет метаться в разные стороны, дергать учителей, начнутся конфликты и неурядицы... Двадцать лет я проработал директором, немало возле меня было дельных педагогов, но за двадцать лет не подготовил себе замены. А ведь первый долг человека в жизни — передать другим свое ремесло. Это едва ли не так же важно для продолжения рода человеческого, как оставлять после себя потомство.

Стали открывать окно, вместе со свежим воздухом, тончайшими запахами клейкой листвы в мою маленькую комнатку стал врываться шум внешней жизни, который раньше не мог ко мне пробиться. Рычали грузовики на центральной улице, смеялись ребятишки в соседнем дворе, утки купались в непросохшей луже. Одна из уток время от времени крякала с той издевательской интонацией, с какой смеется Мефистофель в опере: «Ха! Ха! Ха! Ха!»

Живые звуки напомнили, что рано или поздно придется решить вопрос: уходить или не уходить на пенсию? И я представил себе: буду читать книги не для того, чтобы поумнеть и вложить потом свой ум в работу, а чтобы убить досужее время, буду ковыряться

в своем палисадничке, левитановское «Над вечным покоем» станет не столько возбуждать меня размашистостью и глубиной мысли, сколько напоминать о своей собственной смертности, изо дня в день под моими окнами — утиное кряканье с мефистофельской издевкой: «Ха-а! Ха! Ха! Ха!» От безделья непременно стану внимательнее прислушиваться к своему сердцу, превращусь в мнительного старика, быть может, даже проживу долго-долго. Но что это будет за жизнь? Не жизнь, а длительное ожидание смерти. Не хочу!

Во время одного из таких раздумий в моей комнате явственно прозвучал чей-то голос:

— Анатолий Матвеевич...

Я с трудом повернул свое огрузневшее тело — пусто, дверь прикрыта, никого.

— Анатолий Матвеевич...

На подоконнике лежали две мальчишеские руки, чуть выше, как пшеничная стерня, торчат волосы.

— Саша... Коротков!..

— К вам никого не пускают, Анатолий Матвеевич... Вижу: окно открыто...

— Лезь сюда! — понизив голос до шепота, приказал я.

— В окно?

— В окно. Быстрей...

Он не заставил себя упрашивать. Острые колени уперлись в подоконник, долговязая гибкая фигура бесшумно протиснулась в комнату.

В рубахе с засученными рукавами, ворот распахнут, лицо, шея, грудь в вырезе, руки прихвачены солнцем, над сандалиями из штанин торчат тощие лодыжки — свежий, чистый, как весенний день за окном.

И у меня, раскисшего от лежания, придавленного болезнью к мятой, парной постели, появились бодрость и озорство.

— Мария Алексеевна не зайдет? — спросил он, поглядывая на дверь.

— Кто ее знает... Рискнем... Ну, как там? Что в школе? Все, все, братец, выкладывай.

— Выкладывать нечего, Анатолий Матвеевич. Учимся, зубрим, экзаменов ждем. Уж никаких диспутов о бессмертии души проводить не собираются. Скучно.

— Евгений Иванович?

— Пока работает. Снимут. Как экзамены пройдут — снимут. Из ребят его никто не задевает. Я тут таким, кто мог бы зацепить, сказал: не цепляйте... По-старому, Анатолий Матвеевич... Скучно. Мы уж сами, без учителей, хотели о бессмертии-то поспорить.

— Кто — мы? Тося Лубкова с вами?

При упоминании о Тосе Лубковой Саша насупился.

— Она из тех, что, когда самой плохо, к богу и к черту за правдой полезет. Когда самой — понимаете? — а не другим.

— Нет, не понимаю.

— Было плохо ей — бога искала. Стало устраиваться — бога по боку. Теперь парень один сговаривает ее пожениться, как школу закончит. А много ли такой Тосе надо — замуж выскочить, детей нарожать. Правдо-любка! А за Евгения-то Ивановича тогда не заступилась.

— А что за парень?

— Кешка Лаптев, кладовщик в райпотребсоюзе. Он, конечно, в бога не верует, но от Тоси этой далеко не ушел. Женится, будет деньги на семью зарабатывать — вот и все их счастье.

— Поздно мы схватились. Жаль...

— Что жаль?

— Жаль, что Тося кончает школу. Годик бы — мы из нее человека сделали.

Саша ради уважения ко мне промолчал, но физиономия его выразила полное сомнение.

— И жаль еще, что тебя кой-чему недоучил,— добавил я.

— Меня? — насторожился Саша.

— До сих пор Лубкову откидываешь, как бесполезную вещь, лишнюю в хозяйстве.

— Она сама себя откидывает.

— А если человек по своей вине в полынью попадет — бросишься спасать? Или отмахнешься — сам виноват?

Саша помолчал, задумался, ответил:

— Видать, не получится из меня педагога. Что делать...

— Ну, а порядочный-то человек получится?

— Стараюсь быть им.

— Что пользы, если ты стараешься быть порядочным для себя...

За дверью раздались голоса. Саша вскочил со стула.

— Улетучивайся, братец. Жаль, не договорили,— посетовал я.

Саша рванулся к окну.

— Приходи. Слышишь?.. Теперь дорогу знаешь.

— Приду, Анатолий Матвеевич...

Ветки смородины с вырвавшимися из почек листочками закачались под окном...

— К тебе гость.— Жена открыла дверь.

Быть не может! Мне сегодня везет. В дверях появился Ващенков, кашлянул в кулак, опустился на стул, серьезный, чуточку смущенный, пахнущий по-крестьянски табаком, полем, конским потом.

— Мотаюсь по командировкам — сеем. Давно пытался прорваться к вам. Как здоровье?

— Встану всем назло.

— Ого, настроение боевое.

— Петр Петрович,— заговорил я,— вы человек неплохой, и вокруг вас люди хорошие. Но то, что все они верят Лубкову, что он им понятнее других,— опасный признак. Задумайтесь над этим.

Ващенков полез было за папиросами, но вспомнил, что он у постели больного, нахмурился, вынул руку из кармана.

— Задумался... А вы в свою очередь подумайте о том, как начать все снова.

— Вы на это рассчитываете?

— Вы будете нужны, Анатолий Матвеевич.

— Вам?

— И мне тоже. А так как вы нужны здоровым и энергичным, мы вас, как только поокрепнете, пошлем на курорт и не на обычный срок, а месяца на два. Два месяца не потеря, когда впереди дело многих лет. О путевках не беспокойтесь...

Костистое лицо обтянуто сухой кожей, нависший нос, глубоко запавшие глаза — что-то новое в нем, а что — не понять. Быть может, я его таким серьезным еще не видел. Похоже, что мое поражение на бюро не было уж таким большим поражением, если оно не прошло даром для этого человека.

Мефистофельским голосом кричала утка за окном, но теперь я уже не обращал на нее внимания. Пока болен, пока еще не могу подняться с постели, но рано по мне служить панихиду.

28

Последний могиканин из земских лекарей, Кирилл Фомич Прохоров, продержал-таки меня в постели почти целый месяц. После этого я сразу уехал в Кисловодск. Лазал по холмам, играл в шахматы, ездил в Пятигорск, наслаждался легкомысленной кисловодской погодой — едва разгонится дождь, как сразу же выглядывает веселое солнце,— изнывал от скуки, ждал писем из дому. Окреп, загорел, хотя меня предупреждали: не злоупотребляй солнцем, сбросил что-то около десяти килограммов, но стройней от этого не стал.

Вернулся в свой город, когда на зеленых березах, как седина в голове сорокалетнего мужчины, кое-где пробивались желтые пряди. В полях созревали хлеба, грузовики с надписью на борту «Уборочная» носились по выщербленному, раскаленному солнцем булыжнику.

В школе все окна и двери распахнуты настежь, парты баррикадами сложены на дворе, коридоры заляпаны известкой, в классах водружены козлы. Знакомая картина, каждый год она повторяется.

Анна Игнатьевна, похудевшая, с мешками под глазами, радостно всплеснула руками, не выдержала, заплакала и начала

с разгону жаловаться: рабочих мало, еле достала краску, того и гляди не управимся к концу августа, учителя почти все в отпуске, трудно... «Как хорошо, что вы наконец приехали!..» Новости... Какие новости? Обо всем докладывали в письмах... Саша Коротков поступил в Московский университет, разумеется на физико-математический... Нина Голышева вместе с Сашей ездила в Москву, пробовала поступить в Институт кинематографии, хотела стать актрисой кино, увы, вернулась обратно, собирается учиться на заочном в сельскохозяйственном... А Тося, подумать только, Тося вышла замуж!.. Не обошлось без мелких неприятностей. Лубков-отец упрекал, что школа выпускает в свет людей без высоких идеалов... «Как хорошо, что вы наконец приехали!..» Евгений Иванович Морщихин?.. Что ж, освободили от работы. Вынуждены были сделать. Давно, еще до экзаменов... Живет себе, влез в хозяйство, какие-то люди у него постоянно торчат... «Как хорошо, что вы наконец приехали!..»

Я вышел из школы, обремененный новостями.

Солнце палило немилосердно, старые церкви грели на нем свои проржавевшие купола, свежие афиши с заборов солидно внушали прохожим, что такого-то числа в районном Доме культуры лекция на тему «Великие научные открытия и религиозная догматика», вместе с внушением — застенчивым шрифтом, как водится, обещание: «После лекции танцы».

Я, не торопясь, шагал, и встречные приветствовали меня:

— Анатолий Матвеевич, здравствуйте!.. Добрый день, Анатолий Матвеевич!.. С приездом вас, Анатолий Матвеевич!..

Вот я и дома. Для пейзажа нашего пропыленного городка не хватало только моей грузной, враскачку вышагивающей фигуры. Она появилась. Я дома, все в порядке...

К кому же зайти сначала?.. В райком к Ващенкову? Не стоит с этим спешить, пока не пригляделся... К Аркадию Никаноровичу? К Тропниковым?.. А не начать ли с не очень приятного визита к Морщихину? Я непременно должен видеть его, должен сказать ему пару слов.

Калитку морщихинского дома мне отворил не сам Морщихин и не его жена, а человек, которого все по городу звали Ванька Кучерявый. Я его встречал на улицах пять и десять лет назад, и всегда он выглядел точно так же, как сейчас,— потасканное, нездоровое лицо алкоголика, пыльные волосы, рубаха с расстегнутым на костлявой груди воротом. Один из тех — вечный полумужчина, полуюноша, полуинтеллигент, полулюмпен, без твердого места, без определенной профессии, завсегдатай районной чайной и дежурного магазина, где он обычно хватал за рукав шоферов и, колотя кулаками в костлявую грудь, читал им стихи Есенина: «И я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном!..»

Он довольно заносчиво спросил:

— Что вам угодно?

— Хозяина.

— Занят.

— А вы-то, извините, кто здесь? — поинтересовался я.

— Я друг этого дома! — с такой напыщенностью заявил он, что я не удержался от улыбки.

— Тогда во имя этой дружбы не откажите в любезности, позовите ко мне Евгения Ивановича.

И пока он ходил, я сообразил: для темных старух «просвещенные» речи бывшего учителя математики, наверно, слишком заумны, у него свой круг поклонников, людей с претензией на образование, и Ванька Кучерявый, читающий со слезой за стакан водки «Москву кабацкую»,— один из них. Друг дома — смех и слезы!

Хозяин проверял взятки в ульях, вышел ко мне в белом несвежем халате, в шляпе с закинутой наверх сеткой. Увидел и заметно смутился, сразу же закосил глазами в сторону, но улыбнулся смущенно.

— Анатолий Матвеевич! Рад вас видеть... В дом пойдемте. Может, самовар?.. Мед свежий...

— Нет, спасибо, я на одну минуту.

— Тогда вот сюда, в тень.

Мы уселись на скамеечку под унылой от старости черемухой. Уселись и замолчали...

Ванька Кучерявый стал в стороне, уставился в пространство, приосанился в красноречивой позе: я почтителен, но независим.

Широкое каменно-тяжелое лицо, все тот же убегающий взгляд, мослаковатые крупные руки, неловко лежащие на коленях. Изменился лишь чуть-чуть — каменное лицо покрывает какое-то благодушное маслице...

— Анатолий Матвеевич,— первым заговорил Морщихин,— из всех людей, с кем я тогда сталкивался, единственно, о ком сейчас думаю с глубочайшим уважением, это о вас.

— Теперь приходится сталкиваться с другими?

— Что ж,— нахмурился Морщихин,— другая жизнь, другие знакомства.

— Вы, вижу, не очень-то убиваетесь?

— Я теперь могу быть самим собой.

— То есть проживать день за днем среди ульев и кустов малины, а в свободное время втолковывать, какая связь между теорией Лобачевского и святой троицей?

— Анатолий Матвеевич,— суховато, но с достоинством ответил Морщихин,— зачем колоть этим глаза? Если к вам придут за словом утешения, неужели вы отвернетесь, прогоните людей от себя? Не могу гнать и я.

— Помните, вы говорили: какой, мол, вы воин. А уже тогда я знал: развяжи вам руки — непременно будете воином.

— Называйте меня воином, коль вам нравится. Только вреда от моей так называемой воинственности никому нет.

— Слушайте, Евгений Иванович.— Я, не надеясь поймать его взгляд, уставился в брови.— Если до меня дойдет слух, что к вам на ваши безвредные беседы ходят ученики, будете иметь дело со мной. А вы знаете, что я могу быть не только добрым и снисходительным.

Раньше я его жалел — сирота в этом мире. Теперь другой человек. Не надо скрываться, кончилась раздвоенность, обрел душевный покой, и эти ульи, сад, благополучное маслице на лице — сиротой не назовешь.

Он угрюмо молчал, и я поднялся.

— Запомните, что я сказал!

Ванька Кучерявый открывал мне калитку. Он не слышал нашего разговора, а видел только, что хозяин был со мной радушен.

— Умнейшая голова,— доверчиво сообщил он, кивая пыльной шевелюрой в сторону Морщихина.— Преклоняюсь!

Эх-х! Все равно, жаль его. Преклонение Ванек Кучерявых, довольство этим — что за жизнь! Раньше просто жалел, теперь в жалости — брезгливость.

Едва вышел на улицу, как первый же встречный произнес:

— Анатолий Матвеевич, здравствуйте!

Я поднял голову — Тося Лубкова! Только что с базара, нагружена кошелками, из которых торчат кочаны капусты. Загорелая, довольная, глядит с непривычным для меня доверчивым радушием. Тося предложила заглянуть к ней на дом, и я не отказался.

В маленькой комнате пусто и по-нежилому чисто. Молодожены еще порядком не устроились, мебель самая случайная — у стены шифоньер, пахнущий свежим лаком, стулья и стол старые, принесенные, верно, из родительского дома, в углу этажерка, такая же новенькая, как и шифоньер. На ней — салфеточка, вышитая крестиком, и одиноко тоскует знакомый мне фарфоровый пастушок. На стене единственное украшение — увеличенная фотография молодоженов. Тосина голова склонена к голове мужа. У парня круглое девичье лицо, губы бантиком. На подоконник брошена книга, растрепанная и замусоленная до невозможности. Я взял ее в руки. Бог ты мой! Быть не может, Тосе же преподавал литературу Аркадий Никанорович, педагог серьезный. «Владычица любви, или Зеленая шляпка»!

— Это ты читаешь?

— Да некогда мне теперь... Муж вот принес...— Слово «муж» выговорила с трудом, застенчиво, еще не привыкла к нему.

— Ну, а дневник вела когда-то. Теперь ведешь?

— Вы о том?.. И думать не думаю. Муж не верит, и я тоже.

Тося стояла передо мной в легком ситцевом платьице, загорелая, крепкая, незаметно в ней прежней вяловатости, но и в глазах нельзя уловить былой тревоги, они какие-то доверчиво пустынные. Простодушная доверчивость и в складе свежих губ, настолько простодушная, что отдает постностью. И почему-то при виде ее свежих губ приходит на ум крамольная мысль, что это молодое, загорелое лицо со временем оплывет, одряблеет, станет рыхлым, как у ее матери.

Думать не думает, не верит. Уж лучше бы верила да думала. Думающего можно убедить, доказать ему, а тут — не думает, не сомневается, не тревожится. Где уж бессмертие души — мирно дотянуть до могилы, с миром почить навеки. Был человек — и не оставил следа. Бессмертие души...

Я еще раз кинул взгляд на фотографию, где к Тосиной голове прислонилась голова парня, сладенько сложившего губы, простился и вышел.

Сколько прошло времени с того весеннего вечера, когда я разговаривал с Тосей — всего месяцев пять, не больше. Так быстро измениться! Впрочем, нет ничего удивительного! Искала опекунов. Надеялась найти в лице бога, а нашла более реального опекуна — этого паренька с губами сердечком. Теперь бог — просто помеха. Поздравьте мир с новым обывателем! Упрекните за это школу, в которой училась Тося Лубкова. Нет! Отвергаю упреки! Школа только тогда всемогуща, когда рука об руку идет с ней семья и общественность. Лубков не пошел с нами, а он был и семья и общественность. Поздравьте мир с новым обывателем!

Встреча с Тосей встряхнула меня, я сразу перестал быть отдыхающим.

В кабинете у Ващенкова был народ. На этот раз говорили не о севе, а об уборке. Я терпеливо пережидал всех.

Ващенков еще более высох, еще глубже запали его глаза, мясистый нос сильней выдавался вперед. Но держался Ващенков развязанней: по тому, как говорил с людьми, как вставлял шутки, чувствовалась в нем какая-то легкость.

Мы остались вдвоем. Ващенков долго-долго с блуждающей улыбкой разглядывал меня, и глаза его весело искрились из глазниц.

— Хорош,— определил он наконец.

— И я так думаю,— согласился я.

— Значит, начнем?

— Начнем...

Открылась дверь, улыбка исчезла с лица Ващенкова, искристость в глазах потухла.

Вошел Лубков. Грудь, обтянутая новенькой, песочного цвета гимнастеркой, мягко поскрипывают хромовые сапожки, нисколько не изменившийся, он самоуверенно прошел, положил на стол Ващенкову какие-то бумаги и только после этого повернулся ко мне.

— Как ваше здоровье, т-варищ Махотин?

— Превосходно.

— Рад слышать.

— Вы, вижу, тоже чувствуете себя неплохо?

— Не жалуемся ни на здоровье, ни на дела. Ни-каких эксцессов, т-варищ Махотин!

Я сидел, он стоял надо мной и глядел сверху вниз, глядел снисходительно, всепрощающе, нисколько не сомневаясь в том, что его снисхождение и прощение для меня приятны.

— Теперь вы понимаете,— продолжал он,— что было бы, если б мы не приняли решительных мер. Сво-евременно их не приняли?

Грудь вперед, подбородок упирается в наглухо застегнутый воротник, завидного здоровья щекастое лицо... Я вспомнил его дочь и подумал: «Блаженны нищие духом, не ведают, чего они творят». Отвернулся и встретился с понимающим взглядом Ващенкова.

ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ

повесть

Дюшка Тягунов знал, что такое хорошо, что такое плохо, потому что прожил на свете уже тринадцать лет. Хорошо — учиться на пятерки, хорошо — слушаться старших, хорошо — каждое утро делать зарядку...

Учился он так себе, старших не всегда слушался, зарядку не делал, конечно, не примерный человек — где уж! — однако таких много, себя не стыдился, а мир кругом был прост и понятен.

Но вот произошло странное. Как-то вдруг, ни с того ни с сего. И ясный, устойчивый мир стал играть с Дюшкой в перевертыши.

1

Он пришел с улицы, надо было садиться за уроки. Вася-в-кубе задал на дом задачку: два пешехода вышли одновременно... Вспомнил о пешеходах, и стало тоскливо. Снял с полки первую подвернувшуюся под руку книгу. Попались «Сочинения» Пушкина. Не раз от нечего делать Дюшка читал стихи в этой толстой старой книге, смотрел редкие картинки. В одну картинку вглядывался чаще других — дама в светлом платье, с курчавящимися у висков волосами.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Наталья Гончарова, жена Пушкина, кому не известно — красавица, на которую клал глаз сам царь Николай. И не раз казалось: на кого-то она похожа, на кого-то из знакомых,— но как-то недодумывал до конца. Сейчас вгляделся и вдруг понял: Наталья Гончарова похожа на... Римку Братеневу!

Римка жила в их доме, была старше на год, училась на класс выше. Он видел Римку в день раз по десять. Видел только что, минут пятнадцать назад,— стояла вместе с другими девчонками перед домом. Она и сейчас стоит там, сквозь немытые весенние двойные рамы средь других девчоночьих голосов — ее голос.

Дюшка вглядывался в Наталью Гончарову — курчавинки у висков, точеный нос...

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Красавица!.. Голос Римки за окном.

Дюшка метнулся к дверям, сорвал с вешалки пальто. Надо проверить: в самом ли деле Римка красавица?

А на улице за эти пятнадцать минут что-то случилось. Небо, солнце, воробьи, девчонки — все как было, и все не так. Небо не просто синее: оно тянет, оно засасывает, кажется, вот-вот при-

подымешься на цыпочки да так и останешься на всю жизнь. Солнце вдруг косматое, непричесанное, весело-разбойное. И недавно освободившаяся от снега, продавленная грузовиками улица сверкает лужами, похоже, поеживается, дышит, словно ее пучит изнутри. И под ногами что-то посапывает, лопается, шевелится, как будто стоишь не на земле, а на чем-то живом, изнемогающем от тебя. И по живой земле прыгают сухие, пушистые, согретые воробьи, ругаются надсадно, весело, почти что понятно. Небо, солнце, воробьи, девчонки — все как было. И что-то случилось.

Он не сразу перевел глаза в ее сторону, почему-то вдруг стало страшно. Неровно стучало сердце: не надо, не надо, не надо! И звенело в ушах.

Не надо! Но он пересилил себя...

Каждый день видел ее раз по десять... Долговязая, тонконогая, нескладная. Она выросла из старого пальто, из жаркой тесноты сквозь короткие рукава вырываются на волю руки, ломкохрупкие, легкие, летающие. И тонкая шея круто падает из-под вязаной шапочки, и выбившиеся непослушные волосы курчавятся на висках. Ему самому вдруг стало жарко и тесно в своем незастегнутом пальто, он сам вдруг ощутил на своих стриженых висках щекотность курчавящихся волос.

И никак нельзя отвести глаз от ее легко и бесстрашно летающих рук. Испуганное сердце колотилось в ребра: не надо, не надо!

И опрокинутое синее небо обнимает улицу, и разбойное солнце нависает над головой, и постанывает под ногами живая земля. Хочется оторваться от этой страдающей земли хотя бы на вершок, поплыть по воздуху — такая внутри легкость.

О чем-то болтают девчонки. О чем? Их голоса перепутались с воробьиным базаром — веселы, бессмысленны, слов не разобрать.

Но вот изнутри толчок — сейчас девчоночий базар кончится, сейчас Римка махнет в последний раз легкой рукой, прозвенит на прощание: «Привет, девочки!» И повернется в его сторону! И пройдет мимо! И увидит его лицо, его глаза, угадает в нем подымающуюся легкость. Мало ли чего угадает... Дюшка смятенно повернулся к воробьям.

— Привет, девочки! — И невесомые топ, топ, топ за его спиной, едва касаясь земли.

Он глядел на воробьев, но видел ее — затылком сквозь зимнюю шапку: бежит вприпрыжечку, бережно несет перед собой готовые в любой момент взлететь руки, задран тупой маленький нос, блестят глаза, блестят зубы, вздрагивают курчавинки на висках.

Топ, топ — невесомое уже по ступенькам крыльца, хлопнула дверь, и воробьи сорвались с водопадным шумом.

Он освобожденно вздохнул, поднял голову, повел недобрым глазом в сторону девчонок. Все знакомы: Лялька Сивцева, Гуляева Галка, толстая Понюхина с другого конца улицы. Знакомы, не страшны, интересны только тем, что недавно разговаривали с ней — лицом к лицу, глаза в глаза, надо же!

А раскаленная улица медленно остывала — небо становилось обычно синим, солнце не столь косматым. А сам Дюшка обрел способность думать.

Что же это?

Он хотел только узнать: похожа ли Римка на Наталью Гончарову? «Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна...» Он и сейчас не знает — похожа ли?

Двадцать минут назад ее видел.

За эти двадцать минут она не могла измениться.

Значит — он сам... Что с ним?

Вдруг да сходит с ума?

Что, если все об этом узнают?

Страшней всего, если узнает она.

2

Дюшка жил в поселке Куделино на улице Жан-Поля Марата. Здесь он и родился тринадцать лет тому назад. Правда, улицы Жан-Поля Марата тогда не было, сам поселок тоже только что рождался — на месте деревни Куделино, стоявшей над дикой рекой.

Дюшка помнит, как сносились низкие бараки, как строились двухэтажные улицы — Советская, Боровая, имени Жан-Поля Марата, названная так потому, что в тот год, когда ее начинали строить, был юбилей французского революционера.

В поселке была лесоперевалочная база, речная пристань, железнодорожная станция и штабеля бревен. Эти штабеля — целый город, едва ли не больше самого поселка, со своими безымянными улочками и переулками, тупиками и площадями, чужой человек легко мог заблудиться среди них. Но чужаки редко появлялись в поселке. А здесь даже мальчишки хорошо разбирались в лесе — тарокряж, крепеж, баланс, резонанс...

Надо всем поселком возносится узкий, что решетчатый штык в небо, кран. Он так высок, что в иные, особо угрюмые, дни верхушкой прячется в облака. Его видно со всех сторон за несколько километров от поселка.

Он виден и из окон Дюшкиной квартиры. Когда семья садится за обеденный стол, то кажется — большой кран рядом, вместе с ними. О нем за столом каждый день ведутся разговоры. Каждый день целый год отец жаловался на этот кран: «Слишком тяжел, сатана, берег реки не выдерживает, оседает. В гроб загонит, бу-

дет мне памятничек на могилу в полмиллиона рублей!» Кран не загнал отца в могилу, отец теперь на него поглядывает с гордостью: «Мое детище». Ну, а Дюшка большой кран стал считать своим братом — дома с ним, на улице с ним, никогда не расстаются, даже когда засыпает, чувствует — кран ждет его в ночи за окном.

Отец Дюшки был инженером по механической выгрузке леса, мать — врачом в больнице, ее часто вызывают к больным по ночам. Есть еще бабушка — Клавдия Климовна. Это не родная Дюшке бабушка, а приходящая. У нее в том же доме на нижнем этаже своя комнатка, но Климовна в ней только ночует. А когда-то даже и не ночевала — нянчилась с Дюшкой. Сейчас Дюшка вырос, нянчиться с ним нужды нет, Климовна ведет хозяйство и страдает за все: за то, что у отца оседает берег под краном, что у матери с тяжелобольным Гринченко стало еще хуже, что Дюшка снова схватил двойку. «О господи! — постоянно вздыхает она обреченно.— Жизнь прожить — не поле перейти».

3

Непривычная, словно раскаленная, улица остыла, снова стала по-знакомому грязной, обычной.

Ждать, ждать, пока Римка не выскочит из дома и улица опять не вспыхнет, не накалится.

Нет, сбежать, спрятаться, потому что стыдно же ждать девчонку.

Стыдно, и готов плюнуть на свой стыд.

Хочет — не хочет, хоть разорвись пополам!

А может, он и в самом деле разорвался на две части, на двух Дюшек, совсем не похожих друг на друга?

Бывало ли такое с другими? Спросить?.. Нет! Засмеют.

За домом на болоте слышались ребячьи голоса. Дюшка двинулся на них. Впервые в жизни, сам того не понимая, испытывал желание спрятаться от самого себя.

Болото на задах улицы Жан-Поля Марата не пересыхало даже летом — оставались ляжины, до краев заполненные черной водой.

Сейчас на окраине этого болота, как встревоженные галки, прыгали по кочкам ребята. Среди них в сплавщицкой брезентовой куртке, в лохматой, «из чистой медвежатины», шапке — Санька Ераха. Дюшке сразу же расхотелось идти.

Санька считался на улице самым сильным среди ребят. Правда, сильней Саньки был Левка Гайзер. Левке, как и Саньке, шел уже пятнадцатый год, он лучше всех в школе «работал» на турнике, накачал себе мускулы, даже, говорят, знал приемы джиуджитсу и каратэ. Впрочем, Левка знал все на свете, особенно хорошо математику. Вася-в-кубе, преподаватель математики, го-

ворил о нем: «Из таких-то и вырастают гении». И Левка не обращал внимания на Саньку, на Дюшку, на других ребят, никто не смел его задевать, он не задевал никого.

Дюшка среди ребят улицы Жан-Поля Марата, если считать Левку, был третьим по силе. Там, где был Санька, он старался не появляться. И сейчас лучше было бы повернуть обратно, но ребята, наверное, уже заметили, поверни — подумают: струсил.

Санька всегда выдумывал странные игры. Кто выше всех подбросит кошку. А чтоб кошка не убегала, чтоб не ловить ее после каждого броска, привязывали за ногу на тонкую длинную бечевку. Все бросали кошку по очереди, она падала на утоптанную землю и убежать не могла. И Санька бросал выше всех. Или же раз на рыбалке — кто съест живого пескаря? От выловленных на удочку пескарей пресно пахло речной тиной, они бились в руке, Дюшка не смог даже поднести ко рту — тошнило. И Санька издевался: «Неженка. Маменькин сынок...» Сам он с хрустом умял пескаря не моргнув глазом — победил.

Сейчас он придумал новую игру.

На болоте стоял старый, заброшенный сарай, оставшийся еще с того времени, когда улица Марата только строилась. На его дощатой стене был нарисован мелом круг, вся стена заляпана слизистыми пятнами. Ребята ловили скачущих по кочкам лягушек. Их здесь водилось великое множество — воздух кипел, плескался, скрежетал от лягушачьих голосов. Плескался и кипел в стороне, а напротив сарая — мертвое молчание, лягушки затаились от охотников, но это их не спасало.

Санька, в своей лохматой шапке, деловито насупленный, принимал услужливо поднесенную лягушку, набрасывал веревочную петлю на лапку, строго спрашивал:

— Чья очередь? — И передавал из руки в руку веревочку со слабо барахтающейся лягушкой: — Бей!

Веревочку принял Петька Горюнов, тихий парнишка с красным, словно ошпаренным лицом. Он раскрутил привязанную лягушку над головой, выпустил из рук конец веревочки... Лягушка с тошнотно мокрым шлепком врезалась в стену. Но не в круг, далеко от него.

— Косорукий! — сплюнул Санька.— Беги за веревочкой!

Петька послушно запрыгал по дышащим кочкам к стене сарая.

Только теперь Санька посмотрел на подошедшего Дюшку — глаза впрозелень, словно запачканные болотом, редко мигающие, стоячие. Взглянул и отвернулся: «Ага, пришел, ну, хорошо же...»

— Мазилы все. Глядите, как я вот сейчас... Лягуху давай! Эй, ты там, косорукий, веревочку неси!

Колька Лысков, верткий, тощий, с маленьким, морщинистым, подвижным, как у обезьянки, лицом, для всех услужливый, а для

Саньки особенно, подал пойманную лягушку. Запыхавшийся Петька принес веревочку.

— Глядите все!

Санька не торопился, уставился в сторону сарая выпуклыми немигающими глазами, лениво раскачивал привязанную лягушку. А та висела на веревочке вниз головой, растопыренная, как рогатка, обмершая в ожидании расправы. А в стороне бурлили, скрежетали, постанывали тысячи тысяч погруженных в болото лягушек, знать не знающих, что одна из них болтается головой вниз в руке Саньки Ерахи.

На секунду лягушка перестала болтаться, повисла неподвижно. Санька подобрался. А Дюшка вдруг в эту короткую секунду заметил ускользавшую до сих пор мелочь: распятая на веревочке лягушка натужно дышала изжелта-белым мягким брюхом. Дышала и глядела бессмысленно выкаченным золотистым глазом. Жила вниз головой и покорно ждала...

Санька распрямился, сначала медленно, потом азартно, с бешенством раскрутил над шапкой веревочку и... мокрый шлепок мягким о твердое, в круге, обведенном мелом,— клякса слизи.

— Вот! — сказал Санька победно.

У Саньки под лохматой — «из чистой медвежатины» — шапкой широкое, плоское, розовое лицо, на нем торчком твердый решительный нос, круглые, совиные, с прозеленью глаза. Дюшка не мог вынести его взгляда, склонил к земле голову.

Под ногами валялся забуревший от старости кирпич. Дюшка постепенно отвел глаза от кирпича, натолкнулся на переминающегося краснорожего виноватого Петьку — «косорукий, не попал!» И Колька Лысков осклабился, выставил неровные зубы: до чего, мол, здорово ты, Ераха!

Воздух клокотал от влажно картавящих лягушачьих голосов. Никак не выгнать из головы висящую лягушку, дышащую мягким животом, глядящую ржаво-золотистым глазом. Широкое розовое лицо под мохнатой шапкой, а нос-то у Саньки серый, деревянный, неживой. Неужели никому не противен Санька? Петька виновато мнется, Колька Лысков услужливо скалит зубы. Кричат лягушки: крик слепых, не видящих, не слышащих, не знающих ничего, кроме себя. Молчат ребята. Все с Санькой. У Саньки серый нос и зеленые болотные глаза.

— Теперь чья очередь? Ну?..

«Сейчас меня заставит»,— подумал Дюшка и вспомнил о старом кирпиче под ногами. Весь подобрался...

— Дай я кину,— подсунулся к Саньке Колька Лысков, на синюшной мордочке несходящая умильная улыбочка. Он даже противнее Саньки!

— Вон Минька не кидал. Его очередь,— ответил Санька и снова покосился на Дюшку.

Минька Богатов самый мелкий по росту, самый слабый из ребят — большая голова дыней на тонкой шее, красный нос стручком, синие глаза. Дюшкин ровесник, учатся в одном классе.

Если Минька бросит, то попробуй после этого отказаться. Не один Санька — все накинутся: «Неженка, маменькин сынок!» Все с Санькой... Кирпич под ногами, но против всех кирпич не поможет.

— Я не хочу, Санька, пусть Колька за меня.— Голос у Миньки тонкий, девичий, и синие страдальческие глаза, узкое лицо бледно и перекошено. А ведь Минька-то красив!..

Санька наставил на Миньку деревянный нос:

— Не хоч-чу!.. Все хотят, а ты чистенький!

— Санька, не надо... Колька вон просит.— Слезы в голосе.

— Бери веревочку! Где лягуха?

Кричит лягушачье болото, молчат ребята. У Миньки перекошено лицо — от страха, от брезгливости. Куда Миньке деться от Саньки? Если Санька заставит Миньку...

И Дюшка сказал:

— Не тронь человека!

Сказал и впился взглядом в болотные глаза.

Кричит вперелив лягушачье болото. Крик слепых. У Саньки в вязкой зелени глаз стерегущий зрачок, нос помертвевший и на щеках, на плоском подбородке стали расцветать пятна. Петька Горюнов почтительно отступил подальше, у Кольки Лыскова на старушечьем личике изумленная радость — обострилась каждая морщинка, каждая складочка: «Ну-у, что будет!»

— Не тронь его, сволочь!

— Ты... свихнулся? — У Саньки даже голос осел.

— Бросай сам!

— А в морду?..

— Скотина! Палач! Плевал я на тебя!

Для убедительности Дюшка и в самом деле плюнул в сторону Саньки.

Жестко округлив нечистые зеленые глаза, опустив плечи, отведя от тела руки, шапкой вперед, Санька двинулся на Дюшку, бережно перенося каждую ногу, словно пробуя прочность земли. Дюшка быстро нагнулся, выковырнул из-под ног кирпич. Кирпич был тяжел — так долго лежал в сырости, что насквозь пропитался водой. И Санька, очередной раз попробовав ногой прочность земли, озадаченно остановился.

— Ну?..— сказал Дюшка.— Давай!

И подался телом в сторону Саньки. Санька завороженно и уважительно смотрел на кирпич. Клокотал и скрежетал воздух от лягушачьих голосов. Не дыша стояли в стороне ребята, и Колька Лысков обмирал в счастливом восторге: «Ну-у, будет!» Кирпич был надежно тяжел.

Санька неловко, словно весь стал деревянным — вот-вот заскрипит,— повернулся спиной к Дюшке, все той же ощупывающей походочкой двинулся на Миньку. И Минька втянул свою большую голову в узкие плечи.

— Бери веревочку! Ну!

— Минька! Пусть он тронет тебя! — крикнул Дюшка и, навешивая кирпич, шагнул вперед.

Колька Лысков отскочил в сторону, но счастливое выражение на съеженной физиономии не исчезло, наоборот, стало еще сильней: «Что будет!»

— Бери, гад, веревочку!

— Минька, сюда! Пусть только заденет!

Минька не двигался, вжимал голову в плечи, глядел в землю. Санька нависал над ним, шевелил руками, поеживался спиной, однако Миньку не трогал.

Картаво кричало лягушачье болото.

— Минька, пошли отсюда!

Минька вжимал в плечи голову, смотрел в землю.

— Минька, да что же ты? — Голос Дюшки расстроенно зазвенел.

Минька не пошевелился.

— Ты трус, Минька!

Молчал Минька, молчали ребята, передергивал спиной Санька, кричало болото.

— Оставайся! Так тебе и надо!

Сжимая в руке тяжелый кирпич, Дюшка боком, оступаясь на кочках, двинулся прочь.

По улице, прогибая ее, шли тяжкие лесовозы, заляпанные едкой весенней грязью. Они, должно быть, целый день пробивались из соседних лесопунктов по размытым дорогам, тащили на себе свежие, налитые соком еловые и сосновые кряжи. Они привезли из леса вместе с бревнами запах хвои, запах смолы, запах чужих далей — запах свободы.

Над крышами в отцветающем вечернем небе дежурил большой кран. Дюшкин друг и брат. И за рычанием лесовозов улавливался растворенный в воздухе невнятно-нежный звон.

Дюшка бросил ненужный кирпич. Дюшке хотелось плакать. Санька теперь не даст проходу. И Минька предал. И Миньку Санька все равно заставит убить лягушку. Хотелось плакать, но не от страха перед Санькой и уж не от жалости к Миньке — так ему и надо! — от непонятного. Сегодня с ним что-то случилось.

Что?

Кого спросить? Нет, нет! Нельзя! Ни отцу, ни матери, если только большому крану...

И Дюшка почувствовал вокруг себя пустоту — не на кого опе-

реться, не за что ухватиться, живи сам как можешь. Как можешь?.. Земля кажется шаткой.

И стоит перед глазами Римка — легкие летающие руки, курчавящиеся у висков волосы... И не прогнать из головы дышащую животом лягушку... и он ненавидит Саньку! Все перепуталось. Что с ним сейчас?..

Рычат лесовозные машины, тащат тяжелые бревна, в тихом небе дремлет большой кран. Стоял посреди улицы Дюшка Тягунов, мальчишка, оглушенный самим собой.

Откуда знать мальчишке, что вместе с любовью приходит и ненависть, вместе с неистовым желанием братства — горькое чувство одиночества. Об этом часто не догадываются и взрослые.

Лесовозы прошли, но остался запах бензина и хвойного леса, остался растворенный в воздухе звон. Это с болот доносился крик лягушек. Крик неистовой любви к жизни, крик исступленной страсти к продолжению рода, и капель с крыш, и движение вод в земле, и шум взбудораженной крови в ушах — все сливалось в одну звенящую ноту, распиравшую небесный свод.

4

Дома шел разговор. Как всегда, шумно говорил отец, как всегда, о своем большом кране:

— Кто знал, что в этом году будет такой паводок! Берег подмывает, гляди да локти кусай — кувырнется в воду наш красавец. А кто настаивал: надо выдвинуть в реку бетонный мол. Нет, мол,— накладно. Из воды выуживать эту махину не накладно? Да дешевле новый кран купить! Всегда так — экономим на крохах, прогораем на ворохах!..

У матери остановившийся взгляд, направленный куда-то внутрь себя, в глубь себя. Она неожиданно перебила отца:

— Федя, ты не помнишь, что случилось пятнадцать лет назад?

— Пятнадцать лет?.. Гм!.. Пятнадцать... Нет, что-то не припомню... Кстати, как сегодня здоровье твоего Гринченко?

— Представь себе, лучше.

— А почему похоронное настроение, словно у тебя там несчастье?

— Да так... Вдруг вот вспомнилось... Пятнадцать лет назад бежали ручьи и капало с крыш, как сегодня.

Отец стоит посреди комнаты в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, взлохмаченная голова под потолок. Косит глазом на мать — озадачен.

— Что за загадки? Говори прямо.

— Пятнадцать лет назад, Федя, в этот день ты мне поднес... белые нарциссы, помнишь ли?

— Ах да!.. Да!.. Бежали ручьи... Помню.

— С этих цветов, собственно, и началось.

— Да, да.

— Ты тогда был неуклюжий, сутулился. Цветы, ручьи и твоя слоновья вежливость.

— Действительно... Я боялся тогда тебя.

— Я прижимала твои цветы и думала: господи, возможно ли так, чтобы просыпаться по утрам и видеть этого смущающегося слона день за днем, год за годом. Не верилось.

— Мы вместе, Вера. Пятнадцать лет...

— А вместе ли, Федор? Краны, тягачи, кубометры, инфаркты, нефриты — гора забот между нами. Чем дальше, тем выше она... Федя, ты мне уже никогда больше не дарил цветов. Те белые нарциссы — первые и последние.

Отец грузно зашагал по комнате, влезая пятерней в растрепанные волосы, мать глядела перед собой углубленными глазами.

— Белые нарциссы...— с досадой бормотал отец.— Я даже еловых шишек не могу здесь поднести, к нам приходят раздетые донага бревна... Вера, ты сегодня что-то не в настроении. Что-то у тебя случилось? Какая неприятность?

— Случилась очередная весна, Федя.

Мать и отец даже не заметили вернувшегося с улицы Дюшку, никто не спрашивал его, сделал ли он домашние задания. Он так и не решил задачу о двух пешеходах.

Бабушка Климовна штопала Дюшкин свитер, тоже прислушивалась к разговору о нарциссах, шумно вздохнула:

— Ох, батюшки! Мечутся, всё мечутся, не знай чего хотят.

Дюшку не волновали белые нарциссы: до них ли сейчас! Он потихоньку взял «Сочинения» Пушкина, убрался в другую комнату, раскрыл книгу на портрете Натальи Гончаровой. Белое бальное платье с вырезом, нежная шея, точеный нос, завитки волос на висках — красавица.

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

5

Утром он рано проснулся с кипучим чувством — скорей, скорей! Едва хватило сил позавтракать под воркотню Климовны, схватил свой портфель — и на улицу. Скорей! Скорей!

Но, спрыгнув с крыльца, он понял, что поторопился.

Улица была тихо населена, но не людьми, а грачами. Большие парадно-мрачные птицы молчаливо вперевалку разгуливали по дороге, каждая в отрешенном уединении носила свой серый клюв, нет-нет да трогая им землю задумчиво, рассеянно, брезгливо.

Большие птицы, черные, как головешки, углубленные в свои серьезные заботы. Странное население, а потому и сама улица Жан-Поля Марата кажется странной, словно в фантастической книжке: люди вымерли, хозяевами остались мудрые птицы, один Дюшка случайно уцелел на всей земле. Представить и — бр-р-р! — жутковато.

Но жутковато так, между делом. Дюшку беспокоили сейчас не грачи, он только теперь сообразил, чего хотел, почему спешил: не пропустить Римку, чтобы идти следом за ней до самой школы (боже упаси, не рядышком!), издали глядеть, глядеть... Сковывающее пальто, кусочек тонкой белой шеи между воротником и вязаной шапочкой. Кусочек белой и теплой кожи...

Но пуста улица, по ней лишь гуляют прилетевшие из дальних стран грачи. Надо ждать, но это трудно, и скоро на улице появятся прохожие, станут подозрительно коситься: а почему мальчишка топчется у крыльца, а кого это он ждет?..

И опять влез в мысли непрошеный Санька Ераха. Он-то уж помнит вчерашнее, он-то уж непременно будет сторожить на дороге. Просто кулаками с Санькой не справишься. И снова в грудь отравой полилась бессильная ненависть: зачем только такая пакость живет на свете?

Дюшка стоял возле крыльца, глядел на грачей, на молодую, крепкую березку, окутанную по ветвям сквозным зеленым дымком, на старый пень посреди истоптанного двора. Днем этот пень как-то незаметен, сейчас нахально лезет в глаза. И неспроста!

Неожиданно Дюшка ощутил: что-то живет на пустой улице, что-то помимо грачей, березки, старого пня. Солнце переливалось через крышу, заставляло жмуриться, длинные тени пересекали помятую машинами дорогу, грачи блуждали между тенями, в полосах солнечного света. Что-то есть, что-то, заполняющее все,— невидимое, неслышимое, крадущееся по поселку мимо Дюшки. И оно всегда, всегда было, и никто никогда не замечал его. Никто никогда, ни Дюшка, ни другие люди!

Дюшка стоял затаив дыхание, боясь спугнуть свое хрупкое небеденье. Вот-вот — и откроется. Вот-вот — великая тайна, не подвластная никому. Стоит лишь поднапрячься — вот-вот...

Береза... Она в сквозной дымке. Вчера этой дымки не было — ночью распустились почки. Что-то тут, рядом, а не дается.

Грачи неожиданно, как по приказу, дружно, молча, деловито, с натужной тяжестью взлетели. Хлопанье крыльев, шум рассекаемого воздуха, сизый отлив черных перьев на солнце. Где-то в конце улицы сердито заколотился звук работающего мотора. Грачи, унося с собой шорох взбаламученного воздуха, растаяли в небе. Заполняя до крыш улицу грубым машинным рыком и грохотом расхлябанных металлических суставов, давя ребристыми

скатами и без того вмятую щебенку, прокатил лесовоз-тягач с пустым мотающимся прицепом.

Он прокатил, скрылся за домами, но его грубое рычание еще долго билось о стены домов, о темные, маслянисто отсвечивающие окна. Но и этот отзвук должен исчезнуть. Непременно. И он исчез.

И береза в зеленой дымке, которой вчера не было... Вот-вот — тайна рядом, вот-вот — сейчас!..

Пуста улица, нет грачей. Улица та же, но и не та — изменилась. Вот-вот... Кажется, он нащупывает след того невидимого, неслышимого, что заполняет улицу, крадется мимо.

Хлопнула где-то дверь, кто-то из людей вышел из своего дома. Скоро появится много прохожих. И улица снова изменится. Скоро, пройдет немного времени...

И Дюшка задохнулся — он понял! Он открыл! Сам того не желая, он назвал в мыслях то невидимое и неслышимое, крадущееся мимо: «Пройдет немного в р е м е н и...»

В р е м я! Оно крадется.

Дюшка его увидел! Пусть не само, пусть его следы.

Вчера на березе не было дымки, вчера еще не распустились почки — сегодня есть! Это след пробежавшего времени!

Были грачи — нет их! Опять время — его след, его шевеление! Оно унесло вдаль рычащую машину, оно скоро заполнит улицу людьми...

Беззвучно течет по улице время, меняет все вокруг.

И этот старый пень — тоже его след. Когда-то тут, давным-давно, упало семечко, проклюнулся росточек, стал тянуться, превратился в дерево...

Течет время, рождаются и умирают деревья, рождаются и умирают люди. Из глубокой древности, из безликих далей к этой вот минуте — течет, подхватывает Дюшку, несет его дальше, куда-то в щемящую бесконечность.

И жутко и радостно... Радостно, что открыл, жутко — открыл-то не что-нибудь, а великое, дух захватывает!

Течет время... Дюшка даже забыл о Римке.

— Дюшка...

Бочком, боязливо, склонив на плечо тяжелую голову в отцовской шапке, приблизился Минька Богатов — на узкие плечики навешен истрепанный ранец, руки зябко засунуты в карманы.

— Дюшка...— И виновато шмыгнул простуженным носом.

— Минька, а я время увидел! Сейчас вот,— объявил Дюшка.

Минька перестал мигать — глаза яркие, синие, а ресницы совсем белые, как у поросенка, нос, словно только что вымытая морковка, блестит. И в тонких бледных губах дрожание, должно быть, от страха перед Дюшкой. Дюшке же не до старых счетов.

— Видел! Время! Не веришь? — Он победно развернул плечи.

— Чего, Дюшка?

— Время, говорю! Его никто не видит. Это как ветер. Сам ветер увидеть нельзя, а если он ветки шевелит или листья, то видно...

— Время ветки шевелит?

— Дурак. Время сейчас улицу шевелило. Все! То нет, то вдруг есть... Или вот береза, например... И грачи были да улетели... И еще пень этот. Погляди, как его время...

Минька глядел на Дюшку, помахивал поросячьими ресницами, губы его начали кривиться.

— Дюшка, ты чего? — спросил он шепотом.

— «Чего, чего»! Ты пойми: пень-то деревом раньше был, а еще раньше кустиком, а еще — росточком маленьким, семечком... Разве не время сделало пень этот?

— Дюшка, а вчера ты на Саньку вдруг... с кирпичом.— Минька расстроенно зашмыгал носом.

— Ну так что?

— А сейчас вот — в пне время какое-то... Ой, Дюшка!..

— Что — ой? Что — ой? Чего ты на меня так таращишься?

Глаза у Миньки раскисли, словно у Маратки, ничейной собаки, которая живет по всей улице Жан-Поля Марата; есть в кармане сахар или нет, та все равно смотрит на тебя со слезой, не поймешь, себя ли жалеет или тебя.

— Ты не заболел, Дюша?

И Дюшка ничего не ответил. Сам вчера за собой заметил — что-то неладно! Вчера — сам, сегодня — Минька, завтра все будут знать.

Улица как улица, береза как береза, и старый пень всего-навсего старый пень. Только что радовался, дух захватывало... Хорошо, что Минька ничего не знает о Римке.

И ради собственного спасения напал на Миньку сердитым голосом:

— Если я против Саньки, так уж и заболел. Может, вы все вместе с Санькой с ума посходили — на лягуш ни с того ни с сего!.. Что вам лягушки сделали?

— Санька-то тебе не простит. Ты его знаешь — покалечит, что ему.

— Плевал, не боюсь!

— Разве можно Саньки не бояться? Сам знаешь, он и ножом... Что ему.

Минька поеживался, помаргивал, переминался, явно страдал за Дюшку. И глаза у друга Миньки как у ничейной Маратки.

Дюшка задумался.

— Кирпич нужен. Чтобы чистый,— сказал он решительно.

— Кирпич? Чистый?..

— Ну да, не могу же я грязный кирпич в портфель положить. Теперь я всегда с портфелем буду ходить по улице. Санька наскочит, я портфель открою и... кирпич. Испугался он тогда кирпича, опять испугается.

Минька перестал виновато моргать, уважительно уставился на Дюшку: ресницы белые, нос — морковка-недоросток.

— Возле нашего дома целый штабель,— сказал он.— Хорошие кирпичи, чистые, толем укрыты.

— Пошли! — решительно заявил Дюшка.

Они выбрали из-под толя сухой кирпич. Дюшка очистил его рукавом пальто от красной пыли, придирчиво осмотрел со всех сторон — что надо,— опустил в портфель. Кирпич лег рядом с задачником по алгебре, с хрестоматией по литературе. Портфель раздулся и стал тяжелым, зато на душе сразу полегчало — пусть теперь сунется Санька. Оказывается, как просто: для того чтобы жить без страха, нужен всего-навсего хороший кирпич. Мир снова стал доброжелательным. Минька с уважением поглядывал на Дюшкин портфель.

Они отправились в школу. Поджидать Римку вместе с Минькой глупо. Да и какая нужда? И все-таки хотелось ее видеть. Хотелось, хотя умом понимал — нужды нет!

Санька не встретился им по дороге.

6

Он успел ее увидеть перед самым звонком в толчее и сутолоке школьного коридора. И сейчас, на уроке, он тихо переживал это свое маленькое счастье.

— Тягунов! Федор! Ты уснул?

Женька Клюев, сосед по парте, ткнул Дюшку в бок:

— Вызывают. К доске.

Учителя математики звали Василий Васильевич, и фамилия у него тоже Васильев, а потому и прозвище — Вася-в-кубе. Он был уже стар, каждый год грозится уйти на пенсию, но не уходит. Высок, тощ, броваст, с прокаленной, как бок печного горшка, лысиной, с висячим крупным носом и басист. Его бас, грозные брови, высокий рост пугали новичков, которые приходили из начальных школ. Ребята чуть постарше хорошо знали — Вася-в-кубе страшен только с виду.

Он всегда о ком-нибудь хлопотал: то путевку в южный пионерлагерь больному ученику, то пенсию родителю. Почти всегда у него дома на хлебах жил парнишка из деревни, в котором Вася-в-кубе видел большой талант, занимался его развитием.

Он верил, что талантливы все люди, только сами того не знают, а потому таланты остаются нераскрытыми. И он, Вася-в-кубе, усердствовал, раскрывал.

Рассказывают, что, когда Левка Гайзер, тогда еще ученик пятого класса, начал решать очень трудные задачи, Вася-в-кубе плакал от радости, по-настоящему, слезами, при всех, не стесняясь.

Он видел нераскрытый талант и в Дюшке, чем сильно отравлял Дюшкину жизнь. Математика Дюшке не давалась, а Вася-в-кубе не уставал этому огорчаться.

Сейчас Дюшка стоял у доски, а Василий Васильевич мерил длинными ногами класс в ширину, от двери к окну и обратно.

— Это что же, Тягунов, такое? — расстроенным громыхающим басом.— Что за распущенность, спрашиваю? Куда же ты катишься, Тягунов? Идет последняя четверть. Последняя! У тебя две двойки, сейчас поставлю третью! А в итоге?..— Густые брови Васи-в-кубе выползли почти на лысину.— В итоге ты второгодник, Тягунов!

Дюшка и сам понимал, что вчера эту проклятую задачу о путешественниках, пешком отправившихся навстречу друг другу, кровь из носу, а должен бы решить. Ну, на худой конец, списать у кого. Не получилось. Дюшка убито молчал.

— Что ж...— Сморщившись, словно сильно заболела поясница, Василий Васильевич склонился над журналом: двойка!

Дюшка двинулся к своей парте.

— Куда? — грозно спросил Вася-в-кубе и указал широкой мослаковатой рукой на пластмассовую продолговатую коробочку на своем столе: — Почиститься!

— Я же не трогал мела.

— Почиститься!

Васю-в-кубе никак нельзя было назвать большим аккуратистом — носил брюки с пузырями на коленях, мятый пиджачок, жеваный галстук,— но почему-то он не выносил следов мела на одежде у себя и у других. Вместе с классным журналом он приносил на уроки платяную щетку в коробочке. Каждому, кто постоял у доски, вручалась эта коробочка и предлагалось удалиться на минуту из класса, счистить с себя следы мела. Тем, кто ответил хорошо, ласковым голосом: «Приведи себя в порядок, голубчик»; кто отвечал плохо — резко, коротко: «Почиститься!» И уж лучше не спорить, Вася-в-кубе тут выходил из себя.

Дюшка с коробочкой в руках вышел из класса. В пустом коридоре, заполненном потусторонними голосами, привалясь плечом к стене, стоял Санька Ераха, лицо хмурое, соломенные волосы падают на сонные глаза — за что-то, видать, выставили с урока.

Санька и Дюшка — один на один, лицом к лицу в пустом коридоре. Портфель с кирпичом в классе...

Но Санька не пошевелился, не оторвал плеча от стены, он только глядел на Дюшку из-под перепутанных волос сонно и хо-

лодно. И Дюшке стало стыдно, что он испугался. Во время уроков в коридоре Санька не полезет.

Дюшка не спеша раскрыл коробочку, вытащил щетку, принялся чистить свои брюки, старательно, не пропуская ни одной соринки, словно чистка старых штанов — наслаждение.

Он чистил и ждал — Санька заговорит. Тогда Дюшка ему ответит, не спустит. Он чистил, а Санька молчал, смотрел. Дюшка прошелся по одной штанине, принялся за другую — Санька молчал и смотрел в упор. И тогда Дюшка понял, что Санька молчит неспроста — уж очень сильно его ненавидит, иначе бы не выдержал, ругнулся. Молчит и глядит совиными глазами, молчит и глядит...

Дюшка принялся чиститься по второму разу — вдруг да Санька не выдержит, ругнется хотя бы шепотом. Но молчание. И пришла в голову простая мысль: а почему все-таки Санька его ненавидит? Он хорошо знает, что Дюшка не станет его подстерегать, ему, Саньке, нечего бояться Дюшки, жизнь не портит, настроение не отравляет, как это делает сам Санька, а все-таки ненавидит. Только за то, что он, Дюшка, не захотел бросить лягушку, не подчинился? Даже защитить Миньку ему не удалось. Мало ли чего кому не хочется. Вот он, Дюшка, например, не захотел решить задачу о путешественниках, Васе-в-кубе это неприятно, Вася-в-кубе огорчен, но представить — возненавидел за это... Нет, слишком!

И тут спохватился: а ведь и он Саньку ненавидит не только за то, что тот отравляет жизнь, заставляет носить с собой кирпич. Ненавидит, что Саньке нравится мучить кошек, убивать лягуш. Казалось бы, тебе-то какое дело — пусть, коли нравится. Нет, ненавидит Санькины привычки, Санькины выкаченные глаза, Санькин нос, Санькино плоское лицо, ненавидит просто за то, что он такой есть.

Санька глядел остановившимся взглядом, и Дюшка попробовал представить себе, каким видит сейчас его Санька. Но не успел, так как кончилась последняя штанина, начать чиститься по третьему разу просто смешно, черт те что может подумать Санька.

Дюшка вложил щетку в коробочку, взглянул напоследок на Саньку, и взгляды их встретились... Стоячие, холодные, мутнозеленые глаза. Да, не ошибся. Да, Санька неспроста молчит. Кирпич все-таки ненадежная защита.

Так в молчании и расстались. Дюшка вернулся в класс.

На перемене ему уже некогда было выглядывать Римку, он искал Левку Гайзера. Кирпич — ненадежно, один только Левка мог помочь.

Он отыскал Левку возле кабинета физики, отозвал в сторону. У Левки серые спокойные глаза и ресницы, как у девчонки, заги-

бались вверх. У него уже начали пробиваться усы, пока чуть-чуть, легким дымком над полными красными губами. Красивый парень Левка.

— Научи меня джиу-джитсу, Левка, или каратэ. Очень нужно, не просил бы.

— А может, мне лучше научить тебя танцевать, как Майя Плисецкая?

— Левка, нужно! Очень! Ты знаешь приемы, все говорят.

— Послушай, таракан: незнаком я с этой чепухой. Вы там черт те какие басни про меня распускаете.

Зазвенел звонок, Левка ударил Дюшку по плечу:

— Так-то, насекомое! Не могу помочь.

И ушел пружинящей спортивной походочкой.

Одна надежда на кирпич.

7

— Минька! Вон травка выползла, зелененькая, умытая. Почему она такая умытая, Минька? Она же из грязной земли выползла. Из земли, Минька! Из мокроты! На солнце! Ей тепло, ей вкусно... Она же солнечные лучи пьет. Растения солнцем питаются. Лучи им как молоко... Ты оглянись, Минька, ты только оглянись! Все на земле шевелится, даже мертвое... Вон этот камень, Минька, он старик. Он давно, давно скалой был. Скала-то развалилась на камни, Минька... А потом льды тут были, вечные, они ползали и камни за собой таскали. Этот камень издали к нам притащен. Он самый старый в поселке, всех людей старше, всех деревьев. У него, Минька, долгая жизнь была, но скучная. Ух, какая скучная! Ему же все равно — что зима, что лето, мороз или тепло...

Свершилось! Впереди шла Римка Братенева — вязаная шапочка, кусочек обнаженной шеи под ней. И тесное, выгоревшее коричневое пальто, и длинные ноги — походочка с ленцой, разомлевшая. В самой Римкиной походке, обычно летящей, чувствуется слишком щедрое солнце, заставляющее сверкать и зеленеть землю, вызывающее ленивую истому в теле. Дюшке не до истомы. Шла впереди Римка в стайке, средь других девчонок, и счастье не умещалось в теле. Дюшка легко нес тяжелый портфель — спасительно тяжелый — он не боялся встречи с Санькой, а потому ничто сейчас не омрачало его счастья. Дюшка говорил, говорил, слова сами лились из него, славя траву и влажную землю, лучи солнца и угрюмый валун при дороге. И как хорошо, что было кому слушать — Минька Богатов поспевал мелким козлиным скоком со своим истрепанным ранцем за спиной.

— Минь-ка-а! — Дюшку захлестывала нежность к товарищу.— Это хорошо, что мы родились! Взяли да вдруг родились... И ра-

стем и все видим! Хорошо жить, Минька!.. А я ненавижу, Минька... Я Саньку Ераху ненавижу! Живет себе лягушка, ему надо ее убить. Живем мы, ему надо, чтобы мы боялись его. А я не боюсь! Буду ходить, куда хочу, глядеть, что хочу. Я только портфель с собой стану носить, пока себе мускулы не накачаю и приемы не выучу. А тогда на что мне портфель с кирпичом, тогда я и без кирпича... И тебя я не дам, Минька, в обиду. Ты держись за меня, Минька!

Шла впереди Римка Братенева, девчонка в вязаной шапочке, от нее накалялся белый свет, от нее горел Дюшка. Он говорил, говорил, словно пел, и не мог с собой справиться. Песнь траве, песнь солнцу, песнь весне и жизни, песнь благородной ненависти к тем, кто мешает жить.

— Вон кран стоит, он мне вроде брата, Минька! Потому что поставлен отцом. Я отца, Минька, люблю, он, увидишь, еще такое завернет здесь, в поселке,— ахнут все! И мать у меня, Минька, хорошая. Очень, очень, очень хорошая! Она людям умирать не дает. Сама, Минька, устает, ночей не спит, чтобы другие жили. Это же хорошо, скажи, что нет? Хорошо уставать, чтоб другие жили. Правда, Минька?.. Минька, что с тобой... Минь-ка!

Дюшка только сейчас заметил, что по щекам Миньки текут слезы. Идет, спотыкается и плачет, и лицо у него какое-то серое, с выступающими сквозь кожу голодными косточками.

— Минька, ты что?..

И Минька сорвался, сгибаясь под ранцем, дергающимся скоком побежал прочь от счастливого Дюшки.

— Ми-и-нь-ка!

Минька не обернулся. Дюшка остановился в растерянности.

Земля вокруг была ослепительно рыжей. Удалялась вместе с девчонками Римка Братенева — вязаная шапочка в компании цветных платочков, беретов, других вязаных шапочек.

И стало стыдно, что был так неумеренно счастлив. И недоумение: чем же он все-таки мог обидеть Миньку?

Солнце обливало рыжую, по-весеннему еще обнаженную землю. Дюшка стоял среди горячего, светлого, праздничного мира, не подозревая, что мир играет с ним в перевертыши.

8

С отравленным настроением он взялся за ручку двери и вдруг услышал за дверью перекатывающийся бас. Дома его ждал гость столь неприятный, что хоть поворачивай и беги обратно на улицу. Минуту-другую Дюшка мялся, портфель, из которого он внизу вынул кирпич, снова показался тяжелым. Может, и в самом деле погулять, пока незваный гость не уйдет?..

Гость-то уйдет, а беда останется, что уж труса праздновать.

И Дюшка открыл дверь, обреченно шагнул через порог навстречу гремевшему басу.

Посреди комнаты лысиной под потолок стоял Вася-в-кубе, размахивал длинной рукой и ораторствовал. Отец и мать, пришедшие с работы на обед, озабоченная старая Климовна сидели вокруг застланного скатертью стола и почтительно слушали. Вася-в-кубе считался одним из самых умных людей в поселке.

Мать не оглянулась в сторону сына, отец лишь стрельнул сердитым глазом. Климовна вздохнула и опустила седую, гладко причесанную голову, а Вася-в-кубе покосился, но речи своей не прервал.

— Нет от природы дурных людей, есть дурные воспитатели! Да! — гремел Василий Васильевич, и оконные стекла отзывались на его голос.— Мы, учителя, не справляемся с воспитанием, даем брак... Согласен! Подписываюсь! Но!.. Но ведь в школе ученик проводит всего каких-нибудь шесть часов в сутки, остальные восемнадцать часов — дома! Законно спросить: чье влияние сильней на ребенка? Нас, учителей, или вас, родителей?..

— Вы хотите сказать, Василий Васильевич...— начал было отец Дюшки.

— Хочу сказать, Федор Андреевич,— голос Василия Васильевича стал тверд, лицо величественно,— что когда вы в ущерб семье с раннего утра до позднего вечера пропадаете на работе, то не считайте — мол, это так уж полезно для общества. Обществу, уважаемый Федор Андреевич, нужно, чтоб вы побольше отдавали времени своему сыну, заражали его тем, чем сами богаты. Да! Вы трудолюбивы, вы работоспособны, а сын, увы, этого от вас не перенял. Не перенял он и вашу кипучую энергию и ваше чувство ответственности перед делом. Не обижайтесь за мою прямоту.

— Да что уж обижаться — вы правы, сына вижу только вечером, когда с ног валюсь,— отмахнулся огорченно отец.— И мать тоже по горло занята. На Клавдии Климовне он...

Климовна ответила вздохом, мать промолчала.

— Поймите меня,— снова зарокотал Василий Васильевич,— я вовсе не хочу, чтобы каждый... каж-дый родитель влиял на своего ребенка. Есть родители, от влияния которых я бы с удовольствием оградил детей. Возьмите всем известного Богатова... Кто он, этот Никита Богатов? Хронический неудачник! И это передастся на его мальчика — забит, робок, несчастен! Можно только сожалеть о влиянии Богатова на своего сына.

До сих пор все, что говорил Вася-в-кубе, было и ненужно и неприятно Дюшке, сейчас насторожился: Богатов Никита — отец Миньки, несчастный мальчик — сам Минька. А Дюшка только что видел Минькины слезы...

Но Вася-в-кубе не стал углубляться в судьбу Миньки, его интересовала судьба Дюшки. Он повернулся к нему:

— Я хочу от тебя одного: чтоб ты потесней сошелся с Левой Гайзером. Он-то уж поможет... По-тес-ней! Понимаешь?

Он, Дюшка, понимал Васю-в-кубе, да тот плохо понимал Дюшку. Какой интерес Левке водиться с Дюшкой, с тем, кто моложе почти на два года. Левка таких тараканами зовет. Будет звать тараканом и показывать, как решаются задачки про пешеходов... Уж лучше Дюшка сам как-нибудь. Но вслух этого он не сказал.

Зато Климовна съябедничала:

— У него Минька, сын Богатова,— первый товарищ. Охо-хо!

— Василий Васильевич, спасибо вам,— подала голос мать.— Что в наших силах, то сделаем. Как-никак он у нас один.

— Ну и прекрасно! Ну и превосходно!.. А я, со своей стороны, уверяю вас, тоже... Под прицелом будешь у меня, голубчик, под прицелом!

Вася-в-кубе заметно подобрел. Он и вообще-то не умел долго сердиться, а уж после того, как поговорит, поораторствует, громко, всласть отчитает, всегда становится мирным и ласковым. Все ребята это знали и молчали, когда он ругался.

Он ушел успокоенный и великодушный, родители проводили его до дверей.

Климовна, поджав губы, с выражением «пропащий ты человек» стала собирать на стол.

Отец вернулся в комнату, пнул стул, подвернувшийся на пути, навис над Дюшкой:

— Достукался! Краснеть за тебя приходится. Не-ет, я приму меры — забудешь улицу, Минек, Санек!.. Я найду способ усадить за рабочий стол!..

Мать опустилась на стул и позвала:

— Подойди ко мне, Дюшка.

Отец сразу умолк, а Дюшка несмело подошел. Он больше боялся тихого голоса матери, чем крика отца.

Мать положила ему на плечо руку и стала молча вглядываться, долго-долго, в углах губ проступали опасные морщинки.

— Дюшка...— И замолчала, снова стала вглядываться Дюшке в лицо. Наконец заговорила: — У меня сейчас в больнице умирает человек, Дюшка. Я сейчас уйду к нему и вернусь поздно... И завтра я должна быть там, в больнице, и послезавтра... Человек при смерти, Дюшка, должна я его спасти или нет?

— Должна,— выдавил Дюшка, в тон матери, тихо.

— Я спасу этого, появится другой больной. И мне снова придется спасать... А может, мне лучше не спасать больных, заняться тобой? Ты здоров, тебе смерть не грозит, но ты так глуп и ленив, что нужно следить, хватать тебя за руку, силой вести к столу, чтобы учил уроки.

— Черт! — В полном расстройстве отец пнул ногой стул; было ясно, что с таким же удовольствием он отвесил бы пинок Дюшке.

— Мам...— У Дюшки сжалось горло.— Мам... Я все... Я сам... Не надо обо мне... ду-мать.

Мать сняла с плеча руку, отвела глаза, сказала устало, словно пожаловалась:

— У меня сейчас сложная операция. Будем оперировать Гринченко. Я очень волнуюсь, Дюшка.

— Мам! Не думай обо мне. Я сам... Вот увидишь.

— А я все-таки приму меры! Не-ет, я на самотек не пущу! — Отец решительно направился к телефону, набрал номер: — Алло! Гайзер!.. Слушай, Алексей Яковлевич, просьба к тебе. И нет, не к тебе, а к твоему сыну. Пусть он займется моим балбесом, подтянет по математике... Как мужчина мужчину прошу, так и передай — как мужчина мужчину... Ну, спасибо... Что — платформ нет? Выкатку приостановить?! Да ты что, Гайзер? В такую воду держать лес в запани! А если ночью прорвет запань?.. Нет, дружочек, нет, не крути! Вышибай и платформы — кровь из носу!..

И отец забыл о Дюшке.

Климовна вздыхала над столом:

— Э-эх! Курица пестра сверху, человек изнутри.

После обеда Дюшка никуда не пошел, сел за стол, разложил перед собой учебники и задумался... Сначала о матери, которая, наверно, в эти самые минуты спасает от смерти какого-то незнакомого Гринченко. Потом всплыл в памяти Минька. Почему он вдруг?.. Минька расплакался, должно быть, потому, что Дюшка стал хвастаться отцом. Минькиного отца, Никиту Богатова, не любили в поселке. Минькина мать бегала по соседям и жаловалась на мужа: не зарабатывает, не заботится о семье... И это верно, Минька ходит в школу в рваных ботинках.

Дюшка только издали видел Минькиного отца. Тот не выглядел уж таким злодеем — обычный человек, носит помятую шляпу, старое пальто с длинными полами, в которых он путается ногами на ходу, и нельзя никогда понять, пьян он или от рождения таков. И лицо у Минькиного отца мятое, как его шляпа, бесцветное, только глаза синие, точь-в-точь как у Миньки. Еще у Минькиного отца странная привычка — всегда что-то бормочет на ходу. А однажды Дюшка его увидел в лесу — стоит один-одинешенек на поляне, помахивает рукой и громко декламирует:

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты...

Что-то непонятное. Стихи — деревьям! Странный. Он сам пишет стихи и раньше жил в городе, работал в газете, которая каждый день приходит в Куделино. Газету все читают, стихов Богатова никто не знает. И работает теперь Богатов простым делопроизводителем в конторе.

Жаль Миньку. Жаль, пожалуй, больше, чем себя.

Задача о путешественниках никак не решалась.

9

Левка Гайзер сам подошел к Дюшке:

— После уроков потолкуем, таракан.

И вот после уроков они вышагивают бок о бок. Поролоновая курточка, джинсы в обтяжечку, румяные щеки, серые глаза под девчоночьими ресницами, папка в руках и еще какая-то умная книга, не уместившаяся в папку. Дюшка рядом, со своим потасканным портфелем. Портфель оттягивает руку, в нем кирпич против Саньки Ерахи.

Левка с ленцой шагает, нехотя говорит, словно такие, как Дюшка, насекомые ему, занятому, надоедают каждый день:

— Вася-в-кубе считает, что к математике нужно тянуть за уши. У меня на этот счет свое мнение...

У Дюшки своего мнения нет: отец заставляет и... дал слово матери.

— Я считаю, в математику нужно бросать человека, как в воду: выплывешь — значит, и дальше станешь плавать, не выплывешь — черт с тобой, тони, того стоишь.

Дюшка терпит свою насекомость, ждет, как и когда умный Левка бросит его в математику, словно в воду.

— Вот...— Левка протянул Дюшке книгу.— Нырни в нее, постарайся с головой. Популярная, легко читается. Проплывешь до конца — буду с тобой разговаривать. Не проплывешь... Что ж, ходи по суше, как все ходят. Ничем тогда не смогу тебе помочь, таракан.

Дюшка взял книгу, попросил:

— Левка, не зови меня тараканом.

Левка впервые с интересом посмотрел на Дюшку, неожиданно согласился:

— Хорошо, не буду, если не нравится.

Нет, он все-таки человек невредный, другой бы, видя, что не нравится, стал настаивать: «Так ты и есть таракан, клопа перерос, до кошки не дорос!» От благодарности захотелось поделиться с Левкой.

— Левка, а может такое быть — я тут время увидел.

— Время? Увидел?!

— Понимаешь, утром вышел на улицу, и вдруг... Грачи улетели, машина прошла, почки на березе распустились. Все это видят, а никто не догадывается, что это время все меняет. Грачи были да нет, машина была да пропала, почек не было — появились. Хочешь стой, хочешь ходи, хочешь спи себе, а время идет, все меняет.

— Гм...

Левка не рассмеялся, наоборот, озадаченно закосил глазом на сторону.

— Любопытно. Только ты не время, нет, ты движение видел. Почки на березе — тоже движение.

— Ну да, движение. Ветер двигается — и видно, как он ветки раскачивает. Так и время...

— Гм... Движение-то во время... А ты не такой простой, таракан... Ох, извини, забыл.

— Ничего.— Дюшка теперь готов был великодушно простить Левке и «таракана».

Грязную улицу Жан-Поля Марата пересекала кошка, брезгливо ставя лапы на мокрую землю. И Дюшка с Левкой загляделись на нее. Кошка достигла противоположного тротуара.

— Двадцать пять секунд,— объявил Левка.

— Чего — двадцать пять? — не понял Дюшка.

— Двадцать пять секунд прошло, пока кошка через улицу переходила. Она на двадцать пять секунд стала старше, мы с тобой — старше на столько же, земля вся старше, вселенная...

Дюшка задумался, еще раз представив себе в мыслях кошку, брезгливо ступающую чистыми, вылизанными лапами по грязной земле, и неожиданно возразил:

— Нет, Левка, у кошки прошло не двадцать пять секунд.

— Я считал.

— Ты наши секунды считал, человечьи, не кошкины.

— Какая разница — наши, кошкины?

— Кошки живут на свете меньше людей. Пока она шла через улицу, у нее времени больше прошло.

— На земле одно время у всех.

— Как так одно? Мне вот тринадцать лет, а я еще молодой. Кошка в тринадцать лет старуха. Если годы для людей и для кошек разные, то и секунды разными быть должны.

Левка помолчал, хмуря брови, уходя взглядом в сторону, и рассмеялся:

— Черт знает что у тебя в голове вертится! Кошкино время! Эйнштейн со смеху бы лопнул.

— Кто?

— Альберт Эйнштейн, самый великий ученый двадцатого века, а может, всех веков. Он относительность времени открыл.

— Чего времени?..

— Ну, ты этого не поймешь сейчас. Ты прочитай книгу, потом поговорим.

— Хорошо.— Дюшка открыл портфель, стал втискивать в него книгу.

— А что он у тебя такой пузатый? Чем ты его набил?

— Да ерунда — кирпич тут.
— Кирпич?! Зачем?
Дюшка помялся — сказать ли Левке правду? И постеснялся.
— Мускулы развиваю.
-- Чудной же ты... Мускулы. Кирпич в портфеле.
— Вот если б ты мне приемы джиу-джитсу показал...
Левка только махнул рукой:
— Чудной!
Они расстались.

10

То, что на свете существует любовь, Дюшка хорошо знал. По кино, по книгам. Д'Артаньян по ошибке влюбился в миледи. Гринев любил капитанскую дочку. Том Сойер тоже там какую-то девчонку в панталончиках... А Дюшкин отец когда-то, до Дюшкиного рождения, дарил матери белые нарциссы. А сколько раз любил Пушкин, и не только свою жену Наталью Гончарову. «Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна...» У Римки волосы у висков вьются, как у Натальи Гончаровой.

Наверное, он и сам должен когда-то влюбиться. Когда-то?.. А вдруг да ужé! Вдруг да он в Римку Братеневу?..

Но в кино, в книгах те, кто любит, всегда встречаются, а при встречах всегда признаются друг другу: «Я вас люблю». И потом целуются... Дюшке же хочется видеть Римку, только видеть, лучше издали, а встречаться — нет, вовсе не обязательно. Чтоб встретиться, нужно же подойти совсем близко. Раньше подойти к Римке близко было нетрудно, теперь — нет: и стыдно и боязно. А сказать ни с того ни с сего: «Я вас люблю» — легче провалиться сквозь землю. А уж поцеловать... Думать не хочется.

Но что-то случилось, что-то странное с самим Дюшкой. И Римка тут ни при чем, она знать ничего не знает, смешно на нее сваливать. Случилось! Даже Минька заметил: «Ты не болен, Дюшка?» Вдруг да и в самом деле, вдруг да опасно! Не влюбился, нет! Любовь не болезнь, людей не портит.

Господи! Как плохо быть не таким, как все. Как плохо и как страшно! Одна надежда, что проснешься в одно прекрасное утро и почувствуешь — все прошло: на Римку не хочется глядеть, улица снова кажется обычной улицей и к Саньке Ерахе нет выворачивающей душу ненависти, с Санькой можно даже пойти на мировую, выбросить ненужный кирпич.

Негаданное успокоение — встреча с Левкой Гайзером. Левка не рассмеялся, не спросил — болен ли ты? Левка самый умный из ребят...

Дюшка со страхом открыл Левкину книгу, не слишком толстую, но научную. Наверное, сплошная математика, утонет в ней Дюшка, не доплывет до конца, отвернется тогда Левка.

Но никакой заковыристой математики не было. В самом начале задавался простой вопрос: «Как велик мир?» И дальше говорилось о... толщине волоса. Оказывается, это самое малое, что может увидеть человеческий глаз. Толщина волоса в десять тысяч раз меньше вытянутой человеческой руки. Вытянутая рука в десять тысяч раз короче расстояния до гор на горизонте. Расстояние до горизонта только в тысячу с небольшим меньше диаметра Земли. А диаметр Земли опять же в десять тысяч раз меньше расстояния до Солнца...

В черной пустоте висит плоская, как блин, сквозная туча искр. Каждая искорка — солнце, их не счесть. Среди них и наше — пылинка.

А в стороне другая такая же туча искр-пылинок — солнца, солнца, солнца! Уже чужие, дальние — туманности Андромеды, нашей соседки!

А за Андромедой новые и новые туманности, нельзя их сосчитать. Звездные тучи, дым солнц-пылинок клочьями по всей великой пустоте. По всей, всюду, без конца!..

Хватит! Хватит!..

Страница за страницей мир безжалостно разбухал.

А Дюшка съеживался, становился все ничтожней — страница за страницей — до ничего, до пустоты! Вместе с поселком Куделино, вместе с родной Землей, со своим родным Солнцем... Хватит! Да хватит же! Вселенная не слушается. Вселенная величаво растет...

Ночью он не мог уснуть.

Спал дом, спал поселок, слышно было, как шумит вышедшая из берегов река. Странно, люди могут спать спокойно, не ужасаются неуютности огромного мира.

Спят... Предоставили одному Дюшке терзаться за ничтожество всего человечества, живущего на затерянной Земле. И Дюшка не выдержал, тихонько поднялся с постели. Как уснуть, когда великая Вселенная стоит за стеной. Он выскользнул из комнаты, у дверей ощупью нашел свое пальто, сунул босые ноги в сапоги...

Шумела река за домами, причмокивала под сапогами сырая земля, висели звезды над поселком. К ним-то и поднял лицо Дюшка, взглянул в бездонную пропасть, редко заполненную лучащимися мирами.

И где-то, где-то в глубине этой распахнувшейся над ним пропасти стоит кто-то, какой-нибудь другой Дюшка, и, задрав голову, тоже смотрит, наверняка мучается — неведомый брат, затерявшийся в бесконечном мире.

— Брат, тебе страшно, что мир так велик?
— Страшно.
— Лучше бы не знать этого?
— Лучше, покойней.
— Не знает ничего таракан. Хочешь быть тараканом?
— Нет.
— И я не хочу.
— Значит, хочешь все-таки знать?
— Все-таки хочу.
— А страх, а покой?
— Пусть.
— Ты дочитал свою книгу?
— Нет, не до конца.
— Я тоже.

Пропасть над головой, пропасть без дна, заполненная лучащимися мирами. Там где-то братья... Встретятся ли их взгляды? Услышат ли они друг друга? Объединятся ли они воедино против пугающей Вселенной?

Шумела река, спал покрытый звездным небом поселок Кудолино. Стояли друг против друга — мерзнущий от ночной прохлады маленький страдающий человек и равнодушное мироздание. Лицом к лицу — зреющий хрупкий разум и неисчерпаемая загадка бытия.

11

Утром, как всегда, он вышел из дому, чтоб по знакомой улице Жан-Поля Марата шагать в школу. Береза, старый пень, продавленная дорога, бабка Знобишина, тянущая на веревке упирающуюся козу. Ничего не изменилось в знакомом мире, а все-таки он стал иным, снова перевернулся.

Береза, пень, старуха с козой...

Все кажется мелким, не стоящим внимания. Даже не хочется видеть Римку. Что — Римка? Тоже человек. Осуждающими глазами смотрит Дюшка на примелькавшуюся улицу и... ощущает к себе небывалое уважение. Никто не знает, как велик мир, как мелки люди — он знает, он не такой, как все.

Кирпич Дюшка все-таки достал из-под лестницы, сунул в портфель — на всякий случай. Какое дело Саньке Ерахе, что за эту ночь он, Дюшка, поумнел, открыл Вселенную,— возьмет да и поколотит. Нет, лучше уж прихватить кирпич... на всякий случай.

— Здравствуй, Дюшка.

Как всегда, стеснительно, бочком, руки в карманах пальто, старый ранец за плечами — Минька. Дюшка не пошевелился, не соизволил взглянуть, не ответил, храня на лице мировую скорбь, молчал с минуту, а может, больше, наконец изрек:

— Скажи: для чего люди живут на свете?

Минька виновато посопел носом, помялся, не обронил ни звука.

— Не знаешь?

— Не,— сознался Минька.

— А я знаю.

Минька ничуть не удивился, скучненько, без интереса, вежливости ради выдавил из себя:

— Для чего?

— Ни для чего! — торжественно объявил Дюшка.— Просто так живут.

И опять никакого впечатления, Минька безучастно поморгал бесцветными поросячьими ресницами.

— Родились сами по себе какие-то клопы — и я, и ты, и все на свете. Вот и живем. А подумаешь, так и жить не хочется.

Минька судорожно вздохнул, опустил лицо и тихо, глухо, как из подвала, вдруг признался:

— И мне, Дюшка, тоже.

— Чего — тоже? — насторожился Дюшка.

— Тоже жить не хочется.

Одно дело, когда так говорит он, Дюшка, вчера прочитавший умную книгу, получивший право глядеть свысока на весь род людской, другое — Минька, таких книг не читавший, ничего не знающий, значит, и не имеющий никаких прав страдать, как страдает сейчас Дюшка.

— Это почему же тебе-то?..

— Да отец с матерью все... Жизни нет, Дюшка.

Минька поднял глаза, влажные, но не собачьи, а загнанные, как у раненой птицы. Птичье, беспомощное и в бледном до голубизны лице, в торчащем носе. И Дюшка вспомнил, что он до сих пор и не знает толком, почему тогда расплакался Минька. Даже забыл об этом... «Для чего живут люди на свете?»

— Мамка каждый день плачет. Отец ей жизнь загубил, Дюшка.

— Как — загубил?

— Да женился на ней.

— Женился и не любит, что ли?

— Любит, очень любит. То и беда, Дюшка, так любит, что без матери умрет.

— Это же хорошо, Минька.

— Плохо, Дюшка. Отец от этой любви вроде заболел, делать ничего не хочет. У меня вон ботинки рваные, у матери платья нового нет, а он... любит, видишь ли.

— Недобрый он, что ли?

— Добрый, Дюшка. Только это все равно плохо. От его доброты все и получается не как у людей. Я ненавижу его, Дюшка!..— Слезы в синих глазах и срывающийся, захлебывающийся голос: — Думаешь, за доброту ненавидеть нельзя? Можно!.. Он добрый,

а плохой. Все из-за него над нами смеются, над матерью тоже. Мать каждый день плачет, Дюшка. Отец ей жизнь загубил. Она и сейчас еще красивая, а он?.. Погляди, как мы живем, мамка себе платья купить не может. Если б еще пил отец, как другие, так не обидно.

И тут стукнула дверь на выходе: топ, топ, топ — по ступенькам крыльца. И по улице словно дунул свежий ветерок — мимо пробежала Римка Братенева, крикнула на ходу:

— Чирикаете, чижики! В школу опоздаете!

Она сняла сегодня тесное зимнее пальтишко, в коротенькой курточке — освобожденная, летящая. Топ, топ, топ! — по дощатому тротуару прозрачные звуки. Топ, топ — по всей улице, словно музыка. Освобожденная и чуточку нескладная. Уносит сейчас летящим наметом свою хватающую за душу нескладность.

«Чижики!» — подумаешь, задавака.

От Минькиных слов съежилась, погасла разгоревшаяся вчера Вселенная. Плевать на то, что Солнце — пылинка, что Земля невразумительна, плевать, что ты сам ничто, плевать на вопрос: «Для чего живут люди на свете?». Не плевать на Миньку, на его слёзы. Хочется любить и жалеть все на свете: эту рыжую весеннюю улицу, большой кран над крышами, затоптанные доски тротуара, которых только что коснулись быстрые Римкины ноги.

Любовь и жалость выплеснулись на Миньку.

— Минька! Не смей реветь! Ты смотри — хорошо как кругом!.. У тебя же друг есть, Минька! Я! Я твой друг! Я тебе помогу чем хочешь! Честное слово, не вру! Ты лучше всех ребят... Брось реветь! Брось, говорю, не то стукну!..

Но Минька уже не ревел, слезы еще блестели на его глазах, но он уже застенчиво улыбался.

12

Так много навалилось, что на все стало не хватать Дюшки,— жизнь узка и тесна, не развернешься.

Кончились уроки, все заспешили по домам. Домой отправилась и Римка. Дюшке хотелось кинуться за ней следом. Идти бок о бок с верным Минькой, смотреть в узкую спину, чувствовать незримую натянутую струну — от нее к нему — и изумляться взахлеб лезущей во все щели траве, каменному упрямству валуна при дороге, нагретости крыш, синеве дня, собственному существованию на этом свете.

Но он не успел переговорить с Левкой. Разговор настолько серьезен, что его нельзя было втиснуть между уроками в какую-нибудь перемену.

Уроки кончились, звала за собой Римка. И звал... Нет, не Левка. Звало только что открытое мироздание. Что делать, когда

один только Левка знаком с ним. Мироздание перевесило Римку.

— Левка, ты почему мне такую книгу дал? Она же не о математике, совсем о другом.

Они устроились в пустом спортзале на сложенных в углу матах. Левка только что сошел с турника — вертел «солнце», делал «склепку», «перекидку» и даже стойку на руках вниз головой: мастер, залюбуешься. Дюшка решил: надо тоже начать заниматься на турнике, накачивать себе мускулы. Левка накинул поверх майки на голые плечи куртку, опустился рядом.

— Ты что, уже прочитал? — спросил он недоверчиво.

— Пока не всю, все не успел... Страшно, Левка.

— Страшно? Почему?

— Да мир-то вон какой! А я? А ты? А все мы, люди?.. Я, Левка, твою книгу читал и нет-нет да себя щупал: есть ли я на свете или только кажется?

— Ну и что, нащупал?

— Есть, но уж очень-очень маленький. Все равно что и нет.

— А голову свою ты щупал?

— Ты, Левка, не смейся. Я серьезно.

— И я серьезно: пощупай голову, прошу.

Нет, Левка не улыбался, косил строго серым глазом на Дюшку.

— Голова как голова, Левка. Ты чего?

— А того, что она по сравнению со звездами и галактиками мала. Не так ли?

— Сравнил тоже.

— А в нее вся Вселенная поместилась — миллиарды звезд, миллиарды галактик. В маленькую голову. Как же это?

Дюшка молчал.

— Выходит, что эта штука, которую ты на плечах носишь, таракан,— уж извини! — самое великое, что есть во Вселенной.

— Я... Я не подумал об этом, Левка.

— То-то и оно. Не размеры уважай.

Дюшке и в самом деле захотелось вдруг до зуда в руках пощупать свою великую голову, начиненную сейчас Вселенной. Действительно! Но стеснялся Левки, подавленно стоял, не смея радоваться. А Левка победно продолжал:

— Ты спросил: почему я такую книгу тебе подсунул — не о математике? Когда яму вырытую видят, никто о лопате не вспоминает. Без лопаты, голыми пальчиками, большую яму не выкопаешь. Вот и ученые раскопали Вселенную с помощью математики.

— А я-то думал: они, ученые, в телескопы все это увидели,— несмело произнес Дюшка.

— Разве можно увидеть все даже в телескопы?

— В телескопы нельзя?..

— Ты видишь ночью звезды?

— Вижу, конечно,— ответил Дюшка.

— А расстояние от Земли до этих звезд ты видишь?

— Как — расстояние?

— А так, расстояние — сколько километров или световых лет?.. Увидеть это нельзя, надо вычислить. А можно ли увидеть в телескоп, что случится на небе через год, через десять лет, через сто?

— Ну уж?

— Нельзя увидеть, а вычислить можно.

— Ну-у...

— Солнечные или лунные затмения, например... Спроси — ответят на сто лет вперед: в такой-то день, такой-то час, в такую-то минуту начнется, тогда-то кончится, с такого-то места лучше всего будет видно. Колдуны и гадалки, сравнить с математиками, сопляки. Последний дурак тот, кто математику не уважает.

— Я ее уважаю, Левка, только...

— Только математика меня не уважает?

— Неспособен я, Левка. Какую задачку ни возьму — трудно, сил нет.

— Потому что неинтересно.

— А разве задачки бывают интересными?

— Вот те раз! — Левка рассмеялся.— Да каждая, кроме уж очень простых.

— Очень простые... неинтересны?

— Само собой.

— А я думал: само собой, не интересны трудные.

— А ты представь себе: задачка — это тайна. Чем труднее тайна, тем сильней хочется ее разгадать.

— Путешественники друг дружке навстречу идут. Из пункта А да из пункта Б — какая тут тайна, да еще интересная?

— А если из пункта А комета летит, а из пункта Б двигается наша Земля. Интересно или неинтересно знать, встретятся ли эти путешественники, Земля и комета, в какой точке, когда? Если встретятся, то это же катастрофа.

— А может такое быть, Левка?

— Было уже.

— Да ну! Катастрофа?..

— О Тунгусском метеорите слышал? Это комета, правда, небольшая, по Земле шарахнула. Хорошо, что в дикие леса шлепнулась.

— Вдруг да большая прилетит?..

— Тогда встретим ее ракетой с бомбами, чтоб в куски! Вот тебе снова задачка с двумя путешественниками — ракетой и кометой...

Дюшка помолчал и вздохнул:

— Счастливый ты, Левка. Все узнавать наперед станешь.

И Левке, по всему видать, понравилась зависть, прозвучавшая в Дюшкином голосе, он порозовел от удовольствия.

— Все не все, а кое-что,— ответил он скромно.

— Левка, а можно через математику узнать, сколько я лет проживу, когда умру?

— Зачем тебе это?

— Интересно. Очень даже. Тайна же!

Левка закосил глазом в сторону.

— Я тут поважней нащупал... тайну...— сказал он. И замолчал, и еще сильней закосил глазом.

— Важней ничего нет, Левка.

— Я не хочу знать, когда я умру. Я хочу знать, рожусь ли я снова после смерти.

Последние слова Левка произнес глухим, замогильным голосом. В большом, пустынном, сумрачном спортзале на минуту наступила особенная тишина, укрывающая что-то грозное, чего нельзя касаться людям.

Стараясь не спугнуть эту тишину, Дюшка выдавил из себя шепотом:

— Лев-ка-а, разве такое может?..

— Может не может — надо узнать.

— После смерти чтоб?..

— После смерти.

— Вроде привидения? Да?

— Привидение — сказки!

— А как тогда?

— По-настоящему, как сейчас.

— Левка-а, ты не болен?

— Ничуть.

Сердитый и вовсе не смущенный ответ восхитил Дюшку в душе.

— Вот это-о да-а!.. Умереть и снова!.. Только ведь в могилу закопают, Левка.

— Пусть.

— А может, ты все-таки болен?

— Слушай, таракан... Хотя вряд ли ты поймешь.

— Я постараюсь, Левка. Я изо всех сил постараюсь!

— Надо для этого открыть одну проблему...

— Чего?

— Проблему. Научную. Великую. Над которой сейчас бьются все ученые мира. Я жизнь положу, а открою.

— Какая она, Левка?

— Да с виду простая: бесконечна наша Вселенная или конечна?

— А-а,— протянул Дюшка разочарованно.— Зачем это?

— Это ключ к тайне, будем ли мы после смерти жить или нет.

— Бесконечна... Вселенная... Ключ?

— Скажи: из чего я состою?

— Из костей, из мяса, как все.

— Из атомов я состою. Из самых обычных атомов, сложенных особым порядком.

— Ну и что?

Левка так интересно начал, но сейчас что-то путал: бесконечность, Вселенная, атомы, черт знает что!

— Атомов во мне очень-очень много, но все-таки число их конечно. Понимаешь?

— Нет, Левка.

— Я конечный, а Вселенная-то бесконечна. Учти, Дюшка, дважды бесконечна — во времени и в пространстве.

— Тебе-то от этого какая выгода?

— Большая, Дюшка. Раз наша Вселенная нигде не кончается и никогда не кончается, то где-нибудь, когда-нибудь, рано ли, поздно, но наверняка... Понимаешь, на-вер-ня-ка! Случится невероятное — атомы случайно сложатся так, как они лежат во мне.

Левка замолчал, торжествующе, изумленно, взволнованно взирая на Дюшку. А Дюшка подавленно задал все тот же, уже надоевший, вопрос:

— И что?..

— Как — что?! — воскликнул Левка с дрожью в голосе.— Ведь это я! Это буду снова я! Я появлюсь во Вселенной где-то, когда-то, уже после смерти! Выходит, я бессмертен! Понял?

— Нет, Левка.

И Левка сразу увял:

— Туп же ты, таракан.

— Ну, а я — после смерти?

— И ты тоже.— Ответ без энтузиазма.

— А другие?..

— И другие. Все. Я не исключение.

Дюшка помолчал, соображая, наконец возразил:

— Нет, тут что-то не так. Ну, хорошо — ты один. Ну, я еще — согласен. А то все... Нет, что-то не то.

— Ладно, таракан, замнем этот разговор для ясности.— Левка поднялся, скинул куртку, стал натягивать через голову рубаху. Дюшка взялся за свой портфель с кирпичом. Пора было идти домой.

Дома после обеда он раскрыл задачник: «Два путешественника...» Тайна, даже две маленькие — сколько прошел первый и сколько второй путешественник. Тайны так себе, самые завалящие, но для тренировки сгодятся. Дюшка навис над задачником и стал думать.

Путешественники не имели ни лиц, ни имен, ни характеров, они отличались друг от друга только тем, что один на полчаса раньше отправился в путь. Полчаса — тридцать минут... Минуты помогли открыть тайну пройденных километров. В другой задачке угол в градусах помог узнать высоту заводской трубы. В третьей — длина и ширина бака водонапорной башни подсказала, сколько пионеров отдыхало в пионерском лагере.

На улице Жан-Поля Марата зажигались окна. Большой кран купался в зеленом закате. Старуха Знобишина снова протащила на веревке козу, на этот раз в другую сторону — к дому. Дюшка вышел погулять.

Он решил подряд несколько задач, и голова с непривычки отяжелела, казалось, даже немного распухла, но на душе — покойно. Дюшка был так доволен собой, что даже походка у него стала медленной и задумчивой.

Странная вещь математика. Она связывает между собой, казалось бы, самые несвязуемые вещи — градусы с заводской трубой, бак водокачки с отдыхающими пионерами! Или бесконечность Вселенной — кому, казалось бы, до нее какое дело! — нет, она обещает Левке Гайзеру новую жизнь... после смерти. Ничего себе!

За домами в тишине кричали лягушки, не столь шумно, как прежде, не столь звонко, но по-прежнему картаво, с усердием. Вспомнилась лягушка, распятая на Санькиной веревочке, с ржаво-золотым глазом, дышащая желтым брюхом. Она, незваная, влезла в чинные и умные Дюшкины мысли о математике. Эта лягушка заставила Дюшку носить в портфеле кирпич. Лягушка и кирпич — тоже странная связь. И математика здесь ни при чем. Оказывается, не только в задачнике, но и в самой жизни есть эти странные до нелепости связи.

Лягушка и кирпич, бесконечная Вселенная и вторая жизнь как подарок... А старинная красавица, давным-давно умершая Наталья Гончарова, вдруг неожиданно нарушила спокойствие Дюшкиной жизни. Больше того, если б эта Наталья Гончарова сто с лишним лет назад носила другую прическу — не с завитками у висков,— с Дюшкой ничего особенного не случилось бы: не обращал бы теперь на Римку Братеневу внимания, не связался бы с Санькой из-за лягушки, не схватил бы очередную двойку у Васи-в-кубе, не сошелся бы близко с Левкой Гайзером, не получил бы от него книгу о галактиках, не заметил бы странности задачника, не открыл бы для себя удивительных связей в мире. Подумать только, все оттого, что Наталья Гончарова, жена Пушкина, носила модную для тех лет прическу с локончиками.

А вдруг да... Дюшка задохнулся от догадки. Вдруг да Наталья

Гончарова и Римка Братенева!.. И очень даже просто, Левка Гайзер все объяснил: атомы случайно сложились в Римке точно так, как прежде лежали в жене Пушкина. Родилась девчонка, никому и в голову не пришло, что она уже однажды рождалась. По ошибке ее назвали Римкой. И сама Римка ничего не знает, только Дюшка нечаянно открыл сейчас ее секрет...

Левка Гайзер неизвестно еще появится ли, а Наталья Гончарова появилась... И где? В поселке Куделино! С Дюшкой рядом!

Растекался над сумеречным поселком зеленый закат. Тихо и пустынно на улице Жан-Поля Марата. Недружный крик лягушек не нарушает тишину. И покой, и удивление, и почтительный страх, и восторг Дюшки перед миром. Знакомый мир опять перевернулся — неожиданной стороной, дух захватывает.

И в этом вывернутом, неожиданном мире неожиданно возникла перед Дюшкой вовсе не странная, а надоевше-знакомая фигура Кольки Лыскова. В мятой кепчонке, широкая улыбочка морщит обезьянье личико, открывает неровные зубы, ноги не стоят на месте, выплясывают.

— Дюшка! Хи-хи! Здравствуй.. Гуляешь, Дюшка?

— Чего тебе, макака?

— А ничего, Дюшка. Мне — ничего... Хи-хи! Кто это, думаю, идет? А это он, сам по себе... без портфельчика. Где портфельчик, Дюшка? Хи-хи! Ты же с ним не расставался...

Колька Лысков с ужимочкой оглянулся через плечо, и Дюшка увидел Саньку.

Тот стоял в стороне — угловато-широкий, ноги расставлены, руки в карманах, остановившиеся глаза, твердый нос — Санька Ераха, мешающий жить на свете.

Он не двигался, он не спешил. А на болотах за домами упрямо картавили самые неуемные лягушачьи певцы, прокрадывались по улице застенчивые сумерки, обжитым теплом светились окна домов, и над Санькиной головой в не помрачневшем еще небе висели две-три бледные, невызревшие звезды. В самом центре вечно неожиданного мира, где бак водокачки связан с пионерами, бесконечность с новой жизнью, Наталья Гончарова с Братеневой Римкой, в самом центре, закрывая мир собой,— Санька. И за ту короткую минуту, пока Санька медлил, а Колька Лысков выплясывал, Дюшка еще раз пережил открытие.

В его ли мире живет Санька? Он же знать не знает, что бледные звезды над его головой — далекие солнца с планетами, для него нет бесконечной Вселенной, не подозревает, что лягушка может заставить человека носить кирпич в школьном портфеле. Санька живет рядом с Дюшкой, но вокруг Саньки все не так, как вокруг Дюшки,— другой мир, нисколько не похожий. Сейчас Санька шагнет... в Дюшкин мир.

Сучащий ногами Колька Лысков отбежал в сторону:

— Санька, он налегке сегодня, он без портфельчика! Слышал, Санька, он спрашивает: чего тебе?.. Хи-хи! Скажи ему, Санька, чтоб понял. Хи-хи!

Санька, не вынимая рук из карманов, шагнул на Дюшку, произнес с сипотцой:

— Ну!

— Чего — ну!

— А ничего — встретились. Не рад?

Они встретились, Санька вплотную к Дюшке, незваный гость из другого мира: круглые застывшие глаза, мертвый нос, тяжелое дыхание в лицо.

Кирпич лежал дома под лестницей. Не мог же Дюшка выйти вечером на прогулку с портфелем. Пуста улица, в домах мирно горят окна.

— Рад или не рад, спрашиваю?

— Днем-то боялся наскочить на меня.

Колька Лысков, держась в стороне, ответил за Саньку:

— Хитер бобер! Днем-то ты кирпич в портфельчике носишь. Зна-а-ем!

— А ты, Санька, что в кармане носишь? Покажи.

— Увидишь, успеется.

Дюшка успел присесть, Санькин кулак сбил с головы фуражку. Закрывая рукавом лицо, Дюшка приготовился ударить Саньку ногой, но неожиданно донесся голос Кольки Лыскова:

— Шухер!

Послышалось Санькино пыхтение:

— П-пыс-сти, падло! Пыс-ти!

Он вырывался из рук какого-то человека, тот прикрывал Дюшку сутуловатой спиной, отталкивал Саньку:

— Охладись, парнишка, охладись!

— П-пыс-ти! Г-гад!

— И не скотинься, поганец, уши надеру!

Санька был сильней всех ребят на улице, но перед ним стоял взрослый, хотя и мешковато топчущийся, неуклюжий, но все-таки человек иной, не мальчишечьей породы.

— Уймись лучше, уймись, не распускай руки!

И Санька отступил, бессильно закричал:

— Ну, Дюшка, помни! Завтра встретимся! Прольется кровушка!

— Кровушка?.. Ах ты гаденыш! Жить только начал, а уже звереешь.

— Я и тебя, огарок! И тебя! Ужо вот камнем из-за угла!..

— Эх, бить людей не умею, а стоило бы! — Прохожий стал оттеснять Дюшку в сторону: — Идем отсюда, паренек, идем от греха!

Вдалеке выплясывал Колька Лысков, кривлялся, кричал весело:

— Ой, Санька, умяли тебя! Ой, Санька, встречу испортили! А как было хорошо встретились!

— Еще встретимся! Поплачешь, Дюшка. И Минька слезьми умоется.

— Эх, не умею людей бить!.. Идем, паренек, идем! До дому провожу...

Спасителем Дюшки был Минькин отец Никита Богатов в сбитой на затылок шляпе, суетящийся в своем слишком просторном пальто, с выражением досадливой зубной боли на узком лице. Он шел вместе с Дюшкой, разводил длинными рукавами, бормотал, не заботясь о том, слышит его Дюшка или нет:

— Как вылечить людей от злобы? Жена мужа не уважает, прохожий прохожего, сосед соседа... Найти б такое, чтобы все друг к дружке с понятием: ты мое пойми, я — твое. А то на́ вот, с самого детства — прольется кровушка! Такие-то и портят жизнь. От таких-то, поди, и войны на земле идут...

Непонятный человек. Идут рядом, бок о бок, но он где-то. И бормотание его непонятное, и вообще, сам себе читает стихи — сам себе и деревьям... Опять все не так, как вокруг Дюшки,— идут рядом, живут рядом, но в разных мирах. А Дюшкин отец тоже совсем, совсем рядом, но у Дюшки одно, у отца другое. И у матери другое, не похожее ни на Дюшкино, ни на отцовское, ни на Никиты Богатова... Неужели сколько людей, столько и разных миров? К Левке Гайзеру Дюшка чуть-чуть заглянул. Тоже ведь странный мир, там даже смерть считается какой-то ненастоящей... Хотелось бы заглянуть и к этому — Никита Богатов, Минькин отец, добрый человек, но сам Минька почему-то его не любит.

И Дюшка старательно прислушивается к бормотанию.

— Почему не понимаем друг друга? Да потому, что слова не найдем, которое бы до сердца дошло... Что слово? Звук, сотрясение воздуха? Нет — сила! Скажи хорошее слово человеку — и он счастлив. Хорошего родить не можем, ругань в нас легче рождается, ругань всегда наготове в каждом лежит... Пущу кровушку! Тьфу! Вот ты, паренек, знаешь ли хорошие слова?

— Знаю,— неуверенно ответил Дюшка.

— А ну скажи — какие?

И Дюшка растерялся, какое именно из хороших слов сказать сейчас — все они как-то вдруг вылетели из головы. Никита Богатов вздохнул:

— Ладно уж, не тужься, постарше тебя этого не знают. Хорошее слово, как чистый алмаз, редко. Беги давай домой, ты вроде тут живешь. Беги, не жду от тебя. Ни от кого не жду.—

И внезапно надтреснутым голосом прочувствованно продекламировал:

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Да-а, слово...

Богатов повернулся и пошел, путаясь ногами в полах пальто, продолжая бормотать. Дюшка прибито стоял, смотрел в его сутулую спину, вдруг сорвался, рванулся следом:

— Дяденька Богатов! Дяденька!.. Спасибо вам!

— А,— сказал он вяло, едва оглянувшись.— Ладно.

Похоже, он не считал «спасибо» таким уж хорошим словом. А лучших слов Дюшка не знал.

— Минька, скажи, что плохого сделал тебе отец?

Молчание.

— Может, он бьет тебя, Минька?

— Нет, что ты!

— И не пьет?

— И не пьет.

— И не ругается?

— И не ругается.

— Что тогда? Что?!

— Он... Он не такой, как все, Дюшка.

— А разве ты — как все? А я — как все? А Левка Гайзер — как все? А есть ли такие, которые — как все?

— Дюшка, я его то очень люблю, то ненавижу.

— Так не бывает, Минька.

— Бывает, Дюшка, бывает. У меня — так.

14

У матери на коленях лежит недовязанный свитер и губы сплюснуты в ниточку. Когда у матери неприятности, Климовна подсовывает ей вязанье: «Успокаивает». Иногда мать начинала возиться со спицами и в самом деле успокаивалась, но чаще не помогало — мать сидела неподвижно над недовязанным свитером, глядела прямо перед собой, сжав губы.

Не помогал свитер и теперь. Мать боялась за жизнь Гринченко, а сегодня неожиданно умерла девочка, недавно доставленная в больницу из дальней деревни.

Отец ходит по комнате на цыпочках, ворошит пятерней волосы, пробует сердиться, но осторожно — как бы не осердилась в ответ мать.

— Ты же не могла знать, что у такой маленькой окажется больное сердце.

— Должна знать. Не проверила.

— Но у нее же воспаление легких!

— Тем более обязана снять кардиограмму.

Климовна вздохнула:

— Охо-хо! Одна у всех голова, и та на ниточке.

Дюшка помаялся, помаялся и не выдержал, подлез к матери под руку, заглянул в запавшие глаза:

— Мам, а я виноват?

— Ты?.. В чем?

— Ты, наверное, много обо мне думала?

Мать отвела глаза.

— Нет, сынок, ты нисколько не виноват.

Дюшка, не зная, чем еще помочь, решился сказать:

— Мам, эта девочка, может, не насовсем умерла.

Мать легонько отстранила Дюшку:

— Иди, сынок, зачем тебе думать о смерти.

Отец перестал ходить взад и вперед, насторожился. А Климовна вздохнула:

— Господи! Господи! Где уж не насовсем. Ныне в царствие небесное даже мы, старые, не верим.

— Мам, девчонка ожить еще может когда-нибудь.

— Такого не бывает, сынок.

— Мам, для этого надо знать, что Вселенная бесконечна. Если бесконечна, то обязательно... И ты, и я, и все, и девочка.

— Что за чушь? — громыхнул стулом отец.— Кто тебе напел это?

Если б отец спросил иначе, Дюшка, наверное, и открыл, кто. Левка Гайзер не сказал, что это секрет. Но «чушь», но «напел», и стул пнул, и голос сердитый. Э-э, нет, Дюшка не собирается подводить Левку.

— Никто. Я сам.

— Сам ты не мог.

Мать вступилась за Дюшку.

— А я бы сама с охотой поверила, что от смерти есть лазейка. С охотой, если б могла.

— Как ты можешь так говорить: ты же врач, ты же соприкасаешься с наукой ежедневно!

— Потому и говорю, что едва ли не ежедневно сталкиваюсь с бессилием своей науки, и уж если не каждый день, то часто... Как вот сегодня — со смертью. Бессмысленной. Равнодушной. Если б поверить — есть лазейка в бессмертие!

— И что? Помогло бы твое «поверить» бороться со смертью?

— Нет. Но мне самой было бы тогда куда легче.

— Так в чем же дело? Возьми да поверь. К твоим услугам даже старые рецепты: райские кущи, нетленные души, ангелы-серафимы и прочая белиберда,

— Слишком старые рецепты, наивные — вот беда. Не могу поверить.

— Меня лично смерть не пугает! Сколько мне там отпущено природой — шестьдесят, семьдесят, больше лет? Они для меня только и важны. Уж их-то я постараюсь использовать. Я за свое время успею наследить на земле. А смерть придет — что ж... Потусторонним спасать себя не стану.

Отец стоял посреди комнаты, расправив широкие плечи, вскинув большую взъерошенную голову, с обветренным, крепким, словно вычеканенным из меди лицом,— сам себе бог. И у матери впервые за этот вечер обмякли сплюснутые губы, дрогнули в улыбочке.

— Счастливый,— сказала она.

— Да! — с жаром ответил отец.— Да! Жизнью, мне выпавшей, счастлив.

— Но коза бабки Знобишиной счастливее тебя. Она живет себе и знать не знает, что существует такая неприятность, как смерть.

Отец фыркнул, отпихнул ногой стул, слишком близко стоявший к нему, а мать со слабой улыбкой склонилась над вязаньем.

И тогда отец повернулся к Дюшке:

— Я знаю, откуда у тебя эта шелуха! Дружок твой тебе принес, этот Минька! Отец у него не от мира сего, накрутил сыну...

— Уж верно,— подтвердила Климовна.— Их-то атла́с липнет до нас.

И как раз в эту минуту за дверью раздался робкий полустук-полуцарапанье.

— Кто там? Входите! — крикнул отец.

И вошел Минька. В новешенькой куртке с «молнией», как у Левки Гайзера,— мечта всех ребят, мечта Дюшки. Встал на пороге со стеснительной светлой улыбочкой, но натолкнулся взглядом на Дюшкиного отца и заробел — улыбочка слиняла.

— У меня сегодня... День рождения у меня... Так я думал — Дюшку... Мама торт к чаю испекла.

— Мам, я пойду! — вскочил Дюшка, готовый спорить и доказывать.

— Надень только чистую рубашку. И хорошо бы подарок...

— Минька! Я тебе свой конструктор подарю!

Минька снова стеснительно заулыбался, а отец молчал. Отец попросту был лишен права голоса.

Коробку «Конструктор» Дюшка положил в портфель, вытряхнув из него учебники, а спустившись вниз, отдал конструктор Миньке, вместо него загрузил вынутый из-под лестницы кирпич. Дураков нет: снова в лапы Саньке.

— Минька, одна девчонка... Но это секрет, Минька! Никому!

— Не. Могила.

— Одна девчонка второй раз живет.

— Как это, Дюшка?

— Очень просто. Жила, жила когда-то да умерла, а потом второй раз родилась.

— Дюшка, ты чего?

— Спроси Левку Гайзера — так бывает, наукой доказано.

— Левка... Он знает. Только я все равно не верю, Дюшка.

— Раньше эта девчонка знаешь кем была?

— Кем?

— Женой Пушкина.

— Д-дюш-ка!..

— Слышал: никому, секрет!

15

На столе стояло два торта: один уже разрезанный — для еды, другой большой, круглый, красивый — для свечей. Тринадцать тоненьких елочных свечей горели бескровно-бледными огоньками. Тринадцать лет Миньке, он на два месяца моложе Дюшки. Дюшке ко дню рождения такого торта со свечами не поставили — ни мать, ни Климовна не догадались.

И еще на столе бутылка, не ситро какое-нибудь, а настоящее вино, красное до черноты, торжественный мрак под поблескивающим стеклом, сразу видно: праздник не на шутку.

Минька не захотел снимать новую куртку, так в ней и уселся за стол — потеет, поеживается от удовольствия, щурится на тринадцать свечей и улыбается так широко, что видна щербинка в зубах, которую раньше Дюшка не замечал.

Минькина мать в кружевном воротнике, с большой брошью, толстые косы обвиты вокруг головы, лицо крупное, белое, с выдвинутой вперед нижней губой. Она и прежде всегда немного пугала Дюшку, сейчас он при ней чувствовал себя что-то неловко, в голове с самого дна всплывали забытые наставления, вроде: не клади локти на стол, держи нож в правой руке, не смейся слишком громко. И Дюшка старался: не клал локти на стол, улыбался по-взрослому, не раскрывая рта, уголками губ, тонко, значительно, высокомерно, как какой-нибудь граф Монте-Кристо.

Минькин отец вблизи, в домашней обстановке, не выглядел уж таким странным, каким казался на улице: умытый, светлый, щупленький, беспокойный, с мальчишеским хохолком на макушке, с сухим, судорожным, вовсе не мальчишеским блеском в потемневших глазах. Он постоянно порывался помочь жене, но видел, что мешает, конфузился, впадал на минутку в уныние, но быстро веселел, снова начинал дергаться и суетиться.

Наконец он ломкими, неловкими пальцами раскупорил парадную бутылку и, рискованно балансируя, налил марочное вино —

полную рюмочку жене, полную рюмочку себе, капнул на донышко Дюшке, капнул Миньке, чинно вытянулся, значительно прокашлялся:

— Мой сын! Все мы желаем тебе счастья. А что это такое, сын?..

Минька кинул взгляд на мать, и щербинка в зубах исчезла, он поежился и стал медленно клониться к столу. А мать — ничего, сидела с высоко поднятой головой, глядела прямо перед собой, и белое лицо ее было спокойно.

— Ты радуешься новой куртке, сын. Радуйся, но помни — ни куртка, ни любая другая вещь не делает человека счастливым. Люди наделали много вещей, полезных, помогающих удобно жить, но счастливей от этого не стали...

— Никита...

Мать по-прежнему глядела перед собой со спокойным лицом.

— А что?.. Разве я что-нибудь?

— Хоть сегодня-то не заумничай, Никита. Дети же перед тобой. Что они поймут?

И Минькин отец загляделся в свою рюмку, в красные отсветы тяжелого вина.

— Да...— сказал он.— Да... Так выпьем... Выпьем, сын, за то, чего не было никогда у твоего отца — за уважение.

Опрокинул в себя рюмку, сел, и хохолок бесцветных волос потерянно торчал на его макушке.

— А я, сынок,— подняла рюмку мать,— пью за то, чтобы стал ты нормальным человеком, жил нормальной, как у всех, жизнью. Это, наверное, и есть счастье.

— Что та-кое нор-маль-ность? — спросил Минькин отец.

— Не будем сегодня затевать спор, Никита.

— Да... Да... Хорошо, Люся. Не будем.

Выпили. Дюшка тоже — каплю сладкого, едкого вина со дна рюмки. За столом наступило молчание. Дюшка не клал локти на стол, улыбался уголками губ. Счастье, должно быть, очень приятная вещь, но Дюшка замечал, что разговоры о счастье у взрослых почти всегда бывают неприятными. И Дюшкин отец недавно говорил о счастье раздраженно: «Жизнью, выпавшей мне, счастлив». И Дюшкина мать не верила ему: «Коза бабки Знобишиной счастливее».

Заговорила Минькина мать, грустно, ласково, на этот раз глядя прямо на Миньку:

— Я хочу, сынок, чтоб у тебя в жизни было побольше маленьких радостей, хотя бы таких вот, как эта новая куртка. И чтоб ты и другим дарил такие маленькие...

— Нет! Нет! — снова пришел в волнение Минькин отец.— Желать маленького — курточек, чистых простынь, вкусных пирогов... Нет! Нет! Унизительно!

Минька в своей новой нарядной куртке пригибался к столу, прятал лицо. Минькин отец беспокойно ерзал на стуле, глядел на Минькину мать просящими глазами, ждал возражений. Но Минькина мать молчала, только лицо ее стало неподвижным, каким-то тяжелым.

— Ты клевещешь на себя, Люся.

— Я простая баба, Никита, хочу уюта, чистоты, покоя, не заносясь высоко.

— Нет, нет, ты не такая! Не клуша!

— Была... Девчонкой верила: с милым рай и в шалаше. Теперь не устраивает.

Минькин отец повернулся к Дюшке:

— Мальчик, не верь ей. Это великая женщина!

— Брось, Никита, не надо.

— Четырнадцать лет мы живем рядом, в одних стенах. Я вижу ее каждый день... Каждый день по многу, многу раз. И всякий раз, как я вижу ее, во мне что-то обрывается. У меня изорвана вся душа, мальчик. Все внутренности в лохмотьях. И я... я благодарен ей за это. За рваные незаживающие раны... В конце концов исступленная боль заставит меня найти такие слова, от которых все содрогнутся!

Любить иных тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

Это еще не мои слова. Я пока не дорос до такого. Но дорасту, дорасту! Мир содрогнется, когда выплесну изболевшееся!

— Мир?.. От тебя?! Я уже разучилась смеяться, Никита.

— А вдруг да, вдруг да, Люся! Вдруг да явится Данте из поселка Куделино, воспевающий свою Беатриче. Сколько было на свете таких, которые казались смешными, над которыми издевались при жизни, а после смерти ставили им памятники.

— О господи! После смерти — памятник. Чем ты себя баюкаешь? Какая цена этому бреду? Цена — наша жизнь, моя, его! — Мать кивнула на Миньку.— Он сегодня в первый раз получил подарок. А я хотела бы хоть раз, хоть на одну недельку вырваться из этого сырого леса, из этого заваленного бревнами Куделина... Я ни разу в жизни не видела моря... «Любить иных тяжелый крест». Ложь! Быть любимой — тяжелый крест, когда тебя любят не просто, а с расчетом на... на памятник после смерти.

У Минькиной матери покраснел лоб, в глазах блестели слезы, блестели и не проливались, а отец Миньки съежился, втянул голову в плечи, на макушке, словно выстреленный, несолидный хохолок.

— Я раб. Я не могу взбунтоваться,— сказал он.

Мать Миньки ничего не ответила, сидела прямая, красивая, с высоким возмущенным лбом под тяжелыми косами, смотрела куда-то далеко сквозь непролитые слезы.

— Люся, поедем отсюда... в город. Я снова поступлю в газету.

Она не шевельнулась.

— Люся, я забуду, что презирал газетчину. Я буду писать статьи...

— Нас никто не ждет в городе. Где нам там жить? И твои обозрения не прокормят... Если ехать, то без тебя: мне хватит одного груза — сына.

Минька сидел, уткнувшись лицом в стол, в новой куртке, такая во всем поселке только у одного Левки Гайзера. У Минькиной матери на глазах невылившиеся слезы, а у Миньки... не видно. Разговоры о счастье.

На круглом торте оплывали тонкие свечи — тринадцать свечей, тринадцать лет.

— Он стихи, Дюшка, пишет. Он все знаменитым стать хочет.

— Минька, он очень несчастный.

— А мамка не несчастная, Дюшка?

— Он ее любит, она его — нет. Кто несчастнее?

Вечерний воздух на улице Жан-Поля Марата был пронизан блуждающими запахами: земляной сыростью, горечью новорожденных листьев, сладковатой древесной истомой выкаченных из реки бревен. И от самой реки через весь поселок мощно тянуло пресной прохладой. Но всего сильней пахнул одинокий молодой тополек, стоящий на углу Минькиного дома. Неприметный днем, неказистый, забытый, он сейчас буйствовал в сумерках, источал такую напористую свежесть, что хотелось пить, пить, пить воздух, наливаться бодрой силой. Весь пахучий мир лишь слабо подтягивал этому маленькому запевале.

— Значит, мамка плохая, Дюшка?

— А разве я говорил, что она плохая?

— Не любит же, виновата.

— А можно любить, если не любится, Минька? Это все равно — пей воду, когда не пьется.

— Так мамка хорошая, Дюшка?

— Да.

— И папка хороший?

— Да.

— Как же так, Дюшка: мамка хорошая, папка хороший, а дома плохо, хоть беги?

Дюшка растерялся: случается ли, что хорошие люди творят плохое? Было бы куда проще найти виновника.

Выскочивший провожать Минька убито топтался перед Дюшкой. Блуждали в воздухе беспокойные запахи. Неказистый, смиренный тополек — главный бунтарь средь беспокойных.

16

«Одному ученому нужно было узнать, сколько в пруду рыб. Для этого он забросил сеть и поймал тридцать штук. Каждую рыбу он окольцевал и выпустил обратно. На другой день он снова забросил сеть и вытащил сорок рыб, на двух из которых оказались кольца. И ученый вычислил, сколько приблизительно рыб в пруду. Как он это сделал?»

Вася-в-кубе время от времени проводил «урок одной задачки» вместо контрольной. В такие дни он был строг, немногословен, важен — он ждал победителя. И уж этого победителя Вася-в-кубе заносил в отдельную книгу, хвалил где только мог: «Проницательного ума. Незаурядных способностей. Надежда школы».

Дюшка же победителем стать не мечтал — выше тройки никогда не хватал по математике. Но в последнее время он научился решать задачки. Каждая задача — нераскрытая тайна. Тайна и здесь...

Гуляют в пруду рыбы. Да разве можно их пересчитать? Руками не перещупаешь — мол, раз, два, три, четыре... Ин-те-рес-но!

Дюшка по привычке записал: «Сколько рыб в пруду = X. Икс тайны не раскрывал, и Дюшка сразу забыл его.

С первого же раза ученый вытащил тридцать рыбин. Ничего улов, значит, водится в пруду рыбка.

Тридцать рыб гуляют в пруду с кольцами на хвостах. Две из них — только две! — вытащил ученый среди сорока. Есть в пруду рыбка, есть. Маловато вытащено с кольцами. Во сколько же раз больше неокольцованных? Сорок, а среди них всего две. Да ясно же — в двадцать раз!.. Ха! И это называется трудная задача! Тридцать окольцованных помножить... Но икс? При чем тут он? Куда бы его приспособить?

Все это как-то очень быстро пронеслось в Дюшкиной голове — за каких-нибудь пять минут. Вася-в-кубе не успел еще стряхнуть с себя мел, не успел опуститься на стул.

— Чего тебе, Тягунов? — кисленько спросил он, увидев Дюшку, тянувшего руку.

Конечно же, он подумал, что Тягунову приспичило выйти из класса — самое время подальше от задачи.

— Я решил.

Грозные брови Васи-в-кубе поползли к лысине, а класс притих.

— Покажи! — Приказ недобрым голосом.

Показывать Дюшке было нечего, в тетради после условия за-

дачи стояла только одна запись: «Сколько рыб в пруду=X». И непонятно, к чему этот икс нужен?

— Я в уме решил, Василий Васильевич.

— Час от часу не легче,— проворчал Вася-в-кубе и снова кисленьким голосом: — Что ж, Федор Тягунов, выйди к доске, послушаем твое решение.

Дюшка сам оробел от своей дерзости, однако вышел, встал, как положено, лицом к классу и рассказал:

— Тридцать рыбин в кольцах. Две попались среди сорока. Значит, неокольцованных в двадцать раз больше. Тридцать на двадцать — всего шестьсот.

И все: умолк, страдая, что рассказ его занял мало времени.

Класс недоверчиво молчал. Вася-в-кубе возносил к лысине брови и разглядывал Дюшку.

— Да!..— наконец подал он голос.— Да!.. Все правильно. Просто и ясно. У тебя ясный ум, Тягунов! Ты лодырь, Тягунов! Ты два года водил меня за нос, прятал за ленью свои способности. Незаурядные способности! — Вася-в-кубе повернулся к молчащему классу.— Вот как надо мыслить, друзья. Молниеносно! Вламываться сразу в самую суть.

И громовым басом, почти угрожающе Вася-в-кубе принялся расхваливать Дюшку. Дюшка стоял у доски и от непривычки чувствовал себя очень плохо — хоть провались сквозь пол от этих похвал.

Наконец Вася-в-кубе торжественно умолк, торжественно вынул из нагрудного кармана самописку, торжественно отвинтил колпачок, торжественно склонился над журналом... Сомневаться не приходилось — пятерка.

— Голубчик, возьми щетку, приведи себя в порядок.

...Слух о Дюшкином ученом подвиге быстро разнесся по всей школе: шутка ли, за пять минут — в уме! — задачу «на победителя».

На перемене к нему подошел Левка Гайзер:

— Старик, ты быстро научился плавать.

Как равный равному, уже не называя Дюшку тараканом.

И это слышали все, кто был в эту минуту в коридоре. И случайно тут стояла Римка Братенева. Стояла, слышала, смотрела на Дюшку. Уважительно.

Он станет великим математиком и прославит школу, поселок Куделино, отца, мать, Миньку, с которым дружит, бабушку Климовну, которая его вынянчила.

Он вместе с Левкой откроет, что Вселенная бесконечна. И хотя он не знает, почему от бесконечности должны вновь рождаться уже умершие люди, все равно откроет. Левка снова появится на свет, он, Дюшка, тоже, и Минька, и отец с матерью — все, все узнают, что никто не умирает насовсем.

Он еще знает то, о чем не подозревает даже Левка: Римка Братенева когда-то была женой Пушкина.

Он умеет видеть, чего никто не видит.

Он разглядел, что отец Миньки вовсе не такой уж плохой человек.

Он пойдет к Минькиной матери и скажет: полюби мужа — он станет счастливым.

И Минька тоже...

А все в поселке удивятся: какой хороший человек Дюшка Тягунов.

И какой умный!

И Римка первая подойдет к нему: давай, Дюшка, дружить.

А он ее тогда спросит: «Ты знаешь, кто ты?» — «Нет».— «Наталья Гончарова, жена Пушкина, первейшая красавица — «чистейшей прелести чистейший образец».

Дюшка был счастлив и не подозревал, что счастье капризно.

После уроков он одним из первых выскочил с портфелем из школы. В портфеле по-прежнему лежал кирпич. Существует на белом свете Санька Ераха, и с этим, хочешь не хочешь, приходится считаться.

Миньке он решительно сказал:

— Иди один, у меня дела.

Он хотел видеть Римку. Почему-то он надеялся: сегодня она пойдет домой одна, без девчонок. И он попадется ей на глаза. Конечно, нечаянно. И она заговорит, и они вместе пойдут домой. И кто знает, быть может, он уже сегодня, сейчас, через несколько минут, скажет: «Чистейшей прелести чистейший образец». Вчера о таком и мечтать не смел. Вчера он был обычным мальчишкой, каких много в школе.

Он долго кружил на углу улиц Жан-Поля Марата и Советской, пока не увидел ее.

Она шла без девчонок, но не одна. Шла тихо, нога за ногу, смотрела в землю, тонкая, скованная, знакомая, хоть задохнись. И рядом с ней — поролоновая курточка нараспашку — вышагивал Левка Гайзер. И тоже нога за ногу, не спеша, вдумчиво. Он что-то говорил ей, она слушала и клонила голову вниз, и было видно издалека — не хочет быстрей идти, нравится. Знакомая и чужая.

Минуту назад он верил, что прославит школу, поселок, отца, мать, старую Климовну, даже Миньку. Сейчас он представил себя со стороны — так, как если б Римка вдруг подняла голову и увидела его. Посреди улицы мальчишка в штанах с пузырями на коленях, с толстым портфелем в руке. Он носит с собой кирпич, потому что боится Саньки Ерахи. Ему постоянно чудится черт знает что, черт те о чем мечтает. Он случайно решил задачу

и зазнался. Он не умеет крутить на турнике «солнце», у него нет накачанных мускулов, нет красивой куртки.

Римка с Левкой не спеша двигались на него. Надо было уходить, надо прятаться, но ноги не слушались...

Минуту назад он чувствовал себя чуть ли не самым счастливым человеком на свете. Ошибался — самый несчастный.

Мир играл с Дюшкой в перевертыши.

17

А на следующий день на уроке Васи-в-кубе в тихую минуту Дюшка, доставая тетрадь из портфеля, нечаянно выронил кирпич на пол. Гулкий удар, должно, слышен был на всех этажах.

Кирпич перешел в руки Васи-в-кубе.

— Тягунов, что такое? Для чего тебе эта штука?

Дюшка не пожелал сказать.

— Выясним.

После урока Вася-в-кубе торжественно отнес кирпич в учительскую.

Исчезли лужи, подсохли тропинки, выползала травка, распустившийся лист ронял на землю сквозную тень, и в скворечниках раздавался уже писк новорожденных скворцов. Все, что могла совершить весна, свершилось — состоялось ежегодное сотворение всего живого. Живому теперь предстоит расти и мужать. В разгар весны проглядывало лето.

И ребята праздновали: все высыпали теперь во время перемены во двор без пальто, без шапок — крик, возня, взрывы смеха, каждый немножко пьян от солнца и воздуха. Даже верный друг Минька по-поросячьи повизгивает где-то в стороне, забыв о Дюшке.

Девчонки тесно сбились у прогретой стены, галдят. С ними Римка...

Нет радости, что она близко, что глаза ее видят, уши ее слышат.

Нет радости от тепла, от солнца, от яркой узорной зелени.

И вообще, всякая радость — обман. Сейчас есть, через минуту — исчезла.

И впереди тягостное объяснение с Васей-в-кубе, быть может, с самой директрисой Анной Петровной: «Зачем кирпич? Почему кирпич?»

И Санька, конечно, уже знает, что он, Дюшка, обезоружен.

Санька стоит под столбом, на котором когда-то висели канаты для «гигантских шагов». Как всегда, вокруг Саньки холуи вроде Кольки Лыскова. Дюшке видна Санькина соломенная шевелюра, слышен его сипловатый голос. Вокруг Саньки сейчас смеются.

Должно быть, Санька говорит о нем, Дюшке, должно, что-то обидное.

И Санькины речи, возможно, слышит Римка. Она сейчас стоит ближе к Саньке, чем Дюшка, ей слышней...

От Санькиной группы отделился Колька Лысков, с прискоком жеребенка подтрусил к Дюшке, жмурится всей сведенной в кулачок старушечьей рожицей.

— Дюшка...— Голос сладенький, сочувственный (сейчас скажет пакость).— Как же ты сегодня без кирпича домой?..

Дюшка смотрит мимо счастливо жмурящегося Кольки, молчит. А Колька хоть бы что — привык, когда встречают: «Видеть тебя не могу».

— Дю-юш-ка... Санька говорит, чтобы ты лучше не выходил из школы. Он тебя и с кирпичом хотел... У тебя кирпич, а у него ножик. Хи-хи!.. Теперь он тебя и без ножа... Хи-хи! Мамка не узнает.

Привирает Колька про нож. А может, и нет. Не зря же Санька тогда кричал: «Кровь пущу!»

Колька улыбчиво жмурится, Колька рад, что скоро увидит, как Санька расправится с Дюшкой. Сам Колька никогда ни с кем не дрался, но любит глядеть драки — хлебом не корми. Дюшка не выдержал, засмотрелся на улыбчивого Кольку. Стукнуть его, что ли? Утрется и убежит, а Саньку все равно не минуешь. Санька не знает жалости, а за Дюшкой теперь много числится — будет бить насмерть.

Радостно, в самое лицо улыбается Колька Лысков. И в Дюшке вдруг что-то поднялось из глубин, от желудка к горлу, стало трудно дышать. Не столько от ненависти к Саньке, сколько от стыда за себя: боится же, боится, и это сейчас видит Колька, наслаждается его страхом. Он таскался как дурак с кирпичом и прятался за спину Никиты Богатова. Богатов никак не герой, но Саньки не испугался. А если у Саньки нож, что́ стоило ему ударить ножом взрослого. И ни разу он, Дюшка, не схлестнулся по-настоящему с Санькой. Санька готов был открыто помериться силой, Санька, выходит, честней...

Жмурится в лицо Колька Лысков. Девчоночьи голоса в стороне. Девчоночьи голоса и смех. И резануло по сердцу — прозвучал смех Римки, звонкий, чистый, серебряный, не спутаешь.

Дюшка шагнул вперед. Колька Лысков шарахнулся от него столь быстро, что морщинистая улыбочка не успела исчезнуть.

Опустив плечи, пригнув голову, Дюшка двинулся прямо на столб, под которым торчала соломенная нечесаная Санькина волосня. Окружавшие Саньку ребята зашевелились, запереглядывались между собой и... расступились, давая Дюшке дорогу.

Санька оторвал плечо от столба, встал прямо: болотная зелень в глазах, серый твердый нос, на плоским скулах, на подбородке

стали медленно просачиваться красные пятна. Все-таки чуточку он побаивается, все-таки Дюшка чем-то страшен ему — пятна и глаза круглит. Дюшка зарылся взглядом в зелень Санькиных глаз.

— Палач! Скотина! Думаешь, боюсь?

— Да неуж?.. Может, тронешь пальчиком?

Над школьным двором стоял звонкий, веселый гвалт. Никогда еще так плохо не чувствовал себя Дюшка: никому до него нет дела, никому, кроме Саньки. Санька ненавидит его, он — Саньку!

И со стороны снова донесся беззаботный Римкин смех, особый, прозрачный, колеблющийся, как нагретый воздух, что дрожащим маревом поднимается над землей.

И смех толкнул... Всю выношенную ненависть, свои несчастья, свой стыд — в пятнистую физиономию, в нечистую зелень глаз, в кривую узкую улыбочку! Кулак Дюшкин врезался с мокрым звуком, Санька качнулся, но устоял. Дюшка ударил второй раз, но попал в жесткое, как булыжник, Санькино плечо.

Прямо перед собой — два круглых провальных глаза. Дюшка не успел выбросить им навстречу кулак. Он не почувствовал боли, он только услышал хруст на своем лице, и яркий солнечный двор, и синее небо качнулись, потекли, стали жидко проваливаться местами, пятнами, а на голову словно нахлобучили чугунный тяжелый горшок. Кажется, он успел пнуть ногой Саньку, тот охнул и согнулся...

После этого он помнил только какие-то пестрые клочья: нацеленный серьезный Санькин нос; треснувшая на груди рубаха; судорожно сжатый кулак, свой кулак, запачканный свежей кровью, собственной или Санькиной — неизвестно; Санькин скривленный рот; стена мальчишеских лиц, серьезных от испуга... И тишина во дворе, солнце и тишина, и тяжелое сопение Саньки... Дюшка налетал, бил, промахивался. Санька отбрасывал его от себя, но Дюшка снова налетал, снова бил... Вытаращенные глаза Саньки, скривленные губы Саньки, кулак в судороге...

Кто-то робко попытался схватить Дюшку, он оттолкнул локтем, уголком глаза успел поймать перекошенное лицо Миньки...

И неожиданно вместо Санькиной ненавистной носатой, глазастой, косогубой физиономии появилось перед ним возбужденное, румяное, с туго сведенными бровями лицо Левки Гайзера. Он хватал Дюшку за грудь:

— Эй! Эй! Хватит!

Но за Левкой маячила Санькина шевелюра, Дюшка рванулся к ней, Левка уперся ему в грудь:

— Хва-тит!

Тогда Дюшка с размаху ударил Левку и... пришел в себя.

Яркий солнечный двор и тишина. Оцепеневшие глазастые лица ребят. Над их головами врезан в синеву большой кран. Левка с сухим недобрым блеском в глазах ощупывал рукой скулу.

— Дерьмо же ты, оказывается,— сказал он.

Дюшка не возразил и не почувствовал раскаянья. Ненависти уже не было, была усталость.

И тут как из-под земли вырос Вася-в-кубе, лысиной в поднебесье, выше большого крана, и с немыслимой высоты глядело на Дюшку темное лицо. Вася-в-кубе взял тяжелой рукой за плечо, повернул:

— Пошли.

Завороженная стена ребячьих физиономий колыхнулась и распалась на две части, давая проход. Серой гибкой кошкой метнулся через дорогу Колька Лысков.

А Дюшка только сейчас почувствовал, что у него исчезло лицо: вместо него что-то тяжелое, плоское, как набухшая от сырости дубовая доска. Неся перед всеми свою деревянность, он цеплялся нетвердыми ногами за качающуюся, ненадежную землю.

Впереди кучкой стояли девчонки, все еще оцепенело завороженные. Среди них Римка — взметнувшиеся брови, круглые, как пуговицы, глаза, курчавинки на висках. Римка — совсем обычная, совсем ненужная сейчас.

Но когда толкающая рука Василия Васильевича и нетвердые ноги приблизили Дюшку к девчонкам, среди них раздался визг и все они с выражением страха и брезгливости дружно шарахнулись в сторону. И Римка — тоже, со страхом и брезгливостью в круглых глазах.

Это окончательно привело Дюшку в сознание. Он понял, как выглядит — рубаха располосована, окровавлен, нет лица, есть что-то деревянное, плоское, чужое... Шарахаются от него. Римка — тоже.

И вспомнил, что ударил Левку Гайзера...

...Окровавленную, располосованную рубаху стащили и отправили отцу прямо на работу. Его же самого обмыли под краном, обмазали йодом, заставили поглядеться в зеркало.

Лицо осталось, не исчезло и было вовсе не плоским, наоборот — дико распухшее, в рыжих пятнах йода, посреди, где раньше находился нос, торчал трупно-синий бесформенный бугор. Он-то и ощущался деревянным.

18

Мать осмотрела Дюшкин нос, потрогала его холодными, сильными пальцами, больно — искры из глаз! — до хруста нажала, сказала почти равнодушно:

— Срастется. С неделю проходит красавцем.

И ушла в спальню, легла на кровать не раздеваясь.

Бабушка Климовна прибрала посуду на столе, повздыхала:

— Ох-хо-хонюшки! Тупой-то серп руку режет пуще острого.

Тоже ушла к себе.

Дюшка остался один на один с отцом. Отец ходил по комнате, попинывал — не сильно, не в сердцах — стулья, яростно ворошил пятерней волосы, не ругался, только время от времени ронял:

— Да... Да...

Короткое и тяжелое — в ответ своим мыслям.

А за окном торчал большой кран, под ним, должно быть, как всегда, суетятся люди: сортируют лес, радуются весне, ходят друг к другу в гости, любят — не любят. Дюшке уже нет среди них места. Римка шарахнулась от него. И он ни за что ни про что ударил Левку Гайзера. И на лице деревянный, мешающий нос, с таким носом нельзя выйти на улицу...

А Левка хочет открыть бесконечность, и, непонятно, почему-то эта бесконечность обещает Левке вторую жизнь. Зачем вторая, когда и одну-то прожить так трудно.

Отец оборвал хождение, взял стул, поставил напротив Дюшки, оседлал его. Лицо отца за этот день опало, стало угловатым, лоб вылез вперед, глаза спрятались, глядят, словно из норы, настороженно, выжидательно, с тревогой, но, кажется, без гнева.

— У нас, Дюшка, на сортировке попадаются эдакие крученые кряжи, которые ни в строительный не занесешь, ни в крепежник, ни в тарник. Их выбрасывают на дрова, но и дрова из них тоже плохие — не колются, намаешься. Дерево как дерево, а ни на что не пригодно...

Дюшка догадывался, куда клонит отец, но молчал.

— Человек, Дюшка, тоже может расти вкривь и вкось,— продолжал отец.— Часто болтается среди людей эдакая нелепость: где ни приткнется, всем мешает, все его отпихнуть стараются. А если упирается, рубят по живому.

У отца и взгляд прочувствованный, и голос сдержанный, по всему видать: собрался с силами, хочет от души объяснить непутевому сыну. От души, без раздражения. Но Дюшке меньше всего нужны такие объяснения. Он и без отца теперь знает, что ненормален, перекручен, трудно жить... Это лучше отца объяснила ему Римка Братенева — шарахнулась в сторону. «Тупой серп руку режет пуще острого».

Отец с досадой заскрипел стулом, подался вперед, заговорил горячее:

— У тебя перед глазами пример есть — Никита Богатов. Перекошенный человек, недоразумение. Сам несчастный, жену несчастной сделал, сына... Таким стать хочешь?

Дюшка наконец разжал губы, спросил:

— Пап, Богатов плохой, ну, а Санька Ераха хороший?

— Я ему о Фоме, он мне о Ереме. При чем тут Санька?

— Я с ним дрался.

— Так за это я должен поносить его? Ну, знаешь!

— Богатов плохой, Санька хороший?

— Да плевать я хотел на твоего Саньку! Мне на тебя не плевать.

— Санька убивать любит... лягуш.

— Лягуш?.. Черт знает что! Да мне-то какое дело до этого?

Действительно, какое кому дело, что Санька убивал лягуш? Почему к нему ненависть? Почему Дюшка так много думает о Саньке? Только о нем. Родился непохожий на других — мучает кошек, бьет лягуш. И не в кошках, не в лягушках дело, а в том, что он любит мучить и убивать. И это страшное «любит» почему-то никого не пугает. «Да мне-то какое дело до этого?» Никому нет дела до того, что л ю б и т Санька. До Богатова есть дело, Богатова осуждают... вместе с Минькой.

И Дюшка, давясь словами, произнес:

— Он и людей бы убивал, если б можно было.

— Ну, знаешь!

— Он зверь, этот Санька, а Богатов не зверь. Что тебе Богатов плохого сделал? За что ты его не любишь? За что? За что-о?!

— Ты что кричишь?

— Боюсь! Боюсь! Вас всех боюсь!

— Эй, что с тобой?

— Никому нет дела до Саньки? Никому! Он вырастет и тебя убьет и меня!..

— Дюшка, опомнись!

— Опомнись ты! Убивать любит, а вам всем хоть бы что! Вам плевать! Живи с ним, люби его! Не хочу! Не хочу! Тебя видеть не хочу!

Дюшка, вскочив на ноги, тряс над головой кулаками, визжал, топал:

— Не хо-чу!..

Отец верхом на стуле замер, глядя снизу в разбитое, перекошенное, страшное лицо сына.

На крик появилась мать, бледная, прямая, решительная, казалось, ставшая выше ростом. Отец повернулся к ней:

— Вера, что с ним?

— Принеси стакан воды.

Дюшка упал ничком на диван и затрясся в рыданиях.

— Что с ним, Вера?

— Обычная истерика. Пройдет.

Мать никогда не теряла головы, и сейчас ее голос был спокоен. Дюшка рыдал: никто его не понимает, никто его не жалеет — даже мать.

Его заставили выпить валерьянки и лечь в кровать. Он лежал и ни о чем не думал. Все кругом стало каким-то далеким и не-

нужным: Никита Богатов, Санька, Римка, непонимающий отец, Левка Гайзер, которого он ударил... И самый, наверное, ненужный и далеких из всех — он сам, пропащий человек.

19

Дюшкин кирпич лег на стол директрисы школы Анны Петровны. Рыжий кирпич на зеленом сукне письменного стола...

Анна Петровна появилась в поселке Куделино вместе с новой школой. Казалось, ее где-то специально заготовили: для красивой, сияющей широкими окнами школы — молодую, красивую директоршу с пышными волосами, громким, решительным голосом, университетским значком на груди.

С Анной Петровной не так уж трудно встретиться в школьных коридорах, даже на улицах поселка, но в кабинет к ней попадали только в особо важных случаях.

Рыжий кирпич на зеленом сукне — случай особый. Напротив стола разместились учителя и ученики: судьи, свидетели и преступники — Дюшка с Санькой. Даже Колька Лысков был приглашен, даже Минька затаился возле самых дверей на краешке стула.

Раз на столе в центре внимания — кирпич, то само собой вспоминают Дюшку: «Тягунов, Тягунов...» Саньку почти не трогают, он сидит нахохлившись, повесив нос, смотрит в пол, хмурый, обиженный: мол, что приходится терпеть человеку понапрасну.

— Гайзер, ты кому-то говорил, что видел этот кирпич и раньше у Тягунова? — ведет опрос Анна Петровна.

Подымается Левка. У него под левым глазом махровая желтизна — отцветший синяк, сотворенный Дюшкиным кулаком.

Левка отвечает без особого усердия и старается не глядеть в сторону Дюшки:

— Я, собственно, не видел этого кирпича...

— Как так — собственно?

— Я как-то заметил, что у него... Тягунова, толстый портфель, спросил: чем ты его набил? Он ответил: там кирпич.

— И больше ничего не спросил?

— Поинтересовался, конечно,— зачем кирпич? Ответил: мускулы развиваю.

— Давно это было?

— С неделю назад.

— И все это время Тягунов таскал... развивал мускулы?

— В портфель к нему я больше не заглядывал, кирпичом не интересовался.

— Он таскал! Таскал кирпич! Я знаю! Не расставался! — выкрикнул Колька Лысков. Он и здесь, в кабинете директора, вел себя деятельно и радостно, словно ждал интересной драки.

Угнетенно-хмурый Вася-в-кубе подал голос:

— Странно все-таки. Неудобная вещь, даже для драки.

— Как же неудобная? Очень даже удобная! Тяжелая...— охотно отозвался Колька.— Сзади по затылку — тяп, и ваших нет. Кирпичом и быка убить можно.

Анна Петровна грозно покосилась на Кольку, и тот опять же охотно, почти восторженно оправдался:

— Извиняюсь. Я чтоб понятней...

— Тягунов,— спросила Анна Петровна,— скажи, только откровенно: для чего?.. Для чего тебе этот кирпич?

Дюшка долго молчал, наконец выдавил:

— Если Санька вдруг полезет... Для этого.

— И ты бы ударил его... кирпичом?

Врать было бессмысленно, Дюшка признался:

— Полез бы — ударил.

— А ты не подумал, что действительно... таким — быка? Не подумал, что убить им можно человека?

Вася-в-кубе подождал-подождал Дюшкиного ответа и не дождался, с досадой крякнул, а одна из приглашенных на обсуждение учительниц, совсем молодая, преподававшая в школе всего лишь первый год, Зоя Ивановна, выдавила из себя:

— Какой ужас!

Вася-в-кубе решил прийти на помощь.

— Но ведь ты для самозащиты эту штуку таскал? — спросил он.

— Для защиты,— признался Дюшка почти с благодарностью. Он не хотел, чтоб его считали убийцей, даже Санькиным.— На всякий случай, когда Санька полезет...

— Полезет?..— переспросила Анна Петровна.— Первый на тебя?

— Да.

— А вот все говорят, что первым в драку полез ты, Тягунов. Ты первый ударил Ерахова. Или на тебя наговаривают? Или это не так? — У Анны Петровны от негодования глаза стали опасно прозрачные, холодные.

Дюшка снова замолчал. Он молчал и понимал, что его молчание выглядит сейчас дурно. Так в кино молчат пойманные шпионы, когда им уже некуда деться.

— Как-кой ужас! — снова выдавила из себя молодая Зоя Ивановна.

А Вася-в-кубе крякнул еще раз.

Лежал перед всеми на зеленом столе рыжий кирпич — страшная, оказывается, вещь, им можно убить человека. Дюшкин кирпич, кирпич, специально приготовленный для Саньки. И он, Дюшка, первым напал на Саньку...

И сидел обиженно нахохленный Санька, чудом спасшийся от страшного кирпича.

Дюшка и сам начинал верить, что он преступник.

Помощь пришла неожиданно с той стороны, с которой ни Дюшка, ни кто другой не ожидал.

Притаившийся возле дверей Минька, Минька, случайно попавший на разбирательство, Минька, которого и не собирались сейчас спрашивать, вдруг вскочил на ноги и закричал тонко, срываясь, словно петушок, впервые пробующий свой голос:

— Дюшка! Ты чего?.. Дюшка! Скажи всем! Скажи про Саньку! Он же хвастался, что убьет тебя! Я сам слышал! Ножом стращал!

И Санька взвился, его лицо потекло красными пятнами:

— Врет! Врет! Не хвастался!.. У меня даже ножа нет! Обыщите! Нет ножа!

— О каком ноже речь? Ты что? — Глаза Анны Петровны утратили прозрачность, стали обычными — испуганными.

Но Минька, тихий Минька с яростью накинулся на Саньку:

— Ты все можешь, ты и ножом! Про твой нож Колька хвастался!

— Ничего я не хвастался! Ничего не знаю! — завертелся ужом Колька Лысков.

— Честное слово! Дюшка добрый. Дюшка даже лягушку... Дюшка слабей себя никогда не обидит! А Санька и ножом, ему что?

— Чего он на меня? Ну, чего?.. Никакого ножа... Вот глядите, вот...— Санька начал выворачивать перед всеми пустые карманы.

— Он трус! Он только на слабых. Потому Дюшка и кирпич... Знал — Санька тогда на него не полезет, испугается. И верно, верно: Дюшка давно этот кирпич таскал в портфеле. Давно, но не ударил же им Саньку. Убить мог? Это Дюшка-то? Саньку! Отпугивать только. Санька — трус: на сильного никогда!..

— Ну-у, Минька, н-ну-у!

— Слышите?.. Он и сейчас... Он теперь меня... Мне тоже кирпич... Житья Санька не даст! Мне тоже кирпич нужен!..

— Ну-у, Минька, н-ну-у!

Санька стоял посреди кабинета всклокоченный, с пятнистым лицом, с выкаченными зелеными глазами, вывернутыми карманами.

Лежал рыжий кирпич на зеленом столе. Все молчали, пораженные яростью тихого, маленького, слабого Миньки. И только Зоя Ивановна, молодая учительница, изумленно выдохнула свое:

— Как-кой ужас!

20

Александр Матросов своей грудью закрыл амбразуру с пулеметом, чтобы спасти товарищей. Александр Матросов — герой, человек великой души, о нем написаны книги.

До сих пор великой души люди — те, кто своей грудью, своей жизнью ради товарищей! — жили для Дюшки только в книгах. В Куделине таких не наблюдалось. Великой души люди, казалось, непременно должны быть и велики ростом, широки в плечах, красивы лицом.

У Миньки узкие плечи, писклявый голос. И жил Минька все время рядом, на улице Жан-Поля Марата, ничего геройского в нем не было: самый слабый из ребят, самый трусливый.

И вот Минька против Саньки! Санька слабых не жалеет. Санька не даст проходу. Минька добровольно испортил себе жизнь, чтоб спасти Дюшку. Закрыл грудью.

А ведь он, Дюшка, всегда немного презирал Миньку — слабей, беспомощней.

От Дюшки шарахнулась Римка, от Дюшки отвернулся Левка Гайзер, дома Дюшка устроил истерику. Сам себе противен. Стоит ли такому жить на свете? Кому нужен?

Оказывается, нужен! Грудью за него.

Минька, Минька...

...Утром Дюшка повернул не к школе, а к Минькиному дому. Санька станет сторожить Миньку. Рядом с Минькой всегда будет он, Дюшка.

Портфель непривычно легкий, тощий — кирпич больше не нужен. Пусть сунется Санька, нет перед ним страха! Пусть сунется к Миньке!

Минька нисколько не удивился, что Дюшка ожидает его у крыльца. В мешковатом, старательно застегнутом на все пуговицы пиджаке, со своим большим потертым ранцем, узкое лицо прозрачно и сурово. Эта суровость так была непривычна для Миньки, что Дюшка вместо «здравствуй» встревоженно спросил:

— Ты чего?

— Ничего, Дюшка.

— Нет, Минька, что-то есть, я вижу.

— Ты слышал, как он вчера, каким голосом: «Н-ну-у, Минька»? Убьет, ему что.

— Пусть прежде меня.

— Но ведь ты же не всегда со мной ходить будешь.

— Всегда, Минька.

— Да я и сам хочу... Сам за себя! Как ты, Дюшка.

Минька судорожно расстегнул пуговицы, распахнул полу — за брючным ремнем торчала деревянная ручка ножа.

— Ты что?

— Кирпич хотел, но с кирпичом меня Санька сразу... Это тебя он с кирпичом боится, а меня — нет. Такого гада мне только... железом.

— С ума сошел, Минька!

— Сойдешь, когда всю ночь уснуть не мог.
— Унеси, Минька, нож обратно.
— Нет!
— Силой, Минька, отберу!
— Нет, Дюшка, не сделаешь этого.
— Тогда прошу тебя, Минька...

Минька помялся, поежился, помигал и уступил:

— Я его под крыльцо пока... С тобой буду без ножа. А без тебя, Дюшка... Хочу сам за себя, как ты.

Нелепый кухонный нож с деревянной ручкой пугал Дюшку. Но Минька стал вдруг упрям.

21

Под вечер, после работы, мать и отец принимали гостя. Вернее, гость пришел только к матери. Тот самый Гринченко, о котором Дюшка так часто слышал: еле жив, при смерти. Два дня назад Гринченко выписали из больницы, сейчас его угощали чаем.

Это был вовсе не хилый человек, а громоздкий, с глухим, нутряным, густым голосом, с темным губастым лицом, сплавщик, одетый по-праздничному в темно-синий в полоску костюм, в галстуке, завязанном таким толстым узлом, что он мешал двигаться массивному подбородку. И только запавшие глаза и тупые кости скул, проступающие сквозь темную пористую кожу, напоминали о болезни, не совсем еще покинувшей мощное тело.

Гринченко пришел в гости к матери, но разговор вел лишь с отцом.

— Скажу вам, Федор Андреевич, какой это человек Вера Николаевна, супруга ваша. Святая сказать — мало! Кто ей я? Ни сват, ни брат, даже за столом вместе не сиживали, хлеб, соль, водку пополам не делили. И добро бы я, Степка Гринченко, уж очень полезен державе нашей был. Так нет этого. Работяга обычный. Любил рубль длинный сорвать, водку любил, баб и всякое прочее безыдейное. И вот из-за меня, из-за безыдейного, эта женщина ночами не спала, своим здоровьем тратилась, можно сказать, колотилась самым героическом образом.

Мать виновато посмеивалась, а отец серьезно соглашался:

— Что есть, то есть, не отымешь — самозабвенна.

— Тыщи лет люди богородицу хвалили. А за что, позвольте спросить? Только за то, что Христа родила да вынянчила. Любая баба на такое, скажу, способна. Вот пусть-ко богородица с эдаким, как я, понянчится. Не ради бога великого, чтоб потом аллилуйю многие века пели, а ради простого человека, без надежды всякой, что тебе там вечную славу отвалят или награду золотую на грудь. Тут тебе богородицы мало, тут уж выше бери.

— Богородица — это суеверие, Степан,— наставительно отве-

чал отец.— А старые суеверия мы жизнью бьем не в первый раз. Так что из ряда вон выходящего ничего не произошло.

— Ой, не скажите, Федор Андреевич, не скажите. Вы думаете, Вера Николаевна мне только требуху мою вылечила — нет, душу вылечила. Открылось мне: раз я, Степан Гринченко, героического стою, то и держаться я в дальнейшем должон соответственно, не распыляясь на мелочах. Не-ет, теперича я так жить уже не стану, как жил. Буду оглядываться кругом, да позорчей. Сколько лет я еще проживу, Вера Николаевна?

— Я не гадалка, Степан Афанасьевич. Наверное, вас еще надолго хватит.

— Сколько ни проживу — все людям. Осветили вы мне нутро, Вера Николаевна, ясным светом.

— Очень рада такому побочному явлению.

— Эх, для вас бы что сделать! Вот было бы счастье. Не сумею, поди,— мал. Да-а!

Гринченко поднялся и стал чинно за руку прощаться, а Дюшка кинулся к окну, чтоб видеть, как спасенный матерью от смерти человек пойдет на своих ногах по улице среди здоровых людей.

Дюшка припал к окну и увидел не Гринченко, а... Римку. В легком платьице в клеточку, в темных волосах солнечной каплей цветок мать-и-мачехи, и курчавинки у висков, и нежный бледный лоб над бровями — до чего она не похожа на всех людей, рождаются же такие на свете. Солнечная капелька цветка в волосах...

Римка исчезла в подъезде, появился Гринченко, не обративший на Римку никакого внимания. Нескладно-громоздкий, нарядный в своем костюме в полосочку, он бережно выступал, сосредоточенно нес в себе свое спасенное здоровье, свою вылеченную Дюшкиной матерью душу — весь в себе.

После Римки Дюшка снова обрел способность видеть то, чего не замечают другие. Сейчас глядел на выступающего бережным шагом Гринченко и видел в нем то, чего сам Гринченко и не подозревал: слишком большую занятость собой, своим неокрепшим здоровьем, своим исцеленным духом.

Гринченко, не заметив, промаршировал и мимо Минькиного отца, путающегося в полах своего длинного пальто. А Минькин отец спешил. Дюшка вгляделся в него, и по спине поползли мурашки — что-то случилось. Никита Богатов бежал изо всех сил — размахивает рукавами, лицо без кровинки, рот распахнут, задыхается. Он пересек двор их дома, двинулся к крыльцу. Что-то стряслось! Что-то страшное!

А отец с матерью продолжали говорить о Гринченко, о том, как удачно тот «выскочил из болезни».

Дверь распахнулась без стука, бледный, потный Никита Богатов обессиленно привалился скулой к косяку.

— Вера Николаевна!

— Что?..

— Ножом...

И Дюшка все понял, Дюшка закричал:

— Миньку-у!

— Да, Миньку... ножом. И нож-то наш... Не знаю и что...

— Санька — Миньку! Санька — Миньку!!

— Дюшка, помолчи! Где он?

— В больницу повезли... Я к вам... Спасите, Вера Николаевна!

— Санька — Миньку! Мама, спаси Миньку! Спаси, мама!!

22

Они вдвоем сидели у телефона, ждали звонка из больницы. Дюшка объяснял отцу, как кухонный нож Богатовых оказался в руках Саньки:

— Я говорил Миньке: не смей, не бери! А он мне — Санька убьет, только железом спасусь. Ну, Санька и отнял у него нож этот и этим ножом... У Миньки любой бы отнял. Минька мухи не обидит.

— Черт! — Отец это слово произнес без своей обычной энергии, даже с тоской. Он сейчас как-то присмирел, не расхаживал по комнате, не пинал стулья, сидел напротив Дюшки, приглядывался к нему с непривычным вниманием.— Ты говорил: Санька лягуш убивал? — спросил он.

— Лягуш убивал, кошек мучил.

— Зачем?

— Так просто. Нравилось.

— Нравилось? Больной он, что ли?

— Что ты, пап. Здоровый. Здоровей Саньки только Левка Гайзер, он на турнике «солнце» крутит.

— Так почему, почему он ненормальный такой? Нравилось...

— Да нипочему. Таким родился.

— Родился?.. Гм.. У Саньки вроде родители нормальные. Отец сплавщик как сплавщик, честно ворочает лес, выпивает, правда, частенько, но даже пьяный не звереет. Ни кошек, ни собак, ни людей не мучает...

— Пап, и Левка же Гайзер тоже на своего отца не похож. Левкин отец за жизнь, наверно, ни одной задачки не решил.

— Гм, верно. Обидней всего, Дюшка, что этого урода еще и оправдать можно.

— Саньку? Оправдать?

— Видишь ли, получается, твой Минька против Саньки запасся ножом заранее, с умыслом. И наверное, он в драке выхватил этот нож. А Санька безоружный. Выходит, что Санька защищался, а нападал-то Минька.

Дюшка обмер от такого поворота.

— Пап, Минька и мухи... Пап! Кто поверит, что Минька — Саньку?..

— Верят, сын, фактам...

Факты... Дюшка часто слышал это слово. Отец, мать, учителя произносили его всегда уважительно. Факты — ничего честней, ничего неподкупней быть не может. Это то, что есть, что было на самом деле, это — сущая правда, это — сама жизнь. И вот сущая правда несправедлива, сама жизнь — против жизни, защищает убийство. Так есть ли такое на свете, чему можно верить до конца, без оглядки? Все зыбко, все ненадежно.

Дюшке было лишь тринадцать лет от роду, он не дорос до того, когда невнятные мысли и смутные опасения облекаются в отчетливые слова. Он не мог бы рассказать, что именно сейчас его пугает — слишком сложно! — он лишь испытывал подавленность и горестную растерянность. И отец, его взрослый, сильный отец, который смог поднять над поселком огромный многотонный кран, помочь ему был бессилен. А хотел бы — страдает, тоска во взгляде. Что-то есть сильнее отца, что-то без имени, без лица — невидимка!

— Пап,— произнес Дюшка сколовшимся голосом,— неужели Саньке будет хорошо, когда он вырастет?

Отец поднял голову, озадаченно уставился на сына, и зрачки его дрогнули.

— Если Саньке хорошо, мне, пап, будет плохо.

И отец медленно встал со стула, распрямился во весь рост, шагнул вперед, взял в широкие теплые ладони запрокинутое вверх Дюшкино лицо, с минуту вглядывался, наконец сказал:

— Да... Да, ты прав. Этого не должно случиться.

— Пап, Минька не виноват. Если даже и факты... Все, все пусть знают.

— Да... Да, ты прав.

Они оба вздрогнули — разливисто зазвонил телефон. Отец рванулся от Дюшки, схватил трубку:

— Слушаю!.. Так... Так... Кровь?.. А родители?.. Не могут. Как же так, они родители, а кровь не подходит?.. А-а... Ну, хорошо, Вера, ну, хорошо. Я передам, я все ему передам.

И положил трубку обратно.

— Дело обстоит так, Дюшка: твоему Миньке надо переливать кровь. Ни мать, ни отец дать кровь не могут. Родители, а не могут, бывает такое. И тут Никита Богатов оказался неподходящ...

— Я дам кровь Миньке! Я!

— Дает кровь твоя мать. После этого ее сразу из больницы не выпустят. Так что нам надо ждать ее только к утру.

— Я знаю, знаю: мама спасет Миньку!

— Спасет, будь спокоен. Санькам — хорошо! Ну не-ет!.. За

Минькой твоим будут следить во все глаза. Его мать оставили в больнице на ночь.

— А Минькин отец?

— Отправили домой. Нельзя же всей семьей торчать в больнице.

— Пап!.. Пап, ему плохо.

— Да уж можно себе представить.

— Пап, я сбегаю, позову его сюда.

— Зачем?

— Ему плохо одному, пап. С нами будет легче. Я сбегаю, можно?

Отец снова с прежним серьезным вниманием с минуту разглядывал сына, наконец сказал:

— Зови. А я тут пока чай организую.

23

За столом встретились два отца — более несхожих людей в поселке Куделино, наверное, не было.

Отец Дюшки — его побаиваются, его уважают, в нем постоянно нуждаются, все время его ищут: «Был здесь, куда-то ушел». Он заседает, он командует, перебрасывает, ремонтирует, ругается, хвалит, отчаивается, обещает надбавки; Федор Тягунов-старший — человек, распахнутый для всех.

Отец Миньки никем не командует, ничем не распоряжается, больше беседует сам с собой, чем с другими, он и всегда-то пришиблен, а сейчас — лицо серое, глаза красные, в расстегнутом вороте рубашки видна выпирающая ключица, хрящевато-тонкая, жалкая, по ней видно, какой он весь ломкий, жидко склеенный, особенно рядом с ширококостным, плотно сбитым Дюшкиным отцом.

Никита Богатов не сразу согласился идти с Дюшкой. Дюшка его застал в пальто, сгорбившимся за столом. Он с трудом оторвал от пустого стола взгляд, уставился красными глазами на Дюшку, долго не понимая, чего от него хотят, наконец понял, спросил:

— Зачем?

Дюшке было трудно объяснить, зачем он зовет его к себе.

— Папа просит... попить чаю.

Никита Богатов глядел на Дюшку, помигивал красными веками, наконец тихо продекламировал:

В огне и холоде тревог —
Так жизнь пройдет. Запомним оба...

И вдруг передернулся лицом, плечами, словно проснулся, заговорил захлебываясь:

— Не слушай меня, мальчик. Я клоун, я паяц! Я живу чужими мыслями, чужими словами. Живу невпопад. Меня не стоит жалеть.

— Мама спасет Миньку, мама обязательно спасет! Она кровь свою дала.

Минькин отец заволновался:

— Да, да, меня зовут. Меня не часто зовут, а я по привычке паясничаю, строю из себя непонятого гения.

— Идемте.

— Да, да... Я благодарен. Не помню, когда меня звали к себе.

И вот отец Миньки сидит напротив Дюшкиного отца. Дюшка вместе с ними за столом.

Дюшкин отец косится на горбящегося Никиту Богатова с опаской, начинает с неуклюжей осторожностью:

— Странная ты личность, Никита. Я не говорю плохая — странная.

— Не стоит со мной церемониться, Федор Андреевич.

— Церемониться не собираюсь, но и зря обижать не хочу. Кто ты? Для меня загадка. Образован, начитан, умен ведь, а поставить в жизни себя не сумел. Пружины в тебе какой нет, что ли?

— Пружина есть... То есть была пружина, но шальная, которая заводит не силы, не энергию, а самомнительность.

— Самомнительные-то обычно выбиваются выше, чем им следует, а ты, прости уж, сколько тебя знаю,— камешком ко дну идешь. В областной газете работал — бросил. Почему?

— Из-за самомнительности.

— Гм...

— Быть газетным поденщиком, править статьи о силосе, о навозе — нет! Мне же «угль, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинут», мне свыше предначертано «глаголом жечь сердца людей». Газета — смерть для возвышенной души. Надо жить в гуще простого народа, черпать от него вдохновение. Я убедил жену, я забрал свои тетради, заполненные рифмованной пачкотней, и появился у вас в Куделине. А дальше?.. Дальше вы и сами видели. На сплаве выкатывать бревна слаб, сунулся в контору... Камешком ко дну. Хотя нет, барахтался и пачкал бумагу, рифмовал, заведенная пружина действовала: «Глаголом жги сердца людей!» Я любил чужие глаголы и рассчитывал — кто-то полюбит мои, боялся признаться: мои глаголы серы, серы, стерты, любить не за что.

Богатов говорил мечущимся, срывающимся голосом, при каждом признании весь передергивался от отвращения к себе. Дюшкин отец слушал его с откровенным недоумением, почти с испугом.

— А может, все-таки...— произнес он неуверенно.

Никита Богатов перебил его кашляющим смешком:

— Вот-вот, а может, все-таки я талант. Я... я убаюкивал себя этими словами много лет. И себя и жену... Камешком ко дну. Но если б я только один камешком, но ведь и ее и сына... Они же связаны со мной. Я любил ее: складки ее платья, движение ее бровей, звук ее шагов, ее улыбку, ее усталость! Весь мир несносен, единственная радость — она. Радость и боль! И ее я топил!..

Дюшкин отец крякнул и почему-то виновато глянул на Дюшку, а Никита Богатов продолжал мечущимся голосом:

— Я рассчитывал на чудо: меня вдруг признают, ко мне придет слава, почет, деньги. Все положу к ее ногам. Писал в последнее время только о ней, только ее славил — сонеты, элегии, письма в стихах. И надоел, надоел ей до тошноты. Она-то давно открыла, что я за глагольщик. И неприязнь ко мне, сперва спрятанная, потом откровенная, наконец воинственная. И унылая контора, жалкая зарплата делопроизводителя, сын без зимнего пальто... А у нее появляется мания, идея фикс: побывать раз в жизни на юге, увидеть море...

— Дадим путевку! — вскинулся Дюшкин отец, наконец-то почувствовавший, что чем-то может помочь.

Богатов отмахнулся вялой, бескостной рукой, голос осел, перестал метаться — глухой, тусклый:

— Вчера... с Минькой... Меня словно молнией шарахнуло, очнулся: прячусь от правды — бездарь, ничтожество, эдакий литературный наркоман... Хватит! Хватит!

— Что — хватит? — подобрался Дюшкин отец.

— Хватит тянуть камнем.

— Это верно.

— Пора освободить их от себя.

— То есть как это — освободить?

— Не все ли равно — как.

Дюшкин отец навалился грудью на стол, звякнули чашки.

— Опять?! — с придыханием.

— Что — опять, Федор Андреевич?

— По-новому угорел. Тогда — к вершинам славы, а теперь в пропасть вниз головой. А может, в середке зацепишься, с головы на ноги встанешь, по ровной земле походишь?

— Ходить по земле, надоедать людям своей особой, уверять себя, что исправлюсь?... Э-э, Федор Андреевич, зачем же тянуть песню про белого бычка?

— Испакостил бабе жизнь и бросаешь, а еще — складки платья, усталость даже... И не просто, а с форсом: мол, вот я какой самоотверженный, вниз головой, помните и страдайте. А так и будет: станут помнить, станут страдать! Сукин ты сын, Никита!

Никита Богатов беспокойно задвигался, казалось, стал что-то искать вокруг себя.

— Ну что?.. Что?.. На что я способен? Только на это. Ни на что другое!

— Эт-то, друг, мы еще посмотрим. Виноваты — мимо глядели. Увидели, теперь возьмемся. Я возьмусь! Я из тебя человека сделаю!

И Дюшка насторожился. Он сидел, молчал, слушал, внимательно слушал. Последние слова отца — «человеком сделаю» — напомнили ему слова матери: «Наш отец любит ковать счастье несчастным на их головах. Не заметит, как человека в землю вобьет от усердия». Как бы нечаянно отец не вбил в землю Минькиного отца.

— К делу тебя приспособлю. Наше дело грубое, древесное, славы не отваливает, зато жить дает. Я тебя суну туда, где некогда будет в мечтаниях парить — шевелись давай! Я и с женой твоей по-крупному поговорю...

— Только не это, Федор Андреевич!

— Молчи уж! Право слова потерял!

— Не трогайте ее, Федор Андреевич!

— Не бойсь, плохого не сделаю!

— Пап! — подал голос Дюшка.

— Э-э, да ты тут! Ты еще не спишь?

— Пап! Тебя просят — не делай!

— А ну спать! Здесь разговоры взрослые, не твоего ума дело!

— Я лягу, пап, только слушай, когда просят. Ты и с мамкой так: она просит, ты не слышишь.

— Ты что? Просит — не слышу. Не приснилось ли?

— А помнишь, мамка жаловалась, что ты ей всего-навсего один раз цветы подарил?.. Это ж она — что!.. А ты не понял.

Негодование — вот-вот взорвется! — затем досада, остывающее недовольство, наконец смущение — радугой по отцовскому лицу.

— Ладно, Дюшка, ложись. Мы тут без тебя решим,— сказал отец.

Дюшка поднялся, подошел к Богатову:

— Если Миньке еще кровь нужна будет, тогда я дам.

— Хороший у вас сын, Федор Андреевич.

— Минька лучше меня,— убежденно возразил Дюшка.

Раздеваясь в соседней комнате, Дюшка видел в раскрытую дверь, как его отец сел напротив Богатова, положил ему на колено руку, заговорил без напора, деловито:

— Мне крановщики нужны. Работа непростая, но платят прилично. Учиться тебя пошлю на курсы, три месяца — и лезь в будку. А то ходишь, шаришь, себя ищешь...

Отец все-таки хотел сделать несчастного Никиту Богатова счастливым — сразу, не сходя с места.

Дюшка еще не успел уснуть, когда отец, проводив гостя, подошел, склонился, зашептал:

— Слушай: мне сейчас нужно уехать. Не откладывая! Спи, значит, один. А я утречком постараюсь поспеть до прихода матери.

Но мать пришла раньше.

Дюшка проснулся оттого, что услышал в соседней комнате ее тихие шаги, ежеутренние, уютные шаги, опрокидывающие назад время, заставляющие Дюшку чувствовать себя совсем-совсем маленьким.

Он выскользнул из-под одеяла:

— Мама!

Мать еще не сняла кофты, ходила вокруг стола, не прибранного после вчерашнего чаепития двух отцов и Дюшки.

— Мама! Как?..

У матери бледное и томное лицо — обычное, какое всегда бывает после ночных дежурств. Не видно по нему, что она отдала свою кровь.

— Как, мама?

— Все хорошо, сынок. Опасности нет.

— А была опасность?

— Была.

— Очень большая?

— Бывает и больше... Где отец?

— Он уехал, мам. Еще вечером.

— Куда это?

— Не знаю.

Мать постояла, глядя в окно на большой кран, произнесла:

— Опять у него какую-то запань прорвало.

— Не говорил, мам. Не прорвало.

Мать загляделась на большой кран.

— Тебе нравится, когда тебя хвалят? — спросила она.

— Да, мам.

— Мне тоже, Дюшка... Почему-то мне хотелось, чтоб он сегодня похвалил меня... и погладил по голове.

— Ты же не маленькая, мам.

— Иногда хочется быть маленькой, Дюшка, хоть на минутку.

Пришла Климовна, гладко причесанная, конфетно пахнущая земляничным мылом, принялась охать и ахать насчет Саньки:

— Не хочет собачья нога на блюде лежать, так под лавкой наваляется.

О Миньке на этот раз она ничего плохого не сказала, ушла на кухню, деловито загремела посудой.

По улице зарычали первые лесовозы. День начинался, а отца все не было. Мать ходила из комнаты в комнату, не снимая с себя рабочей кофты. Дюшка думал о ее словах: хочется быть маленькой и чтоб отец погладил ее по голове. Думал и смотрел в окно, ждал отца, который так нужен сейчас матери. Климовна собирала на стол завтрак, и Дюшке пришлось оторваться от окна.

Отец вырос на пороге с каким-то газетным пакетом, который бережно держал перед собой обеими руками. Он улыбался так широко, радостно, что заулыбался и Дюшка.

— Вот! Держи! — Отец шагнул к матери и опустил на ее руки невесомый пакет.

Мать заглянула под бумагу и — порозовела.

— Откуда?

А отец светился, притоптывал на месте, глядел победно.

— Откуда?..

— Ладно уж, похвастаюсь: ночью в город сгонял на катере...

— Так ведь и в городе не достанешь ночью-то.

— А я...— Отец подмигнул Дюшке.— Я с клумбы... Милиции нет, я раз, раз — и дай бог ноги!

До города по реке было никак не меньше ста километров — не удивительно, что отец опоздал.

— Мам, что там?

Она осторожно освободила от мятой газеты букет — нервно вздрагивающие цветы, белые, с узорной сердцевинкой. И Дюшка сразу понял: нарциссы! Хотя ни разу в жизни их не видел. Нарциссы не росли в поселке Куделино, а когда отец дарил их матери, Дюшки не было еще на свете.

24

Самым знаменитым человеком в поселке вдруг стал... Колька Лысков. Его теперь останавливали на улице, вокруг него тесно собирались взрослые, слушали раскрыв рты. Колька Саньке не помогал, Колька вообще Саньке никакой не друг, не приятель, он даже на дух Саньку всегда не выносил, только боялся его: «Такому — что, такой и до смерти может!» И Колька видел все своими глазами, как Санька Миньку... Колька любил смотреть драки, сам в них никогда не влезал, это знали все ребята. И Колька взахлеб рассказывал, поносил Саньку, хвастался, что его, Кольку, вызывали на допрос в милицию, что он там честно, ничего не скрывая, слово в слово...

Колька стал знаменит, но силы у него от этого не прибавилось, а потому он начал соваться к Дюшке то на перемене, то по дороге из школы:

— Дюшка, а у меня леска есть заграничная, право слово...

А хочешь, Дюшка, я для тебя у Петьки старинный пятак выменяю?.. Дюшка, а Санька-то тебя боялся, право слово, я зна-а-аю!

Саньку теперь, должно быть, уберут из поселка, Дюшка будет первым по силе среди ребят улицы Жан-Поля Марата. Не считая, конечно, Левки Гайзера.

Дюшка гнал от себя Кольку:

— Уходи, макака, по шее получишь!

Колька послушно исчезал, но зла не таил, все равно славил Дюшку: «Честный, храбрей нет никого... Один против Саньки!»

Дюшке разрешили навещать Миньку в больнице. На больничной койке укрытый до подбородка Минька казался почему-то большим, почти взрослым, вовсе не таким шкетом, каким он выглядел на улице. Быть может, потому, что из-под одеяла выглядывала лишь одна Минькина голова, а она крупна еще и потому, что Минькино узкое, с проступающими косточками лицо сильно изменилось.

— Минька,— сказал ему Дюшка при первом же посещении,— мы с тобой теперь братья, в нас одна кровь течет.

Как-то на улице подошел Левка Гайзер, в легкой тенниске, мускулистые руки уже прихвачены загаром, под гнутыми ресницами смущение.

— Давай, старик, что называется, выясним отношения. Лично меня гложет совесть, что я у директорши рассказал о твоем кирпиче. Вроде бы донес, съябедничал.

— А мне, Левка, совесть и совсем покою не дает — ни за что ни про что тебе заехал.

— Все ясно, старик... Я тут над твоими кошкиными секундами думал. Что-то в биологии со временем путаница. Медведь и лошадь примерно поровну живут на свете. Но медведь целые зимы спит. А когда спишь, время сжимается, исчезает даже. Выходит, что у лошади больше времени в жизни, чем у медведя. А если на людей перенестись... Я случайно узнал, что бабка Знобишина в один год с Эйнштейном родилась. Энйнштейн умер, бабка живет, наверно, еще не один год протянет. Сравни их время. Тут уж такая относительность — с ума сойдешь. Вот бы разобраться, найти общий закон.

— Левка, ты что? Ты же бесконечность хотел искать, чтоб люди по второму разу жили.

— Что-то я стал остывать к этой проблеме, Дюшка.

— Да как можно, Левка? Важней этого ничего нет!

— Что-то меня отталкивает, старик. Механистично уж очень.

— Механистично!.. Да плевать! Зато важней ничего нет на свете! А я тут, Левка, такое открыл...— И Дюшка запнулся, но только на секунду: была не была, сказал же Миньке, скажет и Левке.— Открыл, что одна девчонка на жену Пушкина похожа!

— Ну и что?

— Как это что, Левка? Может, она второй раз... Может, она в первую-то жизнь женой Пушкина...

— Ерунда,— серьезно возразил Левка.

— Ты и про кошкины секунды говорил: ерунда. А теперь из-за них важную для людей проблему бросаешь.

— Я же тебе тогда объяснял: бесконечность нужна. А жена Пушкина и всего-то сто лет назад жила — мгновение!

— Сто лет — мгновение? Ну уж!

— Рядом с бесконечностью и тысяча лет мгновение и миллион!

— Все равно вдруг да... атомы, долго ли им. Разве не может такого?

Левка замялся, кисленько замямлил:

— Теоретически, конечно, не исключено. Но уж слишком мала вероятность. Ничтожна.

— Ага! Все-таки может! — восторжествовал Дюшка.

— Теоретически можешь ты вдруг ни с того ни с сего в воздух подняться.

— Ну, это совсем не то.

— То. Вероятность примерно такая же... Кто эта девчонка, если не секрет?

Дюшка ждал этого вопроса и боялся его. И все-таки он застал его врасплох, кровь ударила в лицо, пришлось поспешно отвернуться. «Если не секрет?» Не назови — не знай что подумает. Левка не Минька, не отмахнешься. И Дюшка сказал в сторону, хотел как можно равнодушней, но не получилось — сорвался предательски голос:

— Римка... Братенева.

— А-а.— Голос у Левки не дрогнул.— Нет, Дюшка. Римка — женой Пушкина... Нет. Девчонка как девчонка.

Стало вдруг просто скучно. «Девчонка как девчонка» — обидел Римку. Лучше бы самого Дюшку. Мускулистые руки, загнутые ресницы, дымчатый пушок над верхней губой — красивый парень Левка Гайзер. Красивый и очень умный.

25

А между тем весна шла. Полностью распустились листья на деревьях. Кончились в школе занятия. Миньке в больнице разрешили подниматься с койки, выходить во двор.

Белые нарциссы давным-давно завяли и засохли.

Дюшка вырвал из сочинений Пушкина портрет Натальи Гончаровой, повесил над койкой. Скорей всего, Левка прав: Римка не жила сто лет назад, не умирала, и родилась, как все, и, наверное, как все, проживет всего одну жизнь. Как все, но какое это имеет значение?

Он по нескольку раз в день встречал Римку, и всегда у него обрывалось сердце... По нескольку раз каждый день.

. . . .

Случилось невероятное. А может, это и должно было случиться рано или поздно.

Дюшка первый раз в году выкупался. Река еще не прогрелась, и Дюшка в прилипшей к телу рубашке, с мокрой головой бежал с берега бодрой рысцой, старался согреться. И наткнулся на нее. Она стояла на тропе, ковыряла носком туфли землю. Нельзя же было проскочить мимо, словно не заметил, да и ноги вдруг перестали слушаться.

Дюшка остановился, она подняла голову, и глаза их встретились. У нее от ресниц падала прозрачная тень, и румянец на щеках какой-то глубинный, пушистый, и колечками волосы у нежных висков.

Она спросила:

— Вода очень холодная?

— Не очень.

— А почему ты дрожишь?

— Не от холода.

— Отчего?

Сам для себя неожиданно он сказал:

— Оттого, что тебя вижу близко.

Она нисколько не удивилась, она только опустила ресницы, спрятала под ними глаза. Мягкие тени падали от ресниц, рдел румянец, тронутый незримым пушком, замерли приоткрытые губы. Она ждала, что скажет он дальше, готова слушать затаив дыхание.

И он говорил трудным, горловым, спотыкающимся голосом:

— Римка... я... я... никуда от тебя не могу спрятаться... Я... я... тебя... люблю, Римка.

Тенистые ресницы, застывшее лицо; она слушала, но не собиралась помогать барахтающемуся Дюшке. И Дюшка бросал ей горловые, измятые слова:

— Я знаю, что ты... Что Левка... Я это знаю, Римка... Левка хороший парень. Очень! Он лучше меня... знаю...

И по ее отстраненному, замороженному лицу прошла смутная волна.

— Если хочешь знать, я даже рад, Римка... потому что не кто-нибудь, а Левка... Умней его — никого... Рад, что он...

Он вдруг почувствовал, что его несвязная речь походит на заевшую пластинку, и замолк, уставившись на Римкины ресницы.

А над их головами, над рекой, играющей вдребезги расколотым солнцем, плавала чайка, манерно — и так тебе и эдак! — выламывала крылья, одна в синем океане, капризная от обилия свободы.

Римка ковырнула носком туфли землю, выдохнула:

— Он меня — нет...

— Кто, Римка? Левка, Римка? Тебя, Римка? Нет?

Чуть-чуть кивнула, чуть громче с тоской выдавила:

— Он только книжки свои любит.

Под опущенными ресницами родилась колючая искорка, поиграла робким лучиком и освободилась от плена — прозрачная капелька, нехотя ползущая по глубинному, опушенному румянцу.

Слеза — не по нему. Слеза пролита по другому — счастливцу, не осознающему своего счастья. Хоть кричи! И он еще не успел сказать ей, что она похожа на красавицу Гончарову — «чистейшей прелести чистейший образец». И неизвестно, просто ли похожа, обычна ли? Не из глубины ли времен она? Не из тех ли, кому из века в век изумлялись поэты?

Над головой дыбилось оглушающе синее небо. В синеве белым лепестком поигрывала свободная чайка. В стороне, судорожась в веселой лихорадке, до рези в глазах сверкала река. Лезла из-под земли умытая зелень. Прекрасный мир окружал Дюшку, прекрасный и коварный, любящий играть в перевертыши.

РАСПЛАТА

ПОВЕСТЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

В глубине дома номер шесть по улице Менделеева во втором часу ночи раздался выстрел. Дверь квартиры на пятом этаже распахнулась, из нее вырвалась растерзанная, простоволосая женщина с ружьем в руках, ринулась вниз по лестнице, кружа с этажа на этаж, задыхаясь в бормотании:

— Бож-ж мой!.. Бож-ж мой!.. Бож-ж-ж!..

Спящий город уныло мок под дождем, расплывшиеся фонари, держа на себе громаду холодной и сырой ночи, уходили вдаль, в черную преисподнюю. Женщина с ружьем, отбежав от подъезда, остановилась, дико оглянулась.

Дождь вкрадчиво шептал, дом уходил в небо черной глыбой (темней дегтярной ночи), лишь с дремотной усталостью тускло светились окно над окном по лестничным пролетам да высоко, на пятом этаже, горели ясно и ярко еще два окна. Выстрел никого не разбудил.

Женщина издала стон и, прижимая ружье, бросилась по пустынной улице под фонарями, по лужам на асфальте, в кухонном развевающемся халатике, в тапочках на босу ногу:

— Бо-ож-ж мой!.. Бо-ож-ж!..

Дверь квартиры, откуда выскочила женщина, стояла распахнутой, из нее на сумеречную лестничную площадку щедро лился ровный свет. В этот заполуночный час, когда все запоры замкнуты, одна семья старательно укрылась от другой, огромный дом от фундамента до крыши коченел в обморочной каталепсии, разверстая светоносная дверь могла бы испугать любого — вход в иной мир, в потустороннее, в безвозвратность! Но пугать было некого, все кругом спали...

В дверях появилась тень по-теневому бесшумно, тонкая, угловато-ломкая — насильственные, неверные движения незрячего существа. Человек-тень остановился на пороге, ухватился рукой за косяк. Казалось, его, потустороннего жителя, страшил этот оглушающе тихий, спящий мир. Наконец он собрался с духом и шагнул вперед — долговязый парнишка в майке и узких джинсах, тонкие ноги с неуклюжей журавлиной поступью.

Посреди лестничной площадки он снова остановился, недоуменно оглядываясь — три двери были бесстрастно глухи. Парнишка судорожно вздохнул, двинулся дальше осторожно, робея, как слепой, вниз ощупью по ступенькам лестницы, шорох его шагов срывался вниз, на дно лестничного колодца.

Он спустился всего на один этаж, толкнул себя к обитой чер-

ным дерматином двери и встал, тупо уставясь. Тишина, сковывающая весь дом, сковала и его. Он словно задремал стоя, минуту, может больше, не шевелился. Наконец с усилием выпрямился и нажал на кнопку. За обитой дверью, за глухой каменной стеной послышался въедливо живой звук звонка. Парнишка зябко передернул голыми плечами и снова оцепенел. Ни шороха, ни скрипа, тяжелое молчание дома. Он вновь заставил подняться непослушную руку, на этот раз звонок долго сверлил закованную в бетон тишину.

Смачно дважды щелкнул замок, дверь приоткрылась.

— Кто тут?..— сиплый со сна, недоброжелательный мужской голос.

— Это я...— с конвульсивным выдохом.

Досадливое короткое кряканье, выразительное, как ругательство, и обреченное. Дверь распахнулась — твердый подбородок в суточной щетине, насупленный лоб, но выражение длинного, помятого сном лица брюзгливо-кислое и голос сварливый, нерешительный:

— Опять у вас кошачья свадьба?

— Василий Петрович, я...— У парнишки судорогой свело челюсти.

— Сами покою не знаете и другим не даете...

— Я отца убил, Василий Петрович!

Василий Петрович распрямился в дверях — в сиреневой трикотажной рубашке, узкоплечий, высокий, нескладно костистый, с заметным животиком, выступающим над полосатыми пижамными брюками. Он втянул в себя воздух и забыл выпустить, мелкие глаза стали оловянными, стылыми. А парнишка тоскливо отводил взгляд в сторону.

— Милицию бы вызвать, Василий Петрович...

И мужчина очнулся, рассердился:

— Милицию?.. Ты шуточки шутить среди ночи!.. Чего мелешь?..

— Я... его... из ружья.

За спиной Василия Петровича всплеснулся вихревой шум, вспыхнул яркий свет, мелькнули пружинно вскинутые тонкие косички, бледное лицо в болевой гримаске, тонкая рука, стягивающая ворот халатика у горла.

— Коля! Что?!

Василий Петрович попытался загородить собой парнишку:

— Марш отсюда! Без тебя!.. Без тебя!..

— Что, Коля?!

Коля молчал, гнул голову, прятал лицо.

— Сонька! Кому сказано — не суйся!

— Ко-ля!!

— Соня... Я — отца... Милицию бы...

— Папа, что он?.. Скажи, папа!

— Эдакое в чужой дом нести... Стыда у них ни на грош! — снова сварливо-бабье, беспомощное в голосе Василия Петровича.

Из глубины квартиры выплыла женщина в косо натянутом платье — спутанные густые волосы, лицо сглаженное, остановившееся, бескровная маска.

— Мама! — кинулась к ней Соня.— У них что-то страшное, ма-ма!

— Но почему он к нам? Что мы, родня ему близкая?

— Мама!!

И мать Сони слабо вступилась:

— Да куда же ему идти, Вася?

Парнишка глядел в пол, зябко тянул к ушам голые плечи.

— Василий Петрович, в милицию... позвоните.

За спиной Василия Петровича мелькнули пружинные косички, повеяло ветерком от разметнувшихся пол халатика, Соня кинулась в глубь прихожей, раздался мягкий стрекот телефонного диска.

— Алло! Алло! — высокая, на срыве колоратура.— Аркадий Кириллович, это я, Соня Потехина!.. Аркадий Кир-рил-ло-вич!..— Всхлип со стоном.— У Коли Корякина... Приезжайте, приезжайте, Аркадий Кириллович! Скорей приезжайте!..

Соня звонила не в милицию, а их школьному учителю.

А по темному, мокрому, пустынному городу бежала женщина в халатике, прижимая к груди ружье. Слипшиеся от дождя волосы закрывали лицо.

— Бо-ож-ж мой... Бо-ож-ж!..

2

Аркадий Кириллович жил неподалеку — всего какой-нибудь квартал,— но как, однако, неуклюж и бестолков бывает внезапно разбуженный человек, за десятилетия мирной жизни отвыкший вскакивать по тревоге. Пока опомнился, осмыслил, ужаснулся, пока в суете и спешке одевался — носки проклятые запропастились! — да и резво бежать под дождем в свои пятьдесят четыре года уже не мог, вышагивал дергающейся походочкой.

Дом по-прежнему спал, по-прежнему вызывающе светились лишь два окна на пятом этаже.

Из подъезда выдвинулся человек — угрожающе массивный, утопивший в плечах голову,— полуночный недобрый житель. Приблизившись вплотную, он заговорил плачущим, зыбким голосом:

— Дети — отцов! Дети — отцов! Доучили!..

— Кто вы?

— Не узнали?

— Василий Петрович! Где тут узнать.

Отец Сони Потехиной — в просторной дошке с меховым воротником, делавшей его внушительно плечистым.

— Все-таки помните — и на том спасибо. Я вот вас встречать выбежал...

Натянутый на лоб берет, невнятный в темноте блеск глаз и то ли раздраженный, то ли просто раздерганный голос:

— ...встречать выбежал, чтоб поделиться: был там, видел! Дети — отцов! Дети — отцов! Конец света!..

— «Скорую» вызвали?

— Нужна теперь «скорая», как столбу гостинец. В упор разнес... В самое лицо, паршивец... Сын — в отца!

— Пошли! Вдруг да помочь можно.

— Ну не-ет! С меня хватит. Не отдышусь... А вы полюбуйтесь, вам ох как нужно! Авось да поймете, что я теперь понял.

— О чем вы?

— О том, что страшненькое творите. Такой хороший, такой уважаемый, тянутся все: советик дайте... Очнуться пора!

— Ничего не пойму.

— Конечно, конечно... Может, потом поймете. Сильно надеюсь! — Василий Петрович вцепился в рукав, приблизил к лицу Аркадия Кирилловича дрожащий подбородок, жарко дыхнул: — Ненормальные дети растут. Не замечали? И Сонька моя тоже ненормальная...

Аркадий Кириллович с досадой освободился от его руки:

— Отложим выяснения. Теперь не время!

— Не время, нет! Поздновато. Случилось уже, назад не вернешь. Раньше бы выяснить!..

Последние слова Василий Петрович уже кричал в спину учителя.

Темные лестничные пролеты выносили Аркадия Кирилловича на скупо освещенные площадки — первый этаж, второй, третий... Он поднимался, и росла неясная тревога, вызванная неожиданной встречей с Василием Петровичем,— похоже, упрекал его, и с непонятным раздражением. До сих пор гнало одно: стряслось несчастье, нужна помощь! И спешил, не спрашивая себя: чем поможет, что сделает? Сейчас с каждым шагом наваливалось смутное ощущение — откроется неведомое, оборвется привычное. Впервые пришла оглушающе простая мысль: его ученик убил! Странно, что сразу не оглушило — его ученик! Не связывал с собой...

А с Василием Петровичем Потехиным он был в хороших отношениях, знал его даже не только как родителя одной из учениц: не так давно принимал участие в его судьбе, выслушивал жалобы, давал советы, направлял к нужным людям... Потехин раздражен — непонятно.

После крутой лестницы заколодило дыхание и сердце нервно

билось в ребра. Аркадий Кириллович остановился на последнем этаже.

Перед ним распахнутая дверь, из которой щедро лился свет. Кусок паркетного пола с половичком, кусок стены, обклеенной бледными обоями, с какой-то журнальной картинкой: синее с красным, что-то сочное, но не разберешь издалека. Кусочек обжитого мирка, каких больше сотни в этом доме, сотни в соседних домах, сотни тысяч во всем городе. И каждый наособицу. Семьи, как люди, не схожи друг с другом. Вход в мир? Да нет, этот мир уже рухнул. Он стоит в пяти шагах от катастрофы. И с новой силой охватило тяжелое, почти суеверное предчувствие: стоит шагнуть ему в эту распахнутую дверь, как его жизнь, налаженная, устоявшаяся, сломается. За этой ярко освещенной дверью его ждет не только покойник, а и еще что-то неведомое, опасное, от чего можно уберечься, только отступив.

Но что-то пригнало же его к этой двери, что-то властное, среди ночи. Отступить не может.

Отдышавшись, Аркадий Кириллович двинулся к двери, заранее испытывая и брезгливость и подмывающее возбуждение — окунается в атмосферу преступления, о какой много приходилось читать, но самому окунаться — ни разу.

Картинка, висевшая на стене против входа,— реклама, вырезанная из иностранного журнала: у синего моря, на оранжевом пляже красная, зализанная, устрашающе длинная машина с откидным верхом, возле нее улыбалась всеми зубами загорелая поджарая блондинка в предельно скудном купальнике.

В конце коридора у дверей в комнату — тоже распахнутых, входи! — валялась мужская туфля, нечищеная, поношенная, с крупной ноги. Аркадий Кириллович осторожно перешагнул через нее.

Он в свое время видел немало убитых — речка Царица в Сталинграде была завалена смерзшимися, скрюченными трупами в уровень своих обрывисто-высоких берегов. Но там мертвые — часть пейзажа искромсанного, изуродованного, спаленного и... привычного.

Здесь же ярко, заполночным бешеным накалом горела под потолком люстра с пылающими хрустальными подвесками и напоенный яростным светом воздух застыл в тягостной неподвижности. Парадно большой телевизор в сумрачной лаковой оправе взирал слепо и равнодушно плоской туманно-серой квадратной рожей. Широкая кровать бесстыдно смята, одна из подушек валялась на полу. И всюду по сторонам сверкают осколки разбитой стеклянной вазы.

А под переливчатой накаленной люстрой через всю комнату наискосок — он, распластанный по полу, удручающе громоздкий.

Тонкая, синтетически лоснящаяся рубашка обтягивает широкую мощную спину, голова в кудельных сухих завитках волос прилипла к черной, до клейкости густой луже на паркете. От нее прокрался под раскоряченные ножки телевизора столь же дегтярно-черный, вязко-тягучий ручеек. И торчащие крупные ступни в несвежих бежевых носках, и одна рука неловко вывернута в сторону, мослаковатая, жесткая, с изломанными ногтями — рабочая рука. Аркадий Кириллович почувствовал подымающуюся тошноту; в помощи этот человек уже не нуждался.

3

То была их вторая встреча.

Года три назад Аркадий Кириллович поднялся в эту комнату (тогда она выглядела обычно и совсем не запомнилась). Коля Корякин — еще шестиклассник — плохо учился, вызывающе грубил учителям, часто срывался на истерику. И тогда-то в школе заговорили: у мальчика неблагополучная семья, отец пьет, скандалит, сыну приходится прятаться от него по соседям. Надо было принимать какие-то меры, и, как всегда, срочно. Меры, а какие?.. В распоряжении школы есть всего одна, прекраснодушно-ненадежная — поговорить с непутевым родителем, воззвать к его совести. Никакой другой силой влияния учителя не наделены.

За эту не сулящую успеха операцию никто не брался — взялся он, Аркадий Кириллович.

Он явился утром в воскресенье с расчетом, чтоб не напороться на пьяного отца. Перед ним предстал рослый мужчина, еще заспанный, в нательной рубахе не первой свежести, со спутанной соломенной волосней, с тем ошпаренным цветом лица, который бывает лишь у особого типа блондинов. Само же лицо, правильное, с твердым крупным носом, плоским квадратным подбородком, выражало затаенное брезгливое страдание — след похмелья,— выбеленно-голубые, на парной красноте глаза были увиливающе-угрюмы.

Аркадий Кириллович сразу понял, что этого человека никакими увещеваниями не проймешь, вежливость он примет за робость, искренность — за желание обмануть, сострадание к сыну — за притворство. И потому Аркадий Кириллович заговорил со спокойной категоричностью, за которой должна была чувствоваться расчетливая агрессия, дающая понять — грубости не потерплю, возражений в повышенных тонах слушать не буду.

— Если в семье обстановка не изменится,— заключил он короткую и энергичную декларацию,— жизнь вашего сына окажется искалеченной. Хотите взять на свою совесть эту вину?

Темные губы скривились, белесые глаза убежали в сторону,

упрямое, вызывающее выражение — видали мы таких праведничков! — не вызрев, скисло на воспаленной физиономии, лишь раздраженность прорвалась сухим скрипом в голосе:

— Мое дело — накормить и обуть. Голодным мой сын не сидит, нагим не ходит. А воспитывать там — ваша забота. Вам за это держава деньги платит.

Спорить и доказывать бессмысленно, Аркадий Кириллович встал, стараясь поймать увиливающий взгляд, жестко произнес:

— Зарубите себе на носу: случится что с вашим сыном, нам даже не придется предъявлять особые доказательства вашей вины. Они слишком очевидны, так что — берегитесь!

Корякин-отец не взвился — стерпел, поверил в угрозу. Хотя какая там угроза, ни Аркадий Кириллович, ни школа ничем его не могли наказать. Детское воспитание подавляюще зависит от родителей, а родители же полностью независимы от педагогов. Но в ту минуту Корякин-отец был трезв, а значит, и не храбр.

Встречаться вновь нужда отпала — Коля Корякин вдруг резко изменился, из трудных учеников стал нормальным.

И вот — плашмя поперек комнаты, вязкая лужа крови на паркете... Сын — отца.

Аркадий Кириллович вздрогнул — в мертвой комнате неожиданно раздался хрип!.. Но хрип взорвался громоподобным звоном: бом-м! бом-м! бом-м! Часы на стене в черном длинном деревянном футляре отбили три часа ночи. Они одни втихомолку жили в этой комнате, в застекленном оконце мелькал ясный лик маятника. Сразу же стало слышно размеренное тиканье — скупые, вкрадчивые и неумолимые шажки времени.

И Аркадий Кириллович очнулся: а, собственно, почему он здесь? Зачем ему видеть этот труп, испытывать тошноту? Он же сорвался с постели ради того, кто пока жив,— Коли Корякина, своего ученика. Коля находится этажом ниже...

Страшный и простой факт, которому он все еще не осмеливается верить,— вот под яростно пылающей люстрой жертва... его ученика! Учил Колю Корякина не биному Ньютона, не далеким крестовым походам, а тому, как страдали за людей Пушкин, Толстой, Достоевский...

Оказалось, надо совершить усилие, чтоб отвернуться от убитого. Аркадий Кириллович, волоча непослушные ноги, двинулся прочь, старательно переступил через разношенную туфлю на пороге комнаты, прошествовал мимо соблазнительно улыбающейся блондинки у синего моря, но у распахнутой в спящий мир двери повернул... на кухню. Не готов к встрече. Надо — пусть не понять — хотя бы обрести равновесие.

Кухня уютно-тесная, белая, оскорбительно покойная, прибран-

ностью и порядком притворяющаяся — не ведает, что случилось рядом за стеной. Узенький столик у стены покрыт клеенкой с веселыми цветочками. Аркадий Кириллович тяжело опустился за него.

4

Женщина с ружьем оказалась почти на окраине города, в новом районе, где дома без конца повторяют друг друга, где фонари реже, дождь, кажется, сыплет гуще, закоулки темней, а ночь глуше, неуютней, безнадежней.

Женщина свернула за угол одного ничем не отличающегося от других пятиэтажного здания, тихо постанывая: «Бож-ж... Бож-ж...»,— протрусила наискосок через просторный двор, оказалась у флигелька, каким-то чудом уцелевшего с прежних, дозастроечных времен, сохранившего среди утомительно величавого стандарта свою физиономию, облупленную, скривившуюся, унылую.

Женщина пробарабанила в окно, и оно, помешкав, вспыхнуло, вырвав из тьмы одичавшее, залепленное мокрыми волосами лицо, зловеще залоснившиеся стволы ружья...

Маленькая комнатушка была беспощадно освещена свисавшей с потолка голой лампочкой. Переступив порог, женщина с грохотом выронила ружье, бессильно опустилась на пол, и сиплый, гортанный полукрик-полустон вырвался из ее горла.

— Тихо ты! Соседей побудишь.

Рослая старуха, впустившая ее, глядела сонно, недобро, без удивления.

— Ко-оль-ка-а!.. Отца-а!.. Насмерть!

Женщина надсадно тянула худую шею в сторону старухи, сквозь волосы, запутавшие лицо, обжигали глаза.

Старуха оставалась неподвижной — пальто, наброшенное на костлявые плечи поверх ночной рубахи, босые, уродливые, с узловатыми венами ноги, жидкие, тускло-серые космы, длинное, с жесткими морщинами, деревянное лицо — непробиваема, по-прежнему недоброжелательна.

— Евдокия-а! Колька же!.. Отца!.. Из ружья!..

Легкое движение вскосмаченной головой — мол, понимаю! — скользящий взгляд на двустволку, затем осторожно, чтоб не свалилось пальто, старуха освободила руку, перекрестившись в пространство, неспешно, почти торжественно:

— Царствие ему небесное. Достукался-таки Рафашка!

Всем телом женщина дернулась, вцепилась обеими руками себе в горло, забилась на полу:

— В-вы!.. Что в-вы за люди?! Кам-ни-и! Кам-ни!! Он никого не жалел, и ты... Ты — тоже!.. Ты же мать ему — слезу хоть урони!.. Камни-и-и бесчувственные!!

Старуха хмуро глядела, как бьется на полу рядом с брошенным ружьем женщина.

— Страш-но-о!! Страш-но-о среди вас!!

— Ну хватя, весь наш курятник переполошишь.

Тяжело ступая босыми искривленными ногами по неровным, массивным, оставшимся с прошлого века половицам, старуха прошла к столу, налила из чайника воды в кружку, поднесла женщине:

— Пей, не воротись... Криком-то не спасешься.

Женщина, стуча зубами о кружку, глотнула раз-другой — обмякла, тоскливо уставилась сквозь стену, оклеенную пожелтевшими, покоробленными обоями.

— Дивишься — слезы не лью. Оне у меня все раньше пролиты — ни слезинки не осталось.

Минут через пятнадцать старуха была одета — длинное лицо упрятано в толстую шаль, пальто перепоясано ремешком.

— Встань с пола-то. И сырое с себя сыми, в кровать ляг,— приказала она.— А я пойду... прощусь.

По пути к двери она задержалась у ружья:

— Чего ты с этим-то прибегла?

Женщина тоскливо смотрела сквозь стену и не отвечала.

— Ружье-то, эй, спрашиваю, чего притащила?

Вяло пошевелившись, женщина выдавила:

— У Кольки выхватила... да поздно.

Старуха о чем-то задумалась над ружьем, тряхнула укутанной головой, отогнала мысли.

— Кольку жаль! — с сердцем сказала она и решительно вышла.

5

Он считал: педагог в нем родился одной ночью в разбитом Сталинграде.

Кажется, то была первая тихая ночь. Еще вчера с сухим треском лопались мины среди развалин, путаная канитель пулеметных длинных и лающе-коротких автоматных очередей означала линию фронта, и дышали «катюши», покрывая глухими раскатами изувеченную землю, и на небе расцветали ракеты, в их свете поеживались причудливые остатки домов с провалами окон. Вчера была здесь война, вчера она и кончилась. Поднялась тихая луна над руинами, над заснеженными пепелищами. И никак не верится, что уже нет нужды пугаться тишины, затопившей до краев многострадальный город. Это не затишье, здесь наступил мир — глубокий, глубокий тыл, пушки гремят где-то за сотни километров отсюда. И хотя по улицам средь пепелищ валяются трупы, но то вчерашние, новых уже не прибавится.

И в эту-то ночь неподалеку от подвала бывшей одиннадцатой школы, где размещался их штаб полка, занялся пожар. Вчера никто бы не обратил на него внимания — бои идут, земля горит,— но сейчас пожар нарушал мир, все кинулись к нему.

Горел немецкий госпиталь, четырехэтажное деревянное здание, до сих пор счастливо обойденное войной. Горел вместе с ранеными. Ослепительно золотые, трепещущие стены обжигали на расстоянии, теснили толпу. Она, обмершая, завороженная, подавленно наблюдала, как внутри, за окнами, в раскаленных недрах, время от времени что-то обваливается — темные куски. И каждый раз, как это случалось, по толпе из конца в конец проносился вздох горестный и сдавленный — то падали вместе с койками спекшиеся в огне немецкие раненые из лежачих, что не могли подняться и выбраться.

А многие успели выбраться. Сейчас они затерялись среди русских солдат, вместе с ними, обмерев, наблюдали, вместе испускали единый вздох.

Вплотную, плечо в плечо с Аркадием Кирилловичем стоял немец: голова и половина лица скрыты бинтом, торчит лишь острый нос и тихо тлеет обреченным ужасом единственный глаз. Он в болотного цвета тесном хлопчатобумажном мундирчике с узкими погончиками, мелко дрожит от страха и холода. Его дрожь невольно передается Аркадию Кирилловичу, упрятанному в теплый полушубок.

Он оторвался от сияющего пожарища, стал оглядываться — кирпично раскаленные лица, русские и немецкие вперемежку. У всех одинаково тлеющие глаза, как глаз соседа, одинаковое выражение боли и покорной беспомощности. Свершающаяся на виду трагедия ни для кого не была чужой.

В эти секунды Аркадий Кириллович понял простое: ни вывихи истории, ни ожесточенные идеи сбесившихся маньяков, ни эпидемические безумия — ничто не вытравит в людях человеческое. Его можно подавить, но не уничтожить. Под спудом в каждом нерастраченные запасы доброты — открыть их, дать им вырваться наружу! И тогда... Вывихи истории — народы, убивающие друг друга, реки крови, сметенные с лица земли города, растоптанные поля... Но историю-то творит не господь бог — ее делают люди! Выпустить на свободу из человека человеческое — не значит ли обуздать беспощадную историю?

Жарко золотились стены дома, багровый дым нес искры к холодной луне, окутывал ее. Толпа в бессилье наблюдала. И дрожал возле плеча немец с обмотанной головой, с тлеющим из-под бинтов единственным глазом. Аркадий Кириллович стянул в тесноте с себя полушубок, накинул на плечи дрожащего немца, стал выталкивать его из толпы:

— Шнель! Шнель!

Немец без удивления, равнодушно принял опеку, послушно трусил всю дорогу до штабного подвала.

Аркадий Кириллович не доглядел трагедию до конца, позже узнал — какой-то немец на костылях с криком кинулся из толпы в огонь, его бросился спасать солдат-татарин. Горящие стены обрушились, похоронили обоих. В каждом нерастраченные запасы человечности. Историю делают люди.

Бывший гвардии капитан стал учителем и одновременно кончал заочно пединститут.

Школьные программы ему внушали: ученик должен знать биографии писателей, их лучшие произведения, идейную направленность, должен уметь по заданному трафарету определять литературные образы — народен, реакционен, из числа лишних людей... И кто на кого влиял, кто о ком как отзывался, кто представитель романтизма, а кто — критического реализма... Одного не учитывали программы: литература-то показывает человеческие отношения, где благородство сталкивается с подлостью, честность с лживостью, великодушие с коварством, нравственность противостоит безнравственности. Отобранный и сохраненный опыт человеческого общежития!

Ты возмутился хозяйкой Ваньки Жукова, жалующегося в письме к деду: «Взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать». Но не странно ли — ты совсем не возмущаешься, когда знакомый старшеклассник просто так, походя, ради удовольствия отпускает затрещину пробегающему мимо малышу. Сильный на твоих глазах обижает слабого потому только, что он сильный. Достойный ли ты человек, если относишься к этому равнодушно?

Вы прочитали роман Толстого «Воскресение», давайте пофантазируем: что, если бы Нехлюдов от внутренней трусости или стыда отвернулся от Кати Масловой? Как бы он жил дальше? Женился? Обзавелся семьей? Был бы спокоен?..

Литература помогла Аркадию Кирилловичу завязать в школе сложное соперничество за достоинство: кто чувствовал в себе силу, выискивал случай кинуться на защиту слабого; слабый гордился собой, если мог сказать нелестную правду в глаза сильному; невиновный сносил наказание за чужие грехи молча, но горе тому, кто трусливо допустит, чтоб за его вину наказали другого...

Во всем этом, да, было много игры и много показного. Но можно ли сомневаться, что со временем у детей показное благородство не станет привычкой, а игра — жизнью? В последние годы даже инспектора гороно публично отмечали: ученик сто двадцать пятой школы своим поведением завидно отличался от учеников других школ.

Аркадий Кириллович верил, что от него идут в большую жизнь духовно красивые люди, не способные ни сами обижать других, ни мириться с обидчиками, не терпящие подлости и обмана, сознающие свое моральное превосходство. И те, с кем будут они сталкиваться, невольно начнут оглядываться на себя. В любом человеке таятся запасы человечности. Аркадий Кириллович ни на минуту не забывал перемешанную толпу бывших врагов перед горящим госпиталем, толпу, охваченную общим страданием. И безызвестного солдата, кинувшегося спасать недавнего врага, тоже помнил. Он верил: каждый из его учеников станет запалом, взрывающим вокруг себя лед недоброжелательства и равнодушия, освобождающим нравственные силы. Историю делают люди. Он, Аркадий Кириллович Памятнов, рядовой педагог, вносит в историю свой скромный вклад...

Он верил сам и заставлял верить других. К нему тянулись, к его слову прислушивались, его совета искали не только ученики, но и их родители. И Соня Потехина в отчаянье бросилась звонить среди ночи не кому-то, а ему!

Сейчас Аркадий Кириллович сидел в кухне, подперев кулаком тяжелую голову. За стеной, в нескольких шагах лежал рослый мужчина с черепом, развороченным выстрелом из ружья. Его ученик убил своего отца! Его ученик... Один из тех, кто вызывал в нем горделивую веру.

Что это? Случайная гримаса судьбы или же жесткое наказание за допущенную ошибку?

Если и сумеет тут кто-то подсказать, то только он — Коля Корякин. Если сумеет...

Тишина кругом. Аркадий Кириллович уже собирался подняться, чтоб идти вниз, как вдруг услышал крадущиеся шаги. Он вздрогнул, распрямился и... увидел в дверях кухни все того же Василия Потехина в натянутой на лоб беретке, в широкой дошке с меховым воротником.

6

— Не вытерпел. Пришел спросить: увидели?.. Ну и как?..

Прежнее необъяснимое недружелюбие в голосе и настороженная неприязнь в глазах.

Лицо Василия Петровича всегда поражало несогласованностью: крупный подбородок и под беретом обширный лоб мыслителя, а между ними суетно-невыразительные черты, вздернутый, вдавленный в переносье нос, дряблая бескостность на месте скул, маленький аккуратный женский рот, почти неприличный над крутым подбородком. Похоже, господь бог замыслил вылепить человека и умным и волевым, но сплоховал, измельчил, напутал, так и выпустил в свет недоделанным.

— Коля у вас? — спросил Аркадий Кириллович.— Я хочу его видеть.

— А зачем?

— Василий Петрович, что с вами?

— Прозрел.

— В чем?

— В том, какой вы опасный.

— Не очень-то удобно выяснять сейчас отношения, но уж раз начали — договаривайте.

— Все умиляются на вас, и я тоже, как все...— Василий Петрович качнул беретом в сторону комнаты, где лежал убитый.— Охладило. А вам... Позвольте вас спросить: вам ничего?.. Вас совесть не грызет?

Неужели этот человек разглядел со стороны то, что мучило смутными подозрениями? Аркадий Кириллович почувствовал зябкость в спине. Но волнения не выдал, спросил спокойно:

— Вы считаете — между убийством и мной есть прямая связь?

— Прямая? Да нет, кривенькая, с загибчиками...

— Докажите.

— Не смей мириться с плохим — требовали от ребят?

— Требовал.

— И будь хорошим без никаких уступочек — тоже требовали?

— Тоже.

— Так что ж выходит: поперек жизни становись, ребятки. Вникните — страшно же это! Малая щепка реку не запрудит.

— Считаете, что я как-то настроил Колю Корякина?

— Считаю: подвели мальчишку, как меня в свое время.

— Вас?..

Василия Петровича всего передернуло, даже голос у него сразу стал тоньше:

— А то нет! Был человек человеком, растущим инженером считали. Так стукнуло меня к вам сунуться — справедливости великой, видите ли, захотелось. А вы известный специалист по справедливости, апостол святой! И полез я с вашей святостью, как Иван-дурак с плачем на свадьбу, другим настроение испортил, а сам с помятыми боками за дверью оказался. Кто я теперь?.. Наряды выписываю на починку газовых плиток. К большому делу не допускают — людей подвел.

— Так я виноват в том, что не отказал вам в помощи?

Василий Петрович резко подался вперед, словно сломался в пояснице — разлившиеся зрачки, задранный нос, кривящиеся губы:

— Не помогайте! Просить будут — никогда не помогайте! От-

казывайте! — С жарким дыханием, шепотом: — Хуже людям сделаете.

И этот выпад, горячее до ненависти убеждение наконец-то возмутили Аркадия Кирилловича.

— Мне пятьдесят четыре года,— сказал он жестко и холодно.— За свою жизнь я многим помог, благодарностей слышал достаточно, а вот такие упреки — только от вас.

Василий Петрович откачнулся, сразу потускнел, стал просто хмур.

— И я благодарил, если помните... Теперь вот опомнился,— проворчал он в сторону.— Да во мне ли дело? В Соньке... Дочь мне родная, боюсь за нее. Доучите вы ее — тоже на рога полезет... Ну-у нет! Не хочу! Переведу из школы...

В это время за темным окном, внизу, со дна ночной ямы, послышался шум моторов, скрип тормозов, хлопанье дверок, смутные голоса. Василий Петрович передернул плечами, подобрался:

— Милиция подкатила. Наконец-то!

Он боком двинулся к двери, но в дверях задержался, обернулся к Аркадию Кирилловичу, бросил:

— А Гордин-то прав! Во всем прав!

Бесшумно исчез.

Гордин?.. В свое время Потехин постоянно произносил эту фамилию, и каждый раз с выстраданным проклятием. Даже для Аркадия Кирилловича неведомый Гордин стал олицетворением нечистоплотности, лживости, безудержного корыстолюбия. Пока не забылся.

А по лестнице прибойной волной стали нарастать шаги. Чем ближе, тем, казалось, больше становилось идущих, словно на каждом этаже распахивались двери, присоединялись люди, росла толпа.

Аркадий Кириллович опоздал к Коле Корякину, сейчас милиция возьмет его под свою опеку, придется просить разрешения свидеться.

Аркадий Кириллович поднялся, чтоб встретить надвигающуюся процессию.

7

Невысокий человек с фатоватой выправочкой, в ладно сидящем темном плаще, в глянцевитой от дождя легкомысленной кожаной кепочке с намеком на козырек, лицо скуластенькое, несолидные усики и быстрые, цепкие черные глаза.

— Я инспектор уголовного розыска Сулимов, а вы кто? — спросил он чеканно. За начальственной строгостью пряталась молодая простодушная задиристость.

— Я учитель Памятнов, Аркадий Кириллович.

— И что вы здесь делаете?

— Пока ничего. Только переживаю.

— Гм...

Инспектор Сулимов оживленно ощупывал блестящими смородиновыми глазками, явно оценивал столь неуместного возле преступления пожилого, представительного учителя с внушительным, иссеченным крупными складчатыми морщинами лицом.

— Это мой ученик...— выдавил Аркадий Кириллович.

— Вы здесь живете? Как вы сюда попали раньше нас?

— Здесь живет еще одна моя ученица. Она вызвала меня по телефону.

— И часто вас так... среди ночи?

— Впервые.

— Все-таки что же вы намереваетесь тут делать?

— Вот собирался встретиться с ним. И не успел.

— С преступником?

— Он для вас преступник, для меня — ученик.

— Надеетесь чем-то ему помочь?

— А вы считаете, что он не нуждается в помощи?

— Нет, не считаю.

— Ну так если кто-то и сможет помочь ему, то, думается, только я. Его матери самой, наверное, нужна помощь.

— Однако вы самонадеянны. Уж не думаете ли, что способны снять с него вину?

— Его виной займетесь вы. Я — им самим.

— Что это значит?

— Это значит, что он не случайно сорвался на столь ужасный поступок, заставило что-то страшное. И нетрудно представить, в каком состоянии он теперь находится. Кто-то должен понять его, кто-то, кому он может довериться. А мне он всегда доверял.

Сулимов задумался, отвел в сторону взгляд. Из комнаты, где лежал убитый, доносились озабоченные голоса, там уже действовали его помощники.

— А он нормален? — осторожный вопрос.

— Вполне.

— Тем хуже,— нахмурился Сулимов.

— Так вы разрешите мне сейчас поговорить с ним? — попросил Аркадий Кириллович.

— Аркадий Кириллович!..— торжественно уставился прямо в глаза Сулимов, всем своим лицом показывая, что не упустил из разговора ни одного слова, даже имя-отчество с лета запомнил.— Аркадий Кириллович, не лучше ли нам поговорить с ним вместе? Вы нам поможете что-то открыть, мы — вам.

— Я даже не уверен, товарищ Сулимов, что он распахнется и передо мной одним, а уж при вас скорей всего совсем замкнется.

— Я не могу допустить вас к нему, пока сам не допросил. Вообще до окончания следствия свидания не разрешены.

Аркадий Кириллович надолго подавленно замолчал, Сулимов пытливо косил на него острым глазом, наконец заговорил:

— Ему же будет легче, если первый допрос пройдет в присутствии учителя, которому привык верить. На меня он невольно станет глядеть — враг перед ним, и беспощадный. А если окажетесь рядом вы, значит, поймет — имеет дело не с врагами. Не лишайте его поддержки.

Аркадий Кириллович помедлил, навесив брови, деревенея тяжелыми складками, неуверенно согласился:

— Что ж... Выбора у меня нет. Пусть будет так. Мне прикажете ждать?.. И долго?..

Появился озабоченный офицер милиции, хмуро доложил Сулимову:

— Наповал... А ружья вот нигде не найдем.

— Не думаю, что долго,— ответил Сулимов Аркадию Кирилловичу.— Дело, по всему видать, ясное, петельки распутывать не придется... Пошли, Тищенко.

Аркадий Кириллович снова остался один в кухне.

За стеной часы, висящие над убитым, хрипло пробили четыре раза — мрачный благовест.

8

Сулимов, однако, исчез надолго.

Вокруг шла непонятная толкотня. Появлялись и исчезали новые люди — некто, увешанный фотоаппаратами; растерянная и перепуганная пара: женщина в рабочем ватнике и небритый мужчина в коробом сидевшей кожимитовой куртке (должно быть, дворники); санитары в белых халатах о чем-то шумно заспорили с милицией, оставили после себя в прихожей громоздкие носилки. Мельканье людей, хлопанье дверей, душно и жарко, а перед глазами — под яростной люстрой рослый детина, прилипший соломенной головой к черной луже...

Все дико, чуждо, все нереально — не верится, что за окном в сырой тьме стоит знакомый город, что через несколько часов для всех начнется обычный день, люди проснутся, сядут завтракать, побегут на работу. Кошмарный сон...

Самым невнятным из всего, вызывающим сосущую тревогу, был недавний разговор с Василием Петровичем Потехиным. Теперь на досуге Аркадий Кириллович с подозрительной придирчивостью перебирал все, что случилось прежде между ними.

А случилось в общем-то самое обычное. Однажды в школе после родительского собрания Потехин подошел к Аркадию Кирилловичу, глядя кроличьими глазами, стал рассказывать: рабо-

тает в самом крупном СМУ города, руководит там газовым хозяйством, укладывает газовые трубы, когда дома уже стоят, а дворы и подъездные пути залиты асфальтом, пробивает через этажи дымоходы, когда стены оштукатурены, покрашены, полы покрыты паркетом, рабочие постоянно простаивают, чтоб их задобрить, приходится приписывать им взятую с потолка работу — словом, на стройке разнузданный шабаш, обходящийся государству во многие сотни тысяч рублей. Василий Потехин просил совета. Какой еще мог дать совет Аркадий Кириллович: терпи, участвуй и дальше в расхитительстве? Да, он настроил Василия Петровича, да, помог ему связаться и с обкомом и с городскими курирующими организациями...

То ли Василий Петрович Потехин оказался жидок для крупной войны, то ли слишком могущественным был его противник — некий Гордин, ворочавший СМУ, но волна прошла, поднятая шумиха утихла, и Василий Потехин оказался не у дел.

Он и потом жаловался Аркадию Кирилловичу, строил перед ним планы возмездия: Гордин, баснословный растратчик, Гордин, бесстыдный очковтиратель, Гордин, мастер всучивать взятки и крутить интриги, Гордин должен быть упрятан в тюрьму, на меньшее Василий Петрович не соглашался. Но очень скоро смирился, притих и уже не встречался с Аркадием Кирилловичем. Эпопея забылась, у Аркадия Кирилловича хватало своих забот.

И вот сейчас Потехин снова вспомнил... Можно, пожалуй, как-то объяснить его обиду на советчика — на лихое толкнул! Но чем объяснить его признание — Гордин прав?..

Далекий Гордин вдруг странным образом связался с непоправимым поступком близкого Коли Корякина. В другое бы время Аркадий Кириллович отмахнулся: какая там связь — воспаленный бред! Но в эту ночь все странно, все чудовищно неправдоподобно, ничего не понятно, приходится с придирчивостью вглядываться и в то, что кажется бредовым.

Уже не раз из комнаты покойника раздавался сиплый бой часов, всегда пугающе неожиданный, заставляющий вздрагивать, а Сулимов не появлялся.

9

Он вошел в кухню, но не один: за ним ввалилась рослая старуха в подпоясанном пузырящемся пальто, тепло укутанная платком. Позади старухи маячила милицейская фуражка.

— Не проси лучше, бабушка,— терпеливо убеждал старуху Сулимов.— Не для глаз матери картинка.

За время отсутствия он, видать, бурно действовал — плащ скинут, кепочка сбита на затылок, лицо запаренное, не утратившее энергичности, в щеголеватом, полуспортивного покроя костюме

некая разлаженность, и галстук сполз в сторону, и сорочка под ним расстегнута на одну пуговицу.

— Я, милый, к страшному-то привыкла,— обрезала сурово старуха.— Не жалей меня.

— К такому не привыкают, мать. И потом, там сейчас работа...

— А я не уйду, покуда его не увижу. Сын же он мне, сын родной, бесчувственные вы!

— Что ж, жди. Будут выносить — позовем.

— На улицу не пойду. Здесь останусь. Не молоденькая, чтоб на ногах...

— Усадите ее где-нибудь,— распорядился Сулимов.

Милиционер, маячивший за спиной старухи, выступил вперед, бережно взял за локоть:

— Я тебе, бабка, стульчик вынесу, у дверей подежуришь. А здесь не положено. Никак!

— Ну все. Ради бога простите,— обратился Сулимов к Аркадию Кирилловичу.— Сейчас мы поедем в управление.

За стеной вдруг раздался вой, хриплый, нечленораздельный, удушливый. Сулимов дернулся с места, но выскочить не успел — в дверях вырос смущенный Тищенко:

— Старуха эта вырвалась, перехватить не успели. Откуда только и резвость взялась.

— Голо-овуш-ка-а горька-ая-а! Жи-ызнь моя-а распрокля-а-та-ая-а! — Хриплый вой обрел членораздельность.

— Упала на труп, вцепилась — не отдерешь! — Тищенко крутанул фуражкой.— Ага! Подняли... Ишь ты, на ногах не стоит, на ручках неси... Посадите на лестнице, пусть поостынет.

У Сулимова ощетинились усики, блеснули под ними мелкие зубы:

— Тищенко! Ты чем думаешь? Мать убитого сына увидела!.. Сюда ее! И повежливей!

— Будет вам морока — нанянчитесь! — проворчал Тищенко, однако поспешно скрылся.

— Го-о-оспо-оди-и! За что невзлюбил?! Прежде дал бы мне-е помереть! На старости-то лет ви-идеть такое!..

Старуха вместе с сопровождающими втиснулась в кухню. Платок сполз у нее с головы, открыл седые неопрятные космы, изрубленное морщинами лицо слепо, открыт только провально-черный, без зубов рот. На минуту в кухне стало до духоты тесно.

Аркадий Кириллович вскочил с табуретки, усадил старуху. Она упала лицом на стол, стала кататься седой головой по клеенке с веселыми цветочками.

— Перед смертью-то уви-идеть такое!.. Гос-по-ди-и!..

Тищенко, пугливо оглядываясь, молчком выдавил из кухни сопровождавших, прикрыл старательно стеклянную дверь.

Сулимов морщился от крика, крутил головой в кепочке, словно повторял движения седой головы старухи. Аркадий Кириллович, в расстегнутом плаще, в свесившемся кашне, в косо сидящей шляпе, нависал над старухой своим крупным, пропаханным глубокими складками лицом.

— Чем я так не угодила, гос-по-ди-и?! За что про-о-кля-та?! Устал-ла-а! Устал-ла-а! Моченьки нет! И пожаловаться кому?! Кто услышит?!

— Мы слышим, мать,— обронил в седой затылок Аркадий Кириллович.

И старуха притихла, оторвалась от стола, все еще не разогнувшаяся до конца, сгорбленная, судорожно пошарила рукой на груди, горестно высморкалась в конец платка и всхлипнула с содроганием, как всхлипывают успокаивающиеся дети. И это детское странно выглядело у седой дряхлой женщины с измятым, опухшим, столь тяжелым лицом, что его не смогло одухотворить даже и горе.

— Вы-то слышите, да что вам мое-то,— выдавила она.

Аркадий Кириллович опустился рядом с ней.

— Раз уж мы здесь, то, значит, есть дело и нам до твоей беды.

Старуха тупо взирала остановившимися глазами на цветочки, рассыпанные по клеенке, на запавшем виске под седым клоком билась толстая вена, пыталась выползти на морщинистый лоб, в такт ей еле приметно содрогались концы вздыбленных волос, отсчитывая натужные удары старого сердца. И снова вздох, но уже не детский, не со всхлипом, не прерывистый, а тягучий, сдавленный, вздох человека, изнемогающего от жизни.

— В беде родился, бедой и кончил...— тихо и внятно произнесла старуха, замолчала.

Слышно было, как поскрипывали ботинки переминающегося над ней Сулимова.

— И пока жил, все-то времечко от него к другим беда шла... Только беда.

— А его самого к беде никто не толкал? — спросил Аркадий Кириллович.

Старуха впервые подняла на него тусклые глаза — должно, вопрос чем-то поразил ее.

— Бог толкал, никто больше,— ответила с твердым убеждением.

— Ты его в детстве часто била?

— Не... В сердцах когда, покуда не подрос и совсем от рук не отбился.

— А любила ты его сильно?

Старуха грузно зашевелилась, выдавила стон:

— Он же мне жизнь вывернул. Малой, на руках был, а уж из родной деревни погнал, это в голодные-то годы!.. И никто уж

больше не сватался, никому из-за него не нужна была. Бобылкой так век и прожила. Некуды было от него спрятаться. И теперя вот... не спрячешься! По ночам блазниться будет...

По изрытым щекам старухи потекли слезы, скрюченные пальцы то сжимались, то разжимались на веселой, в цветочках, клеенке. Сулимов достал пачку из-под сигарет, в сердцах скомкал, бросил — пуста! — сказал:

— Говорил же — не для тебя картинка. Не послушалась.

— Сатана толкнул... Как захватило за душеньку, так и не пускает: дай, думаю, одним глазком на непутевого... Всем-то он жизнь портил, всех-то он наказывал, за это его бог и наказал!.. А он и тута... Он и мертвый-то, мертвый пуще живого страшон!.. Люди добрые! Не дайте ему других губить! Он всему виноват, как перед господом говорю! О-он! О-он! Сатаной клейменный! В позорище зачала, в стыде выносила, в горестях вынянчила! До того еще, как на свет появился, бедой был. Со свету сгинул — добрых людей наказывает! Да кто же о-он, кого родила-а?!

Старуха сорвалась на кликушеский речитатив, морщины стянулись, глаза закатывались, губы прыгали, выбрасывая мятые слова. Сулимов ошарашенно стоял посреди кухни — кепочка на затылке, глаза навыкате со смятенным мерцанием, подрагивают несолидные усики. Аркадий Кириллович сидел возле старухи, устало распустив складки на лице, не шевелясь, пряча угрюмый взгляд под бровями.

Скрюченные пальцы старухи царапали клеенку, ее ломало — вот-вот свалится на пол, забьется в истерике.

Аркадий Кириллович тряхнул ее за плечо:

— Хватит, старая! — Обернулся к инспектору: — Распорядитесь, чтоб отвезли ее домой.

Сулимов очнулся от столбняка:

— Счас!

Сверкнул на трясущуюся старуху глазом, кинулся в прихожую.

10

Наконец-то они двинулись к выходу: Сулимов напористо впереди, Аркадий Кириллович поспевал за ним, Тищенко сзади.

Лестничная площадка сейчас была густо населена. В стороне от величавого, затянутого в шинельное сукно и ремни милиционера тесно сбились полуодетые перепуганные жильцы соседних квартир. И этажом ниже вперемешку — застегнутые на все пуговицы пальто и мятые пижамы, бледные лица, всклокоченные прически, вопрошающие немотно глаза. Дом проснулся, дом растревожен.

У плотно прикрытой двери своей квартиры стоял Василий Потехин в расхлюстанной дошке, с бодливо выставленным на спускающегося Аркадия Кирилловича лбом: ну да, с начальством ходишь, никому невдомек, каков ты есть, один я насквозь тебя вижу!

Они вышли из подъезда, их встретило низкое, до безразличия спокойное небо, подпираемое дымчатыми домами. Аркадий Кириллович с наслаждением захлебнулся влажным воздухом, чувствуя, как тает в нем скопившаяся отрава, яснеет голова.

Но он опустил взгляд с неба на землю и вздрогнул — перед ним стояла толпа угрожающе сбитая, выжидательно молчащая, угрюмо-неподвижная. И желтые с голубым милицейские машины, и фургон «скорой помощи» с тревожно-красными крестами, и сумеречные шинели милиции, сдерживающей толпу. Под сглаженно-равнодушным небом, под моросящим освежающим дождичком, обычным утром, средь обычной улицы — странное людское скопление. Город, не успев начать день, прервал его, забыв о делах и заботах, сбежался, с настороженной праздностью замер перед сторонним бедствием, доказывая своим вниманием — не мелочь, масштабное событие!

Сулимов кивком указал на канареечную машину: туда! Возле машины все остановились, стали закуривать неспешно, сосредоточенно, словно исполняя необходимый ритуал. Аркадию Кирилловичу тоже протянули надорванную пачку. Он бросил курить лет десять назад, но сейчас взял сигарету, поспешно прикурил, осторожно затянулся, вместе с другими принялся разглядывать толпу.

В упор толпа выглядела иной — не слитной, не неподвижной, не угрожающей. В ней происходило робкое, подавленно-суетное шевеление: задние протискивались вперед, передние недовольно теснились, с беспокойством и опаской оглядывались на сдерживающую милицию. Выныривали и исчезали лица, мужские и женские, старые и молодые — разные, но с одинаковой оскорбительной озабоченностью: как бы не пропустить чего, утолить любопытство. Аркадий Кириллович почувствовал — сотни жадных глаз ощупывают и его, он участник действа, таинственный мрачный жрец преступности, потому в нем все интригует: шляпа, натянутая на лоб, небрежно выбившееся кашне, поношенный плащ, сигарета в руке, сумрачное лицо, более сумрачное, должно быть, чем у тех, кто стоит рядом. Сулимов и его товарищи, верно, привыкли к такому вниманию, скучающе глядели на толпу, курили, молчали, чего-то ждали.

Неожиданно толпа вздрогнула, качнулась вперед и замерла. Аркадий Кириллович, повинуясь направленным мимо него взглядам, обернулся и увидел Колю Корякина. Массивный милиционер, что стоял на верхней лестничной площадке, вел Колю за локоть,

красная лапища касалась бережно, с медвежьей лаской, шаг твердый, решительный, на всю ступню. Рядом с этим плотски грубым, туго налитым, багрово-жарким, стянутым ремнями милиционером Коля выглядел немощным до призрачности, не человек, а видимость: бескровное, с бескровными губами узкое лицо, гривка невнятно рыжих волос, рвущаяся вперед непрочно тонкая шея, короткое пальтишко нараспашку, нетвердая поступь нескладных ног в расклешенных джинсах — но убийца! И чем он беспомощнее, тем опаснее должен казаться толпе — зря, что ли, собрал столько милиции, и какая богатырская ручища держит его сейчас за локоть!

И все-таки Аркадий Кириллович с надеждой вглядывался в лица — мир не без добрых людей, не могут же совсем не сочувствовать, кто-то же охвачен жалостью. Но нет, всех оглушило самозабвенное — не пропусти момента: исчезнет, не повторится!

И лишь два лица выделялись из других, задержали на себе взгляд Аркадия Кирилловича. На них всеобщее «не пропусти!» утонуло в ужасе, смятенном, паническом, недоуменном. Он и она, к нему прижавшаяся. Она, ищущая у него спасения, верящая в его силу, в его надежность. Но она, прижавшаяся, не замечала того, что было хорошо видно издалека Аркадию Кирилловичу: он вовсе не чувствовал сейчас себя сильным — поражен, сбит, растерян. И они оба молоды, оба, каждый по-своему, красивы. В ее звучных тонких чертах изнеженность и врожденная ранимость. Он попроще скроен, крепче сшит, в нем та многообещающая грубоватость, которая обманчиво сулит самоуверенность, уравновешенность, всепобеждающую волю и никак не предполагает уязвленности. А именно он, плечистый, грубовато-сильный, сейчас поражен явно больше нее. Он и она — наглядно завидные представители рода человеческого. Он и она — убедительный образец доверчивости друг к другу. Если не им, то кому еще на земле доступно счастье? При виде их, молодых, обласканных природой, спаянных чужим несчастьем, невольно испытываешь исцеляющую гордость — не столь уж плохи живущие рядом с тобой люди!

Но они-то чего страшатся? Какое им дело, что рядом случилось непоправимое — сын убил отца?! Их не заденет, пройдет мимо, они любят друг друга, будут любить детей, дети станут отвечать им любовью. Ничего не грозит.

Ой ли?.. Несчастье заразно. Люди так перепутаны между собой, что если рвется в одном месте, расползается и в другом. Кто может разобраться в этом таинственном хитросплетении? Нет таких, но каждый чувствует его роковую ненадежность. Эта пара — тоже.

Забыв о том, что в десяти шагах медвежеватый милиционер усаживал в милицейскую машину Колю Корякина, Аркадий Ки-

риллович любовался затерянными в толпе — им и ею. В жизни не только свары, грязь, кровь — есть, есть иное, восхищающее, обнадеживающее. За эту надежду он, отравленный, испытывал сейчас пронзительную благодарность, готов был мысленно произносить заклятье: не сотворись бессмыслица, не обрушься на этих двоих ни нужда, ни болезнь, ни сторонняя злоба, не пробеги между ними черная кошка, не помешай любить!.. Аркадий Кириллович, забыв обо всем, любовался...

Не она, тонкая и ранимая, а он, грубый, почувствовал его пристальный взгляд, перехватил его. Глаза их встретились. И на смело вырубленном лице его появилась смятенная тревога, почти испуг. Нет, все-таки этот парень не был еще настолько чуток, чтоб уловить — внимание незнакомого человека не таит вражды. Он не поверил Аркадию Кирилловичу: его тайную восторженность, его любование встретил смущением и неприязнью. На всякий случай — спроста ли пристальность? что за ней? Чужая душа — потемки! Остерегаться ближнего — в крови человеческой.

— Аркадий Кириллович! Товарищ Памятнов!..

Сулимов сидел уже в машине, приглашал садиться его.

Аркадий Кириллович отбросил потухшую сигарету. Его проводил беспокойный, недоверчивый взгляд из толпы.

Взвыла сирена, толпа зашевелилась, начала тесниться, расступаясь перед машиной.

11

Милицейская машина, не задерживаясь у светофоров, визжа скатами на поворотах, за двадцать минут доставила к дому старуху Корякину. За дорогу та успокоилась — «такая уж судьба Рафашке, против бога не попрешь»,— вошла к себе с лицом измятым, хмурым, но таящим значительность: узнала такое, что другим неведомо.

На полу по-прежнему валялось ружье. Анна, лежавшая на койке, со стоном подняла навстречу голову с упавшими на лицо спутанными волосами.

— Ну?! — с нетерпеливой дрожью, блестя лихорадочным глазом сквозь волосы.

— Чего — ну? — огрызнулась старуха.— Уж не ждешь ли, что обрадую чем?

— Кольку видела?

— Кольку теперя от людей сторожат... А Рафаила... Ох, лучше бы и не видеть. Го-ос-по-ди! За все грехи свои сполна ответил!

Анна судорожно передернулась.

Старуха начала медленно разоблачаться, раскручивала шаль, угрюмо бубнила:

— Вот ведь, родился нечаянно и умер невзначай, отца не знал, от сына погиб... Жизнь!

— Что с Колюхой сделают?

— Аль догадаться трудно? Судить будут, не без того... Парня жаль — тоже косо жизнь начинает.

Анна сбросила с койки босые ноги.

— Мать! А откуда кому известно, что это он?..

Старуха с подозрением покосилась:

— То-то что на другого не свалишь.

У Анны на бледном лице кривился темный рот, глубоко запавшие глаза — в суетливом горячечном мерцании, острые плечи напряженно приподняты, тонкие руки вкогтились в одеяло.

— Я, а не он в Рафаила-то из ружья... Откуда кому известно? Может, Колька наговаривает на себя, меня спасает?..

Долгим пасмурным взглядом старуха обвела невестку, с горькой пренебрежительностью ответила:

— Полно-ка, кого омманешь... Ни себя не морочь, ни других. Хоть бы похитрей была, спросят — на первом же слове запутаешься... Ты? Из ружья?.. Да ты на мышь не замахивалась.

— А вот довел, довел! Восемнадцать лет мучал, каждый вечер от него смерти ждала. Одно спасение — ружье! Не Кольку пусть судят — меня!

— Не тебе, голубушка, врать, не им слушать.

— А ты подтверди: мол, я не раз стращала — одно мне остается... Подтверди, спасем Кольку. Самой же парня жалко.

Старуха потерянно махнула узловатой рукой:

— Не блажи. На старости нелепицу плести, срамоту на себя брать...

Анна соскочила с койки, наструненно вытянулась, казалось, стала куда выше ростом, дрожащая, в жеваном халате, ведьмачьи патлатая, в синеву бледная, с одичалым бегающим взглядом.

— Кто-то должен ответить за Рафашку. Так — я! Я! Не он! Пробьюсь к кому нужно... Сейчас же! И заставлю, заставлю поверить. Ружье принесу... Из этого ружья — своими руками... Я! Я! А не он!..

— Иди,— сказала старуха.— В тюрьму, поди, не посадят, а в дурдом как раз попадешь.

— Достань мне пальто какое и на ноги обувку...

— Ты мои наряды знаешь, в любое влезай.

— У соседей попроси.

— Не путай, девка, хуже будет. Издалека даже на виновницу не похожа, а уж ковырнут чуть — и совсем поймут, из чьих рук ружье стрелило.

— Виковница?.. А кого еще и винить, как не меня! Уж Колюхи-то я куда виновней!

— Во-во! Еще чуток — и сама поверишь.

— Нет, виновна я, виновна кругом! Не я бы, жил Рафашка. Другая баба, вроде Милки хотя бы, давно бы скрутила его в бараний рог или бросила к чертям собачьим. А я терпела... И как терпела! Видела же, видела, что добром не кончится, а цеплялась. Зачем? Кто должен был Кольку оберечь? Кто как не я? В аду парнишка варился. Рафашка на пьяные глаза понять не мог, я-то всегда трезвой была. Я мать, потому сделай, освободи себя и сына. Нет! Нет! Ничего! Палец о палец не ударила, только терпела и еще муки свои сыну навязывала. Не вина ли это? Да неужель не поймут, что судить меня, меня нужно, не мальчишку!.. Докажу!.. Евдокия, мне надо идти! Сейчас!

— Поостынь, успеется.

— Евдокия, Милка же, верно, ничего не знает. Позвони ей, она и одежду привезет... Пуховым позвони, а я тут умоюсь, причешусь... Ради Кольки прошу, Евдокия!

И старуха испугалась неистовости в голосе Анны.

— Ошалела, девка. Вот уж воистину — в тихом омуте черти водятся. Да ладно, ладно, не стони. Мне-то что, позову Милку, пусть она нянчится.

Тряся сокрушенно головой, ворча, Евдокия стала натягивать пальто. Телефона во флигеле не было, при нужде звонить бегали через двор, в подъезд соседнего дома.

Прошло едва ли более получаса, как темно-зеленые «Жигули» резко затормозили прямо перед окном. Приехала Людмила Пухова, подруга Анны еще с девичьих времен. Вызвав немотное удивление старичков и старушек, жильцов флигеля, она энергичной и решительной поступью проследовала к Евдокии Корякиной. Если Анна всегда выглядела потерянно и забито — стертое лицо, худа, болезненна, мала ростом,— то Людмила, где бы ни появлялась, привлекала к себе внимание. В последние годы она сильно располнела, но не утратила прежней горделивой осанки, двигалась с напором, с достоинством неся пышную грудь и гладкое бровастое лицо, смущала взглядом сквозь приспущенные ресницы, поражала шальной модностью своих нарядов. И сейчас, сорвавшаяся впопыхах по звонку, она явилась с подведенными глазами, распространяя крепкий запах духов, но белые щеки ее дрожали, а губы кривились. Она накинулась на Анну, прижала ее голову к груди, по-бабьи в голос запричитала:

— Страдалица ты моя-а! Довел-таки бешеный, не остерегла я тебя!.. Горемычная моя!..

Попричитав, резко отстранилась, вхлипнула, платочком промокнула глаза, села попрочней, деловито сказала:

— Давай думать, что сделать можно.

— Уже придумала,— подсказала старуха,— вину на себя брать хочет.

— Зачем? — без удивления, скорей заинтересованно спросила Людмила.

— Поди знай.

— Так разве ж не виновата я? — слабо произнесла Анна.

— Ты?! Какая, к лешему, ты виновница! — Людмила Пухова когда-то, как и Анна, была простой барачной девкой, не стеснялась сильных выражений.— Ежели и виноват кто, так я, дура. Кто толкнул тебя к Рафашке? Я же! Думалось: тиха да покладиста, не посмеет обидеть такую, сживетесь куда с добром. Ой, ошиблась! Всю жизнь кляну себя.

— Чего уж давнее ворошить,— поеживаясь, как от озноба, возразила Анна.— Все ошибались, все! А за наши ошибки один Колюха ответит. По-че-му?! По-че-му он, а не я? Справедливость-то где?!

— Разберутся. Не убивайся зря-то. Я Коле адвоката хорошего найду, сама его наструню, все выложу, что было. Возле закона тоже, поди, люди сидят — поймут.

Но решимость старой подруги не успокоила Анну:

— А мне что — сидеть да ждать? С ума же сойду!

— Не жди, сходи поговори — вреда не будет. Узнаешь, что к чему, нам расскажешь,— согласилась Людмила, с затаенным страданием разглядывая Анну.

— Одежку-то мне привезла?

— Не знаю, подойдет ли. На скорую руку похватала.

— Лишь бы срамоту прикрыть. Вот оденусь и пойду сейчас.

— А куда? К кому — знаешь?

— Не,— растерялась Анна.

— Э-эх! Простота! — Людмила резко встала.— Одевайся, а я узнаю к кому... Где телефон-то тут? Евдокия, идем со мной, одежду захватишь, в машине она.

И только сейчас, когда двинулась к выходу, Людмила заметила лежащее на полу ружье, споткнулась, оглянулась на Анну. Та подавленно кивнула: из него.

— Обеспамятела — выхватила у парня и ну-ко сюда притащила,— пояснила старуха.

Только теперь, при виде лоснящегося черными стволами ружья, Людмила, должно быть, зримо представила картину убийства: свалили Рафаила Корякина, здорового мужика, страшного в пьяном озверении! Бешеного Рафку, которого она, Людмила, знала с девичества!

— Анька...— обессиленно, с хрипотой произнесла, и лицо ее сразу увяло, на гладких щеках проступили вмятины.— Анька, молчишь, тихая? Да крикни же, прокляни — я сосватала, я! С моего слова началось... Выругай, все мне легче.

Анна вяло отмахнулась:

— Своего ума недостало, что уж других корить.

И нарядная, пахнущая духами Людмила грубо, по-мужицки, выругалась, перешагнула через ружье, вышла.

Через пятнадцать минут Анна, одетая в слишком просторное, отливающее лягушачьей зеленью пальто из жатой кожи, в берете с кокетливыми вишенками, слушала Людмилу.

— Вот записала для памяти: Су-ли-мов... Старший лейтенант Сулимов: пятьдесят первая комната, Колькино дело ведет. Я тебя довезу до управления, а там уж сама действуй.

Анна сунула бумажку в карман, поднялась, взяла с пола ружье.

— С ружьем на свидание,— криво усмехнулась Людмила.

— Снесу. Поди ищут его.

Старуха напомнила:

— Скажи ей, чтоб себя зазря не оговаривала.

— Не сумеет,— хмуро обронила Людмила.— Для этого уметь врать надо.

Они ушли, старая Евдокия осталась одна, села на помятую койку, сложила на коленях мослаковатые руки и задумалась.

12

Необжито-чистый кабинет с несолидным письменным столом, солидным сейфом в углу и неистребимым канцелярским запахом эдакой легкой бумажной залежалости. Прочно усевшись за стол, Сулимов деловито разложил перед собой листы бумаги, бланки, блокнот, ручку, пачку сигарет и закурил.

— Так! — сказал он удовлетворенно.— Думаю, лучше без всякой подготовочки — сейчас и приступим.

— К чему? — не понял Аркадий Кириллович.

— К допросу Николая Корякина.

— В моем присутствии?..

— Процессуальный кодекс предусматривает присутствие педагога. Имеете право задавать вопросы, высказывать свое мнение, отказаться подписать протокол, если не согласны. Словом, вы, так сказать, законный участник.

Аркадий Кириллович, нахмурясь, задумался — выпирающий лоб, свалявшиеся, с проседью волосы, тяжелые опущенные веки, резкие складки от носа к углам решительно сжатого рта.

— Предупреждаю,— сказал он хмуро.— Я буду пристрастным.

— Вот и хорошо,— согласился Сулимов.— Значит, мне придется быть беспристрастным вдвойне.— Он снял с телефона трубку: — Приведите Корякина.

Ожидание показалось Аркадию Кирилловичу долгим и неловким — молчали, старались даже не глядеть друг на друга, словно боялись, как бы по нечаянности не возникло ощущение сговоренности.

Наконец дверь раскрылась, милиционер, молодой, с наивно-старательным выражением суровости на добродушно-губастой физиономии, впустил впереди себя Колю Корякина, солидно козырнул Сулимову, вышел.

Он встал перед ними, нескладно долговязый, оцепеневший, ноги, не успевшие сделать рассчитанный шаг, в неловком неустойчивом положении, и чувствуется — мешают повисшие руки. Поразили Аркадия Кирилловича светлые, широко распахнутые глаза, ни мысли в них, ни страха, никакого живого чувства, глядят прямо и, должно быть, ничего не видят. Своего учителя тоже.

— Садитесь,— пригласил Сулимов, указывая на стул.

С послушанием робота Коля шагнул вперед, сел на краешек стула, вцепился пальцами в острые коленки и снова замер: тонкая шея доверчиво вытянута, острый подбородок задран и под ним натужно пульсирует нежная ямка.

— Эй, мальчик, очнись! — окликнул Сулимов.— Не к людоедам в гости пришел. Даже знакомых не узнаешь.

Коля вздрогнул, взглянул на Аркадия Кирилловича, и в его сквозно-прозрачных глазах появилось смятение, в бескровных сплющенных губах — кривой судорожный изгиб.

— Корякин Николай Рафаилович... Учащийся... Родился когда? — начал Сулимов допрос.

— В пятьдесят восьмом... Второго ноября,— тихо, с сипотцой ответил Коля.

— Еще нет и шестнадцати?

— Нет.

Сулимов бросил взгляд на Аркадия Кирилловича. Тот сидел прямой, неподвижный, из-под тяжелых век разглядывал неловко пристроившегося на кончике стула Колю, крупные складки на лице набрякли, обвисли. Нет еще и шестнадцати парню! Не вырос, не самостоятелен, за таких всегда кто-то отвечает. А он сам решил взять ответственность за родителей... Вытянутая шея, острый подбородок, бледная невнятная гримаса и сведенные пальцы на острых коленках. Некому отвечать за него, кроме учителя.

Изрытое, неподвижное, темное лицо Аркадия Кирилловича... Сулимов невольно поежился.

— Скажи, давно ли твой отец стал приходить домой пьяным? — спросил он.

— Всегда приходил.

— То есть ты не помнишь, когда он начал пить?

— Он всегда пил.

— Но бывал же он когда-нибудь и трезвым?

— Утром... Пьяный только вечером.

— Так-таки каждый вечер?

Коля замялся, взволнованный, еле приметный румянец проскочил на скулах.

— Я... Я, кажется, не так сказал... Неточно. Не всегда. Нет! Бывали вечера, когда трезвый, совсем трезвый... Даже много вечеров бывало. Иной раз неделями и даже месяцами в рот не брал. И тогда все хорошо. Потом снова, еще хуже, тогда уж каждый вечер... Да!

— Приходил пьяным и бил тебя?

— Меня — нет. Не бил он меня. Он мамку бил... и посуду.

— Если даже под горячую руку ты подворачивался, ни разу не ударил?

— Когда я на него сам кидался, тогда ударял или за дверь выталкивал, чтоб не мешал. Но не бил... так, как мамку.

— Ты кидался на него?

— Маленьким был — боялся, очень боялся, сам убегал... К соседям. К Потехиным чаще всего... А потом... потом ненавидеть стал. Что ему мать сделала? Как вечер подходит, она сама не своя. И не ругала его. Нет. А он все равно накидывался. Он же здоровый, никто из мужиков с ним не связывался, любого бы поколотил. Мамка совсем слабая... Здоровый и бешеный. Он бы все равно ее убил. Мне смотреть и ничего не делать? Не мог же! Не мог! — Колин голос из тусклого, глухого до шепота стал тонким и звонким.— Я ему честно, в глаза: не тронь — убью! Но поче-му?! По-че-му он не слушал?!

— Ты его предупреждал?

— Да. Только он плевал на мои слова.

— И что ты ему говорил?

— То и говорил...

— Какие слова?

Коля склонил голову, с трудом выдавил:

— Что убью... если мать тронет.

— И сколько раз ты его так предупреждал?

— Много. Он и не слышал словно...

Сулимов помолчал. Аркадий Кириллович сидел по-прежнему прямой и неподвижный.

— Мы не нашли ружье. Где оно? — оборвал молчание Сулимов.

— Мать выхватила. Когда... когда уже все... И убежала с ним.

— Но ты ведь не знал, что ружье было заряжено?

— Знал.

Сулимов, до сих пор участливо-сдержанный, неожиданно рассердился:

— Слушай, дружок, не бросайся так легко словами. Здесь каждое неосторожное слово подвести может. И сильно! Откуда ты мог знать, что висящее на стене ружье заряжено?

— Так я же его сам и заряжал. Мать разряжала, а я снова...

— Выходит, она знала, что ты собираешься убить отца?
— Так я же при ней ему говорил — слышала.
— И верила?
— Не знаю... Но ружье-то разряжала...
— А почему она не спрятала его от тебя?
— Отец не давал.
— Что-о?
— Пусть, говорит, висит, где висело, не смей трогать.
— Но сам-то отец почему же тогда его не спрятал?
Коля впервые вскинул на следователя глаза, обдал его родниковым всплеском:
— Он... он, наверно, хотел...
— Чего?
— Чтоб я его... убил,— тихо, с усилием и убежденно.
Сулимов и Аркадий Кириллович ошеломленно поглядели друг на друга.
— Что за чушь, Коля,— выдавил Аркадий Кириллович.
— Он же сам себя... не любил. Я знаю.
Слышно было, как за стенами кабинета живет большой населенный дом: где-то хлопали двери, бубнили далекие голоса, раздавались приглушенные телефонные звонки. Два взрослых человека, недоуменные и пришибленные, почти со страхом разглядывали мальчика.
— Себя не любил?..— В голосе Сулимова настороженная подозрительность.— Он что, говорил тебе об этом?
— Никогда не говорил.
— Так откуда ты взял такое?
Коля тоскливо поежился.
— Видел...
— Что именно?
— Как он утром ненавидит.
— Ну знаешь!
— Просыпается и ни на кого не смотрит и всегда уйти торопится. И пил он от этого. И мать бил потому, что себя-то нельзя избить. И часто пьяным ревел... Я бы тоже себя ненавидел на его месте... Он раз в ванной повеситься хотел... Не получилось: за вытяжную решетку веревку зацепил, а та вывалилась. И у открытого окна еще стоять любил, говорил: высота тянет. Умереть он хотел!
Коля неожиданно вытянулся на стуле, дрожа подбородком, едва справляясь с непослушными кривящимися губами, закричал вибрирующе и надтреснуто:
— Но зачем?! Зачем ему, чтоб я?.. Я!.. Тогда бы уж — сам! Не жди, чтоб я это сделал!..— И захлебнулся, обмяк, похоже, испугался своего крамольного откровения.
Аркадий Кириллович подался всем телом:

— Ты лжешь, Коля! Выставляешь себя преднамеренным убийцей: готовился заранее, заряжал ружье на отца! Не лги!

— Заряжал! Заряжал! Да!

— Ты для того заряжал, чтоб отец видел, как ты его ненавидишь, а сам наверняка рассчитывал: мать разрядит, до убийства не допустит. Или не так?.. И в этот раз ты думал, что ружье разряжено.

Коля, выгнув спину, сцепив челюсти, глядел в сторону, ответил не сразу, с трудом:

— Я его зарядил за полчаса перед отцом...

— Не верю! — упрямо мотнул головой Аркадий Кириллович.

— Я знал... Да! Почти знал, что случится... Да! Готовился!

Сулимов беспомощно развел руками.

— Коля! Ты бредишь! — воскликнул Аркадий Кириллович.

— Я ждал отца... Каждый вечер мы с матерью ждали... Мать как полоумная из угла в угол начинала тыкаться. Легко ли видеть — спрятаться хочет, а некуда. Глядишь — и все внутри переворачивается. Каждый вечер... А тут — нет его и нет, мать совсем уж места себе не находит, я в углу с ума схожу. За полночь перевалило давно... И ясно же, ясно обоим: чем позднее приползет, тем хуже. После поздних пьянок мать неделями отлеживалась... Ждем, его нет и нет. Да сколько можно?.. Сколько можно грозить отцу и ничего не делать, тряпка я... Мать в кухню ушла, ну я — к ружью... Разряжено. А патроны у меня припасены, сунул в оба ствола, закрыл, повесил... Даже на душе легче стало... Я знал, Аркадий Кириллович, знал! Готовился! Не надо меня спасать.

Аркадий Кириллович ссутулился, слепым лицом уставился в пол.

— Не надо спасать...— повторил он.— Легко нам это слышать! Нам, взрослым и умудренным, которые не научили тебя, зеленого, как справиться с бедой — с крутой бедой, Коля! Твоя вина — наша вина!

— А что вы могли? — глухо возразил Коля.— Отца бы мне нового подарили?

— Что-то бы смогли... Да-а... Знали, что у тебя творится. Но издалека... Издалека-то не обжигает, а близко ты никого не подпускал.

Коля вскинул взгляд на учителя, секунду молчал, вздрагивая губами, и снова вибрирующим, рвущимся голосом стал выкрикивать:

— Вы же, вы, Аркадий Кириллович! Вы учили... Воюй с подлостью — учили! Не жди, учили, чтоб кто-то за тебя справился!.. Неужели не помните? А я вот запомнил! Ваши слова в последнее время у меня в голове стучали — воюй, воюй, не жди! А я ждал, ждал, тряпкой себя считал, медузой — мать спасти не могу!..

— Спас! — с досадой не выдержал Сулимов.— Куда как хорошо теперь матери будет — ни сына, ни мужа, одна как перст на белом свете.

— Зна-а-ю-у! Зна-юу! — вскинулся Коля.— Всех вас лучше знаю! Она тоже видела на полу его кровь, тоже всю жизнь это помнить будет... А мне как? Как мне, Аркадий Кириллович?! Он, если хотите, даже любил меня! Да! Да! Я себя не жалею, и вы — не надо! Никто не смейте! И на суде так скажу — не жалейте!!

На тонкой вытянутой шее набухли вены, плечи дергались...

Сгорбившийся Аркадий Кириллович поднял веки, остро глянул на Сулимова, чуть приметно кивнул. Сулимов поспешно потянулся к телефону...

13

Дверь за Колей Корякиным закрылась. На скуластом лице Сулимова дернулись несолидные усики.

— Все-таки папино наследство сказывается! Папа, похоже, лез на смерть, сын рвется на наказание.

Нахохленный Аркадий Кириллович обронил в пол:

— Мое наследство сказывается.

— То есть? — насторожился Сулимов.

— Один из соседей Корякиных этой ночью мне бросил в лицо — ты виноват! Я вот уже четверть века внушаю детям: сейте разумное, доброе, вечное! Мне они верили... Верил и он, сами слышали: воюй с подлостью! Мои слова в его голове стучали, толкали к действию... И толкнули.

Сулимов кривенько усмехнулся:

— Уж не прикажете ли внести в дело как чистосердечное признание?

— А разве вы имеете право пренебречь чьим-либо признанием?

— Имею. Если оно носит характер явного самооговора.

— Да только ли самооговор? Мой ученик, оказавшийся в роли преступника, при вас же объявил это.

— При мне, а потому могу со всей ответственностью заявить: мотив недостаточный, чтоб подозревать вас в каком-либо касательстве к случившемуся преступлению.

— А не допускаете, что другие тут могут с вами и не согласиться?

У Аркадия Кирилловича на тяжелом лице хмурое бесстрастие. Сулимов иронически косил на него птичьим черным глазом.

— Многие не согласятся. Мно-огие-е! — почти торжественно возразил он.— Нам предстоит еще выслушать полный джентльменский набор разных доморощенных обвинений. Будут обвинять

соседей: не урезонили пьяницу, непосредственное начальство Корякина: не сделали его добродетельным, участковому влетит по первое число: не бдителен, не обезвредил заранее; ну и школе, то есть вам, Аркадий Кириллович, достанется: не воспитали. Всем сестрам по серьгам. И что же, нам всех привлекать к ответственности как неких соучастников?.. Простите, но это обычное словоблудие, за которым скрывается ханжество... Принесите, товарищ Памятнов, себя в жертву этому ханжеству. Похвально! Даже ведь капиталец можно заработать — совестливый, страдающая душа.

Аркадий Кириллович все с тем же рублено-деревянным лицом, лишь с трудом приподняв веки, уставясь на Сулимова исподлобья, заговорил медленно и веско:

— Готов бы, Сулимов, склонить голову перед вашей мудростью. Готов, ежели б уверен был: знаете корень зла, не пребываете в общем невежестве. Но вы же нисколько не проницательнее других. Даже мне, непосвященному, заранее известно, как поступите: мальчик убил своего отца — очевидный факт, значит, виноват мальчик, и никто больше. Конечно, вы учтете и молодость и смягчающие вину обстоятельства, я же видел, как вам хотелось, чтоб ружье самозарядилось... Нет, Сулимов, вы не желаете мальчику зла, но тем не менее не постесняетесь выставить его единственным виновником этого тяжелого случая. Ищите статью кодекса. А потому — отметай все подряд, даже признания тех, кто чувствует свою ответственность за преступление.

Сулимов вскочил из-за стола, пробежался по тесному кабинету, навис над Аркадием Кирилловичем, спросил:

— Вы ждете, чтоб я выкопал корень зла?

— Наивно, не правда ли?

— Да, детски наивно, Аркадий Кириллович! Злые корни ой глубоко сидят, до них не докопались академии педагогических и общественных наук, институты социологии, психологии и разные там... Да высоколобые ученые всего мира роются и никак не дороются до причин зла. А я-то всего-навсего рядовой работник милиции. Ну не смешно ли с меня требовать — спаси, старший лейтенант Сулимов! Что? Да человечество, не меньше! Пас, Аркадий Кириллович! Признаюсь и не краснею — пас!.. А того, кто меня станет уверять — мол, знаю корень,— сочту за хвастуна. Пожалуй, даже вредного. В заблуждение вводит, воображаемое за действительное выдает, мутную водичку еще больше мутит. Так что уж не обессудьте — мне придется действовать как предписано.

— То есть выставить пятнадцатилетнего Колю Корякина ответственным за гримасы, которые нам корчит жизнь?

— Конечно, я же бездушный милиционер, за ребрами у меня холодный пар, могу ли я жалеть мальчишку?..

— Не надо скоморошничать,— оборвал Аркадий Кириллович.— Я видел, как вам хотелось получить козырь в руки в виде не заряженного руками Коли ружья. Жалели его, но это не помешает обвинить его.

— Вы сами сказали: мальчик убил — очевидный факт. Не станете же вы от меня требовать, чтоб я его скрыл или выгодно извратил.

— Хотел бы, чтоб за этим очевидным фактом вы постарались увидеть не столь наглядно очевидное: мальчик — жертва каких-то скрытых сил.

— Одна из таких сил — вы?

— Не исключено.

— Ну так есть и более влиятельная сила — какое сравнение с вами! — растленный отец мальчишки! Вот его обещаю вам не упустить из виду, постараюсь вызнать о нем, что смогу, и выставить во всей красе. Если я этого не сделаю в дознании, всплывет в предварительном следствии.

— Всплывет,— согласился Аркадий Кириллович.— Только с мертвого взятки гладки.

Сулимов вздохнул:

— То-то и оно, на скамью подсудимых в качестве ответчика не посадишь, но смягчающим вину обстоятельством послужит. Только смягчающим! И даже не столь сильным, как неведение мальчишки о заряженности ружья.

Вздохнул и Аркадий Кириллович:

— Я вам нужен еще?

— Несколько слов о мальчике: как учился, как вел себя в школе, скрытен, застенчив, общителен, с кем дружил?..

Снова нахохлившись, уставившись в угол, Аркадий Кириллович стал не торопясь рассказывать: Коля Корякин был трудным учеником, неожиданно для всех изменился, причина не совсем обычная, даже сентиментально-лирическая — полюбил девочку...

Сулимов записывал.

Внизу, возвращая дежурному отмеченный пропуск, Аркадий Кириллович мельком увидел женщину в пузырящемся дорогом кожаном пальто, с легкомысленными вишенками на берете. Он так и не узнал в ней мать Коли Корякина...

Низкое небо придавило город, моросил дождь, по черным мостовым напористо шли машины: звероподобно громадные грузовики и самосвалы, мокро сверкающие легковые. Люди втискивались в автобусы, роево теснились возле дверей магазинов, скучивались у переходов. Город, как всегда, озабоченно жил, не обращал внимания ни на небо, ни на дождь, ни на страдания и радости тех, кто его населяет. И, уж конечно, событие, случившееся этой ночью в доме шесть по улице Менделеева, никак не отра-

зилось на суетном ритме большого города. Стало меньше одним жителем, стало больше одним преступником — ничтожна утрата, несущественно приобретение.

14

Кто не бредил в детстве подвигами Ната Пинкертона и Шерлока Холмса? Григорий Сулимов после окончания института сам напросился, чтоб его направили в органы дознания. Шерлоки холмсы и комиссары мегрэ, романтические гении-одиночки криминального сыска, не совмещались с будничной, суетной работой городского угрозыска. Но и тут по-прежнему остаешься разведчиком преступлений, раньше всех определяешь их характер, пробуешь найти ключ к раскрытию — первооткрыватель в своем роде!

Сулимов выводил на чистую воду мошенников, отыскивал набезобразивших хулиганов, имел даже на своем счету одно раскрытое и довольно запутанное убийство — шофер сбил машиной забеременевшую от него девицу, сменил скаты, чтоб не уличили по следу... Сулимова еще пока считали «подающим надежды», отзывались снисходительно: «Грамотен, но верхним чутьем не берет». Верхним чутьем брали те, кто институтов не кончал, но проработал в уголовном розыске не один десяток лет.

И раньше Сулимову случалось натыкаться — нарушение закона налицо, но нарушителю невольно сочувствуешь: попал человек в клещи, лихое заставило. Однако его, Сулимова, долг — защита закона от любых нарушений; что будет, если такие, как он, станут руководствоваться личными симпатиями и антипатиями? Оправдывающих мотивов он старался не проглядеть, но чувства свои всегда держал в узде. Вот и сейчас он рассчитывал на одно: мальчишка схватился за ружье сгоряча, не знал, что оно заряжено. Расчет не оправдался... Этот учитель Памятнов предлагает переложить тяжелую вину мальчика на плечи других, в том числе и на свои собственные. Пристегнуть к преступлению неповинных людей — противозаконно да и бессовестно. Нет уж, что случилось, то случилось — мальчишка совершил убийство! Его жаль? Да! Твое личное, не впутывай это в службу, где не принадлежишь сам себе!

Единственное, что было в силах Сулимова,— разузнать по возможности подробнее о темной жизни убитого отца — Корякина. Чем темнее окажется эта жизнь, тем оправданней будет поступок сына...

Больше всех может порассказать о покойном Рафаиле Корякине его мать, та самая страховидная старуха, что кликушествовала на исходе ночи перед ним и учителем Памятновым. Сулимов уже потянулся к трубке, чтоб узнать адрес старухи, как телефон

сам зазвонил... Снизу сообщали: явилась мать Николая Корякина, принесла ружье, слезно просит принять ее сейчас.

Его неприятно поразил ее наряд — дорогое неуклюжее пальто и претенциозные вишенки на берете,— но усохшее, изможденное лицо, стянутое мелкими тусклыми морщинками, запавшие воспаленные глаза с истошным мерцанием и просящее беззащитное выражение сразу заставили поверить: замученная, искренняя, ни капли наигрыша.

Корякина Анна Васильевна, 1937 года рождения, домохозяйка... Ей всего тридцать семь лет, но глядится уже старухой.

— Собиралась соврать вам...— Ловящий, с мольбой взгляд, голос виноватый, срывающийся, пальцы нервно теребят пуговицы.— Спешила к вам и думала: скажу, что я... я, а не Колька из ружья-то... Да ведь все равно же не поверите. Не научилась врать, хотелось бы — ох хотелось! — да не смогу... Может, покойный Рафаил еще и меня виноватее, но о нем-то чего теперь толковать... Ну а после него — я! Я к этой беде привела, не сын!

— Расскажите, как было.

— Как?..— Она вся сжалась в просторном пальто, по сморщенному лицу пробежала судорога.— Гос-по-ди! Просто ли рассказать... Ведь это давно у нас началось, еще до Коленькиного рождения, можно сказать, сразу после свадьбы. Первый раз он побил меня на другой же день, как расписались.

— И после шли постоянные пьяные побои?

— Может, и случался когда передых, но потом-то он всегда добирал свое.

— И в этот раз он ввалился пьяным... В каком часу?

— Поздно. Поди, в час, а то и в начале второго... Но не спали. Где там уснýть, когда шаги выслушиваешь... Ох-ох, всю-то жизнь я вечерами слушала да обмирала! Не любя женился, ненавидя жил...

— Да как же так не любя и поженились?

— Сама все время гадала, как это случилось. Он по Милке Краснухиной с ума сходил, а та от себя его оттолкнула да в мою сторону указала: вот, мол, кто тебе пара. Я, дура, согласилась. Молода была, девятнадцать только исполнилось. И одна как перст, даже в деревне родных не осталось... Первая моя дурость, да если б последняя... Все на моей глупости и замешалось.

— Он что — по этой Краснухиной тосковал?

— Прежде, может, и тосковал, да за двадцать-то лет прошло. Людмила в ту же пору замуж вышла, из Краснухиной Пуховой стала. Не-ет, просто ему втемяшилось — нелюба, а он такой: кого невзлюбит, жизни не даст. Другие-то от него посторониться могут, а то и постоять за себя. Я всегда у него под рукой, и характеру у меня никакого — вот и вытворял. Я всяко пыталась:

ублажала, сапоги с пьяного стаскивала. Только от покорности моей он еще пуще лютовал. Бесила покорность. А коли возражу, ну тогда и совсем: «Ты, тварь, дышать не смей, не только голос подымать!» Тварь — это еще ласково...

— Н-да, рисуночек.

— А в эту ночь он стол толкнул, на нем ваза стояла... Хорошая ваза, сам покупал. Не думайте, что он недомовит был. Даже пьяный о доме вспоминал, если, конечно, не шибко пьян, что-то купит, принесет... Ну а потом осатанеет — бьет. Да и то, пожалуй, с расчетом — тарелки смахнуть ничего не стоит, а вот телевизор ни разу не тронул...

— Так что с этой вазой?

— Столкнул он ее, а я ойкнула, не удержалась. «Ах, жаль тебе!..» И набросился, а тут Колька... Колюха давно уже стал встревать промеж нами...

— Он стращал отца, что убьет?

Анна не ответила, уставилась в пол, мертвенная бледность отчетливей означила морщинки на усохшем лице.

— Говорите все как есть,— строго приказал Сулимов.

— Стращал.

— Вы этому верили?

— Да кто такому в полную-то силу поверит?

— Хорошо, продолжайте.

— И продолжать нечего. Колька кричит, он рычит, Кольку отталкивает, ко мне рвется. Ударил он меня так, что с ног... Пока очухалась, вдруг слышу... Вскочила я, смотрю: он валится да плашмя на пол. А Колька в руках ружье держит, из стволов-то дым идет, и вонь от этого дыма по всей комнате. Лицо Коли словно из мела, одни глазища... Дальше уж не помню, как из рук его ружье вырвала. Опомнилась — бегу с этим ружьем по городу...

— Так в чем же вы тут себя считаете виновной?

— Все из-за меня. Не я б, ружье это никогда не выстрелило.

— Да разве вы толкали сына к ружью? Не хотели того, не выдумывайте!

— Хотела не хотела, а все делала, чтобы сын отца убил.

Анна Корякина сказала это столь твердо, что даже на ее лице проступила ожесточенность.

— Все делали? Что именно?

— Ужас берет, когда теперь оглядываюсь... Не замечала прежде — была злодейкой, право. Да чего же добивалась я, дура тупоумная! Чтоб сын вместе со мной страдал! Стонала не переставая, слезы лила, из кожи лезла себя несчастной показать... И видела, видела — жалеет, весь исстрадался парень, невмоготу ему, а мне все мало, мне от него большей жалости хочется, никак не уймусь, разжигаю... Зачем, спросите? Оно понятно, зачем. После мордобоев да ругани изо дня-то в день кому не захо-

чется утешиться. От чужих людей утешение дешево, стороннее оно, а вот от сына родного — вроде живой воды. Муж лютует — сын весь исходится, а мне приятно, сладко так, не насытюсь, еще, еще!.. Даже, поверите ли, ждала — о-ох! — даже с нетерпением, чтоб Рафашка зверем ввалился да набросился. Он изобьет, а сын показнится за мать родную... Радовалась тишком, что ненавидит Колька отца лютой ненавистью. Раз его ненавидит, значит, меня любит! Радо-ва-лась! Ну не подлая ли?..

— Кто упрекнет вас за это,— выдавил из себя Сулимов.

— Кто-о? Да вы! Да неужель понять не в силах, кто в смерти повинен? Неужель не видно, кто подстроил убийство? Что из того, что Колька ружье в руках держал,— всунула-то ему его я! Я его руками курки спустила! Я! Не смейте не верить! И думаете, не чуяла, что к дурному идет? Чуяла! Иной раз опомнюсь — и дух захватит, а отказаться уже не могла. Как Рафашка без водки, так и я без Колюхиных страданий не жилица! Отравилась вконец, ими только и держалась. День пройдет спокойно, а мне уже и не по себе — умираю... О-о-о! — Анна застонала.— Тащила, подлая, своими руками родного сына к погибели тащила! И по совести и по закону — кругом виновата!

— Ваш сын сказал, что вы боялись беды, разряжали ружье.

— Разряжала. Конечно, разряжала. Но думаете, из страха одного — непоправимое случится? Не-ет, мне показать было нужно Коле, какая хорошая у него мать, даже извергу мужу зла не желает, спасти, видите ли, хочет...

Сулимов наконец не выдержал, вознегодовал:

— Да хватит вам на себя наговаривать! Нужно быть холодной сволочью, чтоб столь тонкий и осознанный расчет иметь: сделаю-де благородный жест, чтоб сын заметил и умилился. Не было того! Не уверяйте! Не могли вы быть такой расчетливо-холодной. Для этого нужно сына или совсем не любить, или же любить так себе, много меньше, чем себя. А вы почему-то сейчас себя подсовываете вместо него! Так что не плетите мне хитрых басенок!

Снова Анна залилась бледностью, снова на измученном лице проступила ожесточенность.

— Правду говорю, не плету! — Упрямая убежденность в ее голосе и никакого негодования.— Не сознавала я. И расчета в мыслях тоже, должно быть, не было. Но нравилось, нравилось хорошей глядеться. Так это-то «нравилось» и заставляло ружье разряжать, а не страх... Страх, может, и был... Как не быть! Только жила-то одним — перед сыном показаться. Ну неужель не понятно?!

— Н-да!..

— Ага! Верите, деться некуда. Тогда пораскиньте — кого судить? Его, глупого, горячего, мать любящего? Или меня, взрослую, тоже ведь любящую, даже очень, ужас как, но бестолково? Кто из нас больше виноват? Кто убийца-то? Я! Но только его руками! На мне кровь, не на Кольке!

— Честно ответьте: могли бы вы предотвратить убийство, если б захотели?

— Да как же не могла! — негодующе всполошилась Анна.— Поди, и вам самим тут догадаться нетрудно. Ну кто мешал мне развестись со зверем?

— Почему не сделали?

— А страх брал — как я жить с Колькой стану? Разведись, а нам присудят с его зарплаты рублей тридцать, от силы сорок в месяц. Зарплатишка-то у Рафаила всегда была тощенькая, только он на одну зарплату никогда и не жил. В нем все нуждались, у кого машина, большие деньги платили — лишь бы руки приложил. Он сам деньгами сорил и нам отсыпал. Колька ни в чем нужды не знал, а после развода тяни взрослого парня на тридцатку. Боялась... Да что там развод, без него могла бы вести себя поумней — не разжигать, а тушить Кольку. Вон Людмила Пухова, бездетная, как она меня уговаривала: «Пусть Колька у нас поживет, оторви от отца». Согласилась я? Нет! Как же я без страданиев Колькиных одна глаз на глаз с сатаной мужем останусь? Могла многое сделать, да не сделала! Госпо-ди-и! Тош-но! Самой от себя тошно! Если есть правда у вас, то схватите меня, злодейку, отпустите его. Почему о-он за меня отвечать должен?! Спа-си-те его! Спаси-ите! Милости прошу: меня-а, меня-а судите!..

Анна затряслась в рыданиях.

Сулимов сидел перед нею, не смел даже успокаивать — подавленный, растерянный, расстроенный. Странно, но он в эту минуту верил в ее вину.

15

Занятия в школе уже начались. Аркадий Кириллович прямо в пальто поднялся на четвертый этаж, мимо Зоечки Голубцовой, школьного делопроизводителя и одновременно секретарши директора, прошел прямо в кабинет.

Директор Евгений Максимович, сравнительно молодой еще человек, начавший уже понемногу лысеть и полнеть, удивленно уставился:

— Вы не на уроке, Аркадий Кириллович?

— Я из угрозыска, Евгений Максимович.— Аркадий Кириллович опустился на стул.

— Случилось? Что?

— Убийство. И я, похоже, стал его невольным пособником.

У директора округлились глаза...

Девятый «а», где должен был проходить урок Аркадия Кирилловича, не дождавшись преподавателя, разбился в кабинете литературы на три группы.

Одни сгрудились у доски, пытались «надышаться» перед контрольной по физике, которая должна быть сегодня на последнем уроке. Славка Кушелев по прозвищу Штанина Пифагора (или просто Славка Штанина) писал формулы и объяснял, как он любил выражаться, «методом Козьмы Пруткова, доступным для идиотов».

Девочки плотно обсели Люсю Воронцову, принесшую с собой иностранный журнал мод, и спорили о том, сохранились ли теперь мини-юбки или только остались миди и макси. Журнал был старый и на этот вопрос не отвечал, рекламировал только мини. Среди девчонок затесался Васька Перевощиков — его интересовали не юбки, а ножки, благодаря моде мини показанные с откровенной щедростью.

Под портретом изможденного нравственными страданиями Достоевского, прямо на столах громоздилось «третье сословие», внутри которого Жорка Цыканевич по прозвищу Дарданеллы «размешивал бодягу», то есть под сдерживаемое похохатывание плел свою очередную небылицу.

Только двое из класса забыто сидели сами по себе — взлохмаченный очкарик Стасик Бочков, многолетний староста класса, влипший в какой-то толстый роман, и Соня Потехина, гнувшаяся к столу на своем месте. Дома она сегодня оставаться не могла, в школу же идти боялась, но иной дороги из дома как в школу не знала — сидела сейчас в стороне от всех.

Здесь еще никто ничего не слышал, а Соня молчала. Не могла же она объяснить просто: «Ребята, Колька Корякин отца убил!» Но рано или поздно страшная новость влетит в класс. Что ж, тогда-то она уж молчать не станет, тогда-то скажет свое слово!

Подавленная своей страшной тайной, Соня сейчас поражалась тому обычному, что происходило вокруг.

Девчонок интересует, остались ли в моде мини-юбки. Ребята слушают чепуху Жорки Дарданеллы, хохочут себе. А Славка Штанина натаскивает к контрольной...

И что будет, если они услышат новость?.. Да ничего. Девчонки поахают, а от Васьки Перевощикова и того не услышишь, тому все трын-трава. Жорка Дарданеллы даже сострить может, с дурака сбудется. Но Славка Штанина... Вот кого опасалась Соня! Никогда заранее не известно, что придет в ученую Славкину голову. Он может сказать дурное о Коле, может! И все поверят ему, не Соне...

Соня всегда со всеми ладила и уж ни к кому никогда не испытывала ненависти. Сейчас же чувствовала: класс и она по разные стороны, весь класс — и она вместе с Колей Корякиным, который сам себя защитить не может.

В эти минуты рождалась заступница, заранее не доверяющая всем, готовая ненавидеть любого, кто посмеет думать иначе.

— Я проскочил сейчас мимо девятого «а». Не смею предстать перед учениками. Не знаю, что им сказать. Ничем не вооружен. Все, что за два десятилетия приобрел, во что веровал, чем, казалось, побеждал,— выбито из рук...

Аркадий Кириллович говорил, и директор зябко поеживался. Он появился в школе года четыре назад — утвержден в гороно на место старого директора, ушедшего на пенсию. А уже тогда в школе усилиями Аркадия Кирилловича давно шло соревнование за личное достоинство, за благородство поступков. Соревнование, похожее на игру. Никто не сомневался, что такая игра полезна. Не мог сомневаться и новый директор. Он включился в нее не сразу, осмотрительно, зато основательно: наладил обмен опытом, заставлял отчитываться, сам где только мог — на городских и межгородских семинарах учителей, на областных конференциях, в начальственных кабинетах — настойчиво доказывал: добились успехов не в чем-нибудь, а в нравственном воспитании!

Только при нем, директоре Евгении Максимовиче Смирновском, Аркадий Кириллович перестал быть кустарем-одиночкой — не просто оригинал, увлеченный благородной, украшающей школу причудой, а общественный деятель. И, слаб человек, сладкий хмель довольства собой кружил голову, и впереди мнились новые победы, растущее почтительное удивление, как знать, возможно, и слава. Они, нет, не были друзьями, не ходили в гости друг к другу, не изменяли вежливому «вы» даже в минуты признательной откровенности. Их связывало большее, чем дружба,— необходимость опоры, один без другого уже не чувствовал себя устойчивым в жизни.

И вот сейчас, когда произошел обвал, все зашаталось, затрещало, Аркадий Кириллович кинулся не к друзьям — хотя бы к старой, верной Августе Федоровне,— а к нему, более молодому, наверняка менее искушенному и опытному. Кинулся, не скрывая своей растерянности, не замечая, что срывается на беспомощную жалобу: не знаю, что сказать, ничем не вооружен... выбито из рук... подставь плечо, поддержи!

Евгений Максимович все еще поеживался, однако первое ошеломление, похоже, у него прошло.

— Стыдно! — оборвал он сердито.— Паника! У вас? Глазам не верю.

Он говорил как старший. И Аркадий Кириллович почувствовал досаду на себя, стал угрюмо оправдываться:

— Не паника, нечто противоположное — отрезвление. Мои высокоморальные наставления толкнули на убийство! Страшно? Да. Но от этого страшного не собираюсь прятаться.

— И все-таки врача не хоронят вместе с тем, кого он не сумел вылечить.

— Плох тот врач, который заранее рассчитывает на снисхождение к себе.

— Я убежден, Аркадий Кириллович,— то, что, увы, не помогло Николаю Корякину, вовсе не бесполезно было для других.

— А вот мне кажется иначе: раз вредно подействовало на одного, где гарантия, что не повредит другим?

— Послушайте,— примиряюще сказал директор,— самое бессмысленное — это затевать нам спор: вы будете уверять — брито, я — стрижено. Тем более что вы не можете сейчас, с ходу предложить новый спасительный рецептик. Нет его у вас за душой.

— Признаем пока, что старое лекарство опасно, потом уж будем думать о новом.

— Сколько думать? — вкрадчиво спросил директор.— Над старым вы думали, если не соврать, чуть ли не всю свою педагогическую жизнь.

Голос был вкрадчивым, а взгляд убегающим.

И этот убегающий взгляд вдруг устыдил Аркадия Кирилловича — подставь плечо, поддержи! Он — его?.. Ой ли? Он сейчас в худшем положении. Не учитель Памятнов, а он ходил по начальственным кабинетам, славил успехи. Его голос слышали, его напористость видели, его, директора сто двадцать пятой школы, считали глашатаем нравственного обновления. Громовой удар Аркадия Кирилловича может и миновать, но на Евгения Максимовича обрушится непременно. Ждал поддержки от обреченного. Нет! Сам подставь ему плечо. Нуждается.

— Евгений Максимович,— с обретенной твердостью заговорил Аркадий Кириллович,— уж не думаете ли вы, что я собираюсь выбросить все, что добыто? При всем желании ни вы, ни я этого уже не сумеем сделать. Что пройдено, то пройдено, но открылось — заблудились. Оказывается, ой как далеко до желанной цели. Давайте это признаем. Необходимо.

И директор опять ушел глазами в сторону, холодно согласился:

— Признавайтесь... Только про себя.

— Как так?

— А так, не выплескивайте наружу. На нас и без того навалятся со всех сторон, без того нарушится нормальная жизнь. А если еще увидят, что мы сами в себя не верим, признаемся в панике — заблудились, мол,— ну тогда уж разгром! Нет, нет, не

только вами построенного, но и того, что сколачивали другие. Учителя физики изменяют программам, преподают сверх положенного — пресечь! Под химическую лабораторию заняли подвал — прикрыть! Вместо уроков физкультуры походы — запретить! И пойдет карусель... Себя вы можете кинуть под колеса, но поберегите других, Аркадий Кириллович...

В этот момент в дверь просунулась смазливая физиономия секретарши Зоечки с широко распахнутыми подведенными глазами:

— Ой, Евгений Максимович! Возьмите скорей трубку. Отец Потехиной Сони из девятого «а» звонит. Он такое говорит, такое!..

Директор снял трубку.

Даже мелкие секретики не давали спокойно жить Зоечке Голубцовой — мгновенно избавлялась от них,— а уж большие новости она и совсем держать в себе не могла. Едва притворив дверь директорского кабинета, она сломя голову ринулась к девятому «а», выманила в коридор Стасика Бочкова, первого, кто попался ей на глаза...

...Стасик Бочков, взлохмаченный, бледный, без нужды поправляя на носу очки, встал посреди кабинета, возле учительского стола.

— Ребята! Колька Корякин... сегодня ночью... убил своего отца!

Срывающимся голосом ту самую фразу, которую не могла заставить себя произнести Соня Потехина.

Не все сразу ее расслышали, не до всех дошло:

— Что?.. Что?..

— Колька Корякин ночью убил отца! — отчетливо повторил Стасик.

И наступила тишина. И в этой тишине всплеснулся истерический девичий голос:

— Уж-жас! Он за моей спиной сидел!

Соня вскочила — пришла ее минута защищать Колю.

— Восхищаться надо — не ужасаться! — с надрывом выкрикнула она.

Снова недоуменное «что? что?» с разных сторон. Стасик Бочков первым вразумительно изумился:

— Восхищаться? Убийством?

Весь класс озадаченно и недоверчиво глядел на Соню — вот-вот недоверчивость сменится враждой.

Растолкав столпившихся у доски ребят, двинулся к ней пружинящей походкой Славка Кушелев, тот, кого Соня боялась больше всех. Крупная голова покоится на узких разведенных плечиках, руки в карманах, на лбу жесткая прядь, мелкие, широко расставленные глазки нацелены прямо в зрачки.

— Ты знала? — спросил он.

— Да! — с вызовом.

— И молчала — почему?

— Потому что Стаське это сказать легко, а мне — нет!

Славка помедлил, удовлетворенно произнес:

— Ясно. Но восхищаться?.. Простить — еще понятно. Но почему мы должны восхищаться?

— Простить? А за что простить? За то, что он мать спасал от зверя?

— Да, но не слишком ли дорого за спасение?..

— Если у тебя на глазах твою мать станут бить до смерти, ты что, гадать станешь — дорого или недорого?

И глаза Славки не выдержали, вильнули в сторону от Сониных зрачков.

— Все-таки убить... И кого?..

— Убить, чтоб жить было можно!

Славка долго молчал.

— Убить, чтоб жить...— повторил он.— Пожалуй.

И отступил.

Соня поняла: победила, теперь класс на ее стороне. После Славки никто не посмеет сказать против.

Директор положил трубку:

— М-да-а. Началось... Грозится, что переведет свою дочь в другую школу.

И торопливо принялся рассовывать бумаги по ящикам стола.

— Так вот, Аркадий Кириллович, сидеть сложа руки нам нельзя. Я сейчас еду в гороно. Так сказать, иду на вы! Буду доказывать — да, да, с пеной на губах! — что к семейной трагедии Корякиных наша школа прямого отношения не имеет. И буду защищать вас, Аркадий Кириллович, постараюсь прикрыть своей неширокой грудью. И ваших рассуждений о том, что моральные наставления, видите ли, толкнули, не слышал. И очень надеюсь — оч-чень! — никто больше их от вас не услышит.

Аркадий Кириллович вглядывался в директора исподлобья. По обычным житейским меркам он должен быть благодарен этому человеку за отзывчивость, за участие. За чрезмерное участие, за безоглядную отзывчивость! Даже сейчас не собирается бросать на произвол судьбы: «Постараюсь прикрыть своей неширокой грудью...» И ведь постарается, насколько хватит сил.

Директор, с грохотом задвинув последний ящик, вышел из-за стола, встал перед учителем, невелик, но плотен, плечики разведены, колено бойцовски выставлено, вид заносчив.

— И вам я тоже долго заниматься переживаниями не позволю. Я буду действовать там, вы — здесь, в школе... Не сегодня, не сегодня. Понимаю, сейчас вы травмированы — идите

домой, приходите в себя. Но завтра... завтра вы встретитесь с учениками, в первую очередь с девятым «а».

Аркадий Кириллович продолжал молча вглядываться. А, собственно, какое он имеет право упрекать его, более молодого человека, менее опытного педагога? А разве он сам, Аркадий Кириллович, не верил два дня назад в свою исключительность, не тщеславился в душе — творит-де необыкновенное? Было! Было! Незачем притворяться перед собой святым. Отрезвила пролитая кровь. Но только отрезвила; что, к чему — пока по-прежнему непонятно. Почему этот человек должен понимать лучше тебя?

А директор, выставив бойцовски колено, скользя взглядом мимо виска Аркадия Кирилловича, напористо говорил:

— Мы не можем допустить, чтоб ученики самостоятельно принялись переваривать убийство. Народ незрелый, горячий, с вывихами, без руля и без ветрил. Мы и сами-то сейчас теряемся в оценках, ну а они такого нагородят друг перед другом, что потом как бы сами кидаться не стали на родителей, на прохожих, на нас с вами. Скрыть, что произошло, не в наших силах, но в русло вогнать мы обязаны. И лучше, чем кто-либо, это можете сделать вы, Аркадий Кириллович. Только вы! У вас огромный авторитет среди учеников.

Слова, слова, слова... Ох, сколько их еще выплеснется, беспомощных слов! Аркадий Кириллович поднялся.

— Да,— выдавил он.— Да... Скрыть не в силах и скрывать не следует. Хорошо, Евгений Максимович, завтра встречусь, а сегодня мне нужно кое-что уяснить.

— Ну а мне уяснять некогда, иначе все уяснят без меня.— Директор уже снимал с вешалки плащ.

Острый на язык учитель химии Горюнов однажды сказал про директора: «Мужик с пружинкой: когда не трогают — тих, когда надавят — чертик выскочит».

16

Лет шесть назад на шоссе, огибающем стороной город, была возведена гостиница, названная по-новомодному мотелем, вместе с большой бензозаправочной станцией и корпусами авторемонтных мастерских. Этот служебный поселок считался частью города, подчинялся городским организациям — не одной, а нескольким,— но жил своей обособленной жизнью. Он место паломничества тех, кого носили по дорогам колеса. Здесь можно было встретить кавказцев в неумеренно больших кепках, прозванных аэродромами, узбеков в расшитых тюбетейках, неухоженно-джинсовую молодежь западной закваски и районно-командировочный народец в поношенных плащах и кирзовых

сапогах, с неизбывным терпением на физиономиях. Караван-сарай кочевников XX века! Здешние горожане, попавшие сюда, чувствовали себя как на чужбине, гостями.

Как всегда ночью, в разные часы, с разных концов сюда прибывали «Запорожцы», «Жигули», «Москвичи», несущие на себе увечья — помятые крылья, продавленные дверцы, покореженные багажники. Они выстраивались в глубине авторемонтных мастерских, у маленького корпуса на отшибе, где размещался арматурно-покрасочный цех.

Когда в сумерки уже начала вливаться утренняя свинцовость, подкатил измызганный, сельского вида грузовичок, притянувший на тросе еще одни несчастные «Жигули» с продавленной крышей, выбитыми стеклами и незадачливым владельцем, научным сотрудником крупного НИИ.

В восемь утра начался рабочий день, выстроилась очередь в регистратуре, ожили мастерские, открыл свои ворота и покрасочный цех.

В начале десятого возле цеха объявились две фигуры. Один низкорослый, тщедушный, чрезвычайно вертлявый, в потасканной лыжной кепке с наушниками, выступающим козырьком и еще более выступающим ассирийским носом. Второй костляво-долговязый, в пузырящейся, необмятой, почти новой шляпе над деревянным, плоско стесанным лицом. Это были подсобные рабочие по профессии, по призванию же — ханыги. Однако оба были довольно известны среди автолюбителей города. Они не только работали на подхвате у мастера-арматурщика Рафаила Корякина, а считались его близкими приятелями. Именно к Рафаилу-то Корякину и сбегались в ночь-заполночь со всей округи изувеченные машины, спешили занять очередь: золотые руки у мужика! Слава Корякина падала и на ханыг. Наиболее образованные из владельцев звали их не без претенциозности — Самсон и Далила, хотя имя первого не Самсон, а Соломон, второго же — Данила. Соломон и Данила, Рабинович и Клоповин, в обиходе Даня Клоп. Шерочка с машерочкой для тех, кто не блистал ветхозаветной эрудицией.

Вчера вечером шерочка с машерочкой в компании Бешеного Рафы сильно перегрузились, а потому сейчас чувствовали себя крайне паскудно. Во-первых, они проспали и опоздали, что им обычно не проходило безнаказанно. Во-вторых, жизнь вообще не мила, если не удастся «поправиться».

Но Соломон, более чуткий, чем его товарищ, вдруг повел носом и не без воодушевления объявил:

— Клоп! Кеб не стоит на месте! Клоп! Мое исстрадавшееся сердце чует — денек нынче будет кейфовый.

Для этой тесной парочки все дни делились на кейфовые и стервовые. Первым же признаком кейфового дня было отсутствие

под стеной возле двери «Посторонним вход воспрещен» темно-зеленых вылизанных «Жигулей» начальника покрасочного цеха Пухова. «Кеб не стоит», значит, Пухов, которого остерегается даже Бешеный Рафа, с утра «не пропашет» и день пойдет вперевалочку. Во всяком случае, взыскивать с Соломона и Данилы за опоздание некому, можно даже дозволить себе «поправиться».

И Соломон, не тратя время на переживания, решительно направился к разбитым «Жигулям», притащенным сельским грузовичком. «Жигули», казалось, строили устрашающие гримасы, а их хозяин всем своим не утратившим былой респектабельности видом выражал смиренную безнадежность. Соломон, запустив руки в карманы, минуты три с суровым глубокомыслием изучал тяжкие увечья. За ним, как сумеречная тень, возвышался Данила Клоп. Наконец Соломон позволил себе изречь:

— Вы, молодой человек, конечно, хотите попасть к доктору?

— Да, хотел бы к Корякину...— робко обронил владелец.

— Доктор очень занят.

— Я понимаю... Я готов...

— Мы можем обещать вам одно: мы попробуем, мы только попробуем!

— Я буду вам чрезвычайно благодарен.

— Что ж, пожалуй... Мы не прочь убедиться.

— Простите, в чем?

— За поллитрой топай! — без ухищрений пояснил сгорающий от нетерпения Клоп.

То нехитрое, что совершалось в эту минуту, не раз вызывало революционные — не меньше! — потрясения в образцово-показательных для города авторемонтных мастерских: летело с насиженных мест начальство, новые метлы беспощадно выметали старый сор, пропалывались сорняки, наводилась идеальная чистота, но... Кто мог повлиять на неиссякаемую реку клиентуры, которая перла на этот единственный во всем большом округе автосервис, кому было под силу очистить ее воды? Река не мелела и несла сор. Революционные потрясения вспыхивали и гасли, снова вспыхивали...

И вот сейчас желающий «попасть к доктору» владелец оплошавших «Жигулей», сам пользующийся известностью доктор наук, послушно потопал за поллитрой в гостиницу к некоему легендарному дяде Паше, не веря, что поллитра поможет, отдавая себе отчет, что имеет дело с «тоскующими алкашами», но тем не менее обманывая себя зыбкой надеждой: а вдруг да чем черт не шутит!

Шерочка с машерочкой не успели убраться в сторонку — перед ними внезапно вырос их начальник цеха Пухов в мокром плащике, в мятой шляпе, натянутой на глаза, с потасканной

папочкой под мышкой. Видно было, что сегодня он добирался из города не на своем темно-зеленом «кебе», а на перекладных, как Соломон с Данилой.

— Вчера вы сильно?..— Вопрос с разгона — ни «здравствуйте», ни выговора за то, что еще не переоделись, не приступили к работе.

В авторемонтных мастерских грехом считались не вечерние попойки, а утренние поправки. А так как поправка еще только планировалась, то совесть шерочки с машерочкой была чиста; Соломон позволил себе игриво ответить:

— О чем звук, Илья Афанасьевич? Ха! Нормально!

— Вы вчера ничего за ним не заметили?

— Вы имеете в виду Рафу, Илья Афанасьевич?

— А кого же еще?

— Надо сказать откровенно: он был немножечко весел, извиняюсь, даже дал Данечке по морде.

— Немножечко — значит, сильно?

— Ой, мое сердце чует: что-то случилось!

— Корякин убит... Ночью. Сыном.

Пухов резко повернулся, пошел к двери «Посторонним вход воспрещен».

Моросил дождь, мокрые, покалеченные «Жигули» мученически стояли перед приятелями.

— Нас ждут большие перемены, Клоп...— наконец сдавленно произнес Соломон.

— Попрет! — Даня Клоп мог порой быть куда красноречивее своего велеречивого друга с помощью одного лишь слова, а иногда просто междометия.

— Без Рафы мы здесь никому не нужны, Клоп, а больше всех Пухову.— Неожиданно Соломон воодушевился: — Но он нас не попрет! Нет! Мы сами уйдем, Клоп! Но только хлопнув дверью. Громко хлопнув, чтоб наш родной Илья Афанасьевич вздрогнул от испуга.

Клоп неопределенно хмыкнул.

— Разве это справедливо, Клоп, что все будут думать: бедного Рафу убил мальчик?..

— Липа.

— Ты трижды прав, мудрое насекомое! Липа! И нам это нужно кой-кому объяснить.

— Хы! — удивился Даня Клоп.

— Докажем, Клоп, что мы все-таки люди... Лично твоему другу Соломону еще не выпадал случай доказать, что он человек.

Через полчаса они сидели в котельной мотеля за отобранной у доктора наук поллитрой. Соломон при молчаливом одобрении верного Данилы вырабатывал план: первое — сегодня не нади-

раться, чтоб — второе — завтра не тянуло на опохмелку, ибо надлежит быть «прозрачным до полного доверия».

— Кло-оп! — со стоном захлебывался Соломон.— Я прокляну себя, если все это кончится пьяным трепом!

Клоп мычал в знак согласия.

17

Тихая, забитая Анна взбунтовалась: «Виновата во всем я!» И самое странное, что Людмила Пухова ничуть не удивилась сумасшествию подруги — так и надо. Евдокия вдруг испытала зависть к невестке: хоть бы раз такое пережить, тогда б можно оглядываться назад — не пусто, есть что вспомнить, не зря жила.

Старуха не удивилась внезапному появлению Сулимова, а обрадовалась.

— Это бог послал мне тебя,— сказала она сурово, подымаясь с койки.— Сама-то я вроде каменной стала — никак не сдвинешь... Спасибо, что вспомнил обо мне.

Седые патлы, незастегнутая кофта, открывающая заношенную нательную рубаху, из-под нее выглядывает не женски могучая ключица, морщинистое, бескровно-желтое лицо с массивным подбородком и в утопленных мелких глазках — странно! — страдальческая влага.

— Сядешь иль поведешь куда? — спросила она.

Сулимов оглядывался. Комната старухи казалась даже просторной из-за необставленности — стол, два стула, железная койка и ничего более. Суровая нищета подчеркивалась перекошенностью дряхлого здания: единственное окно в еле уловимой гримасе, неровные массивные половицы покато уходят к одной стене, а серый потолок косо подымается, все сдвинуто, шатко, вот-вот затрещит, начнет заваливаться.

— Сяду,— ответил Сулимов, пристраиваясь к столу, вынимая блокнот.— Не красно, мать, живешь. Сын-то, видать, не щедро помогал.

— Просила бы — помог,— нехотя ответила старуха, снова опускаясь на койку.

— Не хотела просить. Из гордости?

— Боялась.

— Чего же?

— Рафашка мог рубаху последнюю скинуть: бери, только опосля жди — кожу сдерет. Уж такой...

— Вот ты ночью в горячке нам накричала: «Самой страшно, кого родила. В позорище зачала. В горестях вынянчила...» Как это понять? Объясни.

Старуха провела по лицу жесткой ладонью, словно старалась стереть воспоминания, избавиться от них.

— Незаконный он у меня, прижитой...

Сулимов выжидательно молчал, не подгонял вопросами.

— Не так уж и далече отсюда наша деревня, а напрочь ее забыла. Цела ли она теперь — и того не знаю... Тятьки своего я не помню, в первую еще войну ушел и не вернулся, а мать померла, когда мне шестнадцать стукнуло. Куда деться-то?.. Вот и поманили меня Клевые. Справней их в нашей деревне никто не жил: четыре лошади, три коровы, а еще и маслодавильня, жмыхом свиней кормили. Возле свиней-то и пристроили меня, работки хватало. Тут и начал притираться ко мне Ванька, из сыновей старика Клевого младший и самый балованный. В сатиновой рубашечке, поясок шелковый с кистями, сапожки хромовые — да чета ли он мне, девке навозной. Ну и шуганула я его от греха. А он отказу в жизни не терпел — раз не далось, то позарез нужно. Сильничать пробовал, да я крепкой была, понял: не уломать, коль сама не схочу, стал ластиться, такие сказки сказывать, что уши слушают, а душа тает. И жениться обещал. Да-а... «Нынче, говорит, Дуська, порядки новые — бедняки-то в чести, а наше богачество на лычке висит». Да-а...

Евдокия загляделась в серое, окропленное дождем окно, молчала, помаргивала, сжимала в оборочку блеклые губы.

— Вот так-то,— оборвала она молчание,— меня ульстил и себе накаркал. Мне бы, дуре, к бабке Марфидке толкнуться, ан нет, в голову втемяшилось: ребеночком-то Ваньку свяжу, не отрекется...

Сулимов спросил:

— Клевые — фамилия или прозвище?

— По-уличному это. Отец — Семен Клевый, ну а он — Ванька Клевый. По бумагам — Истомины.

— Значит, Рафаил отцовскую фамилию не получил?

— Эва, не расписаны были. Да потом так обернулось, что уж лучше забыть отцовскую-то фамилию.

— Раскулачили Клевых?

— Умирать буду — вспомню, как он с котомочкой на плечах, в суконном зипунчике, в сапожках хромовых за подводой пошел да на меня оглянулся... Я даже повыть, как бабе положено, не посмела. Кто я ему? Ни жена, ни суженая, пожалей — сраму не оберешься. Хотя срам-от под сердцем носила... Да-а... Он же раньше меня бросил — приелась. Зло на него должна бы держать. Нету! Я в жизни потом уж не слыхивала ласкового слова ни от кого! От него только. За то спасибо большое!

Глубокие глазницы старухи налились тоской.

— Из деревни тогда ушла или позже? — поинтересовался Сулимов.

— А как мне было жить в родной деревне? Рафашка еще не родился, а уж все потешались, в глаза мне его подкулачни-

ком называли. На свет еще не выполз, а уж ну-тка — подкулачник... Смешочки, хоть вешайся со сраму...— Старуха вдруг зашевелилась, заволновалась: — Да не о том, не о том я тебе говорю! Себя выгораживаю, на людей сваливаю: недобрые люди-де все подстроили, сама ничуть не виновата... Ан нет, я же его, Рафашку, еще в утробе невзлюбила и потом всю жизнь как взгляну на свое дитя, так душа переворачивается — за что, мол, мне бог такое наказание послал? Рази я не баба, рази не хочу, как все, мужа иметь? А кому нужна с привеском-то? Мое лютое — мо-ое! — на него перешло!..

— Не наговаривай! — перебил Сулимов.— Бывали же и у тебя материнские минуты. Наверняка чувствовала когда-нибудь, что он сын родной. Ласкала же, не без того.

Старуха задумалась, ответила не сразу:

— Знать, единова только... На новый манер бабы тогда стали рожать — в больнице. Вот из больницы-то я вышла: солнышко светит, лист в силу вошел, но не выцвел ишо, зеленый-презеленый, за душу берет. И вспомнилось, что решилась уже: в деревню не вернусь, укачу на сторону, в город на стройку, стыдиться мне там будет некого, и такая свободушка нашла — все казалось легко и просто... Тут-то вот и увидала на рученьках его ноготки малюсенькие, а сам он на солнышко жмурится, улыбается вроде. Сердце тогда зашлось, думаю: сама помру, а его, болезного, вытащу... А больше... Больше нет, не любилось. И некогда любить было. Время крутое: голодуха кругом, на вокзалах народ лежмя лежит, подняться не могут. К месту прибилась, кирпичи ворочала, придешь в барак — кажная косточка кричмя кричит, одного хочется — свалиться да уснуть, а его обиходь, корми, подмывай, постирай. Еще и соседки на тебя шипят — от криков покою нету... Люби тут? Ой, не в силушку. Усохла моя любовь в росточке самом...

— Ну а он-то, Рафаил, любил в жизни кого-нибудь?

— Уж не меня только.

— Себя! — подсказал Сулимов.

— Не-ет! — решительно возразила старуха.— Вот уж не-ет! Он и себе-то нисколечко не нравился.

— За всю жизнь — никого никогда? Да может ли быть такой человек на свете? — усомнился Сулимов.

— Людку Краснуху любил, но уж больно люто, зарезать ее стращал... И еще... Вот того и вправду, поди, любил нешуточно.

— Кого? — встрепенулся Сулимов.

— Пиратку.

— Какую Пиратку?

— Собаку.

— Рассказывай,— потребовал Сулимов.

— Чего рассказывать-то — пустое... Собачонка была, щенок улишный, кто как его кликал: взрослые — Кабыздошкой, ребятишки — Пираткой, к каждому ластился. Однажды лапу ему повредили, и сильно... У Рафашки никак не угадаешь, что наплывет: то такой сатаной взыграет, то вдруг найдет, без уему добр... Вот и Пиратку пожалел, в дом притащил, стал с лапой возиться да хлебом прикармливать. Война тогда по второму году шла, хлеба-то уже самим не хватало... Выходил он Пиратку, лапа срослась, такой веселый да игривый обернулся, спасу нет. Ребятня из наших бараков, кто пошустрей, на товарной станции день-деньской отиралась, шабашили, значит... Рафашка тоже от них не отставал. Удалось ему как-то, притащил домой кус добрый сала свиного — военным-де ящики к машинам подтаскивал, за работу отвалили. Может, и так, военные снабженцы — народ щедровитый, не от своего пайка отрывали. А для нас, работяг, сало — диковинка, на карточки по мясным талонам одну селедку давали. «Схорони, говорит, мамка, день рождения у меня скоро, ни разу в жизни не попраздновали». Оно и верно: жили, а праздников не знали. Рафашке как раз должно стукнуть одиннадцать, что ли, лет... Господи! Господи! Вот времечко было: кус сала в доме завелся — так уж богатеем себя считаешь. И он и я, дура большая, нет-нет, да заглянем тишком в шкафчик, порадуемся — лежит в блюде...

Я с работы добиралась, Рафашка заскочил с улицы домой — обычным манером Пиратку своего разлюбезного проведать. А Пиратка, стервец, на полу лежит — шкафчик раскрыт, блюдо опрокинуто. Лежит Пиратка и наше сало догрызает... Да-а, тут и тихой бы осерчал, ну а Рафашка и от малого стервенился — глаза эдак побелеют, нос вострый, с лица спадает. Да-а... Накинул на своего Пиратку веревку да волоком по улице к пруду. Грязный у нас пруд, мусорный, но глубокий, однако... Привязал Рафашка кирпич да с кирпичом-то Пиратку в воду... Да-а... Ну, я как раз домой подоспела, Рафашка аж черный: «Пиратка сало съел!» Поняла сразу, не стала и спрашивать, где этот шкодливый Пиратка. И мне, правду сказать, тоже досада великая — сало жаль, столько о нем думалось. Рафашке попеняла: мол, следи, коли в дом привел... Он то сядет, то вскочит, то на меня круглым глазом зыркнет. «Пошли, говорит, к Фроське Грубовой штаны новы мерить!» Несет его... У меня кусок пилотажу был, так я уж ко дню рождения Рафашке штаны огоревать решила, Фроська с Запрудной улицы взялась шить. И вправду в тот вечер уговорились примерку сделать.

Вышли из дому; солнышко запало уже, смеркаться начало, кто-то гармошку от скуки иль от голодухи мучает, полувременье

вечернее, все с работы пришли, по домам возятся, пусто на улице. И глянь, по пустой-то улице катится навстречь... Рафашка как в землю врос: он, Пиратка! Я-то не знала еще, что он с кирпичом на шее в пруд ушел. Да-а... Сорвался, выходит, кирпич, выплыла собака, трусит себе обратно. А Рафашка — глаза белые, нехорошие — эдак бочком, бочком пошел, сейчас прыгнет, вкогтится. Вот тут-то и случилось... Пиратка, паршивец, вместо того, чтоб от Рафашки во все ноги, нет, прямо к нему — заповизгивает, на брюхо припадает, хвостом виляет. Эх-хе-хе! Проста животина... Рафашка, словно журавленок, на одной ноге стоит, а Пиратка в него тычется, и радуется, и жалуется, и прощения, видать, просит... Подкосило вдруг Рафашку: упал плашмя, схватил Пиратку, ревмя заревел, целует, а тот визжит, лицо ему лижет. Смех и грех, право.

Ну так вот, после этого не разлей вода оне — милуются. Не упомню, чтоб Рафашка ударил Пиратку когда, чудно, в шутку даже не замахивался, сам недоедал, а собаку кормил. А та за ним как привязанная — врозь никогда не увидишь. Чем не любовь? И тянулась эта любовь года, поди, четыре, коли не больше. Рафашка жердястый стал, рожа ошпаренная, глаза цвелые, в кого — не понять. И чем больше рос, тем смурней делался. Пиратка тот и совсем вымахал — эдакая, прости господи, зверина, шерсть свалялась, ноги длинные и пасть до ушей. Характеру, должно быть, у хозяина понабрался, чуть что — в рык и зубы показывает. Добро бы просто показывал. Рафашке стоило на кого пальцем ткнуть — куси, Пиратка! — тот рад стараться, мужиков с ног валил, отбиться не могли. Сам-то Рафашка еще жидок был, не выматерел, а уж по поселку ходил — кум царю, уступай дорогу. И просто так натравливать любил, забавы ради, чтоб чувствовали и боялись. Парочка — гусь да гагарочка, наказание для поселка. А поселок наш на что уж бедовый — милиция сторонкой обходила. Да-а...

Ох, глупы люди да непроворны. Сколько хвалилось, что Пиратку пристукнут, заодно и Рафашку пришьют,— нет, острасткой все и кончилось, пока один тихонький молодец не нашелся. И всего-то за порванные новые штаны... колбаски бросил. Откинул лапы Пиратка. Ну, мой-то недели две в кармане ножик носил на тихонького.... И, поди, ума бы хватило пустить кровушку, да только не на того напал. Встретились, потолковали, дружками стали — не разлей вода...

Евдокия замолчала.

— Так все-таки были у него друзья не только среди собак? — нарушил молчание Сулимов.

— Да ведь волков диких и тех приручают.

— Вот как! Даже приручил дикого Рафаила. Кто же такой и долго ли они дружили?

— Всю жизнь,— не задумываясь ответила старуха.— Илья Пухов — не слыхал? При нем до последнего дня Рафашка работал.

— Муж той Людмилы?

— Он самый. Хват. Людку-то он у Рафашки вырвал и дружбу сохранил. Ох и ловок — любого обкрутит.

— Водкой действовал?

— Того не скажу. Не-ет! Сам Пухов в рот не берет, навряд ли других понужает.

Сулимов начал делать пометки в блокноте.

Евдокия недружелюбно разглядывала его, чего-то ждала.

— Все выпытал? — спросила она.

— Много. А что еще набежит, снова на свидание приду. И вот протокол оформлю — прочитать тебе его придется и подписать.

— А может, скажешь мне прежде?..— Требовательный взгляд запавших глаз, недосказанность.

— Что именно?

— Бестолков ты, видать: пытал, пытал меня, слушал, слушал, а ведь так ничего и не понял. Пухов, видишь ли, его интересует, а я ничуть... От Пухова ли беда пошла, не от меня ли?

Сулимов кривенько усмехнулся:

— Везет мне сейчас. В других делах — из кожи вон лезешь, виновников ищешь, а тут сами напрашиваются.

— Ты подумай-ка, покрепче подумай — от двух человек беда эта началась. От Ваньки Клевого и от меня. Ваньку-то что ворошить, поди знай, где его кости лежат. Да и не так уж виноват Ванька — сучка не схочет, кобелек не вскочит. Не был он при сыне, в глаза его не видывал. А я всю жизнь рядом. Иль мать за родного сына не ответчица?

— Ответчица. Готов попрекнуть тебя. Только зачем? Сама без меня все осознала.

— Я-то сознала, а вот ты совсем непонятлив. Сына худого вырастила — это еще не вся моя вина. Я и в другом круто виновата: знала ведь, ой как хорошо знала, что страшон людям мой сынок. Так не молчи, остерегай людей, спасти пробуй, стучись куда нужно. Не делала, смотрела себе со сторонки и чуяла, чуяла: стрясется, ой стрясется рано ли, поздно! Вот и скажи: можно ли за такое простить?

Сулимов пожал плечами:

— Наказывают людей, мать, за дурные действия, а за бездействие как накажешь?

— Вот оно! Вот! — вознегодовала старуха.— Веришь же, что Кольку нужда злая заставила! Как не верить — и слепому видно! Мальчишка глупый не по своей воле — дес-твие! Его ли это дес-твие? Лихо сневолило! А уж ваш закон тут как тут. А то,

что всю-то жизнь свою я это злое лихо вынянчивала — пусть?! Вы, поди, многих так наказываете — безвинных в тюрьму, а виновных милуете! И ничего, совесть не точит? Ась?

— Совесть меня, может, и точит, мать, да ее к делу никак не пришьешь.

— То-то! То-то, что без совести дела творите! Не нужна она вам, совесть, выходит. Вот она я! Хороша? Сама ж признаюсь открыто: неправедно жила, урода добрым людям сотворила. Простите меня за это — пускай и другие не боятся растить уродов на беду всем. На беду! На погибель! Пусть порча по свету идет! Да одумайся, милушко,— неужели тебе не страшно в таком неправедном мире самому-то жить? Ведь молод еще, жизнь-то пока вся впереди. Не страшно, что такие сидячие, меня вроде, без всяких дес-твиев жизню тебе испакостят? Себя бы хоть пожалел, парень!

Сулимову вдруг стало не по себе — в который раз за сегодняшний день от совершенно разных людей он слышит одно и то же.

19

В это время в девятом «а» классе шел урок истории. Он неожиданно захватил всех.

Борис Георгиевич, щеголевато-подтянутый молодой учитель — всего лишь два года со студенческой скамьи,— как всегда, бойко, напористо, сам увлекаясь, рассказывал о «Народной воле», о «Северном союзе русских рабочих».

...Тихого нрава и трезвого поведения столяр Степан Халтурин совершил взрыв в Зимнем дворце: убито пятьдесят солдат Финляндского полка, а царь вместе с семьей остался цел и невредим, вспучило лишь пол в зале да попадали куверты с обеденного стола, накрытого в честь приема принца Гессенского... На следующий год бомба, брошенная двадцатипятилетним Игнатием Гриневицким, прикончила царя. И самого Гриневицкого тоже...

Убить, чтобы жить!..— слушали, затаив дыхание.

Борис Георгиевич с тем же напором доказывал: путь террора ничего не принес для освобождения России, вместо убитого царя стал царь новый и...

В те годы дальние, глухие
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла...

Борис Георгиевич любил украсить урок стихами. С вниманием слушали и это, но... герои остаются героями даже тогда, когда их постигает неудача.

До сих пор в городе ходит легенда, связанная со строительством химкомбината. Один из ведущих инженеров предложил внести некоторые изменения при монтаже оборудования — упрощает работы, экономятся затраты. Инженер проявил напористость, пробил свое предложение, сам руководил монтажом. И уже когда испытания прошли благополучно, был подписан акт о приемке, инженера что-то насторожило. Он снова засел за расчеты и с ужасом убедился, что допустил просчет столь мелкий, что на него никто не обратил внимания. Однако эта мелочь при полной нагрузке в любой момент может привести к катастрофе — взрыв, выброс ядовитых газов, человеческие жертвы и выход из строя всего комбината! Ничего не оставалось, как признаться в своей ошибке, пока не поздно, обвинить самого себя. Но не тут-то было: компетентные комиссии приняли работу, отчеты посланы, сроки выдержаны, экономия получена, премиальные выплачены, благодарности объявлены. Ломать снова, начинать все заново по старым схемам — нет, об этом и слышать не хотели. Инженер обвинял сам себя, готов был нести наказание, но ему не верили, его оправдывали. А комбинат готовился к пуску. И тогда инженер решился на отчаянный шаг — в кабинете начальника, курирующего строительство, он положил на стол заявление, вынул из кармана ампулу: «Здесь цианистый калий, не подпишете — приму на ваших глазах, вынесут отсюда труп. Лучше я, чем по моей глупости погибнут многие».

Возможно, эта история раздута изустной молвой, разукрашена небывальщиной, но до Аркадия Кирилловича докатилась в таком виде. Теперь он чувствовал себя в положении самообличающего инженера. Одна разница — тот знал, в чем его ошибка, Аркадий Кириллович пока что свою ошибку смутно ощущает: есть, допущена, грозный факт оповестил о ней, но в чем она заключается и как ее исправить, неясно.

Директор саморазоблачаться не собирается: «К семейной трагедии Корякиных школа отношения не имеет!» И постарается прикрыть грудью того, с кем вместе ошибался. Но ведь одна катастрофа уже разразилась, не последуют ли за ней другие?..

Только один Василий Потехин сейчас убежден — учитель Памятнов повинен в случившемся. Вдуматься — странно: не проницательный педагог, никак не человек семи пядей во лбу, явно недалекий, а почему-то он, не кто другой. Ссылается на свой горький опыт, полученный от Аркадия Кирилловича. Не совсем понятно, в чем этот опыт заключается, толково не сумел рассказать. Да и сам Аркадий Кириллович не был готов тогда его выслушать. Что-то заметили за тобой — не отмахивайся, дознайся,

что именно. Любые сведения, даже бредовые, в данный момент важны.

И Аркадий Кириллович решительно направился на улицу Менделеева.

Снова тот же подъезд, та же лестница, и наверху, в квартире на пятом этаже, наверняка еще не смыта с паркета кровь. Но возле подъезда беззаботно играют детишки и сидят на скамеечке бабушки, а лестничные пролеты по-будничному скучны, тянет щами из-за какой-то двери. Сама по себе жизнь оскорбительно забывчива, следы трагедий в ней затягиваются, как в болоте — дольше всего они держатся в душах людей. Кто укажет, где та комната, в которой Иван Грозный убил посохом своего сына, а память об этом до сих пор не стерлась.

Аркадий Кириллович рассчитывал только узнать адрес работы Василия Потехина, но неожиданно тот оказался дома — взял отгул, чтоб справиться с потрясением.

Потехин поставил стул напротив, прочно умостился на нем, прямой, с нацеленным подбородком, с капризно-брюзгливым выражением на лице.

— Если уговаривать пришли, то напрасный труд,— заявил он сварливо.

— В чем вас должен уговаривать? — удивился Аркадий Кириллович.

— А разве вы не затем прибежали, чтоб я дочку из школы не забирал?

— Нет, Василий Петрович, хочу от вас снова услышать то, что вы говорили мне ночью.

— Может, ждете — днем ласковей буду?

— Мне сейчас не ласка нужна, а горькая правда. Так что не стесняйтесь — стерплю.

— Я теперь вот понял, почему раньше попов не любили.

— Похож на попа?

— Вылитый, красивыми побасенками о хорошем поведении людей портите.

— Вот это-то мне и растолкуйте.

Василия Петровича едва приметно повело от слов Аркадия Кирилловича, уж и так сидел прям и горделив, сейчас совсем выгнуло и расперло: ладони в колени, локти в стороны, глаза неживые, глядят сквозь, в вечность — памятник, а не человек, ну держись, оглушит сейчас истиной!

— Слышали: прямая линия короче кривой — геометрия! И все верят в это, понять не хотят: в жизни-то геометрия совсем иная, там кривые пути всегда прямых короче.

— Это вы сами открыли или подсказал кто? — поинтересовался Аркадий Кириллович.

— Подсказал! — отрезал Василий Петрович.— Подсказал и наказал!

— Гордин?

— Он. Святой мученик, виноват перед ним.

— Но вы говорили прежде — очковтиратель. Ошибались?

— Нет, так и есть.

— Ловчило?

— Тоже.

— Приспособленец, если память не изменяет?

— Можно сказать и это.

— И святой?

— Мир на таких стоит!

— Чем же он вас так убедил?

— Правдой!

— Не будьте так скупы, Василий Петрович, поделитесь со мной пощедрее.

Василий Петрович внял и чуточку пообмяк в своей монументальной посадке.

— Умный Потехин учил глупого Гордина,— заговорил он сварливо в сторону.— Нельзя тянуть газовые трубы по окрашенным стенам, пробивать их сквозь паркетные полы, чтоб снова-здорово: крась, крой, заделывай, бросай денежки. Давай, мол, товарищ Гордин, действовать по порядочку, пряменько. А труб-то нет и неизвестно, когда будут. Жди их, не считайся с тем, что рабочие бездельничают, что строительство в планы не укладывается, прогрессивку и премиальные не получат. Увидит рабочий класс, что свой рубль теряет, и мотнется в другое место, где и прогрессивочку и премиальные ему поднесут. Текучка начнется! Слыхали такое слово? Страшное оно. Квалифицированные рабочие разбежались, нанимай с улицы пьянь разную, отбросы, которых из других мест выкинули, запарывай строительство, приноси убытки, но уже не грошовые, каких умный Потехин боялся, а миллионные. Зато строго по прямой, геометрии придерживайся. А невежды гордины, этой геометрии не желающие знать, ловчат, когда нужно очки втирают, приспосабливаются, как могут, а миллионы спасают... Спасибо гординым: без них прямолинейные умники мир бы набок завалили!

— Я, по-вашему, из них, из прямолинейных умников? — спросил Аркадий Кириллович.

— Самых опасных, не мне чета.

— И как же мне исправиться? Учить детей: не ходите прямо, ищите в жизни кривые дорожки?

— Только не по линеечке, только не по геометрии из книжки!

— Похоже, я и не делаю этого.

Василий Петрович возмущенно подскочил:

— Не делаете!.. А чему же вы учите?

— Русской литературе хотя бы. А она тем и знаменита, что лучше других разбирается в запутанной жизни. Да, в запутанной, да, в сложной!

— Вы учите: будь только честным и никак по-другому?

— Учу.

— И зла никому не делай — учите?

— Учу.

— И сильного не бойся, слабому помогай, от себя оторви — тоже учите?

— Тоже.

— А-а! — восторжествовал Василий Петрович.— И это не по линеечке жить называется! Не геометрию из книжек преподаете! Запутанно, сложно, а прямолинейненько-то поступай!

— А вам бы хотелось, чтоб я учил: будь бесчестным, подличай, изворачивайся, не упускай случая сделать зло, перед сильным пасуй, слабому не помогай... Неужели, Василий Петрович, вам хочется такой вот свою дочь видеть?

— Я хочу...— Василий Петрович даже задохнулся от негодующего волнения.— Одного хочу: чтоб Сонька моя счастливой была, приспособленной! Чтоб загодя знала, что и горы крутые и пропасти в жизни встретятся, пряменько никак не протопаешь, огибай постоянно. Ежели можно быть честной, то будь, а коль нельзя — ловчи, не походи на своего отца, который лез напролом да лоб расшиб. Хочу, чтоб поняла и крепко поняла, что для всех добра и люба не станешь, и любви большой и доброты особо от других не жди. Хочу, чтоб не кидалась на тех, кто сильней, кто легко хребет сломать может, а осторожничала, иной раз от большой нужды и поклониться могла. Хочу, чтоб дурой наивной не оказалась. Вот чего хочу! Ясно ли?

— А ясен ли вам, Василий Петрович, смысл пословицы: как крикнется, так и аукнется?

— Я-асен! Ох я-асен теперь! Уж, верно, больше, чем вам.... Кричи, да остерегайся, где нужно — шепотком, а где и рыкнуть можно, расчетец имей, чтоб не аукнулось. Вот если б этой сноровистой науке вы мою Соньку научили, я бы первый вам в ножки поклонился.

— Всех этому научить или только одну вашу дочь?

— Всех, всех, чтоб вислоухими не были!

— Так что ж получится, Василий Петрович,— все науку воспримут, не вислоухие, ловкачи, будут стараться обманывать друг друга, хребет ломать тем, кто послабей... В дурном же мире Соне жить придется. Не пугает вас?

— А что ж делать-то, когда он, мир, таков и есть, доброго слова не стоит? И сменять его на другой какой, получше, нельзя — один всего. Выхода нет — приспособляйся к нему.

— Сменять наш мир на другой нельзя, а вот попробовать как-то исправить его...

— Исправить! — подскочил Василий Петрович.— Да не дай-то бог! Исправители еще хуже его покалечат. Я сам пробовал исправить и дров наломал. А Колька Корякин вон как жизнь исправил — нравится?.. Ой, не учите Колек, Сонек мир исправлять! Ой, не надо! Так исправят мир, что хоть в космос с него беги!.. Да зачем я остерегаю — уже научили, научили, все мало вам. Дальше учить собираетесь!.. Таких учителей не мешкая хватать надо да под семь замков прятать, чтоб их никто не мог видеть и они чтоб никого...

— Плохо учу, не тому учу — возможно,— согласился Аркадий Кириллович.— Но вдумайтесь, что вы предлагаете — приспособляться учи, себя спасать, других не жалеть!.. Тут уж всякую надежду, что мир, пусть не сейчас, пусть когда-то, лучше станет, оставь. И бежать в космос с такого гнусного мира смысла нет — изворотливое ловкачество, безжалостность друг к другу привычкой станут, в натуру войдут, их уже не сбросишь, как старое платье, с собой увезешь. И куда бы ни сбежал, всюду будет ждать отравленная жизнь.

У Василия Петровича между объемистым лысеющим лбом и волевым подбородком прошла судорога, глаза спрятались, рот повело, и голос бабий, тонкий, срывающийся на визг:

— Да что мне весь мир! Могу я с ним, со всем миром, справиться? Иль надеяться могу, что справится Сонька? С ума еще не сошел — ни себя, ни ее Наполеоном великим или Марксом там не считаю! Я маленький человек, и она в крупную не вырастет. Нужно мне совсем мало — чтоб дочь родная счастливо жила. А остальные уж пусть сами как-нибудь без меня устраиваются... А вы!.. Вы одного попутали, мою дочь попутать можете: выкинет такое — жизнь пополам... Вы... вы враг мне!

Аркадий Кириллович разглядывал Василия Петровича. Он знал, никак не открытие — этот человек испытывает к нему вражду. Потому-то и пришел — враг может видеть то, чего сам не в силах заметить. Враг? Он?.. Да смешно — ожесточившийся заяц.

— Похоже, спорить нам дальше бесполезно.— Аркадий Кириллович поднялся.— До свидания.

Прежняя тревога и прежняя растерянность.

21

Оказывается, куда поместить Колю Корякина, решить было не так-то просто. В статье 393 Уголовно-процессуального кодекса указывалось: «Несовершеннолетние, подвергнутые задержанию или предварительному заключению, должны содержаться отдель-

но от взрослых и осужденных несовершеннолетних». То есть следовало подыскать для Николая Корякина такую камеру, где находятся еще не осужденные подростки.

Но из таких, пока еще не осужденных, сидели сейчас только двое — некто Копытин и Осенко. Один, семнадцатилетний верзила, заманивал к своей пятнадцатилетней сестре сильно подгулявших командировочных и обирал их. Другой, болезненный, слабосильный Осенко, известный по кличке Валька Глаз, поздними вечерами выходил ловить прохожих, выбирал наиболее степенных и видных, задирал их. Когда те, выведенные из себя, решались наконец проучить нахального мальца, тот улучал момент и лезвием бритвы полосовал по лицу, стараясь задеть глаза, скрывался. И делал он это не для того, чтобы ограбить,— просто так доказывал свое превосходство.

Совать к ним Колю Корякина вместе с его трагедией неразумно да и жестоко. Как эти двое повлияют на мальчишку, предусмотреть нельзя. Но, с другой стороны, заключать в одиночку, оставлять его наедине со своей кромешной бедой тоже опасно. Подростки, замечено, вообще тяжело переносят одиночество: через несколько суток даже у самых здоровых, как правило, начинаются психические фокусы.

И все-таки пусть лучше побудет один. Пока. Через день, два Сулимов рассчитывал выпустить его до суда под личное поручительство, скажем, матери и того же учителя Памятнова. Ясно же: парнишка не из тех, которые пытаются убежать от наказания.

Комната, куда привели Колю Корякина, не походила на те тюремные камеры, которые он видел в кино и по телевидению,— темные, каменные, с зарешеченным оконцем под высоким потолком. Здесь было большое окно, только стекло в нем толстое, шашечками, непрозрачное, как донышки бутылок,— свет пропускает, а ничего сквозь не видно. Не понять: вечереет ли за ним или день в полном разгаре, идет ли дождь или просто пасмурно. Койки — как полки в поезде: одна притянута к стене, другая опущена, накрыта серым байковым одеялом. Узенький столик посередине и в углу возле двери унитаз.

Наконец-то никто не мешал Коле. Теперь ему можно было остаться наедине... со своим отцом.

Отец... Прыгнувшее в руках ружье, удар приклада в плечо. Медленно, медленно — казалось, до бесконечности,— он падает на него, на ствол выставленного ружья... И вывернутая рука с согнутыми пальцами, неутоленная, не успевшая схватить, и спутанные, давно не стриженные кудельные отцовские волосы, и черная вязкая струйка крови по паркету... Отец!..

Ненавидеть его Коля теперь уже не мог. За все, что отец сделал плохого, он расплатился полностью — черная струйка

крови по паркету! Ненавидеть нельзя, заставить же себя совсем не думать о нем, забыть — Коле не под силу.

Он вспоминал отца и теперь, когда никто не отвлекал, начинал испытывать жалость, режущую, нестерпимую, к нему, лежащему с вывернутой рукой. Нет спасения от жалости, от раскаянья и от... ненависти к себе.

Коля попытался вызвать мать, несчастную мать, забитую пьяным отцом. Но вывернутая рука, давно не стриженные кудельные волосы — разве несчастье матери сравнишь теперь с отцовским! Мать мелькала, расплывалась, исчезала, все заполнял отец.

Уже несколько раз в течение дня приходила простенькая мысль: «Он же не всегда был плохим...»

Пришла она и сейчас, и память сразу охотно на нее отозвалась. Стали всплывать тихие случаи, совсем, казалось бы, пустячные, не навещавшие прежде Колю даже во сне. Они обступили, закрыли страшное, стало успокаивающе больно...

Едва ли тогда ему исполнилось шесть лет, во всяком случае он еще не ходил в школу. За окном в городе шла весна, только что пролил короткий напористо-звонкий дождь, на стекле еще висели светлые капли, с синего неба над крышами бежало прочь замешкавшееся облако. И в открытую форточку пахло распустившимися тополями.

А в неприбранной комнате было неуютно и молчаливо. Мать пряталась на кухне, оттуда доносился звон посуды, негромкий, унылый. Только что проснувшийся отец грузно сидел на смятой постели, лицо не красное, а серое, жеваное, с упавшими веками, безглазое, большие босые ноги спущены на пол, они какие-то бескостные, бессильные, даже не верится, что отец сможет встать на них, ходить, как все люди. Вчера вечером он был страшен, Колька с матерью бежали от него к соседям. Сегодня его нечего бояться, он болен и, должно, сам себе противен.

Вдруг в распахнутой форточке метнулась тень, комната заполнилась упругим фырчащим шумом трепещущих крыльев. Полупрозрачный сгусток кипящего воздуха — от серого потолка к Колькиной голове, от одной стены к другой. Мелкая птица, нежданная гостья. Она, должно быть, поняла, как грубо ошиблась, ворвавшись в этот тесный, душный, угрожающе молчаливый угол мира. Совершив пляску, она ринулась обратно на простор, к синему, напоенному солнцем, обмытому дождем небу, навстречу тополиному запаху. И налетела на стекло с такой силой, что упала оглушенная на подоконник. Колька кинулся к ней...

Ясно-желтая грудка, пепельная спинка, в перышках крыла голубой торжествующий отлив, глаз мертвенно задернут, но сквозь мягкий пух пальцы уловили суматошное биение крохотного сердца. Над ухом раздалось тяжелое дыхание. Колька обер-

нулся — растерзанный отец стоял над ним, на его помятом лице непривычная робость и на губах виноватая мученическая улыбка.

— Князек заскочил, гляди-ка,— сказал он.

— Живой.

— Небось, оклемается... Князек в городе, надо ж!..

— Я ему гнездо устрою.

Отец несмело улыбался, под набрякшими веками, под жесткими светлыми ресницами влажные белеющие глаза.

— Он чего ест?.. Ой, ожил!

У князька открылся бисерный блестящий глаз. Колькина ладошка сжалась.

— Не тискай, задавишь еще... Слышь, Колька, отпусти его. Князек — птица лесная, вольная, взаперти сдохнет.— И мученическая улыбка, и голос непривычно просящий.— Я тебе канарейку с клеткой куплю, петь будет.

Кольке почему-то вдруг стало жаль, хоть плачь, только неизвестно кого — птичку, попавшую в беду, или похмельного, встрепанного, мучающегося отца. Он даже не решился накормить гостью, отец помог ему вскарабкаться на подоконник, он дотянулся до открытой форточки и разжал руку. Князек мелькнул ясно-желтой грудкой и мгновенно растаял в синеве, обнявшей лежащий внизу город.

В тот вечер отец пришел чистый, трезвый, тая в глазах весеннюю голубизну, а в губах ухмылочку. Он поставил на стол легкий объемистый пакет, завернутый в серую шершавую бумагу. Осторожно, стараясь, чтоб не шуршала, отец снял бумагу, и под ней оказалась круглая проволочная клетка с деревянным низом, выдвигающимся ящиком. Внутри на палочке сидела ржавенькая птичка, чуть побольше князька, быть может, не столь красивая, однако с широким бордовым галстуком.

Кенар ел конопляное семя, запрокидывая смешно голову, пил воду из блюдечка. Он очень скоро прижился и стал петь — дробно, с россыпью, с прищелкиванием, с нежным присвистом. Отец радовался не меньше Кольки, считал коленца... А у матери с лица не сходило испуганное удивление.

Неделю, а может и больше, отец приходил по вечерам рано, и чай пить садились теперь не на кухне, а в большой комнате за круглым столом, накрывали его глаженой скатертью. Кенар пел, и каждый вечер походил на праздник...

Сначала отец пришел чуть подвыпивший, веселый, добрый, разговорчивый. И мать сразу увяла, сжавшись, молчала весь вечер. Но чай был и кенар пел...

На другой день отец толкнул мать на шкаф, клетка с кенаром, накрытая от света платком, свалилась со шкафа на пол. Нет, кенар не разбился, остался жив, только после этого совсем пере-

стал петь, сидел нахохлившись, ничего не ел. И лишь по вечерам, когда пьяный отец начинал громко ругаться, швырять стулья, на кенара стало находить сумасшествие, он метался в клетке, бился грудью о прутья...

Он скоро сдох, и Колька похоронил его в углу двора, за трансформаторной будкой, положил сверху два кирпича — вместо памятника и еще чтоб не выкопали и не сожрали кошки. Никогда уже больше не пили чай за круглым столом, покрытым белой скатертью...

Отец любил собак и птиц. На рыбалке однажды чайка схватила наживленного на перемет пескаря, сама попалась на крючок. У этой чайки были жесткие крылья, столь белые, что Колькины загорелые руки казались черными, как у негра. И голова чайки — маленькая, злая, с ненавидящим острым глазом. Отец и тогда приказал выпустить чайку.

Отец... О нем можно думать. Его даже можно любить.

Не надо только додумывать до конца. Не надо!

Скупо отмеренный день поздней осени угас. Он был тусклый и мокрый, похожий на вчерашний и позавчерашний. Как всегда, многочисленные проходные комбинатов, заводов, фабрик — гигантских, всесоюзно прославленных и неприметно мелких, местного значения — выпустили рабочих, закрылись до утра, до нового рабочего дня. Но закрылись далеко не все, многие пропустили через себя ночные смены. Город лишь замирал, но не переставал жить уже не наружной, не суетливо-шумной, а потаенной жизнью. Какие-то станки не остановились, раздутые печи не погасли, дежурные краны продолжали ворочаться, крутились роторы электростанций, гнали по проводам электричество, совершалось ежесуточное чудодейство: грязная руда превращалась в чистый металл, мертвый металл — в живые машины, сырье становилось продукцией, а время овеществлялось даже тогда, когда большинство жителей засыпало, забывая о неумолимости времени.

Кончился день, для всего города очередной, в общем, самый обычный. В этом тесном людском скоплении, где течение бытия мощно завихряется, всегда выплескивается наружу что-то гнилостное, оскверняющее существование. Где кипение, там и пена.

Кончился день, сам город ничем особым не отличил его от других дней. И только у какого-нибудь десятка людей сегодня круто перевернулась судьба.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

С утра Сулимов решил свозить Колю Корякина на экспертизу. Без медицинской экспертизы в таком деле обойтись нельзя. Сулимов мог бы перепоручить эту процедуру и другим, но вдруг да потребуется что-то уточнить, пояснить, дополнить — уж лучше сам.

Больница, куда он вместе с Колей и сопровождающим милиционером подкатил на спецмашине, когда-то стояла за городом. Теперь город со всех сторон обошел ее — несколько потемневших кирпичных корпусов, окруженных худосочным парком. Еще в конце прошлого века ту больницу основал известный в России психиатр, теперь она носила его имя, но в просторечии издавна звалась непочтительно кошатником или дурдомом.

Уже не столь известный по стране психиатр, однако все же нынешняя местная знаменитость, доктор медицинских наук, заведующий отделением, к чьим услугам следственные органы осмеливались прибегать только в особо важных случаях, оторвался от своих больных, от организационных забот, от конфликтов вверенного ему медперсонала, уединился с Сулимовым в кабинете, полистал бумаги, задал несколько незначительных вопросов, произнес:

— Что ж, давайте сюда вашего соловья-разбойничка.

«Соловей-разбойничек» выглядел жалко: синюшное, до хрупкости исхудавшее лицо, затравленные светлые глаза со вздрагивающими зрачками, тонкая, напряженно тянущаяся из просторного воротника шея...

Местная знаменитость, лысый, с лепным черепом, массивный мужчина, державшийся с Сулимовым грубовато-добродушно, при появлении Корякина изменился мгновенно и разительно — не только физиономия, но и все его плотно сбитое тело стало выражать приветливое участие. Он посадил Колю так, что острые Колины коленки упирались в его тугие, полные колени, начал расспрашивать заботливо и не напористо — хочешь отвечай, хочешь не отвечай, твоя воля: занимался ли спортом, страдал ли головными болями, хорошо ли спал по ночам, какие книги больше нравилось читать... Прерывал вопросы, просил перекинуть ногу на ногу, обстукивал молоточком, заставлял следить за толстым пальцем, нацеленным в потолок, снова и снова спрашивал бархатно стелющимся голосом, втягивал в необязательную беседу. Коля отвечал коротко и ясно, не спуская беспокойного взгляда с врача. Беспокойного, но вовсе не недоверчивого.

— Ну иди, дружочек,— наконец ласково отпустил доктор к сопровождающему милиционеру, ждавшему за дверью. И когда

Коля вышел, местная знаменитость ворчливо заметил: — Как пациент он не представляет для меня ни малейшего интереса.

— Нормален? — спросил Сулимов.

— Нормальных людей на свете нет!

Психиатр плотно уселся за свой стол и с профессиональной быстротой врача, которого ждут многочисленные больные,— приходится дорожить каждой минутой,— написал следующее заключение: «Николай Рафаилович Корякин душевным заболеванием не страдает. Обнаруживает признаки эмоциональной неустойчивости. В период, предшествующий инкриминируемому деянию, он находился в состоянии естественной подавленности, связанной с длительной психогенно-травматизирующей ситуацией, но не носившей болезненно-психотического характера. В момент, относящийся к совершению правонарушения, признаков какого-либо временного болезненного расстройства душевной деятельности не обнаруживал. Как видно из материалов дела и настоящего психиатрического обследования, у него в тот момент отмечалось состояние эмоциональной напряженности, связанной все с той же ситуацией, не сопровождающейся психотической симптоматикой (бредом, галлюцинациями, искаженным восприятием окружающего). Поэтому в отношении инкриминируемого деяния Н. Р. Корякина следует считать вменяемым».

Сулимов пробежал бумагу, спрятал ее.

— Еще один вопрос, доктор... Так сложилось, что мы сейчас вынуждены держать его одного. Не преподнесет ли он нам какой-нибудь сюрприз?

— И долго ли вы его собираетесь изолировать?

— Вот это-то и хотелось бы нам от вас услышать: сколько суток выдержит безболезненно?

— Не могу поручиться, что такой субъект не завтра, так послезавтра не выдаст неожиданный симптом. Правда, ничего такого не случится, чтоб мы потом вынуждены были изменить заключение, посчитать невменяемым.

Но уже выпроваживая Сулимова из кабинета, доктор на прощание все же бросил:

— Все-таки я бы на вашем месте постарался его не травмировать — крайне неустойчив, не защищен толстой шкурой...

И Сулимов понял: этот видавший виды человек, изо дня в день влезающий в чужие несчастья, со всех сторон окруженный изломанными людьми, бесхитростно, по-бабьи жалеет паренька. Почему-то вдруг Сулимов ощутил за собой неясную вину, словно что-то не сделал, не выполнил какого-то важного обещания. Но ничего никому он не обещал и честно делает все, что может, сам жалеет непутевого преступничка, чист совестью. Чист, а поди ж ты, вина не проходила...

Он и раньше намеревался прямо из больницы завезти его

к себе — собственно, допрашивать уже не о чем, во всем признался, надо лишь подписать протокол допроса. Подпись Коли Корякина нужна была сейчас для двух операций. Во-первых, вчера, расставаясь с его матерью, Сулимов обещал ей устроить свидание. И это можно провернуть сразу же, как только он предъявит оформленный протокол. Ну а во-вторых, есть основание рассчитывать, что и вовсе мальчишку отпустят на поруки.

Теперь Сулимову захотелось еще как-то поддержать парня: да, сорвался, да, натворил — самому и другим жутко, только не считай, такой-сякой, что жизнь твоя уже совсем кончена, искупить вину никогда не поздно, а мир не без добрых людей — и поймут и помогут, встанешь на ноги.

Однако когда Коля Корякин опустился на стул в кабинете — судорожно сведенные челюсти, прозрачные, опустошенные тоской глаза направлены куда-то мимо, сквозь стену, в беспросветную даль,— самого Сулимова охватила безнадежность, и произносить тут слова с бодренькими интонациями стало просто невозможно. Да и в протоколе, который он подготовил для подписи, ничего обнадеживающего не содержалось — не мог же он не внести туда признания о заранее заряженном ружье. Посочувствуешь и подсунешь — подпишись, убийство-то совершил не случайное, а преднамеренное!

Подавленный Сулимов предложил Коле внимательно перечитать написанное.

— Возрази, если не согласен, готов любое учесть.

Но Коля с явным нежеланием, насилуя себя, проглядел, нетвердой рукой вывел фамилию. Сообщение о свидании с матерью он выслушал равнодушно, казалось даже, пропустил мимо ушей, а вот обещание — попытаемся выпустить тебя на поруки — вызвало волнение:

— А куда денусь?.. Дома жить, где кровь пролил,— нет!.. И от людей же прятаться придется — убийца... Не надо!

Это рассердило Сулимова:

— Нам лучше знать, что надо, а что не надо. Держим под арестом тех, кто опасен или собирается скрыться. Тебе верим — ничего больше не натворишь и в бега не сорвешься. А где жить?.. Приютили же твою мать люди и тебе место найдут.

Все-таки вроде бы ободрил. Но Коля замкнулся — сцепленные челюсти и взгляд в далекое.

На том у них все и кончилось: вызвал милиционера, попросил увести.

Надо было доложить обо всем начальству, связаться с прокуратурой, побывать на месте работы покойного Рафаила Корякина — дел невпроворот,— а он сидел над раскрытой папкой и не мог заставить себя подняться.

Нельзя сказать, что Сулимов жил бездумно: работа такая,

что постоянно ставит запутанные задачи — шевели мозгами! И шевелил, но всегда применительно к чему-то конкретному, к практическому. А отвлеченные рассуждения с душевными переливами — нет, и характер не тот, да и делу помеха. Должен быть собран, решителен, всегда ясно представлять, что к чему, не колебаться, не путаться и не раскисать в сомнениях.

Сейчас же вдруг набежало... Не то чтобы засомневался, а мысли улетали черт-те куда: к незнакомой деревеньке начала тридцатых годов, к Ваньке Клевому, кулацкому сынку, соблазнившему девку-батрачку, к ребенку, который еще не успел родиться, но уже получил прозвище подкулачник. Должно быть, злое по тем временам прозвище...

Вот она где еще завязалась, крутая веревочка! Через голодные годы, через барачный поселок первой пятилетки, через войну потянулась она на улицу Менделеева, к прошлой ночи.

Телефонный звонок заставил его очнуться. Звонили из проходной.

— Тут сразу двое к вам просятся. Близкие знакомые убитого Корякина. Хотят что-то сообщить, говорят — важное.

— Откуда они?

— Работали вместе с Корякиным.

— Есть ли среди них Пухов?

— Никак нет. Рабинович и Клоповин их фамилии.

2

Они появились перед ним. Впереди низенький, с петушиной осаночкой, прыгающими глазами и наигранной бравадой явно робеющего, но решившегося на подвижничество человека. За ним, шаг отступя, громоздко-длинный, связанно шевелящийся тип, неподвижная физиономия которого выражала лишь извечную сонливость. Не нужно было быть особенно проницательным, чтоб понять: этот из тех, для кого все желания сводятся к одному неутоляемому — к водке. Такие обычно старательно обходят далеко стороной любые официальные учреждения, избегают наблюдающих за порядком. И то, что они вдруг решились по своему желанию проникнуть сквозь дверь, охраняемую дежурным милиционером, вызвано, должно быть, какими-то исключительными мотивами. Но еще неизвестно, по своему ли желанию здесь, не по чужой ли воле. В любом случае они достойны пристального внимания.

— Чем могу служить? — с подчеркнутой вежливостью, намеренно холодно, стараясь показать, что ничуть не удивлен и не очень заинтересован, спросил Сулимов.

Первый, с петушиной осаночкой, доблестно преодолел свою робость, ответил почти вызывающе:

— Спросите нас, кто мы такие, и вам станет понятно, что мы имеем кой-что сообщить товарищу начальнику.

— И кто же вы?

Посетитель с петушиной осаночкой еще сильней выпятил узкую грудь, повел носом в сторону своего до древесности равнодушного приятеля и воодушевленно объявил:

— Мы близкие друзья безвременно погибшего Рафаила Корякина!

— Для полного знакомства неплохо, чтоб вы еще и назвали себя.

— Ах, вас интересуют наши незначительные персоны!.. Соломон... И учтите, это мое настоящее имя... Соломон Борисович, увы, Рабинович. Да, еврей. Да, с двадцать пятого года рождения. И нет, нет! Под судом и следствием Соломон Рабинович никогда не был!

— Ну, а вы? — Сулимов обратился ко второму.

— Клоповин я, Данила Васильевич,— объявил тот угрюмо.

— Достойнейший человек! — горячо воскликнул Соломон.

— То есть тоже не был под судом и следствием?

— Был,— с суровой простотой признался Клоповин.

— Даня, объясни! Даня, у товарища начальника может создаться нехорошее о тебе мнение!

— А что — был... В деревне из-под молотилки шапку зерна унес... С голодухи... Под указ попал, пять лет дали.

— И все! И все! Разве вы посчитаете это виной? — волновался Соломон.

Сулимов смотрел на этих людей и решал — выслушать их по одному или же не следует разбивать парочку? Если они явились с какими-то откровениями, то очень важно, чтоб не чувствовали себя связанными. Явно долго сговаривались, поодиночке навряд ли решились бы прийти сюда, разъедини — утратят чувство плеча, вместе с ним и запал.

Соломон, может, что-то еще и выдаст, а из его дружка тогда слова не выдавишь. И, кроме того, они пока не свидетели, которых статья 158 Уголовно-процессуального кодекса обязывает допрашивать порознь, от предстоящего разговора зависит, станут ли ими. Нет, нельзя разбивать парочку, лучше потолковать в компании.

— Садитесь,— пригласил Сулимов.— Итак, вы оба были друзьями Рафаила Корякина?

— Первейшими! — отозвался Соломон.

— То есть собутыльниками? Вы такую дружбу имеете в виду?

Соломон скорбно вздохнул:

— Если хотите — да! Иных друзей покойный Рафа, скажу вам, не признавал. Но мы с Даней и сейчас, когда он ушел от нас навсегда, храним ему верность. Хотя Рафочка имел несдер-

жанный характер и часто был груб с нами, мы с Даней ему все прощаем. Правда, Даня?

Даня выдавил из себя: «О чем звук!» — утробным баском.

— Так что же вы хотели мне сообщить?

Соломон набрал в грудь воздуху, на минуту замер, поводя выкаченными глазами.

— Вы, конечно, себе думаете,— заговорил он,— что, если б несчастный мальчик не убил своего папу, папа был жив. Так мы с Даней вам скажем: мальчик поспешил, папу и без него бы убили.

— Это догадки или у вас есть факты?

— Факт тот, что вы видите перед собой подручных... Да, как ни прискорбно, подручных убийцы!— возвестил Соломон.— Но, учтите, невольных, только сейчас понявших свою ужасную роль...

— Заявление, прямо сказать, оглушающее,— произнес Сулимов.

— А легко ли нам его сделать? Нет! Отнюдь! Но мы желаем остаться честными людьми. Правда, Даня?..

— Давайте по порядку.

— Два года назад нас с Даней наняли в покрасочный цех. Почему? Ни я, ни Даня в жизни никогда не правили и не красили машины. Но мы... мы, каемся, пристрастны к зелью! Да! К зеленому змию. Сами скорбим, но... пьем! Вот за это-то нас и оформили...

— За пьянство?

— Именно! Чтоб были всегда под рукой у Рафаила Корякина! До нас возле него держали тоже двоих — Пашку Козла и Веньку Кривого, один не выдержал тяжелых обязанностей и отвалил, а другой доблестно сгорел на боевом посту. Нам так и было сказано: «Возьмете зверя на себя». Напрямую, товарищ начальник, напрямую!

— Пухов?

— Ах, вам уже известна эта фамилия? Тем лучше, тем лучше!.. Кому еще выгодно, чтоб Рафа Корякин не переставал пить! Если он завяжет, не станет брать в рот ни капли, то, скажите на милость, зачем ему тогда вкалывать и тянуть длинный рубль? Он не был сребролюбцем, наш покойный Рафочка. Но он любил больше нас с Даней трижды проклятое и трижды прекрасное состояние подогретости. Каждый из нас за него готов продать душу! За наши души, мою и Дани, ничего не дают. Зато душа Рафы — ой!.. Душа мастера, скажу вам, кое-чего стоит!

— Вы, кажется, забыли, что начали с того, что Пухову невыгодно, если Корякин бросит пить,— напомнил Сулимов.

— Хе! Да ясно же: Рафа тогда освободится от Пухова, Пухов лишится курочки, несущей золотые яички. Даня! Разве я не прав?

Даня нечленораздельно буркнул в знак согласия.

— Так что же, Пухов хотел убить курочку, несущую золотые яички? Не вяжется, Соломон!

— А что вы называете убийством? — подпрыгнул на стуле Соломон.— Кровососание, по-вашему, не убийство?

— Но желал Пухов смерти Корякина или не желал?

— Не желал! — с широким жестом возвестил Соломон.— Но понимал, что убивает!

— Он что, заставлял пить Корякина?

— Он? Сам? Ах, что вы, не надо нас смешить! Заставлять — фи... Нет, надо умно организовать, надо создать все условия, чтоб Рафа не просыхал, но только в свободное время. Если Рафочка выполняет срочный заказ (а несрочных у Рафочки не было) — все закрыто! Над ним строгий контроль, нас, изнемогающих, теснят в сторону: не время, когда освободится... Освободится! Вот свободы-то он и не получал — прыгай сразу в угар. Нет денег — бери в долг. Нужны добрые застольные друзья — пожалуйста. Они специально для этого и наняты. Им строго наказывается: не набирайтесь, сукины дети, на стороне, берегите себя для Рафочки! И если даже они заняты на работе — освободить их... Все условия, чтоб Рафочка не мог даже чуть-чуть задуматься. О-о! Даже о семье Рафиной за Рафочку думает сам Пухов, чтоб большой нужды не знала. Ни о чем не тревожься, дорогой Рафа, прожигай деньги, чтоб их заработать, зарабатывай, чтоб сразу прожигать, не смей застопорить, не то Пухову перестанет капать. Системка... И как она вам нравится, товарищ начальник?

— Вы оба эту систему понимали, а Корякин — нет? Уж настолько он был глуп? — спросил Сулимов.

И снова привел в трепетное состояние Соломона:

— Наоборот! Как раз наоборот! Он понимал, а мы с Даней не допирали. Он как доходил до накала, то на чем свет стоит ругательски клял Пухова. И что же? Шел к Пухову, чтобы снова добыть денег и прожечь их!

— Когда же вам открылось все?

Соломон в волнении вспорхнул со стула.

— Чувствовали давно — да! Но всю глубину не осознавали — тоже да! Но с глаз спала пелена, как только услышали от него же, от Пухова, что мальчик — папу... Кто мы? Помощники! По слепоте, по глупости, по слабости характеров, но помощники!..

— Сты-ыд! — прохрипел друг Даня.

— Именно! Именно! Мы с Даней почувствовали стыд! Все можно залить водкой: смерть родной мамы, любое горе,— но стыд... Один стыд не заливается этим снадобьем. От водки, скажу вам, он еще сильней разгорается... Мы вчера чуть-чуть прикоснулись за помин души Рафы Корякина. И как мы расстрои-

лись, как расстроились!.. Даня, сказал я, мы проклянем себя, если не откроем правду! Даня, говорил я, мы на час, на один только час должны стать мессией! Вы знаете, что такое мессия, товарищ начальник?

— Знаю! — обрезал Сулимов.— Не знаю одного: чем вы чище Пухова, на которого все взваливаете? Он корякинскими деньгами корыстовался, вы — водкой! Два сапога — пара.

Обвисшие щечки Соломона дрогнули, нос одеревенел.

— Да-ня-а! — с неподдельной горестью.— Мы с тобой по-благородному, мы очиститься, а нас припечатывают!.. К кому?!

— Хватит скоморошничать, Соломон! Объясните лучше разницу между вами и Пуховым.

Перекосившийся, с вознесенным носом Соломон напоминал в эту минуту умирающую экзотическую птицу.

— Объясню. Только попрошу — вглядитесь в нас...

— Да уж вижу.

— Некрасивы?.. Вы правы, вы правы — мы с Даней, да, безобразны! Но не спешите презирать нас. Мы — санитары. Если пуховы извергают навоз, то мы им питаемся. Ой, что было бы, если б Рафа Корякин гулял без нас, со случайными! Один бог это знает, что было бы!.. Ах, как он мог обижать, когда напивался,— пересказать нельзя, это надо видеть и слышать! Какими гнусными словами он нас обзывал, а особенно меня. Пьяный Рафочка всегда вспоминал, что я еврей. И он не только нас обзывал очень нехорошими словами, он еще бил нас. Смею вас уверить, у Рафочки были ой тяжелые кулаки. Кто бы стерпел это, кроме нас с Даней?.. Бедная жена Рафочки еще не знает, что ее немножечко спасали... Да, да, мы с Даней. Не мы бы, она имела совсем, совсем не то, что получала. Чуточку больше! Ха! Конечно же, Рафочка был богатой натурой, после нас у него оставалось и на жену и на несчастного сына... И Пухова мы тоже спасали, хотя он нас и презирал, но с этой целью — да, да — держал возле Рафочки. Поэтому прошу, очень прошу, не путайте нас с Пуховым. От него — грязь, после нас — крошечка чистоты. Конечно, навозные жуки плохо пахнут. От нас воротят нос, Даня! Скажи, Клоп, что мы к этому привыкли...

— Так какого же лешего вы стонете о Рафочке,— сдается, не только жалеете, а даже готовы его любить?

Друг Даня издал горлом сложную руладу, а Соломон весь сморщился, отвел в сторону затравленные рыжие глаза.

— Вы счастливый человек,— сказал он.— Вас любили папа и мама, когда вы еще лежали в коляске. И вы не сможете понять нас с Даней, которых никто никогда не любил, а все отворачивались и говорили: пфе! Так вот что я вам скажу, счастливый человек: нас любил он! Да, он, этот злой, этот страшный Рафа, которого все боялись. И сам Пухов тоже его боялся... Да, Ра-

фочка издевался над нами, оскорблял нас и бил даже... Но он не брезговал нами, мы были ему нужны... Ему! Да! А скажите мне: кому еще на свете нужен Соломон Рабинович, сорок девять лет назад нечаянно родившийся в местечке Выгода под Одессой? А кому нужен Даня Клоп, спившийся мужик из деревни Шишиха? Ужаснитесь, пожалуйста, за нас. Не можете?.. Я так и знал. А мы с Даней не можем забыть, что кому-то были нужны. И мы с Даней плачем, что снова — никому, никому...

Беспокойные, затравленные глаза Соломона и тяжелый взгляд Дани Клопа. Сулимов сидел перед ними, навалившись на стол.

— Вот оно как,— наконец выдавил он,— даже Рафаила Корякина кто-то оплакивает.

— Чистыми слезами! Учтите — чистыми! — тенористо воскликнул Соломон.

3

В природе приспособиться — значит выжить. Но человек никогда не удовлетворялся лишь одной возможностью выжить, сохранить себя и потомство. Наскальный рисунок первобытного художника не сулил выживания, тем не менее он тратил на него время и силы, отрывая их от добывания пищи насущной. И современные астрономы, изучая умопомрачительно далекие квазары, меньше всего думают, какое жизненно-практическое применение найдут их открытия.

Человек ли тот, кто замкнулся на самосохранении — выжить и больше ничего? Да и возможно ли жить, отгородившись от того безбрежного, что окружает? Жизнь безжалостна к несведущим.

Василий Петрович Потехин (не хочу ничего знать, кроме своего!) — сейчас выписывает наряды на ремонт кухонных плиток, а недавно руководил большим газовым хозяйством — идет ко дну, намерен тащить за собой дочь.

Такие вот василии потехины чем пришибленнее, тем усерднее готовы вершить суровый суд: ты ошибаешься, а я теперь — нет. Что верно, то верно: Василий Петрович ошибок совершать уже больше не будет потому только, что не будет совершать и каких-либо поступков. И глядящим со стороны он станет казаться всегда правым.

Случилось убийство; как хочется от него отодвинуться подальше и как это, в общем-то, просто сделать. Достаточно не признаться себе — совершил ошибку, тем более что она так смутна, так неощутима. Кто посмеет тебя подозревать, кому придет в голову тебя обвинить?..

И появится на свете еще один Василий Петрович Потехин — замкнут на себя, всегда и во всем правый, медленно спускающийся, лишенный уважения к себе и другим.

Нет! Нет! Ищи ошибку, уличай себя!

Жизнь безжалостна к несведущим... Но что знает любой из учеников о той большой жизни, с которой он сразу столкнется, как только выйдет из школы? Аркадий Кириллович преподавал литературу — да, фокусированно отражающую жизнь. Но какую жизнь? Чаще всего далекую от сегодняшней: жизнь графа Безухова и князя Мышкина, Ваньки Жукова и Алеши Пешкова. Даже жизнь более близких по времени Григория Мелехова и Василия Теркина разительно не похожа на нынешнюю.

Аркадий Кириллович вместе с другими учителями старался оберечь своих учеников от скверны мира. Пьянство, поножовщина, мошенничество, корыстолюбие — нет этого, есть трудовые подвиги, растущая сознательность, благородные поступки, праведные отношения. Хотя ученики не были слепы и глухи, некоторые росли в крайне неблагополучных семьях, знали улицу с изнанки, видели пьяных, сталкивались с хулиганством, бесстыдной корыстью, унижающей несправедливостью, но школа старалась сделать все, чтоб они забыли об этом. Из любви к ученику!

Нетребовательная любовь, любовь неразумная, ревниво оберегающая от всего дурного, питающая стерильной житейской кашицей, вместо того чтоб приучить к грубой подножной пище,— сколько матерей испортили ею своих детей, вырастив из них анемичных уродцев или махровых эгоистов-захребетников, не приспособленных к общежитию, отравляющих себе и другим существование. Что непростительно любящим матерям, должно ли прощаться любвеобильным педагогам?

Нередко можно услышать беспечное: зачем, собственно, учить жизни, она, жизнь, сама здорово учит. Учит — да! Но чему? Она может научить не только стойкости и благородству, но и отвечать на жестокость жестокостью, на оскорбление оскорблением, на подлость подлостью. Жизнь — стихия, и крайне неразумно надеяться, что слепая стихия способна подменить собой педагога.

Коля Корякин еще до выхода из школы применил в жизни науку любящего Аркадия Кирилловича.

А эту науку не менее старательно усваивали и другие.

Урок Аркадия Кирилловича в девятом «а» классе по расписанию был третьим...

4

До Коли не сразу дошло — он увидит мать!.. Осознал это, когда уже вышел от Сулимова. Нет, он не забывал о ее существовании, но она оставалась для него там, в прошлом, далеком и утерянном. Мать и отец — трудно представить более разных людей, но Коля также не мог представить себе их и поодиночке. Отца теперь нет, а мать скоро явится к нему. Умом понимал —

странного тут ничего нет: мать жива, мать должна искать с ним встречи; но видеть ее и мириться, что нет отца,— противоестественно!

Всю миновавшую ночь он страдал за отца, любил его. Да, любил! Чем еще оправдать ему себя, как не любовью? Мать тут присутствовала где-то рядом, на нее уже не хватало у Коли ни страдания, ни любви. Наверное, в глубине души, в темном осадке, который он боялся потревожить — захлебнешься мутью! — даже пряталась досада на мать: из-за нее же он схватился за ружье.

Из-за нее... Но думать открыто он об этом не смел. Мать и ружье?.. Если кто и страшился ружья, то только она. И уж благодарить сына за то, что случилось, мать не станет, представить немыслимо. А вот упрекать — да! А как раз это-то и нужно сейчас — не оправдание, а упрек! Любящий упрек! Никто на свете на такое не способен, только она, мама!

Конечно, она и простит, можно не сомневаться. Но простит она не только его — отца тоже. Как ей не простить, когда отец так страшно наказан. Как ей тоже не чувствовать сейчас себя виновной перед отцом, как не жалеть ей его. Мама! Мама! Какое счастье, что ты есть на свете! Мама, одинаково с ним думающая, одинаково чувствующая, все понимающая гораздо лучше, чем он. Скоро увидятся! Они будут плакать вместе. Вместе — не один, значит, не так уж все страшно, значит, можно даже жить. Мама! Мама!..

Детский крик о помощи. Мама! — звук, с которого у человека начинаются самые первые отношения с родом людским. Мама! — извечное прибежище бессильных в несчастье. Изначальное для каждого существо, жизнь подарившая — мама!..

Еще не встретившись с матерью, Коля Корякин ощутил уже себя и не потерянным и не одиноким.

Перед ним распахнули дверь, и он переступил в неуютно-голую комнату с длинным столом посередине. Там замороженно сидела незнакомая женщина в зеленом кожаном пальто коробом, в нелепом берете, украшенном вишенками. Недоуменная тревога — зачем привели сюда? — еще не успела вспыхнуть, как Коля почувствовал на себе взгляд. Из чужой одежды смотрела мать, не похожая на самою себя: тускло-серое, усохшее лицо, обморочно неподвижные глаза. Она сидела и не шевелилась... Так вот, оказывается, как она выглядит без отца — бездомная, пришибленная, кем-то нелепо одетая. И Колю захлестнуло:

— Ма!..

Она качнулась вперед и не встала, так и осталась сидеть, подавшись всем телом, глядя снизу вверх, и взгляд ее ничего не выражал, кроме простенькой вины: вот встать не могу, ноги отказывают.

Он нагнулся, она порывисто обхватила, притянула его к себе. Замерли оба на минуту: он неловко согнувшись, она вытянувшись, прижавшись теплой мягкой щекой к его лицу, сотрясаясь от мелкой дрожи.

— Ма...

Руки матери обмякли. Натыкаясь то на стол, то на материны колени, он нащупал стул, сел напротив.

У нее в бескровных губах беспомощная, невнятная складочка, какая появлялась всегда, когда ждала возвращения отца, но в воспаленных глазах столь лютая боль, что нельзя терпеть — вот-вот закричишь.

— Ма... я не узнал тебя.

Она жалко улыбнулась, и тут наконец-то выступили тяжелые слезы, смягчили взгляд. Она поспешно наклонилась, засуетилась, отыскивая платочек, нашла и всем телом содрогнулась под просторным пальто, всхлипнула:

— Меня Пуховы к себе забрали... Людмила-то ласковая баба. А то куда мне деваться? У Евдокии жить из милости — пронеси господи.

Наступило угрожающее молчание. Коля лихорадочно искал, что сказать матери — что-то обычное, пустяковое,— для большого разговора, где каждое слово понималось бы еще не родившись, каждое слово и ранило и исцеляло, нужен был разгон. Пустяковых слов не находилось, а молчание ширилось, как трещина на весенней льдине,— того и гляди разнесет в разные стороны.

— Мам... Выругай меня,— попросил он.

Жалкая и глупая просьба срывающимся на стон голосом; нет, она не поняла, что счастье услышать сейчас материнские упреки, чем сердитей они, тем желанней.

— Я себя, себя, золотко, кляну. Мне прощения нет — не тебе! Ежели на свете теперь и остался виновный, то я только,— с жаром, похожим на безумие, заставившим Колю сжаться от страха.

— Ты что, мам? Это же я! Я!

— Ты-ы? Не-ет! Другие — пусть, а ты сам не смей, не смей казнить себя. Другим-то где понять. Хватит того, что на тебя возведут. Не возводи сам...

— Да ты что, мам?

— И не за что тебе себя прощать. Он довел, а я, выходит, ему помогала.

Коля задохнулся:

— О-он...

Раньше времени в еще толком не начавшийся разговор ворвался он — отец!

— Не надо о нем, Колюшка,— передернулась мать.

Она уже жалела, что нечаянно обмолвилась. И выражение ее лица было откровенным: не то что неприятно вспоминать о нем,

даже не то что страшно, а хуже — противно. У Коли похолодело внутри — мать не захочет разговаривать об отце, а он только об этом и мечтает. Только о нем и только с ней, в мире нет другого человека, с которым он мог бы поговорить об отце!

— Мам! — Голос его неестественно взвился.— Он много, мам, много нам плохого сделал. Но я ему — больше!

— Гос-по-ди! Зачем?..— Она даже выгнулась от отчаянья.— Зачем его вспоминать? Забудь!

— Разве можно, мам?

— Что уж локти кусать... Река вспять не течет. Я себя перед тобой кляну, а перед ним — нет! Совесть чиста. Сам лез и напоролся.

— Мам! На него теперь... Нам... Стыдно же!

— На него-о... То-то и оно, что он снова не виноват. Мы с тобой его виноватее. И всегда так получалось.

— Мам, уж сейчас-то нам его не простить?.. Да можно ли?..

— Колюшка, ты меня за другое попрекни — за то, что тебя не уберегла. А за него попрекать нечего. Он и мне и тебе, любушке, жизнь измолол. И захочешь забыть, да не получится.

— Но он же не всегда плохим был!

— Не помню хорошим.

— А канарейку помнишь?

— Какую канарейку, родненький?

— В клетке пела. Отец же принес.

По взбежавшим на лоб морщинам, по собравшемуся взгляду было видно: мать не притворялась, честно пыталась вспомнить, признавала эту канарейку важной и нужной для сына.

— Из прежнего, Коленька, помню страх один да колотушки,— с обреченным вздохом.

— Мам!..— Коля говорил, сцепив зубы, сдерживая внутреннюю дрожь.— Мам!..— Он сейчас решался на страшный вопрос, от которого, казалось ему, нельзя отмахнуться и нельзя увильнуть.— А он меня, мам... он разве совсем меня не любил?

Коля ждал, что мать содрогнется, а она лишь отвела взгляд и на минуту задумалась.

— Может, и любил,— просто, с какой-то усталостью призналась она.— Только бешеный любит — беги.

— Но он же любил! Лю-бил! — срывающеся прокричал Коля.

— Вся и беда-то, милушка, что от евонной любви бежать тебе было некуда. Мне бы надо лаз в огороде сделать, а я, дура, все крепила огород-то.

— Он любил меня... Так и я его, мам... Я — его!.. Только теперь понял, что вот люблю, и все тут!

Анна подняла на сына глаза, и лицо ее стало медленно, медленно заливаться ужасом. Только теперь она начала пони-

мать, что творилось внутри у сына. До сих пор думала: сын казнится раскаяньем, раскаивалась она и сама — рада бы повернуть все назад, да река-то вспять не течет. Только сейчас открылось: убийца любит убитого — это уже не раскаянье, это уже мука, считай, смертная; сильный и разумный не выдержит, а ребенок и подавно.

Онемение Анны длилось долго. Коля сидел и подергивался перед нею. Наконец мать пришла в себя, заметалась, закричала в голос:

— Будь он проклят! Будь он трижды проклят! Уж ладно, ладно, что я от него в жизни терпела! Меня — пусть! Но он же тебя до злодейства довел! Не сам же ты — он, о-он!! Сына родного на страшное толкнул! И все ему мало, он и после смерти измывается пуще прежнего! Лю-би-ил?! Да любовь-то его черная, на ненависти да на отраве замешена! Уж лучше бы просто ненавидел. От такой-то любви люди гибнут с муками мученическими! О-он лю-би-ил! Так любил, что ты за ружье схватился! Так почему после ружья за эту любовь цепляешься? Одумайся, Коленька! Выжги в себе отраву! Будь он проклят! Были ли на земле злодеи хуже его, чтоб и после смерти жить не давали?! Будь трижды он проклят!..

— Кричать не положено! — в приоткрытую дверь веско произнес сержант, приведший Колю на свидание.

Анна замолчала: ее колотила дрожь, щеки и лоб стали землистыми, веки опустились, губы дергались. Коля со сдвинутым лицом смотрел на мать тлеющими глазами, молчал.

— Ко-оля-а,— придушенно выдавила Анна,— одного прошу: не давай себе воли, не думай о нем, проклятом... Угар-то пройдет — все затянется. Не думай и не растравляй себя.

— Мам, я кровь видел...— тихо сказал Коля.— Его кровь...

— Ты сломаешься, и я не выживу. Себя не жалеешь — меня хоть пожалей. Одна я у тебя, и ты у меня один.

Коля замялся и вдруг сморщился:

— Нету, мам, нету!.. Ни к тебе нету, ни к себе... Только одного теперь я могу жалеть. Кровь его видел — как забыть?..

Анна обронила руки на колени, обмякла. Она сказала самое убедительное — издала материнский стон: «Пожалей меня!» И сын слышал, но не внял. Другого сказать ему она уже не могла.

Они долго сидели друг против друга, избегая смотреть в глаза. Анна с усилием пошевелилась, попыталась подняться:

— Ноги чтой-то не держат... Одна надежда, Колюшка,— забудется. А ежели нет, то и жить зачем?

5

Мама! Мама! Какое счастье, что ты есть на свете! Мама, одинаково с ним думающая.

Нет ее. Она плакала, но не вместе с ним. Она ничего не смогла понять. А понять надо очень простое и очень важное: он теперь не враг отцу, теперь, когда отца нет, его уже не за что ненавидеть. Ненавидеть нужно Коле себя. Чем еще искупить страшную вину перед отцом, непоправимую вину, как не ненавистью к себе, как не любовью к нему?.. Но что толку, если он станет и любить и ненавидеть про себя, втихомолку: никто не заметит, никто не будет знать, никому не будет до этого дела. Он, Коля, должен доказать и себе и другим — не такой уж бесчувственный, а значит, и не совсем пропащий, его мог бы простить сам отец... Кто еще поймет, если не мать? И нет... Тогда можно ли ждать, что поймут другие? Мама! Мама!.. Не услышала.

Но был еще человек, который верил Коле, быть может, верил даже больше матери,— Соня Потехина.

Они знали друг друга всегда, всю жизнь. В глубоком, глубоком детстве, в запредельно для Коли далекие времена они встретились. Мать, спасаясь по вечерам от буйствующего отца, хватала сына и бежала к соседям, чаще всего вниз, к Потехиным. Матери жаловались друг другу, плакали, утешали, а маленький Коля с маленькой Соней играли на полу в куклы, иногда ссорились.

Потом эти набеги прекратились: то ли Коля подрос, его уже труднее было схватить в охапку и бежать, то ли скандалы стали так часты, что матери уже неловко было постоянно беспокоить соседей. И Коля с Соней встречались только нечаянно на лестнице или во дворе, не разговаривали, даже не догадывались здороваться. Все в доме жалели Колю, мать Сони — тоже. Должно быть, тогда же начала его жалеть и сама Соня.

Они в один год пошли в школу, оказались в одном классе, но к этому времени уже стали совершенно чужие — просто мальчишка и девчонка, случайно живущие в одном доме. Да Коля вообще ни с кем не сходился. Он постоянно помнил, что все знают о скандалах в их квартире, считают его страдальцем. Он не похож на других — хуже, несчастнее! Если иногда и забывал об этом, то быстро напоминали... жалостью: «Горемычный ты, горемычный! Уж лучше бы тебя в детдом забрали, чем с таким извергом жить!» Коля завидовал всем и всех ненавидел. В школе он плохо учился, еле-еле перебирался из класса в класс, учителям грубил, от ребят сторонился, а временами с ним случались приступы бешенства — набрасывался на самых сильных. Чаще перед ним отступали — ненормальный! — иногда били.

А он испытывал мстительное наслаждение оттого, что плохой,

что с ним не могут справиться учителя. Наверное, таким бы и остался на всю жизнь: завидующим, ненавидящим, наслаждающимся своим несчастьем. Но случилось неожиданное...

Был летний поход школьников шестых — седьмых классов по лесной речке Крапивнице, впадающей в большую реку. Такие походы сколачивал учитель физкультуры Андрей Михайлович — уходили на несколько дней, жгли костры, ночевали в шалашах, ловили рыбу, объедались ягодами. Но в тот раз случилось несчастье не столь уж и большое, но досадное. Соня Потехина, перебираясь через овраг, сорвалась и повредила ногу — вспухла щиколотка, нельзя ступить. Прервать поход? Сделать носилки и всем по очереди нести Соню по тропе через лес и болота до пристани? Кто-то вспомнил о байдарке — тащили с собой, чтоб поплавать на озере. Почему бы не спустить Соню вниз по реке на байдарке?..

Хороших байдарочников было всего трое: Игорь Шуляев, Коля Корякин и, разумеется, сам Андрей Михайлович. Но Андрей Михайлович не мог бросить ребят одних среди леса. С кем из двоих плыть, решили предоставить Соне. И она назвала Колю. Троих мальчишек послали по берегу на всякий случай, если понадобится какая-то помощь. Но берега Крапивницы были болотисты, и ребята шли стороной, весь путь Коля и Соня оставались вдвоем.

То был самый счастливый день в жизни Коли Корякина. День, перевернувший все.

На черной воде лежали согретые солнцем, глянцевитые листья кувшинок, над ними висели голубые стрекозы. Эти стрекозы внезапно возникали из чистого воздуха и так же внезапно исчезали — по капризу, словно каждая имела по крохотной шапке-невидимке: были да нет, не были и нате вам — мы тут. Она сидела впереди, ее голова туго охвачена цветной косынкой, из-под косынки тонкая натянутая шея, золотистые завитки волос на ней.

Он как бы проснулся. До сих пор жил, и казалось, долго жил, но не по-настоящему, в дреме: все вроде видел и все пропускал мимо, если не досаждало, не мешало, не раздражало. В тот день все кругом вдруг вспыхнуло для него: вода в реке бездонно-темна, небо над головой глубинно-синее, распирающее грудь, даже воздух, прозрачный воздух, которого никогда не замечал, стал ощутим — чувствуешь его вкус опьяняюще свежий, настоянный на речной влаге, на одурманивающих запахах можжевеловых кустов. И в густой траве на берегу полыхали лиловым пламенем кулиги лесной герани. И эти нарядно-голубые стрекозы, готовые раствориться в любую секунду. Тихий мир стал буйным, радостно вопил вокруг, а Коля пребывал в изумленном испуге — исчезнет же, не может длиться долго.

Но догадывался — она! Пока рядом она, дреме не быть, цветы не слиняют, воздух не замутится. Она сама выбрала его — не Игоря Шуляева. Впервые Коля одержал над кем-то победу. Оторви сейчас руку от весла, протяни ее вперед — коснешься золотистых завитков на шее. Рядом...

Однако ж рано ли, поздно ли — кончится эта река, обнимающая байдарку, ее и его. Кончится река, кончится чудо, все станет по-прежнему. Он еще не представлял, как извилиста и длинна речка Крапивница, сколько неожиданного она ему подарит.

— Хорошо-то как! Век бы плыла и плыла...

Первый подарок — ей хорошо, не только ему.

А потом уткнулись в завал, и ему пришлось помогать ей выбраться из байдарки на берег. Второй подарок — она обняла его за шею не колеблясь, доверчиво. На речке Крапивнице и такое было возможно, позднее она его уже никогда не обнимала — стеснялись друг друга.

Они доплыли до большой реки, до пристани, но к тому времени Коля уже понял — их путь не кончен, может, даже никогда не кончится.

Но тогда-то и появился страх. Кто он и кто Соня? Опомнится и отвернется — зачем ей терпеть того, кого одни считают испорченным, другие жалким, несчастным? С ним никто не может дружить, с какой стати ей водить дружбу? Страх этот угнездился и не проходил. Всегда жило сомнение — стоит ли он внимания Сони? Коля навсегда заразился недовольством собой.

После путешествия по Крапивнице он день ото дня все больше привыкал к тому, что она рядом. Каждое утро начиналось с радости — сегодня опять увидит ее. Она его тоже увидит, он должен выглядеть красивым, без изъяна. Он старался быть к себе строг, ни в чем не давал уступок. Он стал хорошо учиться, набросился на книги, вспышки бешенства прекратились сами собой, учителя начали ставить его в пример; даже одевался он с придирчивостью, даже за походкой своей следил и боялся солгать по нечаянности хоть в малом — делал над собой все, лишь бы Соня не подумала о нем плохо. Она рядом, за это он перед ней в вечном долгу. Жить — значит нравиться ей.

Единственно, что было ему не под силу,— прекратить гнусные скандалы, в которых варился, о которых не переставая злословили все кругом. А Соня-то слышала... При встречах стыдно глядеть ей в глаза. И стал страдать за мать, и росла ненависть к отцу...

Ненависть к отцу и долг перед Соней — несовместимое, раздирающее. Не будь Сони, он бы терпел, никогда не осмелился бы схватиться за ружье. Но вот кровь на паркете, и стало уже не до Сони...

Он не вспоминал Соню, думал лишь об отце.

Вспомнил только теперь, после встречи с матерью. Не поняла мать, так могут ли понять другие?

А Соня?..

Соня никогда не походила на других. Соня поняла его тогда, когда он еще и сам себя не понимал. Соня — его совесть, Соня — вершина, до которой он мечтал дорасти. Как он смеет сомневаться в ней!

Но ему нужно убедиться в одном — Соня по-прежнему не отвернулась от него. Если он попросит о встрече, придет она на свидание или не придет?..

6

А Соня переживала перерождение...

С детства она была незаметной, за все девять лет в школе никогда и ничем не выделилась. Учителя не ставили ее в пример и, похоже, ни разу ни в чем не упрекнули. В любой девичьей компании она не была лишней, но если почему-либо не появлялась — не обижались, не упрекали потом: «Почему не пришла?»

Ребята относились к ней по-товарищески, но без особого повышенного внимания — девчонка как девчонка, плохого не скажешь, не хуже других. Все знали, что к ней неравнодушен Коля Корякин, но и это ни у кого не вызывало особенного удивления — обычное, все к кому-то неравнодушны; к Соне Потехиной — что ж, вполне может нравиться. Поудивлялись в свое время на Колю — изменился парень,— но скоро привыкли. А Соня и тогда оставалась в стороне — не лезущая в глаза, добрая, покладистая, не хватающая звезд с неба.

И вот она стала героем класса. Славка Кушелев, ничему не верящий, во всем сомневающийся, первый признал ее.

Она права — ни на минуту не приходило сомненье. Соня сомневалась в другом — все ли признавали ее выстраданную правоту? Наверняка кто-то тайком с ней не согласен, кто-то колеблется, кому-то не по нутру ее неуступчивая решительность — недаром же от нее прячут глаза и поеживаются. Соня всех подозревала, со всеми держалась взведенно, в любом готова была видеть врага, наброситься на него — истовый вождь, не сомневающийся только в самом себе.

Класс с затаенным нетерпением ждал урока Аркадия Кирилловича, и он начался.

Знакомая фигура на привычном месте: потертый мешковатый костюм, неизменный галстучек, неизменная сутуловатость, пасмурно-спокойное лицо, уверенно-медлительные движения. Аркадий Кириллович был невысок ростом, но всегда вызывал ощу-

щение крупноты, надежной прочности. И сегодня он выглядел как всегда.

За всеми учителями числились какие-то слабости, чаще безобидные, простительные, но тем не менее вызывавшие чувство снисходительности. Преподаватель истории Борис Георгиевич любил покрасоваться, и это выглядело иногда смешно. Добрая старенькая математичка Августа Федоровна была наивно доверчива, легко покупалась на трогательные истории Жорки Дарданеллы, не успевшего сделать домашнее задание. Физика Ивана Робертовича Коха за суровую требовательность звали за глаза Ваней Грозным... И, пожалуй, только за одним Аркадием Кирилловичем никаких слабостей не числилось. Случалось, подтрунивали, но не над ним, а над обожающими его девчонками.

Соня к таким чрезмерно обожающим не относилась, никогда не заходилась шумным восторгом: ах-ох, какой человек! Она просто была убеждена: Аркадий Кириллович самый справедливый, самый умный из всех, кого она знает. Никто лучше тебя не поймет — сама не уловишь, что чувствуешь, а он уже находит для тебя точные слова,— никто не даст столь толкового совета, никто из учителей так не обеспокоен за тебя, как он. Соня носила это в себе, не выплескивала наружу.

Но сейчас, увидев перед классом Аркадия Кирилловича, обычного, ничуть не изменившегося, Соня ощутила подымающийся по спине холодок. Она боялась Славки Кушелева, но Аркадий Кириллович есть Аркадий Кириллович, Славка перед ним — моська перед слоном. И почему Аркадий Кириллович должен думать в точности так, как она? Да и вообще, можно ли представить, чтоб он объявил: Коля Корякин поступил правильно! Нет, нет, глупо надеяться, чтоб Аркадий Кириллович стал оправдывать Колю. А с ним не поспоришь, его, как Славку, двумя фразами не собьешь.

Соня никому не верила, не могла теперь верить и Аркадию Кирилловичу. Он еще не начал говорить, а Соня уже считала его своим врагом.

— У нас беда...— произнес негромко Аркадий Кириллович.

Соня напряглась до боли в затылке и замерла. Похоже, и весь класс напрягся и замер. Под кем-то простонал стул, с какого-то стола с грохотом упала ручка — и тишина, провальная тишина, заполненная далеким шумом города и невнятно-въедливым голосом учительницы биологии из соседнего кабинета.

— У нас с вами, не на стороне... Хочу спросить: кто ждал, что беда стрясется?

Класс молчал, класс глядел, класс не шевелился. А Соня холодела — сейчас повернется к ней и спросит: ты-то ведь ждала, и что же?.. Да, ждала, но надеялась — все кончится само собой, по-хорошему.

Аркадий Кириллович не повернулся к Соне, не вспомнил о ней.

— Не ждали? Совсем ничего не подозревали?..

Молчал класс, глядел класс.

— Нет! Зачем притворяться перед собой — кой-что мы знали о жизни Коли Корякина, кой-какие подозрения у нас были!..

Класс молчал.

— Были. И что же?.. Да ничего. Сов-сем ни-че-го? Ни тревоги, ни малейшей даже взволнованности — покой! Почему?..

Аркадий Кириллович стоял перед классом, чуть подавшись вперед, чуть-чуть сутулясь — громоздко-нескладный, неподвижный и настороженный, чего-то ждущий; лицо с резко прорубленными складками обманчиво устало, запавшие глаза выдают — тревожны, ищущи, требовательны. Каждый, на кого падал их взгляд, смущенно опускал голову.

Соню же этот тяжелый взгляд обходил, она даже пыталась его поймать, вызывающе тянула шею. Ее коробило: знали? Да! А что могли сделать? Она, Соня, была всех ближе Коле. Всех! Всех! Но даже она ничего не могла, а уж другие-то и подавно.

— Почему?..— повторил Аркадий Кириллович.— Ничем тут не объяснишь, как только — этот человек был для нас чужим. А зачем влезать в чужое? В чужое даже нескромно вглядываться... Разве не так?

Соня уже напружинилась, чтоб вскочить: «Не чужой! Нет! Уж мне-то не чужой! А что я могла?..» Но Аркадий Кириллович продолжал:

— Но, может, к Коле Корякину вы почему-то относились хуже, чем к другим? Он для всех чужой, все остальные друг другу — свои?..

На этот раз не дал крикнуть Соне Стасик Бочков. Многолетний староста класса, он считал своим святым долгом защищать свой класс, всегда это делал.

— К нему, как ко всем, ничуть не хуже,— внушительно произнес он.

— Ага! — подхватил Аркадий Кириллович.— Ко всем относились, как к Коле Корякину. Выходит, все чужие среди чужих?

И Стасик Бочков не ответил, только поежился под взглядом Аркадия Кирилловича.

— Случись несчастье — не пожалеют, нужна помощь — не отзовутся. Чужие кругом! Неуютная жизнь...

Из Сони рвалось готовое возражение: «Да разве не бывает, когда и свой своему не поможет?!» Но снова она промедлила, раздался вкрадчиво-вежливый голос Славки Кушелева:

— Можно вопрос, Аркадий Кириллович?

— Нужно.

— А вы, Аркадий Кириллович... вы ничего не знали о том, как живет Корякин Коля?

— Знал, Слава.

— Тогда почему вы...

По классу пробежал нервический шорох.

— ...почему вы, сами, когда еще не поздно было?..

Славка Кушелев недоговорил, а шорох пробежал и смолк — ясен вопрос.

Аркадий Кириллович с трудом выпрямился, оглядел притихший класс.

— Потому, Слава Кушелев,— заговорил он спокойно, с угрюмо-спокойным лицом,— что я оказался не более чутким, чем вы. Да!.. И сужу себя сейчас сильней, чем вас.

Похоже, что за все девять лет учебы никто из сидящих перед Аркадием Кирилловичем учеников не слышал, чтоб учитель открыто обвинял сам себя. Класс подавленно молчал, класс не шевелился. Даже Соня забыла в эту минуту о своей настороженной враждебности, испытывала сочувствие, почти жалость.

— Я сужу себя за то,— жестко продолжал Аркадий Кириллович,— что много говорил вам о наташах ростовых, раскольниковых, чичиковых и собакевичах и забывал сказать о вас самих... Я сужу себя за то, что верил красивым и обманчивым правилам, невольно обманывал ими вас!..

— Вы? Обманывали?! — удивился Слава Кушелев.

— Получается, что так.

— В чем, Аркадий Кириллович?

— Помните, я вам говорил: будьте непримиримы ко всякой подлости и не ждите, что кто-то разделается с ней за вас?.. Красивые слова, не правда ли? Благородные...

— Они — обман?! — Едва ли не гнев в голосе Славы Кушелева.

— Благостный, Слава, оттого опасный.

— Но почему? Поч-чему?!

— Потому что действуй сам и не жди ни от кого помощи — значит, действуй в одиночку. А человек, Слава Кушелев, в одиночку слаб, подлости не осилит.

И тут наконец-то Соня вскочила с места.

— А я не хочу, не хо-чу каждого считать своим! — с режущим звоном в голосе.

7

Аркадий Кириллович, подавшись вперед тяжелым изборожденным лбом, вглядывался в Соню.

— То есть не каждый тебе нравится? — спросил он.

— А вам — каждый? Да не правда же это, Аркадий Кириллович! И вы подлецов ненавидите! И я! И Славка! И все другие! Только все мы слабы — тряпки! Решиться не можем!

— Не можем решиться на что, Соня?

— На справедливость!

— Как Коля Корякин?..

— А как еще избавиться от подлецов?! Перевоспитывать?.. Мог ли Коля перевоспитать своего отца? А мы, если б плечо к плечу, перевоспитали бы? От пьянства его отучили бы, бешеный характер ласковым сделали? Да смешно это, Аркадий Кириллович! Чужие среди чужих. Нет! Нет! Не чужой мне был Коля! И вы об этом знаете... Не чужой, а вот помочь ему не могла. И никто бы не помог. А уж кучей-то и подавно. Перепугались бы все, перетрусили, повисли бы на руках Коли, обсуждать начали... А отца-подлеца, который в могилу Колину мать вгонял, оставили бы — живи, зверствуй дальше! Нет, верно, верно вы нам говорили: нельзя рассчитывать на других, сам воюй с подлостью! Только вот как до настоящей войны дошло — перепугались вы, теперь от своих же слов отрекаетесь: не надо было браться за оружие! Сдаваться надо?.. Стыд-но! Стыд-но!..

Чуть сутулясь, по-прежнему пасмурно-спокойный, Аркадий Кириллович разглядывал исподлобья Соню, только тяжелей обвисали складки на лице.

— Продолжай,— попросил он.

— Я все сказала!

— Нет, не все. После твоих слов напрашивается вывод: поступайте по примеру Коли Корякина, убивайте своих отцов, братьев, если вдруг по какой-то причине их станет трудно терпеть. Ничего себе призыв.

Соня вызывающе дернула подбородком:

— Гоголь призывал, Аркадий Кириллович. Почему же вы его никогда не осуждали?

— Гоголь?!

— Как он показал — Тарас Бульба сына убил. За что? Своим изменил. А отец Коли не изменил? Он человеческому изменил! Он хуже Андрея, какое сравнение! Тарас Бульба — герой, Коля Корякин — преступник?!

Аркадий Кириллович молчал, а класс затаенно шевелился: все пригибались к столам, жадно поводили глазами то в сторону Сони, то на учителя. Темные и светлые шевелюры, свежие лица и общее выражение напряженной затаенности — столкнулись с таким, чего еще никогда не случалось в их короткой жизни, о чем приходилось только читать в книгах. Тарас Бульба, убивший сына,— такое далекое, неправдоподобное, почти сказка, и вдруг сейчас!..

— Случайно ли, Соня,— заговорил Аркадий Кириллович,—

никто в жизни не повторил подвига Тараса Бульбы? Что было бы, если б такое вошло у людей в привычку?..

— Значит, Бульба не прав? Значит, он должен был простить сыну предательство? Предай свой народ ради сына?! — негодующий звон в голосе Сони.

— Народ... Один защищал народ, другой — все-таки много меньше — себя да мать. А за то и другое — человеческая жизнь. Оправданно ли, Соня?

— Если б можно... Да стал бы он отца... Другого выхода нет — значит, смирись, пусть сбесившийся алкаш мать родную на твоих глазах в гроб... Подонку удовольствие, а — счастье двоих людей отдай! Это оправданно, Аркадий Кириллович!

— Ты считаешь, что Коля спас и свое счастье и матери?

Разгоряченная Соня впервые споткнулась, ничего не ответила.

— Спас мать?.. Остается одна-одинешенька с веселыми воспоминаниями о пролитой крови. А самого что ждет? Вот оно, счастье ценой убийства...

Аркадий Кириллович говорил и понимал: нет, молчание Сони не отказ от убеждений, лишь легкое замешательство. Она воспалена, она сейчас безумна. Эх, если б безумие могло внимать словам!.. Аркадий Кириллович рассчитывал, что его постараются понять другие, кто меньше воспален, сохранил способность слушать.

И снова раздался голос Славы Кушелева:

— Аркадий Кириллович! Вы считаете, что счастье убийством — никогда, ни при каких случаях?

— Считаю. Счастье и убийство несовместимы.

— Вот для меня, как для всех, самое большое счастье — это жить на свете. А на меня вдруг в темном углу какая-нибудь, простите, сволочь с ножом... Так не отдам ему жизнь, нет! Постараюсь его... Если мне придется его пристукнуть, что же вы мне скажете: не имел права — убийством?

— Право убивать не имели ни он и ни ты. Он его нарушил, а ты защищал право на свою жизнь. Ты защитник жизни, если даже и прикончишь бандита.

И Слава бурно восторжествовал:

— Аркадий Кириллович! Вы очень, оч-чень хорошо сказали: можно убить и стать защитником жизни! Так это же и Колька сделал — убил ради жизни!

Аркадий Кириллович прицельно прищурился на Славу.

— Убить ради жизни...— повторил он.— Простая формула, м-да-а... Обещает простое решение. Опасно это, Кушелев.

— В любой точной науке разные неупорядоченные явления сводятся к простым формулам. Чем проще, тем лучше, наука только выигрывает, Аркадий Кириллович. Почему нужно бояться формул в обычной жизни?

— То, что ты называешь обычной жизнью, Слава,— многостороннее и сложнее любой науки. Эта жизнь всегда наваливается на человека всем своим запутанным содержимым, где далекое неразрывно с близким, большое с малым, частное с общим. Простая формула не охватит всего. Тысячи лет религия подсовывала людям простые формулы — и много ли пользы?

— Но эта-то формула не религиозная! — возмутился Слава.

— Верно, религия подсовывала формулу — не убий, ты — убивай. Неужели лучше?

Слава вдруг подобрался, его широкое скуластое лицо посуровело.

— Аркадий Кириллович! — Он даже задохнулся от торжественности.— Эта формула не моя. Ею — да, убить ради жизни, ради лучшей жизни! — пользовались Желябов, Перовская, Степан Халтурин! Теперь о них пишут книги, изучают на уроках истории...

— А книги и уроки истории тебе разве не говорили, Слава, что их исходные формулы были ошибочны, а путь безрезультатным?

— Совсем безрезультатным? — Слава еще более посуровел.— Ну нет, Аркадий Кириллович! Что-то они все-таки сделали. Все-таки история считает их героями, а не преступниками. История, Аркадий Кириллович! Есть ли справедливей судья?

Аркадий Кириллович распрямился, казалось, вот сейчас-то он и скажет свое — решающее, опрокинет Славу Кушелева, поставит точку. Но Аркадий Кириллович разглядывал Славу и молчал. А класс ждал, началось нетерпеливое ерзанье, покашливанье. Слава Кушелев выдержал тяжелый взгляд учителя, не опускал глаз. А в стороне, над классом, забыто стояла Соня Потехина и тоже жадно вглядывалась в Аркадия Кирилловича.

Неожиданно обрушился звонок. Аркадий Кириллович опустил глаза и ссутулился. Класс зашевелился смелее, еще более нетерпеливо, но никто не вскочил с места, продолжали глядеть на Аркадия Кирилловича, ждали от него ответа.

За стеной в коридоре захлопали двери, школа сразу заполнилась бодрым водопадным шумом начавшейся перемены. И только тогда, не подымая глаз, Аркадий Кириллович заговорил:

— Если этот случай с Колей Корякиным пройдет сейчас мимо вас, никак не изменит, то вы — нет!.. вы не будете по-настоящему счастливы в жизни. Плохо жить чужим среди чужих. А если вы, несчастные, еще броситесь добывать себе счастье... убийством, плохо будет не только вам — всему миру... Можете идти. Вы свободны.

Все шумно поднялись над столами, но только один Вася Пе-

ревощиков ринулся было к двери и замер на полдороге. Класс стоял и глядел на Аркадия Кирилловича. Он, казалось, сейчас стал меньше ростом, не крупный, не массивно-прочный — сгорбленный, и руки суетно застегивают замок портфеля... Он вышел, не прикрыв за собой дверь.

— Ты его победил, старик,— подавленно бросил Славке Стасик Бочков.

— Похоже, что так,— ответил Славка Кушелев озадаченно и тревожно.

Все разом зашевелились, заговорили...

У Сони Потехиной все еще цвели пятнами щеки, а глаза недобро, зёлено тлели.

8

Соломон и Данила вышли от Сулимова в полном убеждении: глаза не открыли, отклика не нашли, слава богу, что сами дешево отделались — не накричал, не прицепился.

Но они сильно ошибались. Сулимова после их ухода охватило приподнятое беспокойство — похоже, запахло жареным!

Многие люди в течение нескольких десятилетий громоздили поступочек на поступочек, сооружали преступление. Кто-то из этих людей давно исчез и забыт, но кто-то и до сих пор живздоров, даже признается и раскаивается в невольном участии. И ни одного из этих людей нельзя поставить перед лицом правосудия — не ведали, что творили. Обвинять их так же нелепо, как обвинять молнию, спалившую дом, ураган, потопивший корабль, снежную лавину, похоронившую под собой путников,— явление столь же стихийного порядка. Приходится обвинять лишь несчастного мальчишку — отвечай за всех!

И вот в цепочке безвинно виноватых проступает фигура ни на кого не похожая, настораживающая.

Никто из одобрявших преступление не делал это ради собственной корысти. Илья же Пухов наливался, как присосавшийся клещ, и, как клещ, распространял заразу.

Никто не ведал, что творит. Илья Пухов не мог не сознавать, что его опека растлевает Рафаила Корякина. И надо быть полным идиотом, чтобы совсем не подозревать об опасных последствиях.

Ничью вину не подведешь ни под какую статью уголовного кодекса, а вина Пухова осязаема, вполне доказуема, обвинению подлежит.

Если перед судом предстанет один мальчик, то вряд ли суд станет вникать глубоко, в самые корни. А вот если рядом окажется зрелый, опытный, корыстолюбивый человек, сам лично преступления не совершивший, но способствовавший ему, то уж

придется рыть в глубину, вскрывать незримое. При вскрытии же потаенных корней часть вины с мальчишки снимется.

Пухов именно тот, кто нужен и обвинению и защите. Если, конечно, в сведениях Соломона и Данилы есть какая-то доля правды. Если Пухов и в самом деле сознательно спаивал Корякина. Если он при этом имел корыстные цели.

Если... Множество «если», которые Сулимову необходимо самым придирчивым и беспристрастным образом проверить и перепроверить, не доверяясь весьма непочтительным свидетелям.

«Запахло жареным», но этот запах может быть и наваждением. Однако Сулимов воспрянул: надо действовать, и немедля! Очень, например, интересно узнать, потрясен ли Пухов неожиданной смертью столь давнего друга. Позднее этого уже не узнаешь.

Сулимов решил свалиться на Пухова.

Он примерно таким себе его и представлял. У этого человека было все умеренно, приглаженно, ничто не бросалось в глаза: полноват без дородства, прост лицом, лысоват со лба, добродушен, но не угодлив, взгляд мягкий, не увиливающий и не прилипчивый, голос приглушенный, с легким, неназойливым достоинством. Такие люди вызывают уважение, но не западают в душу, не запоминаются. Они не взлетают высоко, однако, угнездившись где-то, устраиваются прочно и обстоятельно.

Сидели в маленьком кабинетике — чистый закуток со столом, и даже второго стула для посетителя не было; чтоб усадить нежданного гостя, хозяин притащил откуда-то складное легкое креслице.

— Вы давно знали Рафаила Корякина?

— С молодых лет.— Ответ без спешки и без раздумий, без настороженности.

Сулимов решился его озадачить:

— С того времени, как его собака порвала ваши штаны?

Пухов действительно был озадачен, своего удивления скрывать не стал:

— Откуда вам это известно? Даже я сам забыл.

— Вы в самом деле отравили его собаку?

Сокрушенное покачивание головой.

— Странно,— сказал Пухов,— поселка самого давно нет, люди, которые в нем жили, или вымерли, или разъехались, а вот сплетни остались.

— Вам их легко опровергнуть. Готов поверить на слово.

— Если так важно, отвечу — да, сделал. Кто-то же должен был от этой злой твари поселок избавить.

— Вы так и объяснили тогда Рафаилу Корякину?

Пухов туманно усмехнулся.

— Что вы, разве можно! Тогда этот сопливый мальчишка с ножом же в кармане ко мне пришел. Ну, а я все сделал, чтоб он этот нож не выдернул... Правда, потом все двадцать восемь лет ждал — все же выдернет, того гляди. Такой уж человек.

— Почти тридцать лет ножа ждали и дружили?

— Чего не было, того не было. Знакомы близко — да, а дружить — ой ли.

— И тем не менее всю жизнь вместе. Куда вас переводили, там сразу оказывался и он. Преследовал вас, что ли? Отделаться от него не могли?

— Мог бы...

— И что же мешало?

— Я же в нем талант открыл. Можно сказать, мастер Корякин — мое произведение.

— Из любви к таланту держали его возле себя?

— Вы наш механический завод знаете? Теперь уже считается старым заводом, а с него моя биография началась. Эвакуировали его сюда в сорок втором, поставили станки под чистым небом, вокруг стали фундаменты рыть, стены возводить. Вы думаете, только на фронте тогда гибли люди,— и здесь умирали от холода, голода, от натужной работы. Особенно те, кто не выматерел,— шестнадцатилетние. Ну, а я уже чуть постарше был, выдюжил, в бригадиры попал. Сразу после войны мы крыши новых цехов железом крыли и красили. Тут-то и столкнулся с Рафаилом, к себе затянул, метил в подсобники, но увидел: у дурного парня ловкие руки. Так вот я первый ему удивился, первый его оценил. Признаюсь, самого Корякина никогда не любил, зато его талант — да, всегда...

— Любили, и бескорыстно? — подкинул Сулимов.

Пухов снова понимающе усмехнулся:

— Часто ли без корысти любят? Даже от бабы всегда ждут — наградит за любовь. А ведь я человек практичный, и бригадиром был и прорабом, всегда в пиковом положении, всегда с чем-то зашиваешься — возле должны быть молодцы, на которых, закрыв глаза, положиться можно. А Корякин, ежели половчей толкнуть, за десятерых мог сделать. Корыстовался от него.

— Но за такую корыстную любовь он, верно, требовал свою корысть?

— Само собой.

— Какую?

— Давал ему хорошо заработать.

— Левыми путями?

— И левыми,— спокойно согласился Пухов.— Не судите строго. Мы же все тогда на карточках сидели: пайка хлеба да столовская баланда — ноги протянешь. Не упускали случая при-

хватить работенку на стороне. Да и теперь ею не брезгуем. Корякину, видите ли, мало быть сыту, еще пьян быть должен, без того никак не мог.

— Когда он начал пить?

— Право, не знаю.

— Не с той ли поллитровки, которую вы поставили перед ним за отравленную собаку?

— Эх-хе-хе! Да он ко мне явился уже зарядившись, в самом, что называется, боевом настроении был.

— И все же не кто другой, а вы помогали Корякину не только быть сыту, но и пьяну тоже?.. Все двадцать восемь лет знакомства!

— Хотите сказать: все эти годы я его спаивал?

— Буду рад услышать, что это не так.

Прямой взгляд в зрачки Сулимову, прямой и обиженный:

— Поразмыслите: зачем мне его спаивать? Разве с трезвым и вменяемым не легче иметь дело? Разве не известно вам: коль Корякин пьян, то и буен без удержу? И не зря же я боялся, что нож выхватит. Все двадцать восемь лет он пил, все двадцать восемь лет приходилось быть начеку. Для меня было бы счастье великое, если б он забыл про водку. Спаивать его можно только во вред себе.

— А давайте иначе взглянем, товарищ Пухов. Вы любили талант мастера Корякина, как сами признались, любили не бескорыстно. Но этот нужный талант мог принадлежать вам лишь тогда, когда Корякин находился в полной от вас зависимости. И чем больше Корякин пьет, тем больше он нуждается в деньгах, а значит, и в выгодных заказах, которые, увы, без вас достать не умеет. Выгодные заказы для Корякина явно выгодны и вам, Пухов. Так ведь выглядит реализация корыстной любви к его таланту. В ваших прямых интересах, чтоб Рафаил Корякин пил. Конечно, сами вы его не поили, но условия создали и боялись, что перестанет. Как вам нравится такая логика, Пухов?

Пухов невозмутимо потянулся к папке на столе, вытянул из нее несколько скрепленных листов.

— А как вам понравятся эти бумаги? — спросил он, протягивая их Сулимову.— Вглядитесь: Корякина только вчера не стало, а я уже оформляю человека на его место. Давно был на примете. И, учтите, непьющий.

Сулимов повертел перед собой бумаги.

— То есть Корякин легко заменим?

— Вот именно, а потому ваша логика, простите, построена на песочке. Спаивать мне Корякина, чтоб удержать при себе, нянчиться с буйствующим ради выгоды — не слишком ли хлопотно? Да неужели за тридцать-то без малого лет я не мог по-

дыскать себе не менее хорошего и выгодного мастера, зато более покладистого? Уж по крайней мере, без ножа в кармане?

На лице Пухова ни затаенного торжества (вот как вас опрокинул!), ни насмешки с издевочкой (что, укусил?) — лишь вежливое терпение наставника, доказывающего азбучное. «Или чист, или умеет здорово линять»,— подумал Сулимов.

— Вам знакомы некто Пашка по прозвищу Козел и Венька Кривой? — спросил он.

— Знакомы,— слегка насторожился Пухов.

— Что это за люди?

— Ничего хорошего, опустившиеся алкаши.

— Однако они работали у вас.

— Да, пока один совсем не спился, не был увезен в больницу.

— А какого склада люди, ныне работающие у вас,— Соломон Рабинович и Данила Клоповин?

— Примерно такого же.

— Они были приняты вами вместо спившихся Пашки и Веньки. Вместо алкашей — алкаши. Почему именно с прежними изъянами?

— Приходилось специально подыскивать таких.

— Чтобы могли исполнить обязанности собутыльников для Рафаила Корякина?

— Именно.

— И после этого вы пытаетесь уверить — не спаивали Корякина, не в ваших интересах!

— Скажите,— впервые резко обратился Пухов к Сулимову,— мог ли я прекратить пьянство Корякина? Медицина не справляется с такими! От пьянства избавить его не в силах моих, зато оберечь от неприятностей хоть и трудно, но в моих! Беды не оберешься, если б Корякин стал пить с кем попало: драки, поножовщина, всякая шваль, постоянно крутящаяся возле цеха в ожидании выпивки. Было такое, пока меры не принял,— пусть пьет с теми, кто на скандалы Корякина не ответит и от набегов со стороны цех оградит. Спаивать я не спаивал, а мириться с пьянкой Корякина — да, приходилось.

— До чего же неудобен для вас был Корякин.

— Еще тот пряник медовый.

— И заменить его было можно.

— Можно-то можно, да кой-что и останавливало.

— Что же?

Пухов насупился, отвел глаза.

— Одна мысль: оторвись он от меня — совсем сойдет с круга.

— Так вам все же жаль его было?

— Как-никак почти тридцать лет знакомы. А потом — семья у него... И так уж старался семье помогать, с моей помощью половина денег шла мимо Корякина в семью.

— Тяготились Корякиным, а добрые чувства испытывали?

— Вам это кажется невозможным?

— Я-то готов поверить в такую возможность, но поверят ли в прокуратуре? Они ведь тоже задумаются, что держало Корякина возле вас. И в ответ услышат: добрые чувства. Поставьте себя на их место — как поверить столь прекраснодушному ответу?

Пухов уставился в стол, долго молчал.

— Да... Да...— заговорил он.— Поверить трудно... Но, пожалуй, другого-то ответа у меня не найдется. Не любил его, тяжел, отделаться хотел, а не решался... Уж очень отчетливо видел, что будет после... Призадумаешься — кровь стынет.

— А того, что случилось, не ожидали?

— Этого — нет, но знал: рано ли поздно что-то стрясется... страшненькое.

Сулимов больше ничего не выдавил из Пухова. А это настораживало: так ловко выворачивался до сих пор и вдруг застопорил. Какая-то странность...

9

Аркадий Кириллович, нахохленный, темнолицый, разглядывал всех запавшими, потаенно тлеющими глазами. Он только что скупо, в жестких выражениях изложил свое поражение в девятом «а».

— М-да-а...— промычал директор.— Самокритика...

— Есть болгарская пословица,— медлительно произнес Аркадий Кириллович.— Плохой человек не тот, кто не читал ни одной книги; плохой человек тот, кто прочитал всего одну книгу. Опасны не полные неучи, опасны недоучки. Мы прочитали ребятам даже не книгу о нравственности — всего-навсего первую страницу из нее. И вот натыкаемся...

— М-да-а...— изрек директор и прочно замолчал.

В директорском кабинете пять человек. Завуч старших классов Эмилия Викторовна — иссушенная экспансивностью, еще не очень старая, но уже безнадежная дева, фанатически преданная школе. Физик Иван Робертович Кох — парадный мужчина с атлетическими плечами, с густыми, сросшимися над переносицей бровями. Преподавательница математики — старенькая, улыбчивая Августа Федоровна. Аркадий Кириллович. И сам директор Евгений Максимович, жмурящийся в пространство, поигрывающий сложенными на животе пальцами.

Такие узкие совещания у директора, которые решали вопросы до педсовета и помимо педсовета, в шутку назывались «Могучей кучкой». Чем меньше «кучку» собирал вокруг себя Евгений Максимович, тем конфиденциальней совещание. Сегодня собрались внезапно и в малом числе, меньше не бывало.

Как и следовало ожидать, взорвалась Эмилия Викторовна:

— Аркадий Кириллович! Зачем?! Себя же топчете! И с ожесточением!.. Себя и нас заодно!

— Вы считаете, нам следует петь аллилуйю? — проворчал Аркадий Кириллович.

— Не да-дим! Да, да, вас не дадим в обиду! Защитим вас от... вас же самих!

У Эмилии Викторовны не было никого и ничего, кроме школы, а потому она всегда находилась в состоянии ревнивой настороженности — как бы кто не согрешил против родной школы, даже в помыслах. И если врагов у школы не было, она их изобретала. Аркадий же Кириллович для нее давно стал нервом школы, ее совестью, ее становым хребтом. Эмилия Викторовна его уважала куда больше, чем директора, человека нового, свалившегося на готовенькое. Аркадий Кириллович нападал на школу — это выглядело черным предательством.

— Откуда вдруг у вас эта уничижительная теорийка: создаем — о господи! — нравственных недоумков?! Впрочем, понятно: от прискорбного случая она!.. Одумайтесь, мы-то тут при чем? Что мы могли сделать? Папу Корякина исправить? Да смешно же, смешно! Применять педагогическое влияние прикажете... на того, кого давно бы должна прибрать милиция! Преступный элемент не в компетенции школы. Случайно, совершенно случайно в нашей школе оказался ученик несчастной судьбы — с таким же успехом он мог учиться в любой другой школе города!

— А признание его поступка нормальным и даже полезным всем классом — всем! — тоже случайность? — спросил Аркадий Кириллович.

Эмилия Викторовна всплеснула руками:

— Да разве вы, Аркадий Кириллович, по-своему не оправдываете несчастного мальчика? А у нас у всех разве не сжимается сердце от сочувствия к нему? Ну, а товарищи по классу разве бесчувственны?.. Потому и оправдывают его поступок, защищают, как могут. Нравственное уродство в этом видите?.. Ну не-ет, Аркадий Кириллович, никакого уродства — нормальные дети! Может быть, только с молодыми заскоками. Слава Кушелев — потенциальный убийца?! А Соня Потехина?! Бог ты мой! Опамятуйтесь, Аркадий Кириллович! Не смешите нас. Больное это. Достоевщина. Откуда она в вас? Не замечалось раньше.

— Эмилия Викторовна, вы когда-нибудь сомневались в себе? — поинтересовался Аркадий Кириллович.

— В себе — да. Но в вас, в вас, Аркадий Кириллович!.. Нет, никогда не позволяла себе!

— Сейчас самое время.

— Не могу! Пришлось бы сомневаться в школе. Для меня школа — это вы.

— Вот и я предлагаю: спасем школу.

— Спасем, Аркадий Кириллович, наше прошлое, наш многолетний труд, наши признанные успехи! Или их у нас совсем нет?

— Успехи — в чем?

— Словно вы сами не знаете.

— Знаю: нас славят за нравственное воспитание.

— И случай с Колей Корякиным не перечеркнет их! Нет и нет, Аркадий Кириллович!

— Случай — убийство! Отвернемся от него и от того, что класс это убийство оправдывает, будем же и дальше втолковывать красивые нравственные понятия. Не чудовищная ли это безнравственность, Эмилия Викторовна?

— Вы... вы считаете меня?..

— Считаю,— отрезал Аркадий Кириллович,— что вывод напрашивается сам собой.

Эмилия Викторовна обвела всех изумленно-горестным взглядом. Все неловко молчали, лишь директор Евгений Максимович по-прежнему жмурился, как ухоженный ленивый кот, которому приходится присутствовать при семейной ссоре.

— Нет слов! — изрекла Эмилия Викторовна и отвернулась.

— У меня к вам вопрос...— Иван Робертович сосредоточенно слушал, сосредоточенно посапывал, усиленно хмурил грозные брови.— Вы недовольны своим прежним методом воспитания. Не так ли?

— Недоволен.

— Что же, хотите совсем отказаться от него?

Если Эмилия Викторовна была всегда горячей сторонницей Аркадия Кирилловича, поддерживала, помогала, шумно его славила, то Иван Робертович Кох относился с полным бесстрастием, оставался в стороне. Он со страстью верил лишь в одно — в физику. Она сейчас пробивается к основам основ мироздания, к тому первичному, из чего складывается все: атом, молекула, мертвый минерал, живая клетка, организм и столь странный человеческий орган — мозг, заключающий в себе интеллект. Физика — это наука наук, все остальные уходят корнями в нее, она начало начал пестрых и путаных человеческих представлений, в ней истоки бытия. А потому Иван Робертович просто не обращал внимания на «суетную возню Аркадия Кирилловича вокруг примерного поведения», считал важным для себя раскрыть тех, кто способен стать новыми жрецами всеохватной науки. Славе Кушелеву он, не колеблясь, мог все простить за то только, что тот обещает быть жрецом незаурядным. Никто не ждал, что Иван Робертович заговорит, думали: как всегда, останется в стороне, отмолчится.

— Так хотите отказаться от прежнего? — повторил он.

— Совсем — нет,— ответил Аркадий Кириллович.— Но этого теперь крайне недостаточно.

— И у вас есть что-либо предложить? Что-то конкретное, хотя бы прикидочно, в виде гипотезы?

— Ничего, кроме убеждения, что нельзя удовлетворяться прежним, надо искать новый выход.

Иван Робертович густо крякнул:

— Не хотите отказаться от старого, не предлагаете ничего нового. Тогда, простите, что же, собственно, вы имеете? Чему мы все должны верить?

— Одному,— твердо произнес Аркадий Кириллович.— Предостерегающим фактам.

— Положим, я в них поверил — и что же?..

— Если поверите, что убийство Коли Корякина не простая случайность, значит, не сможете существовать спокойно, станете искать, в чем причина.

— А если причина окажется... гм!.. скажем, не школьных размеров, нам не по зубам, что делать тогда дальше?

— Давайте сначала ее найдем, а уж потом будем думать, что дальше.

Иван Робертович поиграл бровями, удовлетворенно кивнул:

— Логично.

Он только в том и хотел убедиться — нет ли просчета в логике? А потому снова замкнулся в бесстрастном молчании, не выражая желания обрекать себя на беспокойное существование, искать роковую причину, которая, может статься, будет еще «не по зубам».

С усилием разогнулась Августа Федоровна, уставилась кротким старушечьим взором в Аркадия Кирилловича.

— Аркашенька,— протянула она сокрушенно,— ты сколько лет до этого искал?..

Старый, старый друг. Четверть века назад она, еще не седая, не сутулая, встретила бывшего капитана Памятнова и заговорила с ним, как будто была знакома всю жизнь. И капитан запаса, еще не закончивший тогда пединститута, почувствовал сразу себя в школе своим человеком. С тех пор его постоянно грела ее ненавязчивая доброжелательность. Впрочем, возле Августы Федоровны грелись многие, и каждый наверняка про себя думал: получает больше других.

— Навряд ли, голубчик, теперь отыщется быстрее. За это время сколько мимо нас учеников пройдет! Для каких-то будущих придется стараться. А они, будущие, кто знает, какими окажутся, может, и воспитывать-то их не придется. Разбег у тебя долгий, да прыжок будет ли?

— Так что, Федоровна,— ничего не делать?

— То-то и оно, хотя знаю — тебе не понравится. Забыть надо историю Коли Корякина. И поскорей. Перемелется...

Аркадий Кириллович шумно пошевелился на стуле.

— Да ты не вскакивай, не кипятись,— остановила его Августа Федоровна.— Опасность, если она и в самом деле есть, мы уже не отведем. Считай, злая беда стряслась, после драки кулаками не машут. Толку никакого не добьемся, а порядок в школе растрясем. Зачем?

— Верно! Верно! — снова взмыла Эмилия Викторовна.

— Ах, верно! — Аркадий Кириллович вскочил с места.

Августа Федоровна безнадежно вздохнула:

— Эх-хе-хе! Ретивое взыграло.

— Забыть историю Коли Корякина! Забыть! Спрятать! Не было ее! Не удастся, Августа! От учеников уже не отнимешь ее, не запретишь им судить и рядить на свой лад. А вы слышали: извращенно судят, убийством усовершенствовать жизнь собираются. Так начнем с простого: объясним им, что извращение это!..

— Не заваривай кашу, Аркашенька,— всем коллективом потом ее не расхлебаем.

— Августа... Чуткая, добрая Августа, что с тобой? Все силы ребятам отдаешь, всю жизнь для них — и не расхлебаем, пусть остаются духовно горбатыми.

— Не дави чирей, Аркадий,— по всему телу пойдет. Молодой организм сам справится — зарастет без следа.

И Аркадий Кириллович растерянно оглянулся:

— Педа-го-ги! На что надеетесь? Бог не выдаст, свинья не съест, само собой зарастет? Так зачем же вы тогда нужны, педаго-ги?

— Ого! — пробасил Иван Робертович.

— Все получили, не только я! — восторжествовала Эмилия Викторовна.

Августа Федоровна страдальчески сморщилась:

— Не верю я в твои страсти-мордасти. Не верю, Аркадий! Из нашей школы ничуть не хуже других люди выходят.

Только один директор молчал, сидел откинувшись, поигрывал на животе пальчиками.

10

Но вот он пошевелился, расправился, всем корпусом повернулся к Аркадию Кирилловичу:

— Вы слышали: не верим! Не убедили! Может, вы приведете более веские доказательства, чтоб мы разделили ваш ужас?

— Какие доказательства, когда вас не убеждает отцеубийство? — удивился Аркадий Кириллович.

— Приведите хотя бы еще один пример, столь же вопиющий.

— Такое часто не повторяется, Евгений Максимович.

— А раз не повторяется часто, то зачем подымать панику? Значит, имеем дело с явлением исключительным, не характерным. Для нашей жизни не характерным, для нашей с вами деятельности, Аркадий Кириллович. Не от нас пошло — от каких-то обстоятельств, случайно сложившихся помимо нас с вами.

— Всего однажды атомные бомбы разорвались над людьми, но тем не менее этот единичный случай дал повод для весьма реальной тревоги.

Евгений Максимович развел недоуменно руками:

— Коля Корякин — и атомная бомба! Ничего не скажешь — сокрушительный параллелизм... И все-таки даже он не доказывает, что школа подтолкнула своего ученика на отцеубийство. Это по-прежнему остается плодом нашего воспаленного воображения.

— Чувствую: вы тогда только мне поверите, когда снова и снова повторится нечто подобное. Но как раз этого-то я и не хочу допустить.

— Аркадий Кириллович, дорогой,— Евгений Максимович бережно дотронулся до его колена,— вы перевозбуждены, вы сильно потрясены, вам следует прийти в себя, отвлечься, немного отдохнуть, чтоб потом на все иметь возможность глядеть трезвыми глазами. Мой совет, Аркадий Кириллович,— возьмите отпуск, поезжайте в санаторий, путевкой я вас обеспечу.

— В санаторий?..— хмыкнул Аркадий Кириллович.— С таким больным воображением. Не лучше ли вам меня упрятать в сумасшедший дом?

Евгений Максимович посуровел:

— Ну что ж... Будем называть все своими именами. Вы становитесь врагом, Аркадий Кириллович. Пока враждебность только к нам, здесь сидящим,— к Эмилии Викторовне, с которой прекрасно ладили многие годы, к Ивану Робертовичу, ничего не сделавшему вам плохого, к Августе Федоровне... Даже к ней, прошедшей с вами бок о бок через жизнь. Все мы для вас не педагоги, не гуманисты — некие злодеи, извращающие сознание детей! Сегодня вы нам, завтра это же бросите всему коллективу учителей, вызовете к себе враждебность. Хуже того: найдете себе каких-то сторонников, внесете раскол, разброд, нетерпимость.

— А вы хотите, чтоб я убеждал и не рассчитывал на сторонников?

— Я хочу, чтоб школа нормально работала, а не вела междоусобную войну.

— Но в том-то и беда — школа работает ненормально.

— Это вам одному кажется. Пока только одному!

— А вы собираетесь ждать до тех пор, когда это станет настолько очевидным, что все увидят в упор? Будет поздно что-либо предпринимать.

— Какое самомнение! Вы считаете себя единственно прозорливым, остальные слепы и непроницательны.

— Проницательней ли я других, нет ли, но случилось — я увидел опасность. Значит, из ложной скромности, чтобы не выделяться, я должен притворяться слепым?

На круглом лице директора проступила брезгливая гримаса.

— Ну так вот,— сказал он решительно,— школа не может взять на себя вину за Николая Корякина. Это был бы самоубийственный для нас шаг. Вы на него толкаете, мы станем от вас защищаться. И не думайте, что защита окажется трудной. Большинство учителей не пожелает поступиться добрым именем своей школы, возможностью спокойно, без осложнений работать. Неужели вы надеетесь, что они с легкостью перечеркнут все прошлое, сломя голову ринутся за вами? Рассудите-ка.

Аркадий Кириллович на минуту задумался и согласился:

— Пожалуй что так... Если меня здесь не поняли... даже старые друзья, то почему должны понять остальные?

— И тем не менее это вас не останавливает?

— Вижу нависшую над учениками опасность и молчу?.. Нет! Не могу.

— Тогда не лучше ли вам сразу уйти из школы? Добиться вы ничего не добьетесь, а рано ли, поздно все равно кончится этим.

— Чем такая покорность лучше прежней?

— На что же вы все-таки рассчитываете?

— На то, что капля по капле камень точит. Ну, а кроме того, буду искать себе союзников за пределами школы, создавать общественное мнение.

Директор невесело усмехнулся:

— Ну, в этом-то вы уж никак не преуспеете, могу вам гарантировать. Не кто иной, как вы в свое время сделали все, чтоб убедить общественное мнение: неоценимо важным делом занимается наша школа. Гороно постоянно ставил нашу деятельность в пример другим школам, на семинарах и конференциях проводились восторженные обсуждения, газеты хвалили нас взахлеб. А теперь по вашему слову поверни вспять, признайся во всеуслышание, что были доверчивыми дураками... Не наивничайте, Аркадий Кириллович.

— А вы, похоже, успели уже прощупать обстановку? — поинтересовался Аркадий Кириллович.

— Да,— просто признался Евгений Максимович.— Нигде не сомневаются, что преступление Николая Корякина ни прямо, ни

косвенно со школой не связано. Вы с таким же успехом можете агитировать в свою пользу прохожих на улице.

Опираясь локтями в колени, навесив над полом тяжелую голову, Аркадий Кириллович долго смотрел вниз, не двигался. На него все глядели сейчас с сочувствием, даже не остывшая от негодования Эмилия Викторовна, даже невозмутимый Иван Робертович.

— Ладно,— разогнулся Аркадий Кириллович.— Думается, я все-таки найду себе трибуну.

Евгений Максимович безразлично пожал плечами. Все зашевелились. Тесное совещание «Могучей кучки» закончилось.

Он часто провожал Августу Федоровну до дома и сейчас шел рядом, придерживая легкий старушечий локоть, оберегая от слишком напористых прохожих.

Она говорила с привычной укоризной и непривычными нотками тревожной обеспокоенности в голосе:

— Несовершенен человек... Сколько тысячелетий вопят, Аркаша, и какими трубными голосами. И сколько крови пролито ради — совершенствуйся! А разрешима ли в принципе эта задачка? Может, терзаются над некой нравственной квадратурой круга...

— Хочешь сказать мне, Августа: и ты туда же, со свиным рылом в калашный ряд?

— Не совсем то, Аркашенька. Педагог должен совершенствовать людей, тех, кого поручили ему,— конкретных Колю, Славу, Соню, Ваню, а не вообще всех оптом, не какого-то абстрактного общечеловека.

— А я что делаю? Не о Славе Кушелеве, не о Соне Потехиной обмираю, не их сейчас предостеречь хочу, а вообще, безадресно?..

— Обмираешь, голубчик, да, над Соней, над Славой. Но метишь-то найти такое, чтоб и Соню, и Славу, и любого-каждого, ближнего и дальнего спасало от безнравственных поступочков. Вообще хочется универсальную для всех панацею! Именно то, чего стародавние пророки найти не могли.

— Есть одна-единственная на все случаи жизни панацея, Августа,— учитывай опыт, не отмахивайся, мотай на ус. Только опыт, другого лекарства нет! И за кровь, пролитую Колей Корякиным, за его безумие, его несчастье, которое мы не смогли предупредить, возможно только одно оправдание: пусть послужит всем, Соне и Славе, ближним и дальним. А ты желаешь, Августа,— забыть поскорее, остаться прежними, то есть вновь повторить, что было. Значит, ты враг Соне, Славе и всем прочим.

— Хе-хе! Если б опыт исцелял людей, Аркаша, то давным-давно на свете исчезли бы войны. Каждая война — это потоки пролитой крови, это вопиющее несчастье. Но ведь войны-то,

Аркашенька, сменялись войнами, их опыт, увы, ни на кого не действовал. Наивный! Ты рассчитываешь облагородить будущее лужей крови. Опыт... Я заранее знаю, что из такого опыта получится. Всполошишь, заставишь помнить и думать о пролитой крови, и школа превратится в шабаш. Да, Аркашенька, да, каждый начнет оценивать пролитую лужу на свой лад, делать свои выводы: гадко — справедливо, уголовник — герой, возмущаться — сочувствовать. Опыт учит: где свары и путаница в мозгах, там накаленность друг против друга.

— Но разве есть, Августа, другой путь к согласию, как не через выяснение мнений? Охотно тебе верю, что оно, это выяснение, может дойти до свар, до накаленности. Не осмеливаться на такое — значит прятаться друг от друга. А уж тогда-то и вовсе о взаимопонимании мечтать не смей.

— Взаимопонимание... Ох-хо-хонюшки! Да это же и есть та самая проклятая квадратура круга. Тысячелетия доказывают: неразрешимо! А вот снова находится простачок, которому это — что козлу нотация: не лазь в огород. Лезешь! Упрям по-козлиному!

— Пусть даже квадратура круга. Разве эта заклятая задача не двинула вперед геометрию?..

Августа Федоровна обреченно махнула сухонькой ручкой и замолчала.

А мимо них с громыханием и моторным рыком двигалась улица, начинался вечерний час пик: тупоносые самосвалы; зверообразные неуклюжие автокраны с угрожающе поднятыми стрелами; тяжкие — как только земля носит — панелевозы, груженные стенами домов; сияющие мокрым стеклом автобусы; суетные легковые разных расцветок; укутанные в громоздкие плащи мотоциклисты, отважно ныряющие между скатов и напирающих радиаторов; теснящиеся к стенам домов прохожие — вновь ежесуточный парад человечества, не знающего покоя, терзающегося противоречиями, жаждущего согласия, отвергающего его. Мимо, с привычным неудержимым напором, куда-то в неведомое!..

11

Соня пришла из школы и застала дома переполошенную мать. Звонили из управления милиции: Коля просит свидания с Соней, разрешение дано, надо куда-то явиться, к кому-то обратиться, но мать все перепутала и перезабыла — куда к кому...

Коля вспомнил о ней. Она ему нужна!

В последние годы Соня просыпалась по утрам с одной мыслью: Коля ждет ее, хочет увидеть и порадовать. Коля, которого когда-то все сторонились, кого жалели и на кого обреченно махали рукой, стал непохож на себя потому лишь, что она была

рядом, ему нужно было нравиться ей. Она чувствовала, как плохое, пугающее гаснет в нем возле нее, хорошее разгорается. И это переполняло Соню тайной гордостью; никому, никому ее не показывала, глубоко прятала, даже от матери. Оказывается, она способна совершить такое, чего другим не под силу. Вот живет она себе ровно и покойно, девчонка, как другие девчонки, а сам собой, без особых усилий происходит подвиг — меняет человека, делает его красивым. И сама им любуется. И хотя она много, много думала — все мысли были заняты Колей, только им,— но толком никогда не понимала, что, собственно, происходит. Передать это словами не смогла бы никому. Просто жила и радовалась своему редкому счастью.

Иногда ее охватывала и тревога без всякой причины — а вдруг да... Девичья тревога — а вдруг да Коля ее разлюбит...

Случилось вдруг и вовсе не то...

Но она и теперь по-прежнему нужна ему — помнит, зовет из-за стен!

Он еще не знает, что она, Соня, сейчас куда больше его любит — не страшится, ни в чем не попрекает, а гордится им!

Не только она одна, большинство ребят в классе считают — ради жизни, по-иному поступить было нельзя.

Понимает ли это сам Коля?

Поймет! Она все ему расскажет, откроет глаза на то, чего из-за стен видеть нельзя: сама им гордится, его заставит гордиться собой!

Он узнает, какой она верный товарищ. В самом большом несчастье преданна до конца, до костра! Ничто на свете не разлучит, ничто на свете не испугает, ничто на свете ее не остановит.

Даже другие сейчас верят в ее силу. Поверит и он.

Соня бросилась из дому, оставив переполошенную мать, чтоб дознаться: куда, к кому, пройти сквозь замки и стены, видеть его, слышать его, открыть ему великое!

Свидания... Еще недавно это были лучшие минуты в короткой жизни каждого из них. Свидания, на которые они ни у кого не спрашивали разрешения.

Соня долго ждала в неуютной пустой комнате с длинным узким столом, пока наконец не раздались шаги и сумрачный сержант с надвинутым на глаза козырьком фуражки не ввел его...

У нее перехватило дыхание — с исхудавшего до незнакомости лица глядели затравленные, просящие глаза. Она считала его подвижником, невольно сложилось представление: гордый, страдающий, верящий в свою правоту, замкнутый в себе. Совсем выкинула из памяти того Колю, раздавленного и невменяемого,

который среди ночи, словно лунатик, оказался под их дверью. Сейчас — затравленный взгляд, немотная просьба, измученность. И пронзительная жалость к нему, и пугающее ощущение непоправимости...

И он, похоже, смутился, так как тоже ожидал встретить ту Соню, какую знал,— кроткую, любящую, пугливую. А перед ним стояла — острый подбородок вздернут, наструненно-прямая, вызывающая, казалось, даже ростом выше, и глаза, опаляющие жаркой зеленью.

В тех частых свиданиях, какие были у них в неправдоподобно прекрасном раньше, они так и не научились обниматься, не обнялись и сейчас, а, боязливо сблизившись, протянули руки, сцепились пальцами. Она глядела на него плавящимися глазами, а у него мелко дрожал подбородок. Не расцепляя рук, опустились на скамью, всматривались, молчали, дышали.

— Ко-ля...— выдохнула она, совершила труднейшее — сломала молчание.— Коля, никому так не верю, как тебе!

И он затравленно метнулся зрачками в сторону, с усилием выдавил страдальческое:

— Не надо, Соня.

— Что — не надо? — удивилась она.

— Говорить мне такое.

Соня обомлела, ничего не ответила.

— Стыдиться меня нужно и... ненавидеть.

— Коля! Тебя? Ненавидеть?

— Я сам себя ненавижу, Соня,— с тихой, какой-то бесцветной убежденностью.

И наконец она пришла в себя, она вознегодовала:

— Да как ты смеешь! Такое — к себе! Не-на-вижу! За что?! За то, что мать спасал! За то, что против взбесившегося поднялся, кто для всех страшен... И не струсил! И за это — нен-навиж-жу?

Он слушал покорно, с пугающим равнодушием.

— Ты ничего не знаешь,— обронил он.

— Как?! Я — ничего? Все знают, а я — ничего?..

— Ты только слышала, а не видела. Тебя же не пустили туда... А там...— Он весь передернулся и закончил: — Кровь... Лицом в крови...

Не спотыкающиеся слова, а это брезгливое передергивание заставило ее поверить: испытывает отвращение к себе, как к чужой гнойной болячке. И Соня заметалась:

— Коля! Опомнись! Он палачом был! Ты не человека, нет!.. Ты палача, Коля-а!

— Палач — я, Соня,— негромко и твердо, но убегая зрачками.

— Т-ты!.. Т-ты забыл! Неужели?.. Как можно забыть все! Вспомни! Вспомни, как ты совсем маленький в глаза людям гля-

деть стыдился. Его стыдился! А теперь?.. Теперь — себя! Он вдруг хорошим стал, а ты — плохой! Кол-ля! Зачем?!

— Я теперь хуже его, какое сравнение.

— Он когда-нибудь был справедливым? Добрым был?.. Никог-да!.. Ты страшное сделал. Да! Страшное, но справедливое! Ради добра, Коля. Ради того, чтобы маму спасти. Ты гордиться собой должен, что зверя... да, зверя опасного поборол!

Но Коля упрямо сказал в пол:

— Он человек, Соня, не зверь.

— Зверь! Зверь! Не обманывай себя!

— Он не совсем плохим был, Соня.

— Ка-ак не совсем?!

— Совсем плохих людей не бывает на свете. Я это только сейчас вот понял.

— Не бывает плохих?.. Может, и Гитлера на свете не было?

Он снова поморщился:

— Не о том ты...

— О том! О том! О гитлерах вспомни!

— Гитлер — не человек, а вождь. Мы не о плохих вождях говорим — о людях...

— Неужели плохих людей нет?

— Есть. Много. Но чтоб совсем — нет. Мой отец любил меня, Соня. Да...

— Любил и жить не давал!

На этот раз Коля не ответил с ходу, словно задремал. И она уставилась на него с торжеством: ага, молчит, возразить не может, еще чуть-чуть — и победа!

Но он пошевелился и обреченно вздохнул:

— Так бывает.

— Что — бывает?

— Любят и жить не дают. Наверно, часто бывает.

— Глупости говоришь! — запальчиво, почти с гневом.

Теперь он и совсем не ответил, сидел понуро, смотрел себе под ноги. Но ее уже не радовало его молчание, а пугало и оскорбляло — не хочет возражать, несерьезное выкрикнула, пустое. И Соня заговорила с дрожью, едва сдерживая рвущуюся обиду:

— Все ребята в классе считают — ты правильно сделал. Никто не смеет против тебя словечко сказать. Они все понимают, а ты... ты вдруг — нет. Почему?

— Потому что они дураки, Соня. И я таким был.

— Пусть я дура, пусть! Но ведь и Славка Кушелев за тебя! Он что, тоже дурак?

— Славка математику знает да физику... Я и до этого, как случилось, знал больше Славки. Меня отец много учил.

— Пусть Славка дурак. Пусть все мы дураки. Но, может, ты и тех, кого история показывает, дураками назовешь? В истории

постоянно ради справедливости убивали, их героями считают. Не верь истории, верь тебе? Да смешно, Коля! Ты правильно сделал, ты гордиться собой должен. Слышишь — гордиться!

Коля поднял голову, вздрагивающими светлыми глазами стал разглядывать Соню со странным вниманием, словно видел ее впервые. Она, вытянувшись, вздернув плечи, выставив острый подбородок, стойко, не смигнув, выдержала его взгляд.

— Какая ты...— удивился он.

— Плохая? Тебя защищаю.

— Нет, ты хорошая, добрая...

— И верю, верю в тебя! Больше, чем ты сам.

— Честней тебя никого нет. Светлой всегда казалась. И всегда я... ты знаешь, всегда тобой любовался. Исподтишка. И все никак досыта насмотреться на тебя не мог... Вдруг ты — за убийство! Ты! Соня!..

До сих пор он был какой-то вялый, погруженный в себя, далекий от нее, теперь впервые в его голосе проступило страдание. Бессильное и безнадежное страдание по той Соне, что была когда-то. Ее нет больше — умерла, лишь след в памяти. Сидящая рядом — другая, чужая ему и далекая.

И Соню охватил ужас, она закричала:

— Нет! Нет! Не соглашусь! Не дождешься! Буду тебя спасать, буду! От тебя самого! Ты враг, враг себе!

Он равнодушно согласился:

— Враг. А как же...

— О-о! Ну, тогда и я враг тебе! Тебе, которому на себя наплевать! Враг! Враг! Не жди, не примирюсь! Убил — и правильно сделал! Надо было убить, надо! Жалею, что в стороне была, что не помогла тебе!

Снова он содрогнулся от отвращения:

— Жуть!

Но она уже не могла себя удержать, ее понесло — чувствовала, что вырываются жестокие слова, безобразные, но остановить их уже не по силам:

— Жуть? Конечно! Пришлось, да, убить! Пришлось, не сам захотел! А потом перепугался, скис, засомневался — зря, понапрасну. Вот это жуть! А я-то бежала к тебе — кто жизнь защищал, жизнь смертью! — чтоб сказать: с тобой вместе, не покину никогда! Прибежала и встретила... слизняка! Жу-уть!

Колю повело набок от ее слов, он оперся о стол, попытался удержаться, не получилось — сел, бросил глухо:

— Уходи.

— Ты!.. Ты — гонишь?!

— Уходи, Соня.

Она, еще кипевшая, еще не выплеснувшая всего из себя, вскочила.

Он сидел, низко согнувшись, выставив макушку в спутанных волосах. И ее гнев ушел, как вода в песок.

— Коля-а!

Он не ответил.

Она постояла, подождала, не подымет ли голову, и оскорбилась: да как он смеет ее гнать — ее, верную, любящую, готовую для него на все, даже на смерть! Как смеет не откликаться, когда она зовет! Соня резко повернулась, пошла к двери. У дверей задержалась на минутку — вдруг да опомнится. Он не позвал. Тогда она толкнула дверь и вышла.

12

Мама! Мама!.. Нет, нисколько не странно, что мама не поняла его. Мама всегда жила в четырех стенах, угорала от вечного страха. Соня всегда все понимала раньше его. Он еще не успевал подумать, а она уже открывала ему глаза — удивись и прими! Удивись не на что-нибудь — на самого себя.

Уходи... И она ушла. Голубые стрекозы речки Крапивницы, неужели они были?..

Уходи... Он прогнал ее.

Мама! Мама! Ты не догадывалась, что на свете могут быть голубые стрекозы — если и слышала о таком, то принимала за сказку. Соня уводила подальше от отца и от матери — за собой, в мир, где летают стрекозы...

Когда ты, Соня, стала бесчувственной?

Звала: будем ненавидеть вместе! А он так устал ненавидеть.

И уж совсем, совсем дикое: жалею, что не помогла тебе!..

Уходи...

Никого кругом, вот теперь-то совсем никого, ждать некого, желать нечего — пусто. Зачем он живет, зачем появился на свет? Только для одного, чтоб совершить ужасное. И ненужное! Зря, понапрасну! Да, лучше никому на свете не стало, а хуже — всем. Даже ей, Соне. Странно, что она этого не может понять. Такого простого.

Лучше бы совсем не знать Сони, никогда не видеть голубых стрекоз. Тогда не пришлось бы произносить: «Уходи». И не будь Сони, он, наверное, не так страдал бы от отца, не решился бы схватиться за ружье. Зачем, когда некому доказывать, что хочешь быть красивым, красивой жизнью жить?

Он даже не сказал Соне о канарейке. Нет, не забыл, не мог — удивилась бы, приняла за помешанного. Канарейка — к чему? При такой-то встрече. Даже о голубых стрекозах не вспомнили. Тоже — к чему?..

Вот если б отец сам пришел к нему на свидание... Уж он-то

бы наверняка вспомнил канарейку. И как просто было бы с ним говорить.

Странно, но они никогда в жизни толком не разговаривали, так, перебрасывались словами... или ругались. А как просто было бы: «Пап, помнишь: птичка влетела в форточку?» — «Князек-то? А как же». — «И помнишь: весна, и небо синее, и окно в каплях? Только что дождь прошел».— «Князек — птица лесная, сынок, в городе не живет...» Задушевный разговор. И о самом важном.

Коле вдруг стало спокойно: совсем один — ан нет! Стоит только ему захотеть — и придет отец. И можно с ним досыта наговориться. И поймет, и простит, и вместе порадуются, как никогда еще не радовались. До чего хорошо...

13

Сулимов разложил на столе бумаги. Он собирался плотно посидеть над ними весь вечер, как сам любил выражаться: «Пора подбить бабки». Дельце с сюрпризами — не Сулимов двигает им, а оно гонит его черт-те куда. Вот вылез на свет божий Илья Пухов, не зарывающийся наживала. На нем, как на гнилом пне, рос поганый гриб. Заурядно-умеренная страстишка к наживе, освещенная взорвавшимся преступлением, может выглядеть уже зловеще.

И только Сулимов углубился в свои заметки, стал фраза по фразе восстанавливать разговор с Пуховым, как строптивое дело выкинуло новое коленце.

Зазвонил телефон. Под самый конец рабочего дня могло звонить только бодрствующее начальство, обеспокоенное каким-нибудь очередным ЧП.

— Сулимов слушает!— голосом, дающим понять, что мы здесь тоже не дремлем.

Но в трубке послышался не начальственный давящий басок, а женское сопрано с еле уловимой взволнованной колоратурцей:

— Очень извиняюсь, что беспокою поздно. Но только что узнала о вашем разговоре с моим мужем. Это Пухова говорит, Людмила Михайловна Пухова... Сейчас, наверное, уже поздно, не могли бы вы назначить мне время на завтра?

Завтра утром Сулимов намеревался доложить о сложившейся картине. Но нетерпение — не отложила звонок на утро — и переливы в голосе... Сулимов верхним чутьем уловил: что-то преподнесет. И тогда, может статься, вся сложившаяся картина снова замельтешит, словно экран испорченного телевизора.

— Откуда звоните? — спросил он.

— Из дому.

— За сколько времени сюда можете добраться?

— За полчаса.

— Приезжайте,— согласился он.

Ровно через полчаса Пухова явилась. Дородная, с осанкой ушедшей со сцены драматической актрисы, она вплыла в тесный, непрезентабельно-казенный кабинетик Сулимова. На ярких, воистину соболиных бровях, помимо сознания собственного достоинства, Пухова внесла (и это сразу уловил Сулимов) некую нешуточную решимость — была не была! «Броская баба,— удивился про себя, стараясь представить ее рядом с повылинявшим, невзрачно-рыхловатым Пуховым.— Еще та парочка — гусь да гагарочка...» Но пока она усаживалась, справлялась с волнением, впечатление поражающей броскости прошло. Сулимов заметил, что правильному, яркому лицу не хватает тонкости — грубовато, с вульгаринкой,— а руки ее излишне крупны, неженственны: в свое время явно знали тяжелую работу.

— С чего и начать, не знаю,— со вздохом сказала она.— Спутано все.

— Говорите сразу главное,— посоветовал Сулимов.— А уж там мы путаницу как-нибудь распутаем.

— Главное-то совесть,— объявила она.— Грызет, не спрячешься.

— Перед кем же совестно?

— Перед Анной, женой Корякина. Перед мальчишкой, конечно... Ну, а больше всего перед собой.

— И эту совестливость, простите, разумеется, разделяет с вами ваш муж?

Пухова равнодушно отмахнулась:

— Кто его знает. Тоже, поди, не в себе. Но ему-то перед собой оправдаться легче — не он все наладил, а я.

Напустив на себя вежливое безразличие, Сулимов вглядывался в цветущее лицо Пуховой: «Хитрит? Беду от мужа отвести хочет? Или, черт возьми, еще одна кающаяся Магдалина?..» Но на белом лице Пуховой хитрость не прочитывалась — лишь удрученность и все та же упрямая решительность: была не была!

— Вы наладили? Что именно?

Тяжкий вздох, ответ не сразу:

— Да это самое...

— Не убийство ли Корякина сыном?

— Выходит, что так.

— И вы рассчитываете доказать мне это?

— Отчего Рафаил убит? Да оттого, что над женой измывался. Он, поди, с первого дня ее не любил люто. Ну, а Рафаилу-то Анну я подсунула. Я! Можно сказать, откупилась ею.

— И как это было?

— Как?.. Занесла меня кривая в ваш барачный поселок Сочи. Из эвакуации я возвращалась с матерью обратно в Ростов, да на станции Мамлютка маму мою из вагона вынесли — тиф. Пятна-

дцати лет мне не исполнилось — одна на всем свете. Судомойкой работала, в лесу топором махала, чуть замуж не выскочила за человека на тридцать лет старше, а когда сюда занесло, была уже тертая, голой рукой не хватай. Коечка в коечку возле меня девчонка из деревни — тихая да робкая, как мышь. Я ей вместо старшей сестры, за мой подол держалась...

Пухова по-бабьи пригорюнилась, темные глаза подернулись поволокой, брови горестно стыли на белом лбу. Сулимов терпеливо ждал.

— Хоть и трепало меня в жизни, да, видать, не истрепало — в самом соку была, ну, а возраст-то под зарубочку, когда ждать дальше опасно: девичье на убыль пойдет. Подъезжали ко мне многие, но пуще всех Илья и Рафаил. Они уже давно приятельствовали, с конца войны, считай,— тихий да буйный, дельный да беспутный, а как-то ладили, только вот на мне у них заколодило.

— А что же свело их, таких разных?

— Известно что — выгода. После войны все обживаться начали, строиться, ремонтироваться — нужда в рабочих руках большая. У Рафаила руки есть, а как их лучше приспособить — головы не хватает. Илья руками не очень силен, зато головой раскинуть может. Вот и держались друг за дружку, пока я промеж ними не выросла.

— Но и после вас их дружба, однако, продолжалась.

— Дружба, да уж не та. Тут их уже не выгода крепила — я старалась.

— Зачем вам было нужно их крепить?

— А вот о том и речь веду. Слушайте... Значит, навострились они на меня. Рафашка, тот разлетелся с разгона: хочу — проглочу, хочу — в крупу истолчу! Ну, не на таковскую напал, быстренько отшила. Шальные-то сразу голову теряют — пугать не в шутку стал: или со мной, мол, или никому, жизни лишу и тебя и того, кто к тебе сунется...— На гладком лице Пуховой проступил смущенный румянец, почти девичий, ясный. И решительное движение бровей: — Что скрывать, Илья Пухов не очень уж мне и нравился — выглаженный, без морщиночки и волосики прилизывал на косой пробор. Чудным казалось, что такой вот тихоня в нашем отчаянном поселке уживается. Не покрикивал, за грудки не хватал, ножа в кармане не прятал, а по струнке ходить заставлял поножовщиков вроде Рафочки Корякина.... Вот и запала мне в голову мысль — ведь надежен!..— Снова Пухова на минутку закручинилась, распрямилась, тяжело вздохнула: — Да-а, судьба!.. Ох, устала я к тому времени от жизни дерганой. Покою хотелось, чтоб день походил на день, чтоб каждый чистенький, чтоб наперед знать: ничего не собьется, не спутается, надежно. С Рафаилом какая надежность — жди сплошную войну. И даже

знать ежели — ту войну выиграешь, то все одно накладно, измотаешься...

— Пухов. Понятно.

— Другого надежного рядом не было.

— И не ошиблись в выборе?

— Не ошиблась,— с какой-то горечью ответила Пухова.— День на день теперь походит, не отличишь.

— Так почему же все-таки связь Пухова с Корякиным не порвалась?

— Ждали все того, ждали — порвется и кровь прольется. Илья ждал, уговаривал меня — уедем. Но ведь ошалевший за нами бы бросился!.. Вот и решилась я... Никому не сказалась, одна пошла к Рафочке. А у того рожа черная со вчерашнего перепоя, глаза волчьи прячет. «Просить пришла?» — спрашивает. «А что, говорю, ты дать можешь, что у тебя есть?» — «Иль показать?» — «Покажи, отвечаю, если думаешь, что за это полюблю». Знала, знала, что сломается, скулить начнет. Так оно и вышло: «Помани — иным обернусь, пить брошу!..» — «Так уж сразу и обернешься? Терпеть долго придется, а похожа я на терпеливую?» Вот тогда-то я и назвала ему: «Есть терпеливая, как раз такая, что тебе нужно — не пропусти, иначе под забором сдохнешь!»

— Анну?

Пухова низко наклонила голову:

— Да.

Оба помолчали.

— Вы и в самом деле специально это... чтоб откупиться? — осторожно спросил Сулимов.

И она вскинула на него распахнутые, провальные глаза:

— Верила! Верила! Хорошо получится! Я к Анне всегда, как к сестре младшей... Ее спросите — под моим крылышком жила. Думалось: одна-то пропадет, а тут парень бедовый, золотые руки имеет. Ну, а то, что с норовом,— Анна перетерпит, дров в огонь не подкинет. С кем Рафашке дикому еще и сжиться, как не с такой тихой. И виделось, виделось: я с Ильей, она с Рафашкой поплывем на разных лодках, но в одну сторону. У меня родни нет, у Анны тоже. В мыслях не мелькало тогда: откуплюсь! Повернулось так. Да! Но поняла, раньше всех поняла: неладное получилось. Даже Анна еще на что-то надеялась, а я уже знала: ох, злая ошибка случилась. И жгло, жгло меня! Всю жизнь грех свой замаливала. Илье, думаете, хотелось вожжаться с Корякиным? Как же! Еще до знакомства со мной он уже подумывал, как бы Рафочку дорогого от себя оторвать. Глупости говорят, что на Рафке ехал. Рано ли, поздно — с таким конем умаешься. А в последнее время и совсем сбесился, норовил без пути, без дороги...

— И все-таки мне не понятно, почему не расстался, почему терпел ваш муж?

— Да ужель теперь-то не ясно почему? Я не давала! Оттолкни Илья от себя Рафаила — как бы тот под откос покатился, совсем бы тогда спился, семью в нищету загнал — Анне вешайся! Так и настроила я Илью: случится это — брошу! Он и сам понимал. Держал возле себя Рафаила. Да! Совсем выправить его никому не по силам, но какой-никакой догляд за ним был: пить в рабочее время не смел, от совсем уж дурной компании оттирали. А я сама следила, чтоб деньги в семью шли,— сыты, обуты, ничуть не хуже других...

Вот оно: сезам, откройся! Не этот ли секрет умолчал тогда Пухов? Не хотел вмешивать жену. А может, не надеялся, что поверят: секрет тесной, почти тридцатилетней связи столь несхожих людей так прост и сентиментален. Сулимов не мог поверить в него сейчас, выискивал в порозовевшем от волнения лице Людмилы Пуховой неискренний наигрыш, хотя бы намек на него, глухой, сомнительный оттеночек. Та сидела перед ним подавленная и... непроницаемая.

— Значит, причина связи Пухова — Корякина в том лишь, что вы себя считали в долгу перед Анной?

— В долгу?! — возмутилась Пухова.— Слово-то какое... купеческое. О долгах ли я думала — жить не могла!

— Уж так-таки жить не могли. Не преувеличивайте.

— А вы поставьте себя на мое место. Живу, как и хотела, тихо. Так тихо, что глохнешь. Все наперед знаешь, чтó завтра у тебя будет, чтó через неделю, через месяц... Ни о чем думать не надо и не о чем тебе заботиться — все есть: квартира, тряпки, машина... Вот только детей нету, обижены. Да ведь живая же я, не мертвая, ни о чем не думать не могу, и без забот пусто. Так пусто, что терпенья нет, хочешь не хочешь, а любой на моем месте заоглядывался бы по сторонам, искать стал: о ком бы позаботиться? Ну, а мне особо оглядываться и выискивать не надо — рядом у старых знакомых ад кромешный. Расписывать мне их жизнь, или сами знаете? А коль знаете, так и спросите себя: могла я забыть, что по моему наущению такая дикая жизнь тянется? И как мне не страдать, совестью не мучиться? Да и о ком мне еще страдать? А потом, если вдуматься, спасибо Анне... Дикому Рафе тоже. Не они бы — я, поди, и живой-то себя не чувствовала, давно бы каменной бабой стала... Долг?.. Какое там. Тут себя бы спасти. И вовсе не от доброты сердечной заставляла мужа держать возле себя дорогого Рафочку. Перед собой не притворялась доброй и перед вами не хочу!

Сулимов озадаченно молчал. Как ни старался он расшевелить в себе недоверие, но Пухова разбивала его — уже не сомневался в ее искренности.

— М-да-а...— протянул он.— Неожиданная история.

— Да нет, скучная,— устало возразила она.— Глупая баба

себя сама обманула. Покою ей хотелось — захлебнись им. До сих пор хоть за Анну тревога была, нынче и это кончилось. Совсем будет пусто. Покатятся похожие денечки, а куда, а зачем? К чему я на свете?.. Хотите верьте, хотите нет, а жалею, что тогда за Рафаила не вышла.

— Ну уж! — возмутился Сулимов.

Глаза Пуховой обдали его темным сполохом.

— С ним-то я уж покою не знала бы. Я не Анна, я бы воевала и, думается, осилила. Да!.. Как знать, может, даже и гордиться теперь пришлось бы: вот он, мой перекроенный, не бросовый, человек, как и все, даже лучше других. Было бы что вспомнить на старости лет. А теперь что?.. Да ничего.

Пухова хлюпнула, достала платочек и с откровенной горестностью шумно высморкалась.

14

Соня брела под дождем нога за ногу — куда? Не знала сама.

Она не сразу ужаснулась тому, что случилось. «Уходи...» Она ушла, унося обиду, только обиду. Но вот шаг за шагом по темному, сырому, неуютному городу, дальше от стен, где остался запертый, охраняемый Коля, и стало расти, расти, распирать до — не могу!

За что?! За то, что любит его!

Однажды она спешила из магазина с набитой авоськой и впереди прохожих увидела его, тоже спешащего домой. На этот раз она его не нагнала, а шла следом, глядела и не могла наглядеться. У него был порывистый, решительный шаг. У него вызывающе запрокинута голова, мягкие волосы лежали на воротнике пиджака. В узкой спине у него какая-то напружиненность, весь он легкий, подобранный, летящий над тротуаром сквозь прохожих. Он нисколько не походил на того скованного, угловатого, каким был при встрече с ней. Сам собой он еще лучше, неожиданней... И она захлебнулась от счастья — оттого, что они скоро встретятся, оттого, что снова он станет скованным, застенчивым, оттого просто, что есть он на свете, есть! Она торопилась за ним и едва сдерживала счастливые слезы.

Любит...

А плеск весла за спиной, когда они плыли по Крапивнице: Плеск весла, толкающий их вперед, вперед! И что там, впереди?.. Обмирало сердце.

Любит! Как никогда не любила отца, пожалуй даже и мать, а уж себя-то и подавно.

Любит! За это — уходи!

Если б можно его несчастье взять на себя... Взяла бы! С ра-

достью! Не задумываясь! Не дрогнув! Умереть, чтоб жил он,— да, да! Может, позавчера, пока не знала беды, и не осмелилась бы сказать такое себе, не была еще до конца уверена — любит, но до последней ли точки? — то теперь да, да, не сомневается, теперь убеждена!

За это — уходи. Не нужна!

Готова сама умереть, себя — не жаль! Так почему должна жалеть других? А уж таких-то, как его отец,— ненавижу, ненна-вижу!! Потому что — люблю!..

Коля! Ты самый решительный, самый справедливый, самый честный из всех на свете! И не соглашаешься с этим, и оскорбляешься, и гонишь прочь... Не вмещается в голове — чудовищно!

Нога за ногу по мокрым улицам, таща в себе распирающую необъяснимость. Не могло такого случиться, а случилось, не пригрезилось. Звучит в ушах — уходи! И не находилось другого объяснения, как: не герой, а трус, не выдержал до конца, скис, предал себя и ее, Соню, вместе с собой! Выходит, что она ошибалась в нем.

Нога за ногу...

Но Соне пришлось посторониться: взявшись за руки, шли парни и девушки, должно быть студенты, возвращающиеся с вечеринки.

В этот поздний промозглый час, когда город неуютно мокр и черен, когда фонари вверху окутаны дымчатой изморосью, воздух липкий, а поредевшие прохожие, втянув головы в плечи, поодиночке, словно наказанные, торопились дорваться до своих подъездов, до комнатного тепла, разгоряченная, занявшая всю мостовую компания дружно шагала в едином стремительном наклоне, подставив моросящему дождю веселые лица,— распахнутые плащи, стук высоких девичьих каблуков по асфальту... И напористый, мужественный парнишечий басок, бравируя — все трын-трава! — выжимал:

Ваш-ше благородие
госпожа удач-ча,
для кого ты добрая,
а ком-му инач-че...

За ним не слишком слажено, но воодушевленно подхватывали остальные:

Девять граммов в сердце,
постой, не зови...
Не везет мне в смерти —
повезет в любви!..

Звенел в хоре беспечный девичий альт.

У Сони вдруг поплыли перед глазами желтые круги, ошпарила ненависть к ним, неуместно счастливым в этот гнилой,

беспросветный вечер, к ним, беспечно — трын-трава! — заигрывавшим с госпожой удачей, бездумно верящим, что повезет в любви.

Поющая, шумно шуршащая мокрыми плащами компания, оттеснив Соню, прошла мимо. А она стояла и глядела им вслед, пока не растворилась в затканном дождем мраке. Но и из мрака, из далекого, вознес на прощание все тот же мужественный басок уже иное, торжествующее:

Поднявши меч на наш союз,
достоин будет худшей кар-ры!..

«Господи! Им весело!..» Изумление до кругов в глазах, до слабости во всем теле. Им весело, им ни до чего нет дела. Что бы ни случилось на свете, такие все равно станут горланить: «Не везет мне в смерти — повезет в любви!» А что они знают о смерти? И что — о любви?..

Упрятанная в плащ-накидку женщина вывела на поводке лохматую собачонку. Собачонка задержалась под фонарем, подняла ногу... И к ним тоже взбурлила буйная неприязнь: к лохматой коротконогой собачонке, к незнакомой женщине, даже к фонарному столбу. И противен город, противен траурно-черный, насквозь промозглый мир...

Но невыносимость всего, что окружало, была так сильна, что разбудила Соню: «Что это я?..»

В эти дни она тайно, неудержимо ненавидела всех. На любого из класса глядела с замороженной подозрительностью — враг, может стать им! Даже Славке Кушелеву, который сразу перешел на ее сторону, даже ему не могла себя заставить верить...

И Аркадию Кирилловичу тоже...

И теперь куда-то бредет, подальше от дома. Ненавистен дом. Он самое проклятое место в городе!

А мать, добрая мать, какими жалобными, раскисшими глазами станет смотреть... А отца-то Соня уж и вовсе терпеть не в силах — против Коли, озлобленно против всего святого; невмоготу с ним!

Ко всем ненависть, потому что все кругом в любую минуту могут повернуться против Коли! Никому он не дорог, никто так не любит его, как она, никто, как она, за него не страдает. Ради него готова на войну со всем миром!

И вот сейчас... Да, сейчас она сама ненавидит Колю — уходи; вовсе, оказывается, не герой, а трус: скис, предал...

Война со всем миром?.. Нет, просто ничего и никого кругом — ни любви, ни благородного гнева, одна бессильная ненависть.

Висело над фонарями тяжелое, набухшее от сырости небо, дыбились черные дома со светящимися чужими окнами. За каж-

дым окном — люди. Много людей на свете, тесно от них, и нет такого, кто любит, кому можно ответить любовью. И на ненависть ее никто не обращает внимания — равнодушны. Не нужна.

Похоже, она ничего не принесла Коле, кроме этой ненависти ко всем, даже к тем, кто ни в чем и не мог провиниться. А он, Коля, уже перестал ненавидеть убитого им за злобность отца: «Совсем плохих людей не бывает на свете».

Эти слова теперь не вызвали у Сони негодования — устала негодовать, обреченно задумалась. И сразу же наткнулась на простую и ясную мысль: Коля с отцом прожил всю свою жизнь: можно ли представить, что за всю жизнь, за многие, многие дни его отец был только плохим, только зверем? В конце концов, наверное, и от озверения устают.

За первой мыслью явилась другая, столь же оглушительно простая и очевидная: вместе с плохим отцом он, выходит, убил и хорошего!..

А она от него требовала — гордись собой!

И все вдруг перевернулось, все потекло в обратную сторону — от ненавидь, от убий. Соня увидела себя глазами Коли, любящими глазами: «Хорошая, добрая, светлой всегда казалась...» И эта добрая, эта светлая с пеной у рта — гордись, что убийца!..

Погас фонарь над мостовой. Вечер кончился, город на ночь гасил часть уличных огней. Темнота, висевшая где-то над крышами, свалилась ниже. Город словно съежился, оцепенел. Лишь дождь продолжал шуршать в потемках, вкрадчиво жил.

Соня стояла под дождем на пещерно-темной, чужой улице, раздавленная открытием самой себя — до чего же безобразна, как можно такую терпеть другим, как встречаться с людьми, глядеть им в глаза...

Если б теперь вернуться к Коле, вымолить прощение. Но Коля за стенами и замками... И то, что сделано, выбросить прочь уже нельзя, как нельзя повернуть назад время.

15

По коридору за дверью перестали ходить, жизнь кругом замерла, и таинственное здание тюрьмы заполнила тугая тишина.

Коля лежал на койке, сам перед собой притворялся — дремлет, раздавлен, равнодушен ко всему,— но, затаившись, ждал, ждал, что Он снова к нему придет. И верил — будет, не обманет! И боялся спугнуть.

Он бесшумно вошел и сел в его ногах на кровати, настолько высокий и плечистый, что стало тесно в камере. И лампочка с потолка освещала Его спутанные кудельные волосы, и лицо Его

было в тени. Но Коля знал: лицо у Него есть, нисколько не изувечено, знакомо, хоть плачь. И от него тянуло приветливой прохладой, как в знойный день из еловой чащи.

— Я боялся, что ты не придешь.

— Ты теперь ничего не бойся — все прошло.

— С тобой не боюсь, а без тебя — всех, даже мамы...

Это было не совсем так: Коля немного боялся Его — вдруг да скажет о маме плохое, тогда и с Ним станет так же трудно разговаривать. Жутко подумать — если и с Ним!.. Но Он сразу почувствовал страх и сказал то, что Коля хотел слышать:

— Не бойся мамы, а жалей ее.

— А можно мне тебя жалеть?

— Нет, нельзя.

— Почему? Мне очень хочется!

— Ты видишь, как мне с тобой хорошо.

— Давай вспомним что-нибудь.

— Ты не забыл нашу самую первую рыбалку?

— Я был тогда еще маленький и помню... траву очень холодную и мокрую.

— Это роса.

— И реку помню: черная, страшная и дымилась.

— Это туман.

— А потом птицы летели, низко, низко, над самой рекой, даже крыльями воду задевали.

— Это утки.

— Но больше всего я люблю вспоминать князька.

— Люби все: и росу, и туман, и уток, всех других птиц и зверей. Ведь это так просто — взять да любить. Вот ты меня полюбил, и тебе стало хорошо.

— Хорошо...— как эхо отозвался Коля, чувствуя, что плачет от счастья.

Раздались шаги в глубине коридора, и Он исчез, не простившись. На Колином лице сохли счастливые слезы...

16

Людмила Пухова засиделась у Сулимова. Он еще долго ее расспрашивал, но так и не поймал на противоречиях, все, в общем, совпадало с показаниями и старой Евдокии, и Анны Корякиной, и даже страстотерпца Соломона, «чистыми слезами» оплакивавшего Рафаила Корякина. Сулимов составил протокол. Она оказалась дотошной, вчитывалась не торопясь и вновь все переживала, шумно вздыхала:

— Что было, то было. Выгораживать себя не хочу.

Похоже, она не собиралась выгораживать мужа: вставлен-

ное Сулимовым замечание — Пухов действовал на пару с Корякиным не без выгоды для себя — никаких возражений у нее не вызвало. Она поставила свою подпись, и он расстался с ней.

Итак, Илья Пухов виноват не более других. Крупней всех вина Рафаила Корякина: делал все возможное и невозможное для своей безобразной смерти. Но с него-то теперь взятки гладки. Отвечать придется только сыну, который и без того в своей куцей жизни достаточно натерпелся за грехи, допущенные в разное время разными людьми.

Был уже поздний вечер, большое, деятельное днем здание управления сейчас замерло, только на нижнем этаже продолжали бодрствовать те, кому и ночью надлежит следить за порядком в городе. Да еще, наверное, в каком-нибудь кабинете, зарывшись в бумаги, «подбивает бабки» страдалец вроде него, Сулимова. И лежала на столе под лампой раскрытая папка, начатое дело...

Выходит, Сулимов сделал круг и оказался на прежнем месте. Свидетельства, собранные за столь короткое время, ничего, собственно, не дали. Мальчик убил своего отца — только и всего, вопиющая очевидность!

Неудачи случались и раньше — нащупанный преступник, как налим, порой ускользал из-под рук. Чувствовал досаду, сердился на себя — неловок, не с того конца ухватил,— самолюбиво переживал упреки начальства. Сейчас никто не упрекнет, никто не выразит недовольства, и досадовать на себя, казалось бы, нет повода: любой другой на его месте сделал бы не больше. А вот поди ж ты, не отпускает — так и хочется кому-то поплакаться, раскаянно саморазоблачиться, как разоблачали себя перед ним мать, бабка мальчишки, та же Людмила Пухова. С кем поведешься, от того и наберешься — в эпидемию попал.

Сосредоточься, разберись в себе: почему недоволен, почему не отпускает чувство вины? Мальчишку жалко, помочь не в состоянии? Но ведь ты и прежде жалел каких-то простаков, влипших сдуру или по нечаянности в грязные делишки. Жалел, но вины-то за собой не чувствовал.

Отчего сейчас вина? Не оттого ли, что видит око, да зуб неймет? Прошлое не притянешь к ответу — будут судить одного мальчишку, отправят в колонию для малолетних преступников. Малолетних, но уже испорченных. Николай Корякин окажется среди тех, от кого общество постаралось избавиться. Да, там есть воспитатели, но они не чудотворцы и даже не Макаренко — чаще всего обычные люди. Не обязательно их влияние будет больше, чем влияние юных воров, хулиганов-садистов и патологических циников, с которыми придется жить бок о бок. Парнишка с отравленным детством, травмированный собственным поступ-

ком, пройдет выучку в колонии и может оказаться хуже своего отца. Какие подарки преподнесет он в будущем?

Вполне возможно: через много лет такой же вот следователь, разбирая опасное преступление, вглядится попристальней в прошлое и увидит там его, Сулимова. Не хотел, а наследил в будущем.

А ты не Ванька Клевый, не темная Евдокия Корякина, ты уже видел на их горьком опыте, из каких безобидных оплошностей возникают трагедии. Видеть — и допустить! Как тут не чувствовать вины?..

Загремевший телефон заставил Сулимова очнуться. Кто там еще? Скорей всего, где-то случилось новое преступление, нуждаются в нем. Но с такой путаницей в голове, с сомнениями в себе ехать на новое дело? И вообще, сумеет ли он теперь избавиться от неуверенности, сможет ли работать как работал?

— Сулимов слушает!

— Не удивляйтесь, говорит Памятнов. Учитель Памятнов, Аркадий Кириллович. Надеюсь, не успели еще меня забыть?

— Вы?!

— Я справлялся у дежурного, когда вас можно поймать завтра. Он сообщил, что вы и сейчас здесь. И вот... не обессудьте.

— Слушайте! — неожиданно для себя закричал Сулимов.— Вы-то мне и нужны!

— Вы мне тоже.

— Тону, Аркадий Кириллович, спасите!

— Увы, сам пузыри пускаю.

— Так давайте сейчас друг за друга подержимся. К берегу, может, прибьемся.

Короткая заминка на том конце провода, наконец решительное:

— Приезжайте. Жена будет уже спать, но кофе вам обещаю.

17

Жена Аркадия Кирилловича работала в оптической лаборатории ОКБ, расположенной на самой окраине города, вставала в шесть утра. Чтоб не мешать ей, они пристроились на кухне.

На столе чашки с обещанным кофе, над столом на стене большой художественный календарь, каждый месяц на нем — красочный пейзаж. Календарь показывал золотую солнечную осень, а в окно настойчиво барабанил дождь. Время от времени оживал холодильник, начинал сердито бормотать, словно выговаривал неожиданному гостю за вторжение.

Сулимов встрепан, сверкает бешеным оскальцем из-под уси-

ков, рассказывает с захлебцем, залпами — выпалит и умолкнет, мучительно морщится, стараясь разобраться в запутанных мыслях. У Аркадия Кирилловича на темном лице набрякшие складки, устал, погружен в себя.

— Я вижу, вижу, что в одну цепочку становлюсь с Ванькой Клевым, старой Евдокией, Пуховым — нового Рафаила Корякина, того гляди, миру подарю... И если б кто меня толкал к этому, принуждал... Не взбунтуешься, войну не подымешь — нет противника! Рад бы сразиться, да пустота перед тобой! — очередной горячий залп Сулимова.

Аркадий Кириллович поднял веки, встретил его ищущие глаза, усмехнулся:

— Ошибаетесь,— сражение идет, и отчаянное.

— У меня? С кем?

— С самим собой.

Сулимов с досадой крякнул:

— То-то и оно: как глупый щенок, кручусь, свой хвост кусаю и рычу оттого, что больно.

— Вы считаете, что за преступление непременно кто-то должен ответить? — спросил Аркадий Кириллович.

— Убийство же! Не несчастный случай, не стихийное бедствие — продукт, так сказать, человеческих действий. Значит, не господь бог повинен, а кто-то из людей. Непременно!

— А виновника не находите. Больше того, себя чувствуете виноватым. Себя, к убийству совсем не причастного. Что-то вы противоречите... сам себе. Чем это не война? Внутренняя.

Озадаченное сопение, блуждающий взгляд. Наконец Сулимов хмуро поинтересовался:

— Так в каком же случае я прав?

— Правы в обоих случаях,— невозмутимо ответил Аркадий Кириллович.

— Ну, так не бывает.

— Так бывает всегда и всюду. О единстве противоположностей, надеюсь, слышали?

— Слышал, преподавали — почку губит распускающийся цветочек.

— Вот у вас тоже распускается цветочек.

— Какой именно?

— Чувство ответственности за других, прошу прощения за избитость выражения.

— Эва! — удивился Сулимов.— А раньше, выходит, ответственности у меня не было, без нее жил.

— Всем нам за него — расплата...

— Всем нам — расплата...— повторил Сулимов.— М-да-а... Это что же, я и дальше буду чувствовать... расплату? За каждого прохвоста?.. Бежать тогда мне надо из угрозыска — свихнусь.

— А разве острей чувствовать, глубже понимать противопоказано для вашей работы?

— Наша работа заумн не терпит: держись закона, отсебятины не допускай, помни о том, что преступник — враг общества, а значит, и твой враг. А у тебя к этому врагу эдакое личное... Опасно.

— Не клевещите на себя.

Сулимов уставился в чашку с остывшим кофе. Аркадий Кириллович сочувственно к нему приглядывался.

— Ладно! — встряхнулся Сулимов.— Обо мне хватит. Вы попросить что-то у меня хотели, надеюсь, что не противозаконное.

— Предоставьте мне трибуну,— произнес Аркадий Кириллович.

— Что-о? — опешил Сулимов.

— Как вы считаете: должен случай с Колей Корякиным послужить уроком для учителей и для учеников?

— Уж если такое ничему не научит, то считай себя деревом, не человеком,— проворчал Сулимов.

— А вот наша школа собирается сделать вид — это нас не касается.

Сулимов замялся:

— Странно... Вчера бы я за это не особенно осуждал — на рожон лезть добровольно. Зачем?

— А сегодня? — спросил Аркадий Кириллович.

— А сегодня... что ж, может, вы и правы...

— Меня пытаются связать, требуют молчания. И не могу я говорить ученикам одно, когда остальные учителя — другое. Ералаш в головах учеников получится, а среди учителей разногласие, разброд, склоки. Действовать в одиночку?.. Нет! Должен убедить.

— Легкое занятие!

— Трудно еще и потому, что общественное мнение на стороне школы. Гороно всячески превозносит нас, газеты нас славили, родители гордились, что их дети у нас учатся. Пока не удастся перевернуть общественное мнение, уроки из случившегося скорей всего будут нежелательные. Уже сейчас Колю Корякина в классе считают чуть ли не героем.

— Та-ак! — сердито выдавил Сулимов.— Чем же я вам могу быть полезен?

— Вытащите меня на суд свидетелем. А уж обвиняемым я и сам стану.

— Трибуна?..

— Почему бы и нет? К такому процессу со всех сторон будет усиленное внимание.

Сулимов разглядывал учителя беспокойно поблескивающими глазами.

— Внимание будет...— согласился он.

— И не бесстрастное,— добавил Аркадий Кириллович.

— Да уж сыр-бор разгорится.

— Ну, а при таком пожаре у моих коллег учителей вспыхнет совесть. Неужели вы думаете, что они останутся холодными, когда вокруг будут бушевать страсти?

— Гм... Положим.

— Положим?.. Вам этого кажется мало, Сулимов? Ой нет, люди с опаленной совестью способны на многое.

— На что?! — воскликнул Сулимов.— На то, чтобы спасти ребят от пьяных отцов, от мошенников, от шкурников, которые непременно начнут наставлять: греби все к себе, что плохо лежит?.. Для этого надо жизнь вычистить до блеска! Под силу это вам?

— Жизнь вычистить нам не под силу, Сулимов, но под силу будет показать, что такое хорошо, что такое плохо в этой еще не вычищенной до блеска жизни.

— А раньше вы разве этого не показывали?

— То-то и оно, что не все показывали, стеснялись показывать жизнь, какой она есть — нечищенной, неумытой.

— Но знали же и без вас ребята, что в семье Корякиных творится. Наружу лезло! Знали — и что?..

— А то, что тактично отворачивались: мол, не замечаем. Ложный стыд перед правдой и к ученикам перешел.

— Отворачивайся не отворачивайся, а беда все равно стряслась бы.

Аркадий Кириллович ответил не сразу, сидел, навесив голову над столом.

— А вы попробуйте представить Колю,— начал он.— Да, Колю Корякина, который делится всем, что происходит в семье, с товарищами, не стыдится, а рассчитывает на отзывчивость, не боится, что вызовет злорадный смех за спиной.

— Трудно представить.

— Трудно. В том-то и дело — герой уголовного романа, всех чуждающийся одиночка. Как вы считаете: он от природы такой нелюдим?

— Н-не думаю.

— Обстоятельства сделали?

— Скорее всего.

— Ну, а если б в иные обстоятельства он попал, в нашей школе хотя бы,— каждый день сталкивался бы с сочувствием к себе, твердо знал, что может рассчитывать на отзывчивость... Скажите, могла бы ему прийти тогда в голову мысль — убью ненавистного отца?..

Сулимов, подобравшись, сидел, озадаченно помигивал. Аркадий Кириллович решительно ответил за него:

— Любая другая, но только не эта!

— М-да-а...— протянул Сулимов.

И наступило долгое молчание. Со стены улыбчиво сияла календарная золотая осень, за неприютно черным окном монотонно и суетно трудился непрекращающийся дождь. У Аркадия Кирилловича вновь свинцово обвисли складки лица. Сулимов пошевелился.

— Пора мне и честь знать... Но еще вопросик, если позволите, на прощание: ту игру, о какой вы мне рассказывали... кончите или как?

— Игру нашу закончил Коля Корякин.

— Охоту отбил, что ли?

— Перед необходимостью поставил: ищите путь друг к другу. А это уже не игра, это серьезное.

Аркадий Кириллович устало смотрел на свои руки, крупные, отдыхающе лежащие на столе.

— Ну и суд же будет...— вздохнул Сулимов.— Свидетели станут брать на себя вину за преступление, защитник окажется в положении обвинителя, а обвинению ничего не останется как только взять на себя роль защиты...

В прихожей раздался короткий, как всхлип, звонок. Тяжелые складки на лице Аркадия Кирилловича тронулись в недоумении, он поднялся, поспешил к двери.

За дверью стояла Соня — обвалившиеся плечи и руки, слипшиеся от дождя прямые волосы, стертое лицо.

Аркадий Кириллович посторонился, молча кивнул — заходи.

Она перешагнула за порог, беспомощно остановилась, бескостная, спеленатая мокрым плащом, с усилием держащаяся на ногах. Губы ее неподатливо пошевелились, но звука не выдавили.

— Раздевайся, Соня,— попросил Аркадий Кириллович.

Лицо ее вдруг свело судорогой, она зажмурилась, привалилась к косяку, выворачивая шею, пытаясь спрятать перекошенное лицо, издала надрывный стон, и плечи под плащом заходили от беззвучных рыданий.

Сулимов, появившийся за спиной Аркадия Кирилловича, должно быть, не узнал сейчас Соню, которую видел мельком в ночь убийства.

— Что случилось? — спросил он.

Соня, с выбившимися из-под вязаной шапочки мокрыми патлатыми волосами, измятая, одичавшая, прикусив губы, зажмурившись, давилась в рыданиях.

— Что?..

Аркадий Кириллович, пряча под насупленным лбом глаза, ответил:

— То же самое — всем нам расплата! Ей, пожалуй, больше, чем нам с вами.

НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

ПОВЕСТЬ

1

Как и положено, выпускной вечер открывали торжественными речами.

В спортзале, этажом ниже, слышно было: двигали столы, шли последние приготовления к банкету.

И бывшие десятиклассники выглядели сейчас уже не по-школьному: девчата в модных платьях, подчеркивающих зрелые рельефы, парни до неприличия отутюженные, в ослепительных сорочках, при галстуках, скованные своей внезапной взрослостью. Все они, похоже, стеснялись самих себя: именинники на своих именинах — всегда гости больше других гостей.

Директор школы Иван Игнатьевич, величественный мужчина с борцовскими плечами, произнес прочувствованную речь: «Перед вами тысячи дорог...» Дорог тысячи, и все открыты, но, должно быть, не для всех одинаково. Иван Игнатьевич привычно выстроил выпускников в очередь соответственно их прежним успехам в школе. Первой шла та, что ни с кем не сравнима, та, что все десять лет оставляла других за своей спиной,— Юлечка Студёнцева. «Украсит любой институт страны...» Следом за ней была двинута тесная когорта «несомненно способных», каждый член ее поименован, каждому воздано по заслугам. Генка Голиков был назван среди них. Затем отмечены вниманием, но не превознесены «своеобразные натуры» — характеристика, сама по себе грешащая неопределенностью,— Игорь Проухов и другие. Кто именно «другие», директор не счел нужным углубляться. И уже последними — все прочие, безымянные, «которым школа желает всяческих успехов». И Натка Быстрова, и Вера Жерих, и Сократ Онучин оказались в числе них.

Юлечке Студёнцевой, возглавлявшей очередь к заветным дорогам, надлежало выступить с ответной речью. Кто, как не она, должен поблагодарить свою школу — за полученные знания (начиная с азбуки), за десятилетнюю опеку, за обретенную родственность, которую невольно унесет каждый.

И она вышла к столу президиума — невысокая, в белом платье с кисейными плечиками, с белыми бантами в косичках крендельками, девочка-подросток, никак не выпускница, на точеном личике привычное выражение суровой озабоченности, слишком суровой даже для взрослого. И взведенно-прямая, решительная, и в посадке головы сдержанная горделивость.

— Мне предложили выступить от лица всего класса — я хочу говорить от себя. Только от себя!

Это заявление, произнесенное с безапелляционностью никогда и ни в чем не ошибающейся первой ученицы, не вызвало возражений, никого не насторожило. Директор заулыбался, закивал и поерзал на стуле, удобнее устраиваясь. Что могла сказать, кроме

благодарности, она, слышавшая в школе только хвалу, только восторженные междометия в свой адрес. Потому лица ее товарищей по классу выражали дежурное терпеливое внимание.

— Люблю ли я школу? — Голос звенящий, взволнованный.— Да, люблю! Очень!.. Как волчонок свою нору... И вот нужно вылезать из своей норы. И оказывается — сразу тысячи дорог!.. Тысячи!..

И по актовому залу пробежал шорох.

— По какой мне идти? Давно задавала себе этот вопрос, но отмахивалась, пряталась от него. Теперь все — прятаться нельзя. Надо идти, а не могу, не знаю... Школа заставляла меня знать все, кроме одного — что мне нравится, что я люблю. Мне что-то нравилось, а что-то не нравилось. А раз не нравится, то и дается трудней, значит, этому ненравящемуся и отдавай больше сил, иначе не получишь пятерку. Школа требовала пятерок, я слушалась и... и не смела сильно любить... Теперь вот оглянулась, и оказалось — ничего не люблю. Ничего, кроме мамы, папы и... школы. И тысячи дорог — и все одинаковы, все безразличны... Не думайте, что я счастливая. Мне страшно. Очень!

Юлечка постояла, глядя птичьими тревожными глазами в молчащий зал. Было слышно, как внизу передвигают столы для банкета.

— У меня все,— объявила она и мелкими дергающимися шажочками двинулась к своему месту.

2

Года два назад был спущен запрет: в средних школах на выпускных вечерах нельзя выставлять на столы вино.

Этот запрет возмутил завуча школы Ольгу Олеговну: «Твердим: выпускной вечер — порог в зрелость, первые часы самостоятельности. И в то же время опекаем ребят, как маленьких. Наверняка они это воспримут как оскорбление, наверняка принесут с собой тайком или открыто вино, а в знак протеста, не исключено, кой-чего и покрепче».

Ольгу Олеговну в школе за глаза звали Вещим Олегом: «Вещий Олег сказал... Вещий Олег потребовал...» — всегда в мужском роде. И всегда директор Иван Игнатьевич уступал перед ее напористостью. Ольге Олеговне нынче удалось убедить членов родительского комитета: бутылки сухого вина и сладкого кагора стояли на банкетных столах, вызывая огорченные вздохи директора, предчувствовавшего неприятные разговоры в гороно.

Но букетов с цветами все-таки стояло больше, чем бутылок: прощальный вечер должен быть красив и благопристоен, вселять веселье, однако в границах дозволенного.

Словно и не было странного выступления Юлечки Студёнцевой. Подымались тосты за школу, за здоровье учителей; звон стаканов, смех, перекатные разговоры, счастливые, раскрасневшиеся лица — празднично. Не первый выпускной вечер в школе, и этот начинался, как всегда.

И только, словно сквознячок в теплой комнате, среди разгоревшегося веселья — охолаживающая настороженность. Директор Иван Игнатьевич несколько рассеян, Ольга Олеговна замкнуто-молчалива, а остальные учителя бросают на них пытливые взгляды. И Юлечка Студёнцева сидела за столом потупившись, связанно. К ней время от времени подбегал кто-нибудь из ребят, чокался,— и убегал.

Как всегда, чинное застолье быстро сломалось. Бывшие десятиклассники, кто оставив свой стул, кто вместе со стулом, передвигались к учителям.

Самая большая, самая шумная и тесная компания образовалась вокруг Нины Семеновны, учительницы начальной школы, которая десять лет назад встретила всех этих ребят на пороге школы, рассадила по партам, заставила раскрыть буквари.

Нина Семеновна крутилась среди своих бывших учеников и только сдавленно выкрикивала:

— Наточка! Вера! Да господи!

И платочком осторожно утирала слезы под крашеными ресницами.

— Господи! Какие вы у меня большие!

Натка Быстрова была на полголовы выше Нины Семеновны, да и Вера Жерих тоже, похоже, перегнала ростом.

— Вы для нас самая, самая старая учительница, Нина Семеновна!

«Старой учительнице» едва за тридцать, белолица, белокура, подобранно-стройна. Тот первый, десятилетней давности урок нынешних выпускников был и ее самым первым самостоятельным уроком.

— Такие большие у меня ученицы! Я действительно старая...

Нина Семеновна утирала платочком слезы, а девчонки лезли обниматься и тоже плакали — от радости.

— Нина Семеновна, давайте выпьем на брудершафт! Чтоб на ты,— предложила Натка Быстрова.

И они рука за руку выпили, обнялись, расцеловались.

— Нина, ты... ты славная! Очень! Мы все время тебя помнили!

— Наточка, а какая ты стала — глаз не отвести. Была, право, гадким утеночком, разве можно догадаться, что вырастешь такой красавицей... А Юлечка... Где Юлечка? Почему ее нет?

— Юлька! Эй! Сюда!

— Да, да, Юлечка... Ты не знаешь, как часто я о тебе думала. Ты самая удивительная ученица, какие у меня были...

Возле долговязого физика Павла Павловича Решникова и математика Иннокентия Сергеевича с лицом, стянутым на одну сторону страшным шрамом, собрались серьезные ребята. Целоваться, обниматься, восторженно изливать чувства они считают ниже своего достоинства. Разговор здесь сдержанный, без сантиментов.

— В физике произошли подряд две революции — теория относительности и квантовая механика. Третья наверняка будет не скоро. Есть ли смысл теперь отдавать свою жизнь физике, Павел Павлович?

— Ошибаешься, дружочек: революция продолжается. Да! Сегодня она лишь перекинулась на другой континент — астрономию. Астрофизики что ни год — делают сногсшибательные открытия. Завтра физика вспыхнет в другом месте, скажем, в кристаллографии...

Генка Голиков, парадно-нарядный, перекинув ногу за ногу, с важной степенностью рассуждает — преисполнен уважения к самому себе и к своим собеседникам.

Возле директора Ивана Игнатьевича и завуча Ольги Олеговны толкучка. Там разоряется Вася Гребенников, низкорослый паренек, картинно наряженный в черный костюм, галстук с разводами, лакированные туфли. Он, как всегда, переполнен принципами: лучший активист в классе, ратоборец за дисциплину и порядок. И сейчас Вася Гребенников защищает честь школы, поставленную под сомнение Юлечкой Студёнцевой:

— Наша альма матер! Даже она, Юлька, как бы ни заносилась, а не выкинет... Нет! Не выкинет из памяти школу!

Против негодующего Васи — ухмыляющийся Игорь Проухов. Этот даже одет небрежно: рубашка не первой свежести и мятые брюки, щеки и подбородок в темной юношеской заросли, не тронутой бритвой.

— Перед своим высоким начальством я скажу...

— Бывшим начальством,— с осторожной улыбкой поправляет его Ольга Олеговна.

— Да, бывшим начальством, но по-прежнему уважаемым... Трепетно уважаемым! Я скажу: Юлька права, как никогда! Мы хотели наслаждаться синим небом, а нас заставляли глядеть на черную доску. Мы задумывались над смыслом жизни, а нас неволили: думай над равнобедренными треугольниками. Нам нравилось слушать Владимира Высоцкого, а нас заставляли заучивать ветхозаветное: «Мой дядя самых честных правил...» Нас превозносили за послушание и наказывали за непокорность. Тебе, друг Вася, это нравилось, а мне нет! Я из тех, кто ненавидит ошейник с веревочкой...

Игорь Проухов в докладе директора отнесен был в самобытные натуры, он лучший в школе художник и признанный философ. Он упивается своей обличительной речью. Ни Ольга Олеговна, ни директор Иван Игнатьевич не возражают ему — снисходительно улыбаются. И переглядываются.

Своего собеседника нашел даже самый молодой из учителей, преподаватель географии Евгений Викторович — над безмятежно чистым лбом несолидный коровий зализ, убийственно для авторитета розовощек. Перед ним Сократ Онучин:

— Мы теперь имеем равные гражданские права, а потому разрешите стрельнуть у вас сигарету.

— Я не курю, Онучин.

— Напрасно. Зачем отказывать себе в мелких житейских наслаждениях. Я лично курю с пятого класса. Нелегально, разумеется,— до сегодняшнего дня.

И только преподавательница литературы Зоя Владимировна сидела одиноко за столом. Она была старейшая учительница в школе, никто из педагогов не проработал больше — сорок лет с гаком! Она встала перед партами еще тогда, когда школы делились на полные и неполные, когда двойки назывались неудами, а плакаты призывали граждан молодой Советской страны ликвидировать кулачество как класс. С тех лет и через всю жизнь она пронесла жесткую требовательность к порядку и привычку наряжаться в темный костюм полумужского покроя. Сейчас справа и слева от нее стояли пустые стулья, никто не подходил к ней. Прямая спина, вытянутая тощая старушечья шея, седые до тусклого алюминиевого отлива волосы и блекло-желтое, напоминающее увядший цветок луговой купальницы, лицо.

Заиграла радиола, и все зашевелились, тесные кучки распались; казалось, в зале сразу стало вдвое больше народу.

Вино выпито, бутерброды съедены, танцы начали повторяться. Вася Гребенников показал свои фокусы с часами, которые прятал под опрокинутую тарелку и вежливо доставал из кармана директора. Вася делал эти фокусы с торжественной физиономией, но все давно их знали: ни одно выступление самодеятельности не проходило без пропавших у всех на глазах часов.

Дошло дело до фокусов — значит, от школьного вечера ждать больше нечего. Ребята и девчата сбивались по углам, шушукались голова к голове.

Игорь Проухов отыскал Сократа Онучина:

— Старик, не пора ли нам вырваться на свежий воздух, обрести полную свободу?

— Мы мыслим в одном плане, фратер. Генка идет?

— И Генка, и Натка, и Вера Жерих... Где твои гусли, бард?

— Гусли здесь, а ты приготовил пушечное ядро?

— Предлагаю захватить Юльку. Как-никак она сегодня встряхнула основы.

— У меня лично возражений нет, фратер.

Учителя один за другим потянулись к выходу.

3

Большинство учителей разошлось по домам, задержались только шесть человек.

Учительская щедро залита электрическим светом. За распахнутыми окнами по-летнему запоздало назревала ночь. Вливались городские запахи остывающего асфальта, бензинового перегара, тополиной свежести, едва уловимой,— жалкий, стертый след минувшей весны.

Снизу все еще доносились звуки танцев.

Ольга Олеговна имела в учительской свое насиженное место — маленький столик в дальнем углу. Между собой учителя называли это место прокурорским. Во время педсоветов отсюда часто произносились обвинения, а порой и решительные приговоры.

Физик Решников с Иннокентием Сергеевичем пристроились у открытого окна и сразу же закурили. Нина Семеновна опустилась на стул у самой двери. Она здесь гостья: в другом конце школы есть другая учительская, поменьше, поскромней, для учителей начальных классов, там свой завуч, свои порядки, только директор один, все тот же Иван Игнатьевич. Сам Иван Игнатьевич не сел, а с насупленно-распаренным лицом, покачивая пухлыми борцовскими плечами, стал ходить по учительской, задевая за стулья. Он явно старался показать, что говорить не о чем, что какие бы то ни было прения неуместны: время позднее, вечер окончен. Зоя Владимировна уселась за длинный, через всю учительскую стол,— натянуто-прямая, со вскинутой седой головой... снова обособленная. У нее, похоже, врожденный талант — оставаться среди людей одинокой.

С минуту Ольга Олеговна оглядывала всех. Ей давно за сорок, легкая полнота не придает внушительности, наоборот, вызывает впечатление мягкости, податливости — домашняя женщина, любящая уют,— и лицо под неукротимо вьющимися волосами тоже кажется обманчиво мягким, чуть ли не бесхарактерным. Энергия таилась лишь в больших, темных, неувядающе красивых глазах. Да еще голос ее, грудной, сильный, заставлял сразу настораживаться.

— Ну, так что скажете о выступлении Студёнцевой? — спросила Ольга Олеговна.

Директор остановился посреди учительской и произнес, должно быть, заранее заготовленную фразу:

— А, собственно, что случилось? На девочку нашла минута

растерянности, вполне, кстати, оправданная, и она высказала это в несколько повышенном тоне.

— За наши труды нас очередной раз умыли,— сухо вставила Зоя Владимировна.

Ольга Олеговна задержалась на увядшем лице Зои Владимировны долгим взглядом. Они не любили друг друга и скрывали это даже от самих себя. И сейчас Ольга Олеговна, пропустив замечание Зои Владимировны, спросила почти с кротостью:

— Значит, вы думаете, что ничего особенного не произошло?

— Если считать, что черная неблагодарность — ничего особого,— съязвила Зоя Владимировна и с досадой хлопнула сухонькой невесомой ладошкой по столу.— И самое обидное — одернуть, наказать мы уже не можем, Теперь эта Студёнцева вне нашей досягаемости!

От этих слов вспыхнула Нина Семеновна, густо, до слез в глазах:

— Одернуть? Наказать?! Не понимаю! Я... Я не встречала таких детей... Таких чутких и отзывчивых, какой была Юлечка Студёнцева. Через нее... Да, главным образом через нее я, молодая, глупая, неумелая, поверила в себя: могу учить, могу добиваться успехов!

— А мне кажется, произошло нечто особенное,— чуть возвысила голос Ольга Олеговна.

Директор Иван Игнатьевич пожал плечами.

— Юлия Студёнцева — наша гордость, человек, в котором воплотились все наши замыслы. Наш многолетний труд говорит против нас! Разве это не повод для тревоги?

Громоздящиеся над темными глазами волосы, бледное лицо — Ольга Олеговна из своего угла требовательно разглядывала разбросанных по светлой учительской учителей.

4

Припасена большая круглая бутылка «гамзы» в пластиковой плетенке — «пушечное ядро». Сократ Онучин прихватил свою гитару. Трое парней и три девушки из десятого «А» решили провести ночь под открытым небом.

Самым видным в этой группе был Генка Голиков. Генка — городская знаменитость, открытое лицо, светлоглаз, светловолос, рост сто девяносто, плечист, мускулист. В городской секции самбо он бросал через голову взрослых парней из комбината — бог мальчишек, гроза шпанистой ребятни из пригородного поселка Индии.

Это экзотическое название произошло от весьма обыденных слов: «индивидуальное строительство», сокращенно «индстрой»,

Когда-то, еще при закладке комбината, из-за острой нехватки жилья было принято решение: поощрять частную застройку. Выделили место — в стороне от города, за безымянным оврагом. И пошли там лепиться дома: то тяп-ляп на скорую руку, сколоченные из горбыля, крытые толем, то хозяйски-добротные, под железом, с застекленными террасками, со службами. Давно вырос город, немало жителей Индии переселились в пятиэтажные, с газом, с канализацией здания, но Индия не пустела и не собиралась вымирать. В ней появлялись новые жители. Индия — пристанище перекати-поля. В Индии свои порядки и свои законы, приводящие порой в отчаянье милицию.

Недавно там объявился некий Яшка Топор. Ходил слух: он отсидел срок «за мокрое». Яшке подчинялась вся Индия, Яшку боялся город. Генка Голиков недавно схлестнулся с ним. Яшка был красиво брошен на асфальт на глазах его оробевших «шестерят», однако поднялся и сказал: «Ну, красавчик, живи да помни: Топор по мелочи не рубит!» Пусть помнит сам Яшка, обходит стороной. Генка — слава города, защитник слабых и обиженных.

Игорь Проухов — лучший друг Генки. И, наверное, достойный друг, так как сам по-своему знаменит. Жители города больше знают не его самого, а рабочие штаны, в которых Игорь ходит писать этюды. Штаны из простой парусины, но Игорь уже не один год вытирает о них свои кисти и мастихин, а потому штаны цветут немыслимыми цветами. Игорь гордится ими, называет: «Мой поп-арт!»

Картины Игоря пока нигде не выставлялись, кроме школы, зато в школе они вызывали кипучие скандалы, порой даже драки. Для одних ребят Игорь гений, для других ничтожество. Впрочем, подавляющее большинство не сомневалось — гений! На картинах Игоря деревья сладко-розовые, а закаты ядовито-зеленые, лица людей безглазые, а цветы реснично-глазастые.

И еще славен Игорь Проухов в школе тем, что может легко доказать: счастье — это наказание, а горе — благо, ложь правдива, а черное — это белое. Никогда не угадаешь, что загнет в следующую минуту. Потрясающе!

Натка Быстрова... Уже на улицах встречные мужчины оглядываются ей вслед с ошалевшими лицами: «Ну и ну!» Лицо с чеканными бровями, текучая шея, покатые плечи, походка с напором, грудью вперед — посторонись!

Еще недавно Натка была обычной долговязой, угловатой, веселой, беспечно пренебрегающей науками девчонкой. Всем известно, что Генка Голиков вздыхает по ней. А вздыхает ли по Генке Натка — этого никто не разберет. Сам Генка тоже.

Вера Жерих, Наткина подруга, рыхловато-широкая, вальяж-

ная, лицо крупное, мягкое, румяное. Она не умеет ни петь, ни плясать, ни горячо спорить на высокие темы, но всегда готова всплакнуть над чужой бедой, помирить поссорившихся, похлопотать за провинившегося. И ни одна вечеринка не обходится без нее. «Компанейская девка» — в устах Сократа Онучина это высшая похвала.

О себе же Сократ говорил: «Мама сделала меня смешным по обличью и по вывеске — папину фамилию окрутила с древнегреческим женихом. Уникальный гибрид — антик с алкашом. Чтоб, глядя на меня, люди не лопались от смеха, я обязан быть стильным». А потому Сократ, несмотря на школьные запреты, умудрился отрастить до плеч волосы, принципиально их не расчесывал, носил на немытой шее девичью цветную косынку, на груди — амулет, камень с дыркой на цепочке, куриный бог. И никогда не стиранные, донельзя узкие, с рваной бахромой внизу джинсы. И гитара через плечо. И суетливо вертляв — лицо из острых углов, серое, гримасничающее, с веселыми, без ресниц глазками. Непревзойденный исполнитель песен Высоцкого.

Генка считается врагом Индии, Сократа принимают там как друга: всем одинаково поет его гитара. Всем, кто хочет слушать. Даже Яшке Топору...

Шестой была Юлечка Студёнцева.

Сократ кривлялся, выдавал под гитару о жирафе в «желтой жаркой Африке», влюбившемся в антилопу:

Поднялся тут галдеж и лай,
И только старый попугай
Кр-р-рык-нул из ветвей:
«Жыр-раф-ф бал-шой,
Яму вид-ней!..»

Юлечка, держась за руки с Наткой и Верой, несла суровое каменное личико.

Город внезапно заканчивался обрывом, падающим к реке. Здесь самое высокое место. Здесь, над обрывом, разбит скверик. В центре его вздымался вровень с молодыми липками обелиск с мраморной доской, повернутой к городу. Доска была густо покрыта фамилиями погибших воинов:

АРТЮХОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ — рядовой
БАЗАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ — рядовой
БУТЫРИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ — старший сержант...

И так далее, тесно друг к другу, двумя столбцами.

Нет, воины пали не здесь и не лежали под памятником посреди сквера. Война и близко не подходила к этому городу. Те, чьи имена выбиты на мраморной доске, закопаны безвестно в приволжских степях, на полях Украины, среди болот Белоруссии, в землях Венгрии, Польши, Пруссии, бог знает где. Эти люди

здесь когда-то жили, отсюда они ушли на войну, обратно не вернулись. Обелиск на высоком берегу — могила без покойников, каких много по нашей стране.

Мир за гребнем берега утопал в первобытной непотревоженной тьме. Там, за рекой,— болота, перелески, нежилые места, нет даже деревень. Плотная влажная стена ночи не пробивается ни одним огоньком, а напротив нее убегают вдаль сияющие этажи, ровные строчки уличных фонарей, блуждающие красные светляки снующих машин, холодное неоновое полыхание над крышей далекого вокзального здания — огни, огни, огни, целая звездная галактика. Обелиск с именами погибших в дальних краях, схороненных в неведомых могилах, стоит на границе двух миров — обжитого и необжитого, щедрого света и непокоренной тьмы.

Он поставлен давно, этот обелиск, до появления на свет всей честной компании, которая явилась сюда с гитарой и бутылкой «гамзы». Эти парни и девушки видели его еще во младенчестве, они много лет тому назад, едва осилив печатную грамоту, прочитали по складам первые фамилии: «Артюхов Павел Дмитриевич — рядовой, Базаев...» И наверняка тогда им не хватило терпения дочитать длинный список до конца, а потом он примелькался, перестал привлекать внимание, как и сам обелиск. До него ли, когда окружающий мир заполнен куда более интересными вещами: будка «Мороженое», река, где всегда клюют пескари и работает лодочная станция, в конце сквера кинотеатр «Чайка»: там за тридцать копеек, пожалуйста, тебе покажут и войну, и выслеживание шпиона, и «Ну, погоди!» с удачливым зайцем — обхохочешься. Мир с мороженым, пескарями, лодками, фильмами изменчив, не изменчив в нем лишь обелиск. Быть может, каждый из этих мальчишек и девчонок, чуть повзрослев, случайно натыкаясь взглядом на мраморную доску, задумывался на минуту, что вот какой-то Артюхов, Базаев и остальные с ними погибли на войне... Война — далекое-далекое время, когда их не было на свете. А еще раньше была другая война, гражданская. И революция. А раньше революции правили цари, среди них самым знаменитым был Петр Первый, он тоже вел войны... Последняя война для ребят едва ли не так же старинна, как и все остальные. Если б обелиск вдруг исчез, они сразу бы заметили это, но, когда он незыблемо стоит на своем месте, нет повода его замечать.

Сейчас они пришли к обелиску потому, что здесь, возле него, красиво даже ночью — лежит рассыпанный огнями город внизу, шелестят пронизанные светом липки, и ночь бодряще пахнет рекой. И пусто в этот поздний час, никто не мешает. И есть скамейка, есть тяжелая, круглая, как ядро старинной пушки, бутылка «гамзы». Красное вино в ней при застойно-равнодушном, бес-

цветном свете ртутных фонарей выглядит черным, как сама ночь, напирающая на обрывистый берег.

Бутылка «гамзы» и один на всех стакан.

Сократ передал гитару Вере Жерих, со знанием дела стал откупоривать «пушечное ядро».

— Фратеры! Пьем по очереди кубок мира.

Игорь скромно попросил:

— Если нет возражений, то я...

Возражений быть не могло, обязанность Игоря Проухова, общепризнанного мастера высокого стиля,— провозглашать первый тост.

Сократ, нежно обнимая бутылку, нацедил ночной влагой полный стакан.

— Давай, Цицерон! — подбодрил Генка.

Игорь крепко сбит, кудлат, между разведенных скул — рубленый нос, крутые салазки в темной дымке — зарождающаяся художническая борода, отрастить которую Игорь поклялся еще перед экзаменами. Он поднял стакан, мечтательно нацелился на него носом, минуту-другую выдерживал молчание, чтоб все прониклись моментом, чтоб в ожидании откровения испытали в душе некую священную зябкость.

— Друзья-путники! — с пафосом провозгласил он.— Через что мы сегодня перешагнули? Чего мы добились?..

Сократ Онучин во время паузы успел произвести нехитрый обмен — бутылку Вере, себе гитару. И он в ответ ударил по струнам и заблеял:

— Сво-бода раз! Сво-бо-да два! Сво-о-обо-о-да!

Это Игорю и было надо — точку опоры.

— Этот гейдельбергский человек хочет свободы! — возвестил он.— А может, вы все того же хотите?

— А почему бы и нет,— осторожно улыбаясь, подкинул Генка.

— Для всех свободы или только для себя?

— Не считай нас узурпаторами, мальчик с бородкой.

— Для всех! Сво-боды?! Очнись, толпа! Подлецу свобода — подличай! Убийце свобода — убивай! Для всех!.. Или вы, свободомыслящие олухи, считаете, что человечество сплошь состоит из безобидных овечек?

В пренебрежении к слушателям и состояла обычно ораторская сила Игоря Проухова. Расправив плечи, с темным подбородком и светлым челом, он принялся сокрушать:

— Знаете ли вы, невежи, что даже мыши, убогие создания, собираясь в кучу, устанавливают порядок: одни подчиняют, другие подчиняются? И мыши, и обезьяны-братья, и мы, человеки! Се ля ви! В жизни ты должен или подчинять, или подчиняться! Или — или! Середины нет и быть не может!

— Ты, конечно, хочешь подчинять? — спросил Генка.

Повторялось то, что тысячу раз происходило в стенах школы,— Игорь Проухов вещал, Генка Голиков выступал против. У философа из десятого «А» был только один постоянный оппонент.

— Кон-нечно,— с величавой снисходительностью согласился Игорь.— Подчи-нять.

— Тогда что ж ты возишься с кисточками, Гай Юлий Цезарь? Брось их, вооружись чем потяжелее. Чтоб видели и боялись: можешь проломить голову.

— Ха! Слышишь, народ? — Нос Игоря порозовел от удовольствия.— Все ли здесь такие простаки, что считают: кисть художника легка, кистень тяжелее, а еще тяжелее пушка, танк, эскадрилья бомбардировщиков, начиненных водородными бомбами? Заблуждение обывателя!

— Виват Цезарю с палитрой вместо щита!

— Да, да, дорогие обыватели, вам угрожает Цезарь с палитрой. Он завоюет вас... Нет, не пугайтесь: он, этот Цезарь, не станет пробивать ваши качественные черепа и в клочья вас рвать атомными бомбами тоже не станет. Забытый вами, презираемый вами до поры до времени, он где-нибудь на мансарде будет мазать кисточкой по холсту. И сквозь ваши монолитные черепа проникнет созданная им многокрасочная отрава: вы станете радоваться тому, что радует нового Цезаря, ненавидеть то, что он ненавидит, послушно любить, послушно негодовать, окажетесь в полной его власти...

— А ежели этого не случится? Ежели черепа обывателей окажутся непроницаемыми? Или такого быть не может?

— Может,— согласился Игорь спокойно и важно.

— И что тогда?

— Тогда произойдет в мире маленькое событие, совсем пустячное,— сдохнет под забором некий Игорь Проухов, не сумевший стать великим Цезарем.

— Вот это я как-то себе отчетливее представляю.

Игорь вознес над головой стакан.

— Я, бывший раб школы номер три, пью сейчас за власть над другими! Желаю вам всем властвовать, кто как сможет!

Священнодейственно навесив над стаканом нос, Игорь сделал опустошающий глоток, царственным жестом не глядя отвел стакан к Сократу, уже держащему наготове бутылку, дождался, пока тот дольет, протянул Генке:

— Старик, ты оттолкнешь протянутую руку?

Генка принял стакан и задумался. Невнятная улыбка блуждала у него на лице. Наконец он тряхнул волосами:

— За власть?.. Пусть так! Но извини, Цезарь, я выпью не с тобой.

И он шагнул к Натке.

— Пью за власть! Да! За власть над собой!..— Генка выпил до дна, с минуту глядел повлажневшими глазами на невозмутимую Натку.— Сократ! Наполни!

Но Сократ скупенько плеснул до половины: девчонке хватит, бутылка-то не бездонная.

— Ну, Натка...— попросил Генка.— Ну!

Натка поднялась, распрямилась, переняла стакан — в движениях картинная лень. Лицо ее было в тени, освещены только лоб да яркие брови. И рука — оголенная до плеча, бескостно-белая, струящаяся, лишь бледные пальцы, обнимающие черный сгусток вина в стакане, в беспокойном изломе.

— Натка, ну!

Игорь Проухов наблюдал со стороны с едва сочащейся снисходительно-мудрой улыбкой.

Натка пошевелилась, со строгой пеленой в потемневших глазах, подняла стакан:

— Когда-нибудь, Гена, за власть... Не за свою. За чью-то... над собой. Сейчас рано. Сейчас...— Вскинутый стакан в белой струящейся руке.— За свободу!

И запрокинула голову, показав на мгновение ослепительно колыхнувшееся горло.

Генка сразу поскучнел, а в мудрой улыбке Игоря появился новый оттеночек — столь же снисходительное сочувствие.

А Сократ уже хлопотал возле Веры.

— Мне — за власть? — У Веры блаженно раздвинуты румяные щеки.

— Не стесняйся, мать, не стесняйся.

— Надо мной всегда кто-нибудь будет властвовать.

— За них, мать, за них хлебай. Приходится.

— За них! Пусть их власть не будет уж очень тяжелой.

— Виват, мать, виват! Честный загибон... Юлька, твоя теперь очередь... Эй, Цезарь с палитрой, слушай, как тебе Юлька перо вставит!

Юлечка приняла стакан, долго разглядывала черное вино.

— Власть...— произнесла она.— Игорь, ты сказал, даже мыши подчиняют друг друга. И ты собираешься перенять — живи по-мышиному, сильный давит слабого?.. Не хочу!

Юлечка оторвала взгляд от стакана, уставилась на Генку — беспокойно-тревожные глаза пойманной птицы, сжатые губы. Генка невольно поежился, а Юлечка двинулась к нему. Ей пришлось обогнуть Натку, неподвижно-величественную, как богиня в музее.

— Гена...— подойдя вплотную, запрокинув лицо, дрогнувшим голосом.— Вот я сегодня перед всеми... призналась: не знаю,

куда идти. Но ведь и ты еще не знаешь. Давай выберем одну дорогу. А? Я буду хорошим попутчиком, Гена, верным...

Генка растерянно молчал.

— Пойдем вместе, возьмем Москву, любой институт. А?..

Генка стоял, пряча глаза, с порозовевшими скулами. Даже Игорь озадаченно замер. Сократ с бутылкой сучил ногами. Для всех откровение Юлечки — неожиданность.

А с бледного лица — тревожно блестящие, требовательно ждущие глаза.

Генка смотрел под ноги, молчал. И Натка возвышалась в стороне изваянием.

— Ладно, Гена...— Замороженный голос.— Я знала — ты не ответишь. Сказала это, чтоб себя проверить: могу при всех, не сробею, не дрогну...

И вызывающе решительное личико Юлечки сморщилось, она отвернулась. В неловкой судороге тонкая рука, обхватившая стакан.

— Почему?! — сдавленный выкрик в сторону.— Почему я все эти годы — одна, одна, одна?! Почему вы меня сторонились? Боялись, что плохое сделаю? Не нравилась? Или просто не нужна?.. Но поч-чему?!

Вера Жерих надвинулась на Юлечку всем своим просторным, мягким телом, обняла:

— Юлеч-ка!.. Тебя кто-то за ручку... Да зачем? Ты сама других поведешь.

Игорь со стороны обронил:

— А ты, оказывается, отчаянная, Юлька. Вот не знали.

Сократ засуетился:

— Слезы, фратеры! Сегодня! Я вам спою веселое!

— Не надо. Уже все...

Юлечка отстранила Веру и улыбнулась, и эта улыбка, жалкая, дрожащая, осветила ее серьезное лицо.

— Можно, я выпью за тебя, Натка? За твое счастье, которого у меня нет. К тебе тянутся все и всегда будут тянуться... Завидую. Не скрываю. Потому и пью...

Натка не пошевелилась. Натка не возразила. Сократ ударил по струнам.

5

Зоя Владимировна устала считать, сколько раз в своей жизни она провожала выпускников из школы, и почти всегда эти праздничные выпускные вечера оставляли в ней столь тягостный осадок, что казалось — все кончено, дальше нет смысла жить.

Почтительно удивлялись: она учит уже сорок лет! На самом деле еще больше, почти полвека, хотя ей самой было не столь уж и много от роду — шестьдесят пять.

Ее родная деревня, холщовая и лапотная, имела до революции только двух грамотеев — бывшего волостного писаря, который требовал от мужиков, чтоб его называли барином, и спившегося дьячка-расстригу. Даже местный богатей Панкрат Кузовлев, крупно торговавший льном и кожами, не умел расписываться в казенных бумагах.

В начале двадцатых годов в деревню прислали учителя, бойкого парнишку с покалеченной на польском фронте рукой. Он принялся не только за детишек, но и за взрослых — вошло в уличный быт новое слово «ликбез».

Детишки быстрей баб и мужиков осваивали букварь, сами становились учителями. Зойка, шестнадцатилетняя дочь Володьки Ржавого, деревенского коновала и лихого балалаечника, натаскивала потеющих от натуги бородачей читать по слогам: «Мы не рабы. Рабы не мы».

Через два года сельсовет направил ее в учительское училище, после него она попала в лесной починок, еще более глухой, чем родная деревня. Там ее ждал пустой, оставшийся после сосланного кулака пятистенок — его надлежало сделать школой.

Сначала эта школа состояла из одной первой группы, в ней рядом с малышами сидели починковские парни и девки, пытавшиеся женихаться на уроках. Потом стало четыре группы: все в одной комнате, перед одной доской, и учительница на всех одна — Зоя Владимировна.

После годичных курсов усовершенствования ее перебросили в рабочий поселок. Он на ее глазах стал городом. Сносились старые дома и старые школы, строились новые, светлые и просторные, понаехали педагоги с институтским образованием. А Зоя Владимировна, как прежде, билась с учениками, больше всего сил отдавала ленивым, самым неподатливым, не любящим ни школу, ни учителей-мучителей.

Педагоги с институтским образованием поглядывали на нее свысока, но она забивала их своей добросовестностью — до самоотречения. Она не вышла замуж, не обзавелась семьей: до того ли, когда все время, все силы — ученикам, только им! Неподатливым — в первую очередь.

И каждый раз, когда эти ученики оканчивали школу, приходили на прощальный вечер, нарядные, казалось, выросшие со времени последнего экзамена, Зоя Владимировна оставалась в одиночестве. Ученики толпились вокруг других учителей, с другими обнимались, целовались, пили, спорили, и никому в голову не приходило подойти к ней, обняться, поговорить по душам, кинуть хотя бы торопливое: «Прощайте!»

Все силы, все время, из года в год, из десятилетия в десятилетие, забывая о себе,— только для учеников! А ученики забывают о ней, не успев переступить порог школы. Так ради чего

она бьется, как рыба об лед? Ради чего она жертвовала своим?.. Не хочется жить.

Но она жила, не уходила на пенсию, потому что без школы не могла. Без школы совсем пусто.

Неуважение учеников к себе она еще как-то переносила — попривыкла за много лет. Но вот неуважение к школе... Выступление Юлии Студёнцевой казалось Зое Владимировне чудовищным. Если б такое отмочил кто-то другой, можно бы не огорчаться, но Студёнцева! На руках носили, славили хором и поодиночке, умилялись — предательство, иначе и не назовешь. А Ольга Олеговна выгораживает, видит какие-то особые причины: «Повод для тревоги...»

Зоя Владимировна оборвала молчание.

— Уж не считаете ли вы, Ольга Олеговна,— с нажимом, с приглушенным недоброжелательством,— что тут виноваты мы, а не сама Студёнцева?

И Ольга Олеговна искренне удивилась:

— Да она-то в чем виновата? Только в том, что сказала, что думает?

— Я вижу тут только одно — плевок в сторону школы.

— А я — страх и смятение: ничем не увлечена, не знает, куда податься, что выбрать в жизни, к чему приспособить себя.

— Вольно же ей.

— Ей?.. Только она, Студёнцева, такая? Другие все целенаправленные натуры? Знает, по какой дороге устремиться, Вера Жерих, знает Быстрова?.. Да мы можем назвать из всего выпуска пожалуй, только одного увлеченного человека — Игоря Проухова. Но его увлечение возникло помимо наших усилий, даже вопреки им.

— Лично я никакой своей вины тут не вижу! — отчеканила Зоя Владимировна.

— Вы никогда не требовали от учеников: заучивай то-то и то-то, не считаясь с тем, нравится или не нравится? Вы не заставляли: уделяй не нравящемуся предмету больше сил и времени?

— Да ребятам нравится собак гонять на улице, в подворотнях торчать, в лучшем случае читать братьев Стругацких, а не Толстого и Белинского. Вы хотели, чтоб я потакала невежеству, дорогая Ольга Олеговна?

Ольга Олеговна разглядывала темными загадочными глазами лицо Зои Владимировны, неизменно сохранявшее покойный цвет увядшей купальницы.

— Что же...— проговорила Ольга Олеговна.— Придется объясниться начистоту.

— А вы, значит, что-то скрывали от меня? Вот как!

— Да, скрывала. Я давно наблюдаю за вами и пришла к вы-

воду: своим преподаванием вы, Зоя Владимировна, в конечном счете плодите невежд.

— К-как?!

— Очень извиняюсь, но это так.

— Думайте, что говорите, Ольга Олеговна!

— Попробую сейчас доказать.— Ольга Олеговна повернулась к директору: — Иван Игнатьевич, вы не против, если я ради эксперимента устрою вам коротенький экзамен?

Директор устало опустился на стул: он понял, что короткого разговора уже не получится — придется терпеть долгий спор, один из тех, которые вызывают взаимное раздражение, ломают устоявшиеся отношения и почти никогда не дают ощутимых результатов.

— Не припомните ли вы, Иван Игнатьевич, в каком году родился Николай Васильевич Гоголь?

— М-м... Умер в пятьдесят втором, а родился, представьте, не помню.

— А в каком году Лев Толстой закончил свой капитальный роман «Война и мир»?

— Право, не скажу точно. Если прикинуть приблизительно...

— Нет, мне сейчас нужны точные ответы. А может, вы процитируете наизусть знаменитое место из статьи Добролюбова, где говорится, что Катерина — луч света в темном царстве?

— Да боже упаси,— вяло отмахнулся директор.

И Ольга Олеговна с прежней решительностью снова обратилась к Зое Владимировне:

— Мы с Иваном Игнатьевичем забыли дату рождения Гоголя, почему она должна остаться в памяти наших учеников? А ведь из таких сведений на восемьдесят, если не на все девяносто девять, процентов состоят те знания, которые вы, Зоя Владимировна, усиленно вбиваете. Вы и многие из нас... Эти сведения не каждый день нужны в жизни, а порой и совсем не нужны, потому и забываются. Девяносто девять процентов из того, что вы преподаете! Не кажется ли вам, что это гарантия будущего невежества?

У Зои Владимировны на увядшем лице проступили мученические морщинки.

— Я напрасно преподаю...— выдавила она с горловой спазмой.

— До недавнего времени и я так думала,— не спуская недобро тлеющих глаз, ответила Ольга Олеговна.

— Странно... Теперь не думаете?

— Теперь пришла к убеждению, что такое преподавание не проходит безнаказанно. И не только невежество — его последствия.

Зоя Владимировна, напряженно вытянувшись, встречала прямой взгляд Ольги Олеговны — ждала.

— Преподносим неустойчивое, испаряющееся, причем в самой категорической, почти насильственной форме: знай во что бы то ни стало, отдай все время, все силы, забудь о своих интересах. Забудь то, на что ты больше всего способен. Получается: мы плодим невнимательных к себе людей. Ну, а если человек невнимателен к себе, то вряд ли он будет внимателен к другим. Сведения, которыми мы пичкаем школьника, улетучиваются, а тупая невнимательность остается. Вас это не страшит, Зоя Владимировна? Мне, признаться, не по себе.

У Зои Владимировны побелели тонкие губы.

— И на меня...— тихо, с внутренней дрожью.— Почему-то на одну меня — обличающим перстом, я больше всех виновата! А может, вы... вы все-таки виновнее? Вы же завуч, и много лет. Кому, как не вам, и карты в руки?

— Вы прекрасно знаете, какими картами мне приходится играть. У нас, Зоя Владимировна, козыри в руках покрупнее. Любые мои замечания вы с легкостью отбивали: мол, полностью придерживаюсь утвержденных учебных программ. С одной стороны — устаревшие программы, с другой — косные привычки самих преподавателей, а посередине — школьный завуч. Более беспомощной фигуры в нашей педагогике нет.

— Вы даже против программ! Вы хотите перевернуть обучение в стране? Не много ли вы хотите?

— Я просто хочу, чтоб учителя, с которыми я работаю, открыли глаза на опасность... Грозную опасность, Зоя Владимировна! Я ее и раньше чувствовала, но сейчас она для меня открылась с особенной отчетливостью. Так ли уж редко мы выпускаем людей, ничем не интересующихся, ничем не увлеченных? Но должны же они занять чем-то себя, свой досуг. Хорошо, если станут убивать время безобидным забиванием козла, ну, а если водкой... Мало ли мы слышим о пьяных подростках! Вспомните нашумевшее два года назад судебное дело. Три подгулявших сопляка семнадцати-восемнадцати лет среди бела дня на автобусной остановке пырнули ножом женщину. Так просто, за косой взгляд, за недовольное слово — трое детей остались без матери.

Директор досадливо крякнул:

— Ну, знаете ли!

— Они же не с нашей улицы, из чужой школы. Вы это хотите сказать, Иван Игнатьевич?

— И на солнце бывают пятна. Не связывайте патологическое уродство с нашим обучением.

— А вы забыли, что в прошлом году уже нашего ученика Сергея Петухова милиция задержала в пьяном виде. Он не убивал, да! Но к водке-то потянулся! Почему? Семья испортила? Нет, семья хорошая: мать — врач, отец — инженер, оба уважаемые люди, в рот не берут спиртного. Товарищи дурные сбили

с пути? Но эти товарищи, как оказалось, тоже бывшие ученики, их-то кто испортил? Был пьян, попал в милицию. Можно ли поручиться за пьяного недоросля, что он не совершит преступления?

Иван Игнатьевич ничего не ответил, смотрел в пол, сосредоточенно сопел. Нина Семеновна глядела на Ольгу Олеговну от дверей остановившимися глазами. Физик Павел Павлович хмурился и курил. На искалеченном шрамом лице математика Иннокентия Сергеевича подергивался живчик — верный признак, что взволнован.

Зоя Владимировна в общей тишине медленно-медленно поднялась со стула.

6

Юлечка Студёнцева выпила за Наткино счастье, и Натка не возразила, не фыркнула в ответ — приняла. А раз так, то стоит ли расстраиваться, что она, Натка, не поддержала его, Генки, тост. Просто, как всегда, показывает норов, дурит. Пусть себе...

И Генка освобожденно оглянулся.

Перед ним стояли товарищи. Все они родились в один год, в один день пришли в школу, из семнадцати прожитых лет десять знают друг друга — вечность! И Генка вспомнил щуплого мальчишку: большая ученическая фуражка, налезающая на острый нос, короткие штанишки, тонкие ноги с исцарапанными коленями. Это Игорь Проухов, начавший теперь уже обрастать бородой. Помнит, и хорошо, Сократа Онучина: мелкий вьюн, пискляв, шумен, совался постоянно под руку, а в драках кусался. И Юлечку помнит: она, кажется, и не изменилась, даже подросла не очень — была серьезная, такой и осталась. А вот Натку, как ни странно, в те давние времена, в первый год учебы, Генка совсем не помнит. Веру Жерих тоже... Трудно поверить, что Натка долгое время могла не замечаться.

Перед Генкой стояли его товарищи, и только теперь он остро почувствовал, что скоро придется расставаться, иные люди войдут в его жизнь, иной станет сама жизнь. Какой?.. Кто знает эту тайну тайн? Сжимается сердце, но нет, не от страха. Генка привык, что все кругом его самого побаивались и уважали. Тайна тайн — в неизвестном-то и прячутся неведомые удачи. Странно, что Юлька Студёнцева — тоже ведь удачлива! — сегодня какая-то перекрученная. В попутчики вдруг навязывалась... Генка был благодарен Юлечке и жалел ее.

— Это хорошо же, хорошо! — заговорил он с силой. — Тысячи дорог! На какую-то все равно попадешь, промашки быть не может. Ни у тебя, Юлька, ни у меня, ни у Натки... Вот Игорю труднее — одну дорогу выбрал. Тут и промахнуться можно.

— Старичок! Без риска нет успеха! — отбил Игорь.

Юлечка с горячностью возразила:

— Даже если Игорь и промахнется... Тогда у него будет, как у нас, те же тысячи без одной дороги. Счастливый, как все. Он что-то не хочет такого счастья, и я не хочу! Хочу тоже рисковать!

— Человек — забыли, фратеры,— создан для счастья, как птица для полета! — провозгласил важно Сократ.— Лети себе, куда несет.— Он забренчал: — Эх, по морям, морям, морям! Нынче здесь, а завтра — там... Вот так-то!

— Птица-то и против ветра летает,— напомнил Игорь.— А ты не птица, ты пушинка от одуванчика.

— Пушинки-то с семечками. Куда ни упадем — корни пустим...— Генка с хрустом потянулся.— И вы-рас-тем!

— На камни может семечко упасть,— напомнила Юлечка.

Натка молчала, как обычно, с невозмутимостью, застыв в отдыхающей позе: вся тяжесть литого тела покоится на одной ноге, рука брошена на бедро. Она лениво пошевелилась, лениво произнесла:

— Летать. Мыкаться. Лучше ждать.

Вера вздохнула:

— Тебе, Наточка, долго ждать не придется. Ты, как светлый фонарь, издалека видна, к тебе счастье само прилетит.

— Какие мы все разные! — удивилась Юлечка.

Сократ неожиданно с силой ударил по струнам, заголосил:

— За что вы Ваньку-то Морозова? Ведь он ни в чем не виноват!.. Праздник у нас или панихида, фратеры?

— И то и другое,— ответил Игорь.— Погребаем прошлое.

Вера Жерих снова шумно вздохнула:

— Скоро разлетимся. Знали друг друга до донышка, сроднились — и вдруг...

— А до донышка ли мы знали друг друга? — усомнился Игорь.

— Ты что? — удивилась Вера.— Десять лет вместе — и не до донышка.

— Ты все знаешь, что я о тебе думаю?

— Неужели плохое? Обо мне? Ты что?

— А тебе не случалось обо мне плохо подумать?.. Десять же лет вместе.

— Не случалось. Я ни о ком плохо...

— Завидую твоей святости, мадонна. Генка, ты мне друг,— я всегда был хорош для тебя?

Генка на секунду задумался:

— Не всегда.

— То-то и оно. В минуты жизни трудные чего не случается.

— В минуты трудные... А они были у нас?

— Верно! Даже трудных минут не было, а мысли бывали всякие.

Юлечка встрепенулась:

— Ребята! Девочки!.. Я очень, очень хочу знать... Я чувствовала, что вы все меня... Да, не любили в классе... Говорите прямо, прошу. И не надо жалеть, и не стесняйтесь.

Глаза просящие, руки нервно мнут подол платья.

Генка сказал:

— А что, друзья мы или нет? Давайте расстанемся, чтоб ничего не было скрытого.

— Не выйдет,— заявил Игорь.

— Не выйдет, не додружили до откровенности?

— А если откровенность не понравится?..

— Ну, тогда грош цена нашей дружбе.

— Я, может, не захочу говорить, что думаю. Например, о тебе,— бросила Генке Натка.

— Что же, неволить нельзя.

— Кто не захочет говорить, тот должен встать и уйти! — объявила Юлечка.

— Об ушедших говорить не станем. Только в лицо! — предупредил Генка.

— А мне лично до лампочки: капайте на меня, умывайте, только на зуб не пробуйте.— Сократ Онучин провел пятерней по струнам.— Пи-ре-жи-ву!

— Мне не до лампочки! — резко бросила Юлечка.

— Мне, пожалуй, тоже,— признался Игорь.

— И мне...— произнесла тихо Вера.

— А я переживу и прощу, если скажете обо мне плохое,— сообщил Генка.

— Прощать придется всем.

— Я остаюсь,— решила Натка.

— Будешь говорить все до донышка и открытым текстом.

— Не учи меня, Геночка, как жить.

— С кого начнем? Кого первого на суд?

— С меня! — с вызовом предложила Юлечка.

— Давайте с Веры. Ты, Верка, паинька, с тебя легче взять разгон,— посоветовал Игорь.

— Ой, я боюсь первой!

— Можно с меня,— вызвался Генка.

— Фратеры! — завопил плачуще Сократ.— Мы же собрание открываем. Надоели и в школе собрания!

Эх, дайте собакам мяса,
Авось, они подерутся!
Дайте похмельным кваса,
Авось, они перебьются!

— Заткнись!.. Ничего не таить, ребята! Всем нараспашку!

— Собрание же, фратеры, с персональными делами! Это надолго! Вся ночь без веселья!

Генка встал перед скамьей:

— Господа присяжные заседатели, прошу занять свои места!

Генка нисколько не сомневался в себе: в школе его все любили, перед друзьями он свят и чист, пусть Натка услышит, что́ о нем думают.

7

Зоя Владимировна поднялась со своего места, иссушенно-плоская, негнущаяся, с откинутой назад седой головой, на посеревшем, сжатом в кулачок лице — мелкие, невнятно поблескивающие глаза.

— Вы против школы поднялись, Ольга Олеговна, а с меня начали. Не случайно, да, да, понимаю. И правы, трижды правы вы: та школа, которой вы так недовольны сейчас, та школа и я — одно целое. Всю школу, какая есть, вам крест-накрест перечеркнуть не удастся, а меня... Меня, похоже, не так уж и трудно...

Ольга Олеговна не перебивала и не шевелилась, сидела в углу, подавшись вперед, глазницы до краев залиты тенями. И шелестящий голос Зои Владимировны:

— Вы, наверно, помните Сенечку Лукина. Как не помнить — намозолил всем глаза, в каждом классе по два года отсиживал и всегда норовил на третий остаться. Только о нем и говорили, познаменитей Студёнцевой была фигура. Как я тащила этого Сенечку! За уши, за уши к книгам, к тетрадям, по два часа после уроков каждый день с ним. Подсчитать бы, какой кусок жизни Сенечка у меня вырвал. И сердилась на него и жалела... Да, да, жалела: как, думаю, такой бестолковый жизнь проживет? Двух слов не свяжет, трех без ошибки не напишет, страницу прочитает — по́том обольется от натуги. Не закон бы о всеобщем обучении, выпихнули бы Сенечку из школы на улицу, а так с натугой большой вытянули до восьмого класса. И вот недавно встретила его... Узнал, как не узнать, улыбается от уха до уха, золотой зуб показывает, разговор завел: «Чтой-то у вас, Зоя Владимировна, пальтецо немодно, извиняюсь, сколько в месяц заколачиваете?.. Я ныне на тракторе, выходит, вдвое больше вас огребаю — мотоцикл имею, хочу дом построить...» Он же радовался, радовался, что не такой, как я! И правда, мне завидовать нечего. По шестнадцать часов в сутки работала год за годом, десятилетие за десятилетием, а что получила?.. Болезни да усталость. Ох, как я устала! Нет достатка, нет покоя. И уважения тоже... Почтенная учительница, окруженная на старости лет любовью учеников, только в кино бывает. Но, думалось, есть одно, чего отнять нельзя никакой силой, никому! — вера, что не зря жизнь прожила, пользу людям принесла, и немалую! Как-никак тысячи учеников прошли

через мои руки, разума набрались. Считают: для человека самое страшное быть убитым. Но убийцы-то могут отнять только те дни, которые еще предстоит прожить, а прожитых дней и лет никак не отнимут — бессильны. Но вы, Ольга Олеговна, все прошлое у меня убить собираетесь, на всем крест ставите!

Ольга Олеговна не шевелилась — сплюснутые губы, немигающие, упрятанные в тень глаза.

— А если вас вот так, как вы меня, вместе со всем прошлым! — придушенно воскликнула Зоя Владимировна.— Поглядите на меня, поглядите внимательней! Вот перед вами стоит ваша судьба — морщинистая, усталая, педагогическая сивка, которую укатали крутые горки на долгой дороге. На меня похожи будете. Глядите: не ваш ли это портрет?

Зоя Владимировна судорожно стала искать в рукаве носовой платок, нашла, приложила к покрасневшим глазам.

— Последнее скажу: любила свою школу и люблю! Да! Ту, какая есть! Не представляю иной! Рассадник грамотности, рассадник знаний. И этой любви и гордости за школу никто, никто не отнимет! Нет!

Она еще раз приложила к глазам скомканный платочек, испустила прерывистый вздох, спрятала платок в узкий рукав.

— Будьте здоровы.

И двинулась к выходу, волоча ноги, узкая костистая спина перекошена.

И никто не посмел ее остановить — молча провожали глазами... Только Нина Семеновна, сидевшая у дверей, приподнялась со стула со смятенным и растерянным лицом, вытянувшись, пропустила старую учительницу.

8

На скамье — тесно в ряд все пятеро: Сократ с гитарой, Игорь, склонившийся вперед, опираясь локтями на колени, Вера с Наткой в обнимку, Юлечка в неловкой посадке на краешке скамьи.

И Генка перед ними — с улыбочкой, отставив ногу в сторону.

Если б он сел вместе со всеми, находился в общей куче — быть может, все получилось бы совсем иначе. Он сам поставил себя против всех — им осуждать, ему оправдываться. А потому каждое слово звучало значительней, серьезней, а значит, ранимей. Но это открылось позднее, сейчас Генка стоял с улыбочкой, ждал. Новая игра не казалась ему рискованной.

Все поглядывали на Игоря: он умел говорить прямо, грубо, но так, что не обижались, он самый близкий друг Генки, кому, как не ему, первое слово. Но на этот раз Игорь проворчал:

— Я пас. Сперва послушаю.

И Сократ глупо ухмылялся, и Натка бесстрастно молчала, и Юлечка замороженно глядела в сторону.

— Я скажу,— вдруг вызвалась Вера Жерих.

Странно, однако,— Вера не из тех, кто прокладывает другим дорогу: всегда за чьей-то спиной, кого-то повторяет, кому-то поддакивает. Она решилась! — уселись поплотнее, приготовились слушать. Генка стоял, отставив ногу, и терпеливо улыбался.

— Геночка,— заговорила Вера, напустив серьезность на широкое щекастое лицо,— знаешь ли, что ты счастливчик?

— Ладно уж, не подмазывай патокой.

— Ой, Геночка, обожди... Начать с того, что ты счастливо родился — папа у тебя директор комбината, можно сказать, хозяин города. Ты когда-нибудь нуждался в чем, Геночка? Тебя мать ругала за порванное пальто, за стоптанные ботинки? Нужен тебе новый костюм — пожалуйста, велосипед старый не нравится — покупают другой. Счастливчик от роду.

— Так что же, за это я должен покаяться?

— И красив ты, и здоров, и умен, и характер хороший, потому что никому не завидуешь. Но... Не знаю уж, говорить ли все? Вдруг да обидишься.

— Говори. Стерплю.

— Так вот: ты Гена — черствый, как все счастливые люди.

— Да ну?

Генка почувствовал неловкость — пока легкую, недоуменную: ждал признаний, ждал похвал, готов был даже осадить, если кто перестарается — не подмазывай патокой,— а хвалить-то и не собираются. И нога в сторону и улыбочка на лице, право, не к месту. Но согнать эту неуместную улыбочку, оказывается, невозможно.

— Гони примерчики! — приказал он.

— Например, я вывихнула зимой ногу, лежала дома — ты пришел меня навестить? Нет.

— Вера, ты же у нас одна такая... любвеобильная. Не всем же на тебя походить.

— Ладно, на меня походить необязательно. Да разобраться — зачем я тебе? Всего-навсего в одном классе воздухом дышали, иногда вот так в компании сидели, умри я — слезу не выронишь. Меня тебе жалеть не стоит, а походить на меня неинтересно — ты и умней и самостоятельней. Но ты и на Игоря Проухова, скажем, не похож. Помнишь, Сократа мать выгнала на улицу?

— Уточним, старушка,— перебил Сократ.— Не выгнала, а сам ушел, отстаивая свои принципы.

— У кого ты ночевал тогда, Сократ?

— У Игоря. Он с меня создавал свой шедевр — портрет хиппи.

— А почему не у Гены? У него своя комната, диван свободный.

— Для меня там не совсем комфортабль.

— То-то, Сократик, не комфортабль. Трудно даже представить тебя Генкиным гостем. Тебя — нечесаного, немытого.

— Н-но! Прошу без выпадов!

— Ты же несчастненький, а там дом счастливых.

— Да что ты меня счастьем тычешь? Чем я тут виноват?

Генка продолжал улыбаться, но управлять улыбкой уже не мог: въелась в лицо, кривенькая, неискренняя, хоть провались. И все это видят — стоит напоказ. Он улыбался, а подымалась злость... На Веру. С чего она вдруг? Всегда услужить готова — и... завелась. Что с ней?

— Да, Геночка, да! Ты вроде и не виноват, что черствый. Но если вор от несчастной жизни ворует, его за это оправдывают? А?

— Ну, старушка-забавница, ты сегодня даешь! — искренне удивился Сократ.

— Черствый потому, что полгода назад не навестил тебя, над твоей вывихнутой ногой не поплакал! Или потому, что Сократ не ко мне, а к Игорю ночевать сунулся! Ну, знаешь...

— А вспомни, Геночка, когда Славка Панюхин потерял деньги для похода...

— А не помнишь, кто выручил Славку? Может, ты?!

— Аг-га-а! Знала, что этот проданный велосипед нам напомнишь! Как же — велосипед загнал, не пожалел для товарища... Но ты сам вспомни-ка, как сначала-то ты к этому отнесся? Ты же выругал бедного Славку на чем свет стоит. А вот мы ни слова ему не сказали, мы все по рублику собирать стали, и только тогда уж до тебя дошло. Позже всех... Нет, я не говорю, Гена, что ты жадный, просто кожа у тебя немного толстовата. Тебе ничего не стоит сделать благородный жест: на, Славка, ничего не жаль, вот какая у меня широкая натура. Но только ты не последнее отдавал, Геночка. Тебе старый велосипед уже надоел, нужен был новый — гоночный...

И ударила кровь в голову, и въедливая улыбочка наконец-то слетела с лица. Генка шагнул на Веру:

— Ты!.. Очухайся! Эт-то свинство!

Вера не испугалась, а надулась, словно не она его — он обидел ее:

— Не нравится? Извини. Сам же хотел, чтоб до дна, чтоб все откровенно...

И замолчала.

Игорь серьезен, Сократ оживленно ерзает, Натка холодно-спокойна, откинулась на спинку скамьи рядом с надутой Верой — лицо в тени, маячат строгие брови.

— Ложь! — выкрикнул Генка.— До последнего слова ложь! Особенно о велосипеде!

И замолчал, так как на лицах ничего не отразилось: по-прежнему замкнуто-серьезен Игорь, беспокоен Сократ, спокойна Натка

и надута Вера. Будто и не слышали его слов. Как докажешь, что хотел спасти Славку, жалел его? Даже велосипед не доказательство! Молчат. И как раздетый перед всеми.

— Кончим эту канитель, ребята,— вяло произнес Игорь.— Переругаемся.

Кончить? Разойтись? После того, как оболгали! Натка верит, Игорь верит, а сама Верка надута. И настороженно, выжидающе блестят с бледного лица глаза Юлечки Студёнцевой... Кончить на этом, согласиться с ложью, остаться оплеванным! И кем? Верой Жерих!

— Нет! — выдавил Генка сквозь стиснутые зубы.— Уж нет... Не кончим!

Игорь кашлянул недовольно, проговорил в сторону:

— Тогда уговоримся: не лезть в бутылку. Пусть каждый говорит что думает — его право, терпи.

— Я больше не скажу ни слова! — обиженно заявила Вера.

Генку передернуло: наговорила пакости — и больше ни слова. Но никто этим и не думает возмущаться — Игорь сумрачно-серьезен, Натка спокойна. И терпи, не лезь в бутылку...

Генка до сих пор жил победно: никому не уступал, не знал поражений, себя даже и защищать не приходилось — защищал других. И вот перед Верой Жерих, которая и за себя-то постоять не могла, всегда прибивалась к кому-то, он, Генка, беспомощен. И все глядят на него с любопытством, но без сочувствия. Словно раздетый — неловко, хоть провались!

— Можно мне? — Юлечка по школьной привычке подняла руку.

Генка повернулся к ней с надеждой и страхом — так нужна ему сейчас поддержка!

— Не навестил больную, не пригласил ночевать бездомного Сократа, старый велосипед... Какая все это мелочная чушь!

Серьезное, бледное лицо, панически блестящие глаза на нем. Так нужно слово помощи! Он, Генка, скажет о Юлечке только хорошее — ее тоже в классе считали черствой, никто ее не понимал: зубрилка, моль книжная. Каково ей было терпеть это! Генка даже ужаснулся про себя — он всего минуту сейчас терпит несправедливость, Юлечка терпела чуть ли не все десять лет!

— Я верю, верю: ты, Гена, не откажешь в ночлеге и велосипед ради товарища не пожалеешь...— Блестящие глаза в упор.— Даже рубаху последнюю отдашь. Верю! А когда бьют кого-то, разве ты не бросаешься спасать? Ты можешь даже жизнью жертвовать. Но... Но ради чего? Только ради одного, Гена — жизни не пожалеешь, чтоб красивым стать. Да! А вот прокаженного, к примеру, ты бы не только не стал лечить, как Альберт Швейцер, но через дорогу не перевел бы — побрезговал. И просто несчаст-

ного ты не поддержишь, потому что возня с ним и никто этому аплодировать не будет. От черствости это?.. Нет! Тут серьезнее. Рубаха, велосипед, жизнь на кон — не для кого-то, а для самого себя. Себя чувствуешь смелым, себя — благородным! Ты так себе нравиться любишь, что о других забываешь. Не черствость тут, а похуже — себялюбие! Черствого каждый разглядит, а себялюбца — нет, потому что он только о том и старается, чтоб хорошим выглядеть. А как раз в тяжелую минуту себялюбец-то и подведет. Щедрость его не настоящая, благородство наигранное, красота фальшивая, вроде румян и пудры... Ты светлячок, Гена,— красиво говоришь, а греть не греешь.

Юлечка опустила веки, потушив глаза, замолчала. И лицо ее сразу — усталое, безразличное.

— Это ты за то... отказался в Москву с тобой?..— с трудом выдавил Генка.

— Думай так. Мне уже все равно.

Генка затравленно повел подбородком. Перед ним сидели друзья. Других более близких друзей у него не было. И они, близкие, с детства знакомые, оказывается, думают о нем вовсе не хорошо, словно он враг.

Он взял себя в руки, придушенно спросил:

— Ты это раньше... что я светлячок? Или только сейчас в голову пришло?

— Давно поняла.

— Так как же ты... в Москву?

— За светлячком можно в чащу лезть сломя голову, за себялюбцем в Сибирь ехать, не только в Москву. Тут уж с собой ничего не поделаешь,— не подымая глаз, тихо ответила Юлечка.

Ночь напирала на обрыв. От нее веяло речной сыростью. Перед всеми как раздетый... Светлячок, надо же!

Чтоб только не растягивать мучительную тишину, Генка хрипло попросил:

— Игорь, давай ты.

— Может, кончим все-таки. Врагами же расстанемся.

— Спасаешь, благодетель?

— Что-то мне неохота ковыряться в тебе, старик.

— Режь, не увиливай.

— Н-да-а.

Игорь Проухов... С ним Генка сидел на одной парте, его защищал в ребячьих потасовках. Как часто они лежали на рыбалках у ночных костров, говорили друг другу самое сокровенное. Много спорили, часто не соглашались, бывало, сердились, ругались даже, но никогда дело не доходило до вражды. Игорь — не Юлечка Студёнцева. Вот если б Игорь понял, как трудно ему, Генке, сейчас: дураком выглядит, без вины оболган, заклеймен даже — светлячок, надо же... Если б Игорь понял и сказал доброе слово,

отбрил Веру, возразил Юльке — а Игорь может, ему нетрудно,— то все сразу бы встало на свои места.

Но просить при всех о помощи, сознаваться, что слаб, Генка не мог, а потому произнес почти с угрозой:

— Режь! Только учти, я тебя тоже жалеть не стану.

Эх, если б Игорь понял, не поверил угрозе, мир остался бы прежним: где дружба свята, правда торжествует, а ложь наказывается...

Но Игорь поскреб небритый подбородок, не глядя Генке в глаза, угрюмо сказал:

— Не пожалеешь?.. Само собой. Что ж...

9

За Зоей Владимировной закрылась дверь. С минуту никто не шевелился.

Скрипнул стул под Иваном Игнатьевичем, директор решительно поднялся, грудью повернулся к Ольге Олеговне, насупленно-строгий и замкнутый:

— Не кажется ли вам, что вы сейчас обидели человека? Сильно обидели и незаслуженно!

У Ольги Олеговны немигающие, широко открытые глаза, но неподвижное лицо все равно кажется каким-то слепым. Тяжелая копна вознесенных волос и расправленные плечи.

— Мне очень жаль, что так получилось.— Голос сухой, без выражения.

— Не сочтите за труд извиниться перед ней.

Иван Игнатьевич редко сердился, но когда сердился, всегда становился церемонно-вежливым: «Не сочтите за труд... Смею надеяться... Позвольте рассчитывать...»

— Извиниться? За что?

Неподвижное лицо Ольги Олеговны ожило, взгляд вновь стал подозрительно-настороженным.

— Вы только что, любезная Ольга Олеговна, сказали, позвольте напомнить: «Мне очень жаль, что так получилось». Надеюсь, сожаление искренне. Так сделайте же следующий шаг — извинитесь!

— Мне жаль... Наверное, как и каждому из нас. Жаль, что у Зои Владимировны долгая жизнь оканчивается разбитым корытом.

— Разрешу себе заметить: разбитое корыто — довольно рискованное выражение.

— А разве она сейчас сама не призналась в этом?

— Не станете же нас уверять, уважаемая Ольга Олеговна, что долгая жизнь Зои Владимировны не принесла никакой пользы?

— Пользы?.. Сорок лет она преподает: Гоголь родился в таком-то году, Евгений Онегин — представитель лишних людей, Катерина из «Грозы» — луч света в темном царстве. Сорок лет одни и те же готовые формулы. Вся литература — набор сухих формул, которые нельзя ни любить, ни ненавидеть. Не волнующая литература — вдумайтесь! Это такая же бессмыслица, как, скажем, не греющая печь, не светящий фонарь. Получается: сорок лет Зоя Владимировна обессмысливала литературу. Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов глаголом жгли сердца людей. По всему миру люди горят их пламенем — любят, ненавидят, страдают, восторгаются. И вот зажигающие глаголы попали в добросовестные, но, право же, холодные руки Зои Владимировны... Сорок лет! У скольких тысяч учеников за это время она отняла драгоценный огонь! Украла способность волноваться! Вы в этом видите пользу, Иван Игнатьевич?!

Иван Игнатьевич сердито засопел, спрятал глаза кустистыми пшеничными бровями.

— Но она еще была преподавателем и русского языка, научила тысячи детей грамотно писать. Хоть тут-то признайте, что это немалая заслуга.

— Научить правильно писать слово — и отучить его любить. Это все равно что внушать понятия высокой морали и вызывать к ним чувство безразличия.

— Странный вы человек, Ольга Олеговна,— огорченно произнес Иван Игнатьевич.— Вдруг взорвались — готовы крушить и проламывать головы только потому, что девочка-выпускница задела вас за живое.

— Вдруг?.. Неужели для вас выступление Студёнцевой неожиданность?

— Да уж признаюсь: от любого и каждого ждал коленца, только не от нее.

— И вы считали, что у нас в школе все идеально, не нужно освобождаться от старых навыков?

— Положим, не все идеально и от каких-то привычек нам придется освобождаться.

— Но тогда придется освобождаться и от тех, кто безнадежно увяз в этих старых привычках.

— Освободиться от Зои Владимировны?.. Немедленно? Или можно подождать немного, хотя бы того не столь далекого дня, когда она сама решит оставить школу?

— Недалекого дня? А когда он наступит? Через год, через два, а может, через пять лет?.. За это время сотни учеников пройдут через ее руки. Я преклоняюсь перед вашей добротой, Иван Игнатьевич, но тут она, похоже, дорого обойдется людям.

Иван Игнатьевич, опустив борцовские плечи, недовольно разглядывал Ольгу Олеговну.

— Мне кажется, вы собираетесь выправить накренившуюся лодку, черпая решетом воду,— сказал он с досадой.

— То есть?

— То есть мы освободимся от Зои Владимировны, а на ее место придет молодой учитель, только что окончивший наш областной пединститут. И вы рассчитываете, что он-то непременно будет горящим. Вам ли не известно, что в областной пединститут, увы, идут те, кто не сумел попасть в другие институты. Десять против одного, что на смену Зое Владимировне придет неспособный раздувать святой огонь Пушкина и Толстого. Не рассчитывайте на Прометеев, дорогая Ольга Олеговна.

Ольга Олеговна не успела ответить, как по учительской прокатился глуховатый басок:

— Зоя Владимировна опасна больше других? Сомневаюсь.

Директор шумно повернулся, Ольга Олеговна подобралась: подал голос учитель физики Решников.

— Что ты хочешь этим сказать, Павел? — спросила Ольга Олеговна.

— Хочу сказать: врачу — излечися сам!

— Ты считаешь, что я?..

— Да.

— Зои Владимировны?..

— В какой-то степени.

— Объясни.

И Решников поднялся, нескладно высокий, крепко костистый, с апостольским пушком над сияющим черепом, лицо темное, азиатски-скуластое, плоское, как глиняная чаша.

10

Игорь Проухов сидел на скамье и целился твердым носом в Генку — всклокоченная шевелюра, светлое чело, темный подбородок.

— Тебя тут по-девичьи щипали. Вот Юлька сказала: прокаженного через дорогу не переведет, для себя горит, не для других. А кто из нас в костер бросится, чтоб другому тепло было?

— Может, я брошусь,— отозвалась Юлечка.

— Готов встать перед тобой на колени... За негорючесть я тебя, старик, не осуждаю. Считаю: если уж гореть до пепла, то ради всего человечества. Почему я, он или кто другой должен собой жертвовать ради кого-то одного, хотя бы тебя, Юлька? Что ты за богиня, чтоб тебе — человеческие жертвоприношения?

— А я не жертв вовсе, я отзывчивости хочу. За отзывчивость, даже чуточную, я сама собой пожертвую.

— Э-э! — отмахнулся Игорь.— Сама хоть с крыши вниз го-

ловой, лишь бы вовремя схватили, не то ушибиться можно. Верка лучше Генку нащупала: баловень судьбы, любое дается легко.

— Уж и любое,— усмехнулась молчавшая Натка.

Генка вздрогнул, кинул на Натку затравленный взгляд.

— Допускаю исключения,— с едва проступившей улыбочкой согласился Игорь.

И Генка вскипел:

— Красуешься, философ копеечный! Хватит. По делу говори!

И призрачная улыбочка исчезла с лица Игоря.

— Может, не стоит все-таки по делу-то? А?.. Оно не очень красивое.

— Нет уж, начал — говори!

— Дело прошлое, я простил тебя — ворошить не хочется.

— Простил? Нужно мне твое прощение!

— Тебе не нужно, так мне нужно. Как-никак много лет дружили... Догадываешься, о чем я хочу?..

— Не догадываюсь и ломать голову не стану. Сам скажешь.

— Учти, старик, ты сам настаиваешь.

— Цену себе набиваешь!

— Ладно. Почему не уважить старого друга... Почтеннейшая публика, мы с ним часто играли в диспуты, и вы нам за это щедро платили — своим умилением...

— Хватит кривляться, шимпанзе!

— Мой друг бывает очень груб, извиним его. Грубость баловня судьбы: я, мол, не чета другим, я сверхчеловек, сильная личность, а потому на дух не выношу тех, кто хоть чуть стал поперек...

— Сам ярлыки клеишь, обзываешься, как баба в очереди, а еще обижаешься: груб, извиним!

— Мы обычно спорим на публику, но однажды схлестнулись с глазу на глаз. Он стал свысока судить о моих картинах, а я сказал, что его вкусы ничем не отличаются от вкусов какого-нибудь Петра Сидорыча, который не морщится от кислой банальности. И, представьте, он согласился: «Да, я — Петр Сидорыч, рядовой зритель, то есть народ, а ты, мазилка, антинароден». Я засмеялся и сказал, что преподнесу ему на день рождения народную картину — лебедей на закате, и непременно с надписью: «Ково люблю — тово дарю!» Он надулся и, казалось, ничего особенного, все осталось, как было — ходили по школе в обнимочку.

— Вот ты о чем!.. О выступлении...

— Да, о том. Должна была открыться выставка школьного рисунка. Не у нас — в областном Доме народного творчества. Событие! С этой выставки лучшие работы должны поехать в Москву. Хотелось мне попасть на эту выставку или нет?.. Хотелось! И он это знал. Но... Но выступил на комитете комсомола... Что ты там сказал обо мне, Генка?

— Сказал, что думал. Хвалить я тебя должен, если у меня с души прет от твоих работ?

— Но при этом ты ходил со мной в обнимочку, показательно спорил, играл в волейбол... И ни слова мне! За моей спиной...

— А что я мог тебе сказать, если и сам не знал, о чем пойдет речь на комитете...

— За моей спиной ты продал меня!

— Я говорил только то, что раньше... Тебе! В глаза!

— Нет, мне передали: ты даже растленность мне вклеил... В глаза-то говорил пообкатанней, боялся: отобью мяч в твои же ворота.

— А тебе не передали, что я талантливым тебя называл?

— Вот именно, чтоб легче подставить ножку... Ходил в обнимочку, а за пазухой нож держал, ждал случая в спину вонзить.

С минуту Генка ошеломленно таращил глаза на Игоря, а тот целился в него носом — отчужденно-спокоен.

— Ты-ы!..

Игорь пожал плечами:

— Сам просил — я не набивался.

— Ты-ы!.. Ты-ы меня!.. Носил за пазухой!..

— Сказал факты, а вывод пусть делают другие.

Генка, сжав кулаки, шагнул на Игоря:

— Я те-бе!..

Игорь распрямился, выставил темный подбородок.

— Давай,— тихо попросил он.— Ты же самбист, научен суставы выворачивать.

Генка остановился, хрипло выдохнул:

— Сволочь ты!

— Я сволочь, ты святой. Кончим на этом. Аминь.

— И правда кончим,— откликнулась Вера с жалобно округлившимися глазами.— Господи! Если б я знала...

— А ты ждала, что я все съем!

— Пусть меня лучше, не надо его больше, ребята. Пусть лучше меня!..— Вера всхлипнула.

— Пожалела. Спасибо большое! Только я не нуждаюсь в жалости! Давайте, давайте до конца! Все раскройтесь, чтоб я видел, какие вы... Сократ, валяй! Ну! Твоя очередь!

Генка кричал и дергался, а Сократ, как ребенка, прижимал к животу гитару.

— Я бы лучше вам спел, фратеры.

— Тут на другие песни настроились, разве не видишь? Не порти хор.

— А я что, Генка... У нас с тобой полный litterally лояль.

— Не бойся, его не ударил и тебя бить не стану. Дави!

— Для меня ты плохого никогда... Конечно, что́ я тебе: Сократ — лабух, Сократ Онучин — бесплатное приложение к гитаре. А кто из вас, чуваки, относится с серьезным вниманием к Сократу Онучину? Да для всех я — смешная ошибка своей мамы. У нас же праздник, фратеры. Мы должны сегодня петь и смеяться, как дети.

Эх, дайте собакам мяса,
Авось, они подерутся!..

— Моя очередь.

Натка не спеша разогнулась, твердые груди проступили под тонким платьем, блуждающая улыбочка на полных губах, под ресницами — убийственно покойная влага глаз.

Никому сейчас не до улыбок. Генка замер с перекошенными плечами...

11

Двадцать с лишним лет назад они пришли в школу — трое педагогов со студенческой скамьи, два парня с колодками орденов и медалей на лацканах поношенных пиджаков и девица с копной волос, с изумленно распахнутыми глазами. Школа встретила их по-разному.

Иннокентия Сергеевича — уважительно. Раненный под Белгородом, он слишком наглядно носил на себе след войны — пугающий лиловый шрам на лице, и в то же время он не кичился фронтовым прошлым, не требовал привилегий, держался скромно, преподавал толково, о нем сразу же установилось прочное мнение: надежный работник, образец для подражания.

Павел Павлович Решников, тоже фронтовик, трижды раненный, награжденный орденами, с ходу вошел в конфликт со школой. Он считал, что школьные программы по физике устарели: нельзя преподавать лишь законы Ньютона, когда современная наука живет открытиями Эйнштейна,— начал преподавать по-своему. Остальных преподавателей тогда вполне устраивали привычные программы, все они были старше Решникова, а потому резонно замечали, что яйца курицу не учат, и на экзаменах с пристрастием спрашивали с учеников не то, чему их учил Павел Павлович. До полного разрыва со школой у него не дошло, он по-прежнему преподавал физику не строго по программам и не по учебникам, но делал это уже осторожно — инспекторские проверки никогда не заставали его врасплох, его ученики достаточно хорошо знали программный материал. Сам же Павел Павлович являлся в школу, чтоб дать уроки и исчезнуть. Ни с кем из учителей он не сходился, не вступал в споры, не навязывал

своих взглядов. Его кто-то назвал однажды: вечный гастролер. На это он спокойно возразил: «Смотря для кого. Ученики меня так не назовут». У Павла Павловича среди учеников всегда были избранники, которых он приглашал даже к себе на дом, снабжал книгами.

Ольгу Олеговну школа сначала встретила равнодушно — молодой преподаватель истории, ничем, собственно, не выделяющийся. Она выделилась не преподаванием, не педагогическим мастерством, а неукротимым правдолюбием. Ольга Олеговна могла во всеуслышанье произнести то, о чем все осмеливались лишь шептаться по углам, заклеймить подхалимов, обличить зарвавшихся, не считаясь ни с их властью, ни с их авторитетом. Она всегда шла напролом — пан или пропал — и почти всегда выходила победителем. В школе менялись директора, Ольга Олеговна оставалась бессменным завучем вот уже пятнадцать лет.

Она часто упрекала Решникова «за отшельничество», но уважала его за преданность своей науке. Науке, а не предмету — физике! Она сама давно уже не скрывала недовольства существующими учебными программами. Решников и Ольга Олеговна скорей были единомышленниками, врагами же — никогда! И вот сейчас Решников поднялся, чтобы выступить против нее.

— Объясни.

Из-под сияющего лба Решников внимательно и долго вглядывался в Ольгу Олеговну, сидящую с вызывающе вскинутой головой.

— Тут ты вся: зовешь — делай, и не замечаешь, что уже делается. Кричишь — вперед! И хватаешь за полу — стой, не смей шевелиться!

— Не говори шарадами, Павел.

— Хочу сказать, что я много лет стараюсь развивать увлечения своих учеников, а ты меня постоянно одергивала: пестуешь любимчиков!

— Я и сейчас против, чтоб кто-либо из педагогов выделял любимчиков. И какая тут связь с увлечением?

— Прямая.

— Не вижу.

— Я люблю свою науку, мечтаю подарить ей талантливых ученых. Надеюсь, что ты не собираешься тут меня осуждать?

— Нет.

— Но тогда можно ли меня судить, что я прохладен к тем, кто, мягко выражаясь, от природы не даровит к физике, не любит ее?

— Наверное, нельзя.

— Вот именно, как нельзя упрекать меня и за то, что я пристрастен к тем ученикам, в которых природа вложила способ-

ность увлекаться физикой. И чем больше ученик увлечен, тем сильней он должен мне нравиться. Естественно это или нет, Ольга Олеговна?

Ольга Олеговна помолчала секунду, тряхнула волосами:

— Естественно!

— Но нужно ли скрывать мне это естественное чувство, делать вид, что для меня все ученики одинаковы, ничем друг от друга не отличаются?

На этот раз Ольга Олеговна не ответила.

— Делать вид — не отличаются — и стараться не отличать неспособных от способных, равнодушных от увлекающихся. Да как же мне после этого развивать увлечение, за которое ты так горячо ратуешь? Но если я начну отличать, а значит, и выделять одних перед другими, ты же первая меня попрекнешь: любимчиков пестуешь? И ты, право, недалека от истины: да, я каких-то люблю больше, каких-то меньше. Люблю потому, что они — надежда той науки, преподаванию которой я посвятил жизнь, люблю потому, что рассчитываю: с моей помощью они могут стать чрезвычайно ценными членами общества.

— Ну, а как быть с остальными?..— спросила Ольга Олеговна.— С теми, Павел, кто не оказался достойным твоей любви?

— Я им стараюсь дать общее понятие о физике. Не больше того.

— Они для тебя второй сорт люди, парии. Не так ли?

— Э-э, нет! Я никак не исключаю, что среди них могут быть не менее, а еще более талантливые натуры. Но уже не в моей области. Лицеист Пушкин, увы, был зауряден в математике, наверное, и в физике тоже, если б ее преподавали в Царскосельском лицее. Представь, что я стану развивать природные способности нового Пушкина, я, не сведущий в поэзии, не чувствующий ее. Нет, пусть им занимаются другие, иначе загублю драгоценный талант.

Ольга Олеговна склонила к столу отягощенную волосами голову.

— Хорошо, Павел, согласимся, что тут ты прав. Но разве эта моя вина столь велика, что дает тебе право говорить: я опаснее Зои Владимировны?

Решников досадливо крякнул:

— Зоя Владимировна своего огня не раздует, но и моего не потушит. А ты можешь потушить.

— Что бы ты хотел от меня?

— Одного: не мешай мне возделывать свой сад.

— Каждый должен возделывать свой сад? И только?..

— Да. Без помех!

— В одиночку?

— Если я в своем труде рассчитываю на кого-то, я или плохой работник, или просто-напросто лодырь.

Сидевший рядом с Решниковым Иннокентий Сергеевич повернул к нему асимметричное суровое лицо.

— Ты так сердито разругал сейчас Ольгу и так жалко посоветовал,— произнес он.

— Это все, что я знаю.

— Теперь все делается коллективно,— все! — от канцелярских скрепок до космических ракет. А ты нам предлагаешь убого-единоличное: пусть каждый возделывает свой сад.

— Всю жизнь я единолично справлялся со своими обязанностями. Всю жизнь мне лезли помогать — и большей частью только мешали.

— Ремесленник-одиночка, оглянись кругом — ты последний из своего племени! Все твои собратья остались где-то в позднем средневековье. Прикажешь миру вернуться вспять? Не выйдет, Павел.

У Иннокентия Сергеевича под глазом, выше рваной скулы, подергивался живчик.

12

Натка, неприступно-прямая на скамейке, глядела мимо Генки влажными глазами.

— Гена-а...— с лениленькой растяжечкой, нутряным, обволакивающим голосом.— Что тут только не наговорили про тебя, бедненький! Даже пугали: нож в спину можешь. Вот как! Не верь никому — ты очень чистый, Гена, насквозь, до стерильности. Варился в прокипяченной семейной водичке, куда боялись положить даже щепоточку соли. Нож в спину — где уж.

— Нат-ка! Не издевайся, прошу.

— А я серьезно, Геночка, серьезно. Никто тебя не знает, все видят тебя снаружи, а внутрь не залезают. Удивляются тебе: любого мужика через голову бросить можешь — страшен, берегись, в землю вобьешь. И не понимают, что ты паинька, сладенькое любишь, но мамы боишься, без спросу в сахарницу не залезешь.

— О чем ты, Натка?

— О тебе, только о тебе. Ни о чем больше. Целый год ты меня каждый вечер до дому провожал, но даже поцеловать не осмелился. И на такого паиньку наговаривают: нож в спину! Защитить хочу.

— Нат-ка! Зачем так?..— Генка прятал глаза, говорил хрипло, в землю.

— Не веришь мне, что защищаю?

— Издеваешься... Они — пусть что хотят, а тебя прошу...

— Они — пусть?! — У Натки остерегающе мерцали под ресницами влажные глаза.— Я — не смей?.. А может, мне обидно за тебя, Генка: обливают растворчиком, а ты утираешься. И потому еще обидно, что сами-то обмирают перед тобой: такой-рассякой, черствый, себялюбец негреющий, а шею подставить готовы — накинь веревочку, веди Москву завоевывать.

— Злая ты, Натка,— без возмущения произнесла Юлечка.

— А ты?..— обернулась к ней Натка.— Ты добрей меня? Ты можешь травить медвежонка, а мне нельзя?

— Травить?! Нат-ка! Зачем?!

Натка сидела перед Генкой прямая, под чеканными бровями темные увлажненные глаза.

— Затем, что стоишь того,— жестким голосом.— И так тебя и эдак пихают, а ты песочек уминаешь перед скамеечкой. Чего тогда с тобой и церемониться. Трусоват был Ваня бедный... Зато чистенький-чистенький, без щепоточки соли. Одно остается —подержать во рту да выплюнуть.

Натка отвернулась.

В листве молодых лип равнодушно горели матовые фонари. На поросший неопрятной травою рваный край обрывистого берега напирала упругая ночь, кой-где проколотая шевелящимися звездами. Ночь все так же пахла влагой и травами. И лежал внизу город — россыпь огней, тающих в мутном мареве. Искрящаяся галактика, окутанная житейским шумом: кто-то смеялся среди огней, где-то надрывно кричала радиола, тарахтел мотоцикл.

— Жалкий ты, Генка,— безжалостно сказала Натка в сторону.

И Генка дернул головой, точно его ударили в лицо.

— Н-ну, Натка!.. Ну-у!..— из горла хриплое.

13

Он был одним из самых благополучных учителей школы. Уж он-то возделывал свой сад с примерным усердием.

Иннокентий Сергеевич подымал к Решникову свое суровое, шрамом стянутое на одну сторону лицо.

— Ты-то должен знать, что ремесленники повымерли не случайно,— говорил он неторопливым глуховатым голосом.— Люди бродили бы по миру нагие и голодные, если б сейчас каждый ковырял в одиночку свой сад дедовской мотыгой.

— Почему обязательно мотыгой? — невозмутимо возразил Решников.— Я лично пользуюсь всем тем, что предлагает современная педагогика. И смею думать, что сверх того кое-что сам изобретаю.

— Может, ты изобрел паровую машину и тайком ею пользуешься в своем единоличном садике?

— Не нуждаюсь ни в какой машине..

— То-то и оно: все нуждаются в машинах, все — от доярки до ученого-экспериментатора, а вот нам с тобой хватает классной доски, куска мела и тряпки. Мы с тобой вооружены, как был вооружен дедушка педагогики Ян Амос Коменский триста лет тому назад. И пытаемся поспеть за двадцатым веком. Удивительно ли, что нам приходится надрываться. Все работают по семь часов в сутки, мы — по двенадцать, по шестнадцать, а результаты?..

Решников снисходительно усмехнулся:

— Увы, еще не изобретены машины для производства духовных ценностей, скажем, для произведения живописи, литературы, музыки, равно как и для передачи знаний.

Иннокентий Сергеевич дернул искалеченной щекой:

— А разреши спросить тебя, глашатай физики: открытие Галилеем спутников Юпитера — духовная ценность для человечества или нет?

Решников нахмурился и ничего не ответил.

— Молчишь? Знаешь, что эту духовную ценность Галилей добыл с помощью механизма под названием телескоп. А синхрофазотроны, которыми пользуются нынче твои собратья-физики,— разве не специально созданные машины? Эге! Еще какие сложные и дорогостоящие. Ими ведь не картошку копают, не чугун выплавляют. Знания давно уже добываются с помощью машин, а вот передаются они почему-то до сих пор, так сказать, вручную.

— Может, ты даже представляешь, как выглядит та паровая машина, на которую собираешься посадить педагогов? — спросил Решников.

— Предполагаю.

— А ну-ка, ну-ка.

— Будем исходить из существующего ремесленничества: миллионы учителей по стране преподают одни и те же знания по математике, по физике, по прочим наукам. Одни и те же, но каждый своими силами, на свой лад. Как в старину от умения отдельного кустаря-сапожника зависело качество сапог, так теперь от учителя зависит качество знаний, получаемых учеником. Попадет ученик к толковому преподавателю — повезло, попадет к бестолковому — выскочит из школы недоучкой. Вдуматься — лотерея. А не лучше ли из этих миллионов отобрать самых умных, самых талантливых и зафиксировать их преподавание хотя бы на киноленте? Тогда исчезнет для ученика опасность попасть к плохому учителю, все получают знания по одному высокому стандарту...

— Стоп! — перебил Решников.— По стандарту!.. Бездушная кинолента, выдающая всем одинаковую порцию знаний... Да ведь

мы с тобой только тем и занимаемся, что стараемся приноровиться к каждому в отдельности ученику: один усваивает быстрей, другой медленней, третий совсем не тянет. Да что там говорить — обучать живых, нестандартных людей может только живой, нестандартный человек.

И снова Иннокентий Сергеевич дернул щекой.

— Заменить тебя кинолентой?.. Да боже упаси! Хочу лишь снять часть твоего труда. Однообразного труда, Павел. Тебе уже не придется по нескольку раз в каждом классе втолковывать то, что ты втолковывал в прошлом году, в позапрошлом, три и четыре года назад. Стандартная кинолента даст тебе время... Время, Павел! Чтоб ты мог нестандартно, творчески заниматься учениками — способным преподавал сверх стандартной нормы, неспособных подтягивал до стандарта. Тебе остается лишь тонкая работа — доводка и шлифовка каждого человека в отдельности. Каждого!

— Все-таки топчи дорогу своими ногами. Может, ты предлагаешь не локомотив, а просто посошок для облегчения моих натруженных ног?

— А ты хотел бы такой локомотив, который бы полностью устранил тебя?

— Зачем мне тогда и жить на свете,— отмахнулся Решников.

— То-то и оно: нет еще машины, которая исключала бы человека. И будет ли?

— О чем вы спорите?! — выкрикнула забытая Ольга Олеговна.— Как преподнести знания — механизированным или немеханизированным путем! Юлия Студёнцева до ноздрей нами набита этими знаниями, а тем не менее... Снова мне, что ли, повторять: у нас часто формируются люди без человеческих устремлений! А раз нет человеческого, то животное прет наружу вплоть до звериности, как у тех парней, что ножом женщину на автобусной остановке... В локомотиве спасение — да смешно! Машиной передавать человеческие качества!..

Решников удовлетворенно хмыкнул:

— Вот и вернулись на круги своя: я человек, что-то любящий, что-то презирающий в мире сем, я передаю свое ученикам, вы — свое, пусть каждый мотыжит свой сад... Если мне вместо мотыги предложат сподручный трактор, я, пожалуй, не откажусь, но детей трактору не доверю.

Иннокентий Сергеевич с минуту молчал — странное, неподвижное лицо, одна его половина разительно не походит на другую,— затем обронил холодно и спокойно:

— Не доверю?.. А самим себе мы доверяем?..

Пять человек на скамье под фонарями, тесно друг к другу, и Генка нависает над ними.

— До донышка! Правдивы!.. Ты сказала — я черств. Ты — я светлячок-себялюбец. Ты — в предатели меня, нож в спину... А ты, Натка... Ты и совсем меня — даже предателем не могу, жалкий трус, тряпка! До донышка... Но почему у вас донышки разные? Не накладываются! Кто прав? Кому из вас верить?.. Лгали! Все лгали! Зачем?! Что я вам плохого сделал? Тебе! Тебе, Натка!.. Да просто так, воспользовались случаем — можно оболгать. И с радостью, и с радостью!.. Вот вы какие! Не знал... Раскрылись... Всех теперь, всех вас увидел! Насквозь!..

Накаленный Генкин голос. А ночь дышала речной влагой и запахами вызревающих трав. И густой воздух был вкрадчиво теплым. И листва молодых лип, окружающая фонари, казалось, сама истекала призрачно-потусторонним светом. Никто этого не замечал. Подавшись всем телом вперед, с искаженным лицом надрывался Генка, а пять человек, тесно сидящих на скамье, окаменело его слушали.

— Тебя копнуть до донышка! — Генка ткнул в сторону Веры Жерих.— Добра, очень добра, живешь да оглядываешься, как бы свою доброту всем показать. Кто насморк схватит, ты уже со всех ног к нему — готова из-под носа мокроту подтирать, чтоб все видели, какая ты благодетельница. Зачем тебе это? Да затем, что ничем другим удивить не можешь. Ты умна? Ты красива? Характера настойчивого? Шарь не шарь — пусто. А пустоту-то показной добротой покрыть можно. И выходит — доброта у тебя для маскировки!

Вера ошалело глядела на Генку круглыми, как пуговицы, глазами, и ее широкое лицо, казалось, покрылось гусиной кожей. Она пошевелилась, хотела что-то сказать, но лишь со всхлипом втянула воздух, из пуговично-неподвижных глаз выкатились на посеревшие щеки две слезинки.

— Ха! Плачешь! Чем другим защитить себя? Одно спасение — пролью-ка слезы. Не разжалобишь! Я еще не все сказал, еще до донышка твоего не добрался. У тебя на донышке-то не так уж пусто. Куча зависти там лежит. Ты вот с Наткой в обнимочку сидишь, а ведь завидуешь ей — да, завидуешь! И к Юльке в тебе зависть и к Игорю... Каждый чем-то лучше тебя, о каждом ты, как обо мне, наплела бы черт те что. Добротой прикрываешься, а первая выскочила, когда разрешили,— можно дерьмом облить...

Вера ткнулась в Наткино плечо, а Юлечка выкрикнула:

— Гена!

— Что — Гена?

— Ты же не ее, ты себя позоришь!

— Перед кем? Перед вами? Так вы уже опозорили меня, постарались. И ты старалась.

— Сам хотел, чтоб откровенно обо всем...

— Откровенно. Разве ложь может быть откровенной?

— Я говорила, что думала.

— И я тоже... что думаю.

— Не надо нам было...

— Ага, испугалась! Поняла, что я сейчас за тебя возьмусь.

И без того бледное точеное личико Юлечки стало матовым, нос заострился.

— Давай, Гена. Не боюсь.

— Вот ты с любовью лезла недавно...

— Ты-ы!..

— А что, не было? Ты просто так говорила: пойдем вместе, Москву возьмем?

— Как тебе не стыдно!

— А притворяться любящей не стыдно?

— Я притворялась?..

— А разве нет?.. Сперва со слезами, хоть сам рыдай, а через минуту — светлячок-себялюбец. Чему верить — слезам твоим чистым или словам?.. И ты... ты же принципиальной себя считаешь. Очень! Только вот тебя, принципиальную, почему-то в классе никто не любил.

— Как-кой ты!..

— Хуже тебя? Да?.. Я себялюбивый, а ты?.. Ты не из себялюбия в школе надрывалась? Не ради того, чтоб первой быть, чтоб хвалили на все голоса: ах, удивительная, ах, необыкновенная! Ты не хотела этого, ты возмущалась, когда себялюбие твое ласкали? Да десять лет на голом себялюбии! И на школу сегодня напала — зачем? Опять же себялюбие толкнуло. Лезла, лезла в первые и вдруг увидела — не вытанцовывается, давай обругаю.

— Как-кой ты!..

Бледная от унижения Юлечка — осунувшаяся, со вздрагивающими веками, затравленным взглядом.

Не выдержал Игорь:

— Совсем свихнулся!

И Генка качнулся от Юлечки к нему:

— Старый друг, что ж... посчитаемся.

Игорь криво усмехнулся:

— Не до смерти, не до смерти, пожалей.

Генка с высоты своего роста разглядывал Игоря, сидящего на краешке скамьи бочком, с вызывающим изломом в теле — одно плечо выше другого, крупный нос воинственно торчит,

— А представь,— сказал Генка,— жалею.

— Вот это уж и вправду страшно.

— Нож в спину... Я — тебе?! Надо же придумать такое. А зачем? Вот вопрос.

Игорь, не меняя неловкой позы, презрительно отмолчался.

— Да все очень просто: на гениальное человек нацелен. Искренне, искренне о себе думаешь: Цезарь, не меньше!

— Тебе мешает, что кто-то высоко о себе...

— Цезарь... А любой Цезарь должен ненавидеть тех, кто в нем сомневается. Голову отрубить, Цезарь, мне не можешь, одно остается — навесить что погаже: такой-сякой, нож в спину готов, берегитесь!

— Ты же ничего плохого за моей спиной обо мне не говорил, дружил и не продавал?

— Да почему, почему сказать о тебе плохо — преступление? Неужели и в самом деле ты думаешь, что тебя в жизни — только тебя одного! — станут лишь хвалить? И никого не будет талантливей тебя, крупней? Ты самый-рассамый, макушка человечества! Да?

— Я себя и богом представить могу. Кому это мешает?

— Тебе, Цезарь! Только тебе! Уже сейчас тебя корчит, что не признают макушкой. А вот если в художественный институт проскочишь, там наверняка посильней тебя, поспособней ребята будут. Наверняка, Цезарь, им и в голову не придет считать тебя макушкой. Как ты это снесешь? Тебе же всюду ножи в спину мерещиться станут. Всюду, всю жизнь! От злобы сгоришь. Будет вместо Цезаря головешка. Ну, разве не жалко тебя?

Генка нависал над Игорем; тот сидел, вывернувшись в неловком изломе, выставив небритый подбородок.

— Ловко, Генка... мстишь... за нож в спину...

— Больно нужно. И незачем. Ты же сам с собою расправишься... Под забором умру... Не знаю, может, и в мягкой постели. Знаю, от чего ты умрешь, Цезарь недоделанный. От злобы!

Игорь коченел в изломе, блуждал глазами.

— Ну, спасибо,— сказал он сипло.

— За что, Цезарь?

— За то, что предупредил. Честное слово, учту.

Генка оскалился:

— Исправишься? Гениальным себя считать перестанешь?

— Хотя бы.

— Давно пора. Какой ты, к черту, Цезарь.

Матовые фонари висели в обложных сияющих облаках листвы, лицо Генки под их сильным, но бесцветным светом, отбрасывающим неверные тени, было бескровно-голубым, кривящиеся губы черными. Изломанно сидящий Игорь перед ним.

— Рад?! — наконец выдохнул Игорь.

Генка сильней скривил рот и ничего не ответил.

— Рад, скотина?!

И Генка оскалился. Тогда Игорь вскочил, задыхаясь, закричал в смеющееся голубое лицо:

— Я же не палачом, не убийцей мечтал!.. Мешаю! Чем! Кому?!

Генка скалил отсвечивающие зубы.

— И ты мечтай! Кто запрещает?! Хоть Цезарем, хоть Наполеоном, хоть Христом-спасителем! Не хочешь! Не можешь! И другие не смей!.. Скотина завистливая!..

Взлохмаченный носатый Игорь, дергаясь, выплясывал перед долговязым Генкой. Тот слушал и скалил зубы.

15

— Дадим себе отчет: о чем мы сейчас мечтаем? Только о том, чтоб лучше готовить учеников? Нет! Готовить лучших людей! Мечтаем усовершенствовать человеческую сущность. А об этом мечтали с незапамятных времен. Можно сказать, мечта рода людского.

Решников хмыкнул:

— Гм!.. Не по Сеньке шапка. Задачка не школьного масштаба.

— Не школьного?.. А разве школа как общественное учреждение — не масштабное явление? Укажите такое место на карте, где бы не было школы. Назовите хоть одного человека, который бы сейчас прошел мимо школы. Кому и заниматься масштабными задачами, как не вездесущей школе с ее миллионной армией учителей.

— Но ты начал с того, что мы не верим сами себе,— напомнила Ольга Олеговна Иннокентию Сергеевичу.

— Не верим потому, что никто из нас не чувствует себя бойцом великой армии, каждый воюет в одиночку. Вот ты, Ольга, завуч школы, много мне можешь помочь?.. Тем более что ты по образованию историк, тогда как я преподаю математику. А много ли помогает мне гороно с его методическим кабинетом? И от областных организаций и от нашего министерства нагоняев — да, жду, требований, приказов — да, но только не помощи! Я боец великой просветительной армии, нас миллионы, но я, как и каждый из этих миллионов, один в поле воин. Один!.. Школа — масштабное явление, но я-то этого никогда не чувствую.

— И кинолентой рассчитываешь объединить нас, одиночек? — спросил с усмешкой Решников.

— Хотя бы! Если кинолента несет в себе знания и опыт лучших учителей.

— Если лучших!.. На практике-то мы часто сталкиваемся с иным. Разве не выпускаются сейчас плохие учебники, почему же не быть плохим учебным кинолентам? У этой песенки два конца.

— Первый паровоз, первый многоверетенный прядильный станок тоже попервоначалу были крайне несовершенными, но вытеснили же они в конце концов ломового извозчика и пряху-надомницу,— спокойно возразил Иннокентий Сергеевич.

— Эге! Ты, вижу, мечтаешь совершить в педагогике промышленную революцию!

— Разумеется. А зачем нужна тогда паровая машина, если она не совершит переворота?

Наступило неловкое молчание.

Иннокентий Сергеевич сидел, расправив плечи, высоко подняв асимметричное лицо,— над измятой, стянутой рубцами скулой жил, настороженно поблескивал светлый глаз.

Ольга Олеговна исподтишка приглядывалась из своего угла: двадцать лет, считай, вместе, а не подозревала, что он, Иннокентий, недоволен школой. Один из самых благополучных учителей. Благополучные тяготятся своим благополучием. Юлия Студёнцева тоже была самой благополучной ученицей в школе.

— Хе-хе,— неожиданно колыхнулся на своем стуле директор Иван Игнатьевич,— чем мы тут занимаемся? В облаках витаем. Мосты воздушные возводим. Хе-хе! Всемирные проблемы, революционные преобразования... А не пора ли нам спуститься на грешную землю, друзья?..

16

Игорь выкричался и потух, отвернулся от Генки — руки в карманах, взлохмаченная голова втянута в плечи, одна нога нервно подергивается. Генка, сведя белесые брови, уже без улыбки, хмуро глядел Игорю в затылок.

Юлечка, не спускавшая с Генки блестящих глаз, снова выдохнула:

— Н-ну, как-кой ты... опасный!

И Генка вскипел:

— Думали, барашек безобидный, хоть стриги, хоть на куски режь — снесу! Я вам не Сократ Онучин!

— Старик!.. За что?..

Генка досадливо повел на Сократа плечом:

— Тебя всего грязью обложи — отряхнешься да песенку проблеешь.

— Он взбесился, фратеры!

Сократ, прижимая к животу гитару, подавленно оглядывался.

— Что я ему плохого сделал, фратеры?

Игорь Проухов изучал землю и подергивал коленом.

Напружиненно поднялась Натка — вскинутая голова, покатые плечи.

— С меня хватит. Я пошла.

И Генка рванулся к ней:

— Нет, стой! Не уйдешь!

Она надменно повела подбородком в его сторону:

— Силой удержишь?

— И силой!

— Ну, попробуй.

— Бежишь! Боишься! Знаешь, о чем рассказывать буду?

Натка ужаленно развернулась:

— Не смей!

— Ха-ха! Я же трус, не посмею — побоюсь.

— Генка, не надо.

— Ха-ха! Мне хочется — и что ты тут сделаешь?!

— Генка, я прошу...

— Ага, просишь, а раньше?... Раньше-то пинала — трус, размазня!

— Прошу, слышишь?

— А ты на колени встань — может, пожалею.

— Совсем свихнулся!

— Да! Да! Свихнулся! Но не сейчас, чуть раньше, когда ты меня. Ты! Хуже всех! Злей всех! Всех обидней!

— Очнись, сумасшедший!

— Очнулся! Всю жизнь, как во сне, прожил — дружил, любил, уважал. Теперь очнулся!.. Слушайте... Ничего особенного — картинка с натуры, моментальный снимочек...

— Не-го-дяй!

— Негодяй. Да. Особенно перед тобой. Я же почти два года в твою сторону дышать боялся. Если ты в классе появлялась, я еще не видел тебя, а уже вздрагивал. Негодяй и трус — верно! Даже когда издали на тебя глядел, от страха обмирал, но глядел, глядел... Как ты голову склоняешь, как ты плечом поведешь... Я, негодяй, смел думать, что лучше — ничего, чище — ничего на всем, на всем свете! И ты меня, негодяя, мордой за это, мордой! И вправду, чего тебе жалеть меня.

— Гена-а...— дрогнувшим голосом. Натка вдруг вся обмякла, словно из нее вынули пружину.— Пошли отсюда. Слышишь, вместе... Хватит, Гена.

— Ага, будь послушненьким, чтоб потом снова всем: трус, жалок, хоть в какой узелок свяжу... Нет, Натка, теперь не обма-

нешь, ты с головой себя выдала. Красивая, а душа-то змеиная! Как раньше любил, так теперь ненавижу! И лицо твое и тело твое, которое ты мне...

— За-мол-чи!!!

— Злись! Злись! Кричи. Мне даже поиграть с тобой хочется... в кошки-мышки... Ну, не буду играть, лучше сразу... Слушайте: это недавно было, после экзаменов по математике...

— Прошу же! Прошу!

— ...Пошел я на реку, и, конечно, я, негодяй, шел по бережку и думал... о ней. Я же всегда о ней думал: каждую минуту, как проснусь, так и думаю, думаю, раскисаю... Значит, иду и думаю. И вдруг...

— Последний раз, Генка! Пожалеешь!

— Смотрите, снова напугать хочет. Как страшно!.. И вдруг вижу в воде у самого бережка — она...

— Рассказывай! Рассказывай! Весели! Давай! — закричала Натка, и ее крик отозвался где-то в глубине ночи смятенно-суматошным «вай! вай! вай!».

— Купается... Из воды только плечи и голова. Меня-то она раньше заметила — смеется...

— Давай! Давай! Не стесняйся!

— Вай! вай! айся! — отозвалась ночь.

— Я же не ждал, я только думал о ней. А потом — я трус... Встал я столбом и рот раскрыл, как дурак — ни туда ни сюда, «здравствуй» сказать не могу...

— О-о-о! — застонала Натка.

— А она знай себе смеется: уходи, говорит, я голая...

Натка всхлипнула и схватилась руками за горло — изломанные брови, растянутый гримасой рот, преобразившаяся разом, судорожно-некрасивая.

— Голая... Это она-то, на которую издалека взглянуть страшно. Уходи!.. Кто другой — не трус, не жалкий слюнтяй — может, ближе бы подошел, тары-бары, стал бы заигрывать. А я не мог. И как тут не послушаться: уходи. На улице издалека увижу — вся улица сразу меняется. И я... я задом, задом да за кусты. Там, за кустами, встал, дух перевел и честно отвернулся, чтоб нечаянно как-нибудь, чтоб, значит, взглядом нехорошим... Но уши-то не заткнешь, слышу: вода заплескалась, трава зашуршала,— значит, вышла из воды... И рядом же, пять шагов до кустика. Она! И холодно мне и жарко...

Натка медленно опустила от горла руку, низко-низко склонила голову — плечи обвалились, спина сгорбилась.

— Шевелилась она, шевелилась за кустом, и вот... вот слышу: «Оглянись!» Да-а...

Натка горбилась и каменела, лица не видно, только гладко расчесанные на пробор волосы.

— Да-а... Я оглянулся. Я думал, что она уже оделась... А она... Она как есть... Я и в одежде-то на нее... А, черт! Об одном талдычу — ясно же!.. Она вся передо мной, даже волосы назад откинула. И небо синее-синее, и вода в реке черная-черная, и кусты, и трава, и солнце... Она, мокрая, белая,— ослепнуть! Плечи разведены, и все распахнуто — любуйся! И зубов полон рот, смеется, спрашивает: «Хороша я?»

— Мразь! — дыханием сквозь зубы.

— Сейчас, может быть. Сейчас! Но не был мразью! Нет! Глядел. Конечно, глядел! И захотел бы, да не смог глаз оторвать. И шевельнуться не мог. И оглох. И ослеп совсем... Солнце тебя всю, до самых тайных складочек... Горишь вся сильней солнца, босые ноги на траве, руки вниз брошены, платье скомканное рядом, и улыбаешься... зубы... «Хватит. Уходи». То есть хорошего понемножку... И я послушался. А мог ли?.. Тебя!.. Тебя не послушаться, когда ты такая. Мог ли!.. А теперь-то понимаю: ты хотела, чтоб не послушался. Хотела, теперь-то знаю.

— Мразь! Недоумок!

— Опять ошибочка. Тогда — да, недоумок, тогда, не сейчас. Сейчас поумнел, все понял, когда ты меня трусом да еще жалким назвала. Мог ли я думать, что ты не богиня, нет... Ты просто самка, которая ждет, чтоб на нее кинулись...

Натка натужно распрямилась — лицо каменное, брови в изломе.

Вместо нее откликнулась Юля Студёнцева:

— Господи! Как-кой ты безобразный, Генка! — В голосе брезгливый ужас.

— По-самочьи обиделась, свела сейчас счеты: трус, мол, а почему — не скажу... Это не безобразно? Ну, так мне-то зачем в долгу оставаться? Да и в самом деле теперь себя кретином считаю: такой случай, дурак, упустил!.. До сих пор в глазах стоишь... Груди у тебя в стороны торчат, а какие бедра!

И Натка вырвалась из окаменелости, большая, гибкая, метнулась на Генку, вцепилась ногтями, крашенными к выпускному празднику, в лицо.

— Подлец! Подлец! Подлец!!!

Голова Генки моталась из стороны в сторону. Наконец он перехватил руки, секунду сжимал их, дико таращась в Наткины брови, на его щеках и переносье проступали темные полосы — следы ногтей.

— Тьфу!

Натка плюнула в его исцарапанное лицо. Генка с силой толкнул ее на скамью. Испуганно взвизгнула подмятая Вера Жерих.

Задев плечом не успевшего откачнуться Игоря, Генка кинулся к обрыву.



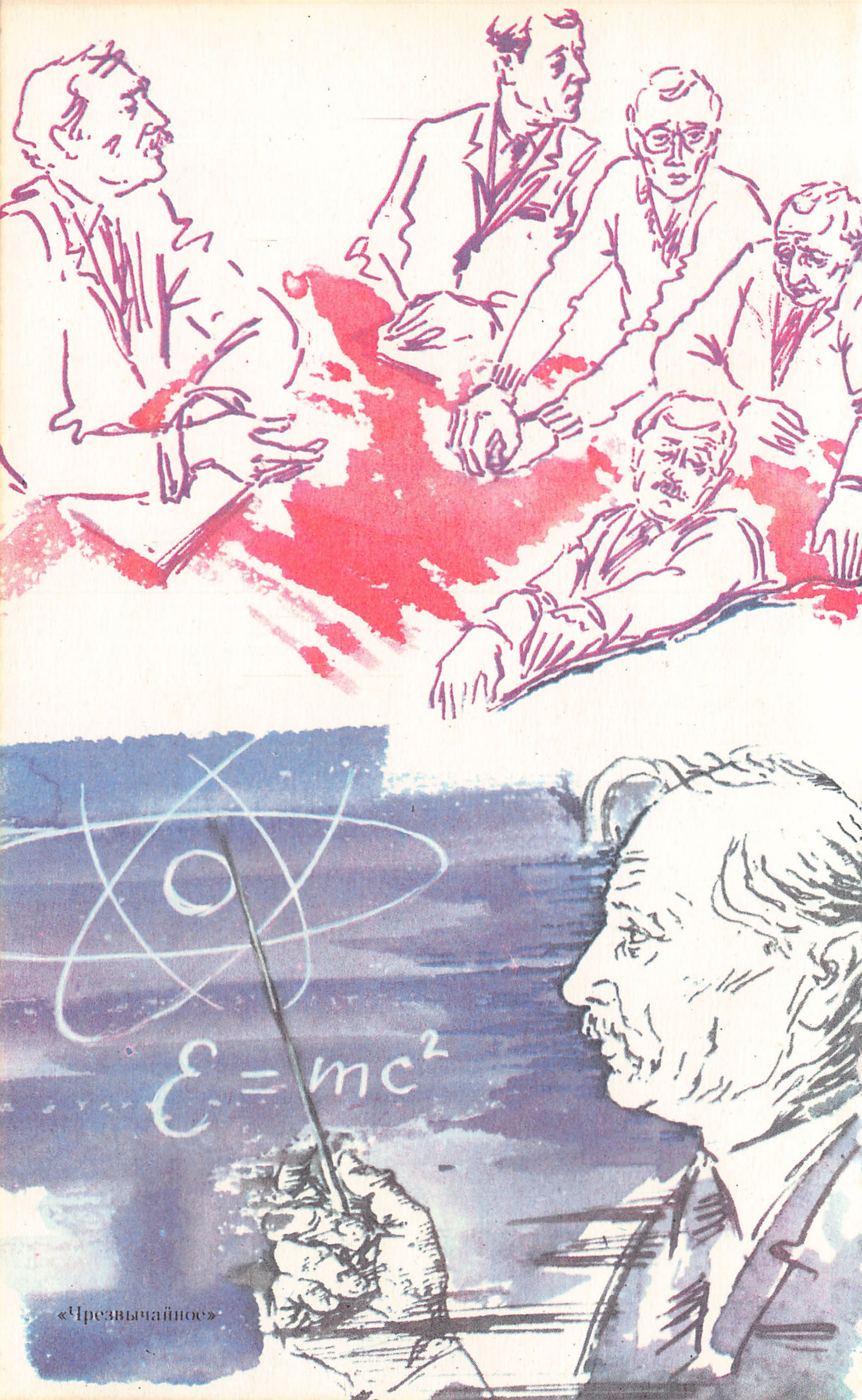
«Чудотворная»











«Чрезвычайное»





«Весенние перевертыши»








«Расплата»





«Ночь после выпуска»





С откоса из темноты долго был слышен бестолковый шум суматошных шагов.

Плотная, плоская ночь — как стена, как конец всего мира. Ночь пахла речной илистой сыростью.

17

Повернувшись в сторону бесстрастно-сумрачного учителя математики пухлой грудью, красным лицом, возбужденный, весело недоумевающий, Иван Игнатьевич всплескивал большими руками, сыпал захлебывающейся скороговорочкой:

— Иннокентий Сергеевич! Как же вы — вы! — на маниловщину сорвались? Лапушка Манилов мосты до Петербурга мысленно строил, вы же мечтаете: хорошо бы деткам нашим увлекательные учебные картинки показывать, знания по самому высокому стандарту без труда выдавать. Если б это говорили не вы, а кто-нибудь из молодых педагогов, хотя бы наш новый географ Евгений Викторович, вчерашний студент, я бы нисколько не удивился. Но вы-то человек трезвый, разумный, многими годами на деле проверенный, и нате вам — в миражи ударились!

— В миражи? — Иннокентий Сергеевич оборвал веселую директорскую скороговорку.— А рассчитывать, что можно поправить нашу педагогику кустарным способом, мотыжа в одиночку свой садик,— не вера в миражи?

— Мой садик — сугубая реальность,— сухо бросил со стороны Решников,— а твои упования, согласись, из области фантазии.

— Не такая уж фантазия — показ учебных фильмов. Мы и сейчас уже их время от времени показываем,— напомнил Иннокентий Сергеевич.

— Но пока революцию они нам не делают. Не-ет! — снова обрушился Иван Игнатьевич.— Революция-то случится — если случится еще! — когда специальные киностудии по всей стране станут выпускать не единицами, а тысячами такие фильмы. От нас сие не зависит, значит, нам ждать прикажете: кто-то когда-то сверху революцию сотворит. А до тех пор нам сложа ручки сидеть, Иннокентий Сергеевич, дорогой? Дети-то не смогут ждать этой высокой революции, они к нам стучаться будут: принимайте, учите, воспитывайте, мы растем, развития требуем.

— Ну что ж, будем по старинке-матушке — каждый в своем закутке, в одиночку...

— Да нет, нет! Не получается у нас в одиночку! Да оглянитесь, как живем — трясем друг друга, на ковер бросаем. Вон сейчас Ольга Олеговна Зою Владимировну бросила на лопатки, Павел Павлович — Ольгу Олеговну, вы, Иннокентий Сергеевич,—

Павла Павловича, я вот вас пробую положить. И это называется жить в одиночку? Где уж...

— Бросаем на ковер, а результат? — резко спросила Ольга Олеговна из своего угла.

— А разве мы в таких битвах не добивались результатов? Вспомните, какой была наша школа семь лет тому назад. Нас тогда душили: даешь высокий показатель, и баста?! Отметки приходилось завышать, полных балбесов боялись на второй год оставить, до отчаянья доходили — думалось, рассадником невежества школа станет. И сходились вот так, и на ковер друг друга швыряли, и сплачивались, и разваливались, снова сплачивались, пока не победили. Теперь не показатели, а какие-никакие, но твердые знания даем. Результат это? Да! Но и этого, оказывается, мало — надели́ ученика, кроме знаний, еще высокими личными качествами! Вот сейчас у нас первая битва прошла, маленькая, так сказать, примерочная и пока безрезультатная. Сколько их будет, этих битв? Не знаю. Скоро ли поймаем за кончик хвоста желаемый результат? Тоже не знаю. Но убежден в одном: рано ли, поздно — чего-то добьемся. Тянем-потянем — и вытянем репку. Сами! Не ожидая, что кто-то нам руку протянет.

— Завидный у вас характер, Иван Игнатьевич,— произнесла Ольга Олеговна, подымаясь с места.

— Тренированный, Ольга Олеговна, тренированный. Вам-то известно, что меня чаще других на ковер бросают. Привычка выработалась духом не падать... Есть предложение: кончить на сегодня нашу вольную борьбу, разойтись по домам. Время-то позднее.

18

На скамье под освещенными липами металась Натка, каталась лбом по деревянной спинке:

— Он!.. Он!.. Я же его любя, а он!.. Са́м-кой! О-о-о!..

Вера Жерих топталась над ней:

— Наточка, он же не только тебя, он всех... И меня тоже... А я, видишь, ничего...

— Перед всеми!.. Зачем?! Зачем?! И все вывернул!.. Не было, не было у меня тогда в мыслях дурного! Он: сам-ка!.. Под-лец!

Игорь нервно ворошил свою взлохмаченную шевелюру, ходил, как маятник, от одного конца скамьи до другого, слепо натыкаясь на Сократа, прижимающего к животу гитару, на Юлечку Студёнцеву, вобравшую голову в кисейные плечики.

— Лучше бы убил меня, чем так!.. Лучше! Честней!

— Наточка, он же всех...

Сократ, не спускавший глаз с Натки, задумчиво спросил:

— А меня-то он за что? А?..

Никто ему не ответил, каталась лбом по твердой спинке скамьи Натка.

— Как-кой он! — Юлечка вся передернулась — от белых бантов в косичках до щиколоток.

— Лучше бы убил!

Игорь внезапно остановился, развернулся всем телом, уставил твердый нос на бьющуюся в истерике Натку.

— Он и есть убийца,— заговорил Игорь.— Только бескровный. Такие вот высмотрят в человеке самое дорогое, без чего жить нельзя, и...

— Как-кой он безобразный!

— Нен-на-в-ви-жу! Нен-на-в-ви-жу! — металась Натка.

— Разве не все равно, каким путем убить жизнь — ножом, ядом или подлым словом. Без жалости подлец! И ловко, ловко!..

— Меня-то он за что? Я, фратеры, даже спас его. Яшка Топор подстраивал, я шепнул Генке...— Сократ, как младенца, укачивал гитару.

— У всех нашел самое незащищенное, самое дорогое — и без жалости, без жалости!.. Всех, и даже Натку...

Натка перестала метаться, припав лбом к спинке скамьи, замерла, согнувшись.

Юлечка снова передернулась:

— Как-кой он, однако... Бесстыдный!

— Фратеры, а ведь Яшка Топор снова его стережет,— объявил негромко Сократ.

— Два сапога — пара,— процедил сквозь зубы Игорь.

Натка оторвалась лбом от спинки скамьи, упираясь рукой, с усилием распрямилась — выбившиеся волосы падают на глаза, нос распух, губы вялые, бесформенные.

— Я сегодня такое узнал, фратеры... Не хотел говорить Генке сразу, думал — праздник испорчу. Хотел шепнуть, когда домой пойдем.

Игорь с досадой передернул плечами:

— Какое нам до них дело!

— Мне — дело! — произнесла Натка.

У нее отвердело лицо, губы сжались, под упавшими волосами скрытно тлели глаза.

— Мне — дело! — повторила она громче, с гневным звоном в голосе.

— А-а, ну их! Пусть перегрызутся.— Игорь неприязненно отвернулся в сторону обрыва.

— И тебе есть дело! — Спрятанные за упавшими волосами Наткины глаза враждебно ощупывали Игоря.

Игорь не ответил, упрямо смотрел в сторону,

— Убийца же — сам сказал. Убийцу наказывают. А ты можешь?..

— При случае припомню.

— Не ври! Кишка у тебя тонка. А вот Яшка Топор может...

— Не хочешь ли, чтоб я помогал Яшке?

— Яшка сам справится, лишь бы не помешали.

— Ну и пусть справляется. Плевать. Для меня теперь Генка чужой.

Под спутанными волосами — враждебные глаза. Обернувшийся на Натку Игорь невольно поежился. Натка спросила:

— Вдруг кто из нас захочет помешать Яшке, как ты тогда?

— Никак. Мне-то что.

— Врешь!.. Врешь!.. Нен-на-виж-жу! И ты нен-нави-дишь!

— Да чего ты от меня хочешь?

— Хочу, чтобы Яшке не помешали! По старой дружбе, из жалости или просто так, из благородства сопливого. Хочу, чтоб все слово друг другу дали. Сейчас! Не сходя с места! От тебя первого хочу это слово услышать!

— Лично я ни Яшке, ни Генке помогать не собираюсь.

— Даешь слово?

— Пожалуйста, если так тебе нужно.

— Даешь или нет?

— Да слышала же: у нас с Генкой все кончено, с какой стати мне к нему бежать.

Натка минуту вглядывалась в Игоря недружелюбно мерцающими из-под упавших волос глазами, медленно повернулась к Сократу:

— А ты?.. Ты хотел шепнуть?.. Снова не захочешь?

— Я как все, фратеры. Генка и меня... ни за что ни про что.

Натка подалась к Вере:

— А ты?

— Что, Наточка?

— Что-что! Не понесешь завтра на хвосте?

— Но Яшка, Наточка... Он же зверь.

— И верно, фратеры, Яшка на этот раз шутить не будет... Он страшненькое готовит.

И Натка вскипела:

— Уже сейчас раскисли! А завтра и совсем... Разжалобимся, перепугаемся, вспомним, что Яшка злой, Яшка страшненький, и — простим, простим, спасать наперегонки кинемся! Нен-на-виж-жу! Всех буду ненавидеть!

— Мое дело предупредить, фратеры. А там решайте. Как все, так и я. Мне-то зачем стараться перед Генкой.

— Ну, Верка?

— Наточка, если уж все...

— И все-таки жаль?

— Противен он мне.

— Даешь слово, что ни завтра, ни послезавтра — никогда не проговоришься?

— Да... даю.

Натка развернулась к Юлечке:

— Ты?

Юлечка, подняв кисейные плечики, стояла с прижатыми к груди кулачками, бледная, с заострившимся носом, с губами, сведенными в ниточку.

— Что тянешь? Отвечай!

— А если Яшка покалечит... или убьет?

— Если б Яшка звал Генку в карты играть, то и разговора бы не было.

— Даже если убьет?..

Натка медленно-медленно поднялась со скамьи, раскосмаченная, с упрятанными глазами, распухшим носом, искривленным ртом, шагнула на Юлечку:

— Жалеть прикажешь? Мне — его? Весь город завтра узнает, пальцами показывать станут: сук-ка!.. Мне жить нельзя, а ему можно? Да я бы его своими руками!.. Нен-на-виж-жу! Не смей. Не смей дорогу перебегать! Только шепни... Мне терять нечего!

Натка кричала, напирала грудью на побледневшую до голубизны, сжимавшую на груди маленькие кулачки Юлечку.

Игорь не выдержал, сердито крикнул:

— Хватит! О чем мы: Яшка, Генка... Да в первый раз такой треп слышим? Кто-то сболтнул, Сократ услышал, а мы заплясали. Ничего не случится, вот увидите — звон один.

— Нет, фратеры, не звон.— Узкое лицо Сократа вытянуто, голос приглушен, руки, держащие гитару, беспокойны.— Точные сведения, верьте слову.

— Кто тебе накапал? Не темни.

— Скажу. Только — могила. Если Яшка дознается, был Сократ Онучин — и нет его. Я не Генка, Яшке меня — раз чихнуть.

— Да кому нужно Яшке на тебя капать! Здесь Яшкиных приятелей нет. Выкладывай.

— Пашку Чернявого из Индии знаете?

— Это ты там всех знаешь, мы к ним в гости не ходим.

— Маленький такой, рожа в веснушках, волосы белесые. Потому и прозвали Чернявым, что совсем на чернявого не похож. Он у меня, фратеры, уроки берет... по классу гитары. Так вот он мне под страшным секретом... Из верных рук, фратеры, из верных, верьте слову.

— Что сказал тебе Чернявый?

— Генка гоняет на велосипеде по Улыбинскому шоссе. Так?

— Ну, так.
— А шоссе мимо чего идет, помните?
— Шоссе длинное.
— Мимо Старых Карьеров, фратеры. Вот когда Генка мимо Карьеров погонит, этот Пашка Чернявый и выскочит...
— Один? На Генку?
— Ты слушай... Будет Пашка в рваной рубахе и портрет в крови. Специально разукрасят. Значит, выскочит он таким красивым и закричит: «Помогите! Убивают!» Ну, а Генка мимо проскочит, не остановится? Нет уж, сами знаете, козлом поскачет, куда укажут. «Помогите!» Чего ему не помочь, когда самбо в руках. Но в Карьерах-то его и встретят... Яшка с кодлой. В прошлый раз Генка Яшку красиво приложил. Теперь Яшка все учтет. Так что, ой, мама, не жди меня обратно — самбо не поможет.

19

Уже зашевелились, чтоб подняться, проститься, разойтись по домам, закончить затянувшийся вечер, а вместе с ним и очередной учебный год. Обычный год, напряженно-трудный, принесший под занавес нежданное огорчение.

Но тут все увидели, что Нина Семеновна, забыто сидевшая в стороне, собранным в комочек платочком промокает слезы с наведенных ресниц — плачет втихомолку.

— Что с вами, Нина Семеновна?
— Да так, ничего.

Ольга Олеговна устало опустилась рядом с Ниной Семеновной:

— Сегодня нам всем не по себе...

Нина Семеновна, комкая платочек, прерывисто вздохнула:

— Все о Юлечке думаю, и вот стало так жаль...

Директор Иван Игнатьевич укоризненно покачал головой:

— Бросьте-ка, бросьте! Юлию Студёнцеву жалко. Не страдайте за нее. Девица настойчивая, сами знаете, свое возьмет.

— Да мне не ее, а себя...— Нина Семеновна выдавила виноватую улыбку.

Ольга Олеговна заглянула под ее опущенные ресницы:

— О ней думаете — себя жаль?

— Я же на Юлечку надеялась очень. Да, все эти годы... Глупость, конечно, но мечтала: открою утром газету, а там ее имя, включу вечером телевизор — о ней говорят... Нет, нет, не слава мне была нужна! Есть люди, необходимость которых очевидна: они время несут на своих плечах. Можно ли, скажем, наступление нашего двадцатого века представить без Марии Кю-

ри... Думалось, вдруг да Юлечка... А я-то ее у порога школы встретила. От меня значительный человек через времена двинулся, как большая Волга от маленького источника. И вот сегодня... Сегодня я поняла: не случится. Да, да, вы правы, Иван Игнатьевич, за Юлечку беспокоиться нечего — свое возьмет. Но только свое, а на меня-то уже не хватит. Наверное, будет толковым инженером или врачом, каких много. А значит, я не исключительной удачи учитель, нет... таких много. Право, стыдно даже, какие глупости говорю, но настроила себя, чуть ли не все десять лет настраивала и ждала: будет, будет у меня сверхудача! Теперь вот поняла и до слез... Не смейтесь, пожалуйста.

Все молчали, рассеянно глядели каждый в свою сторону.

— Молоды вы еще, очень молоды! — вздохнул Иван Игнатьевич.— Кто из нас в молодости не мечтал великана в мир выпустить из своих рук!

— И, как правило, взмывали не те, от кого ждешь полета,— с горечью проговорила Ольга Олеговна.— Никто из нас не отличал особо Эрика Лобанова, а нынче профессор, и уже известный.

— Но это...— Нина Семеновна даже задохнулась от волнения,— это же доказательство нашей близорукости — не разглядеть в человеке, чем он значителен. Так можно и гения просмотреть!

Наверное, впервые за весь вечер Ольга Олеговна улыбнулась, покачала головой, увенчанной тяжелой прической:

— Мы не провидцы — обычные люди. Самые обычные. Предвидеть гения, тем более научить гениальному,— нет, нам не по силам. Научить бы самому простому, банальному из банального, тому, что повторялось из поколения в поколение, что вошло во все расхожие прописи — вроде: уважай достоинство ближнего, возмущайся насилием... Собственно, научить бы одному: не обижайте друг друга, люди.

— Научить?! — воскликнула Нина Семеновна.— Кого? Юлечку! Гену Голикова! Игоря Проухова! Они все, все еще в детстве были удивительно отзывчивы на доброту. С самого начала, еще до школы, все добры от природы. И уж если они станут обижать друг друга, то тогда... Тогда останется только одно — повеситься на первом же гвозде от отчаяния.

Иннокентий Сергеевич повернул к свету изрытую сторону лица, тронул свой страшный шрам.

— Не исключено, что вот это украшение подарил мне вовсе не злой от природы человек. И я должен был каких-то детей оставить сиротами, не ведая озлобления.

И Нина Семеновна с испугом отвела глаза, с жаром проговорила:

— Я готова каждый день повторять: господи, дай мне силы

отдать жизнь тем, кого учу! Господи, не обмани меня, сделай их всех счастливыми!

— Стоит ли молиться! — отозвалась Ольга Олеговна.— Мы и без молитв делаем это — отдаем жизнь.

— Вот именно. И Зоя Владимировна тоже,— напомнил Иван Игнатьевич.

Ольга Олеговна встала, засмотрелась в темное распахнутое окно, за которым лежала притихшая улица.

— Мальчики и девочки, мальчики и девочки, как вы еще зелены! Нет, не готовы к жизни...— Помолчала и, не отрываясь от окна, спросила: — Интересно бы послушать, что они сейчас говорят о своем будущем?

— Пусть поют и веселятся. Думать о будущем им предстоит завтра.

Учителя задвигали стульями, стали подыматься.

20

Фонари освещали уголок сквера под липами — пять человек и пустая скамья. Сократ замолчал.

Юлечка, выставив на Натку острый подбородок, спросила:

— Слышала?

— Слышала! — Ответ с вызовом.— Ну и что? Я ненавижу его! Раньше любила. Открыто говорю: лю-би-ла! Теперь нен-навижу! Не прощу!

— Щу! — отозвалось в ночи.

— Мне даже кошку жаль, когда ее бьют и калечат. Тут человек.

— Пусть каждый как хочет, Натка,— вступился Игорь.

— Опять заело у тебя, Иисусик. Убийцей же его называл, теперь простить готов. Трепач ты!

— Яшке помогать — не жди, не буду!

— Так помогай Генке! А сам говорил: они друг друга стоят, два сапога...

— Я к Генке не побегу, но других за руку хватать не стану.

— А я...— Юлечка задохнулась.— Я и Яшку бы... Да! Предупредила, если б кто-то убивать его собирался.

— Побежишь? Скажешь? Только попробуй!

— А что ты со мной сделаешь? За волосы удержишь?

— Попробуй... Все попробуйте! Только заикнитесь!

— Игорь! Ты слышишь? Игорь! Ты хочешь художником... Наверно, радовать людей хочешь. Наверно, думаешь: посмотрят люди твои картины — и добрей станут. Разве не так, Игорь? Добрей! А сам сейчас... Пусть бьют человека, пусть калечат,

даже убить могут — тебе плевать. Сам не пойду, других держать не буду, моя хата с краю... Игорь! Пойдем к Генке вместе!

Прижимая ладошки к груди, натянуто-хрупкая, дрожащая, Юлечка тянулась к Игорю, на выбеленном лице просяще горели темные глаза. Игорь морщился и отводил взгляд.

— Черт! Ты думаешь, он шевельнул бы пальцем, если б нас Яшка...

— Стари-ик! — слабо изумился Сократ.— Надо быть честным, старик! Генка за нас всегда... Даже за незнакомых на улице... И ты знаешь, как он Яшку приложил.

— То раньше... Раньше он за меня готов черту рога сломать. А вот теперь... сомневаюсь.

— Тут что-то не то, фратеры. Раньше — не сомневаюсь. Значит, хорош был раньше, а на него накинулись. Зачем? Что-то не то...

— А кто накинулся? Кто?! — с отчаяньем закричал Игорь.— Я на него? Ты не слышал, как я говорил ему: не будем, не надо, кончим! Нет! Сам, сам напрашивался! Угрожал еще — не жди, не пожалею! А что ему сказали? Да то, что было. А он про нас понес что? Про каждого! На меня, как на врага. И на тебя тоже, хотя ты ни слова плохого о нем... Все ему вдруг враги. И нас, врагов, ему любить и защищать? Да смешно думать. Ну, а мне-то зачем врага спасать? Он мне теперь чужой, посторонний!

Сократ тоскливо промолчал, мигал красными веками, оглаживал гитару.

Юлечка снова подалась на Игоря:

— Пусть он плохой, Игорь. Пусть чужой. Но не кошку — человека... собираются бить!

И снова Игорь сморщился, влез пятерней в растрепанные волосы.

— Ч-черт! Что же делать? Он мне в душу плюнул, а я к нему на полусогнутых...

Натка, каменея губами и скулами, слушала.

— Ну, поговорили? — сказала она резко.— Хватит! Теперь я скажу. Попробуйте помешать Яшке. Только заикнитесь! Пеняйте на себя. Тогда я сама к Яшке пойду, тогда я скажу ему, кто помешал...

Рука Сократа задела за струны, и гитара издала густой, тающий звук.

— Ага! Поняли: Яшка не простит, вместо Генки вас... разукрасит.

— Наточка! — всхлипнула Вера.

— Плоха? Мне теперь на все плевать! Хуже уже не стану. Натка возвышалась со вскинутой головой, с гневливым мерцанием за упавшими на лицо волосами.

— Фратеры-ы...— тоскливо выдавил Сократ.

Игорь, не подымая глаз, сутулился — казалось, стал меньше ростом. У Юлечки торчит вперед острый подбородок, глаза остановились, утратили блеск.

— Фратеры-ы!.. Яшка меня первого...

— Иди! — с высоты своего роста кинула Натка Юлечке.— За волосы держать — больно нужно.

И Юлечка, не спуская с Натки остановившихся глаз, тихо произнесла:

— Пойду.

— Юлька! — заволновался Сократ.— Ты Яшку не знаешь, Юлька! Он любого!.. И меня и тебя... Он не посмотрит, Юлька, что ты девчонка.

— Одна пойду. Донеси Яшке...

Сократ поводил зябко плечами, суетливо топтался:

— Игорь! Старик! Скажи ей, дуре... Ты-то знаешь, какой он, Яшка. Она и себя и всех нас... Меня Яшка первого... Ему убить — раз плюнуть.

— Слышишь, Игорь,— раз плюнуть. Так помогите Яшке — он без тебя не справится!

Игорь дрожащей рукой провел по лицу:

— Да ну вас всех к черту.— Вяло, без энергии: — С ума посходили...— И вдруг вскинулся на Сократа: — Ты что голову тут морочишь? Страшен! Страшен! Убить — раз плюнуть. Да никого он не убьет — ни Генку, ни тебя. Что он, без головы, что он, не понимает: за такое ему вышку врежут. Ну, проучит Генку, если тот сам им раньше руки не переломает.

— Нет, фратеры! Нет! — задохнулся Сократ.

— Он пугает, Юлька. Ничего не случится, цел Генка останется.

— А если случится, тогда что?

— Да Яшка же знает: чуть что — его первого щупать станут. Кому своей головы не жаль.

— Игорь, ты не трясись. Ведь я уже не зову тебя. Я одна все сделаю. Сам не трясись и Сократа успокой — вон как он от страха выплясывает.

— Юль-ка-а...— Сократ заговорил сдавленным шепотом.— Ты сообрази, Юлька, почему Яшка Карьеры выбрал. Думаешь: место глухое, потому... Глухих мест без Карьеров много. А в Старых Карьерах захоронения есть. Слышала: туда из комбината всякую ядовитую пакость свозят. Яшка все продумал, фратеры: стукнут они Генку — и... в яму, за табличку, где череп с косточками, куда даже подходить запрещено. Хватятся — человек пропал, где его искать? Сперва же по реке да по кустам шарить будут. Пока шарашатся, глядишь, яму заполнят, цементом зальют, землей сверху закидают. Захоронения же! А там, говорят, какие-то

страшные кислоты, они все разъедают — и мясо и кости. Был человек, да растаял, ничего-шеньки от него не осталось. Яшка может каждого так...

Захлебывающийся шепот Сократа оборвался.

Не раз в эту ночь наступали тихие паузы, но такой тишины еще не обрушивалось. Далеко-далеко гудело шоссе, связывающее город с не засыпающим на ночь комбинатом. Сам город спал, разбросав в разные стороны прямые строки уличных фонарей.

И сияла над головой застывшая листва лип, и высился обелиск павшим воинам, и дышала ночь речными запахами.

Генка Голиков... Он только что стоял здесь — белая накрахмаленная сорочка, облегающая широкую грудь, темный галстук, крепкая шея, волосы светлой волной со лба. Обиженный Генка, обидевший других! Рост сто девяносто, лепное лицо, крутой лоб, белесые брови, волосы светлой волной... И в запретном месте, заполненные ядовито-зловонными, разъедающими все живое отходами ямы. Для Генки. Генка Голиков — и ямы...

Тихо-тихо кругом, гудит далекое шоссе, спит украшенный огнями город, ночь дышит речной сыростью.

Слово «убить» было произнесено раньше. И не раз. Но до этой тихой минуты никто из вчерашних школьников не в силах был представить себе, что, собственно, это такое.

Теперь вдруг представили. Через несовместимое: Генка — и ямы...

21

Ольга Олеговна и директор Иван Игнатьевич шли по спящему городу. Иван Игнатьевич говорил:

— Мы вот в общих чертах путались, а я все время думал о сыне. Да, да, об Алешке... Вы же знаете, он не попал в институт. И глупо как-то. Готовился, и настойчиво, на химико-технологический, а срезался-то на русском языке — в сочинении насадил ошибок. Пошел в армию... Нет, нет, я вовсе не против армии, мне даже хотелось, чтоб парень понюхал воинской дисциплины, пожил в коллективе, чтоб с него содрали инфантильную семейную корочку. Не армия меня испугала, а сам Алешка. Собирался стать химиком, никогда не мечтал о воинской службе, но спокойно, даже, скажу, с облегчением встретил решение, сложившееся само собою, помимо него. Армия-то его устраивает потому только, что там не надо заботиться о себе: по команде подымают, по команде кормят, учат, укладывают спать. Каждый твой шаг размечен, записан, в уставы внесен — надежно. Что это, Ольга Олеговна,— отсутствие воли, характера? Не скажу,

чтоб он был, право, совсем безвольным. Он как-то взял приз по лыжам. Не просто взял, а хотел взять, готовился с упорством, нацеленно, волево. А характер... Гм! Да сколько угодно. Что-что, а это уж мы в семье чувствовали. Но вот что я замечал, Ольга Олеговна, он слишком часто употреблял слова «ребята сказали... все говорят... все так делают». Все носят длинные волосы на загривке — и мне надо, все употребляют словечко «пахан» вместо «отец» — и я это делаю, все берут призы по спортивных соревнованиям — и мне не след отставать: покажу, что не хуже других, волю проявлю, настойчивость. Как все... Так даже не легче жить! Отнюдь! Надо тянуться за другими, а сколько сил на это уходит. Не легче, но гораздо проще. Легкость и простота — вещи неравнозначные. Проще существовать по руководящей команде, но, право же, необязательно легче.

Ольга Олеговна остановилась.

— Как все — проще жить? — переспросила она.

Остановился и Иван Игнатьевич.

Над ними сиял фонарь — пуста улица, темны громоздящиеся одно над другим по отвесной стене окна, спал город.

— Да ведь мы все понемногу этим грешим,— виновато проговорил Иван Игнатьевич.— Кто из нас не подлаживается: как все, так и я.

— А вам не пришло в голову, что люди из породы «как все, так и я» непременно примут враждебно новых Коперников и Галилеев потому только, что те утверждают не так, как все видят и думают? К Коперникам — враждебно, к заурядностям — доверчиво.

— М-да. Недаром говорится в народе: простота хуже воровства.

— Воровства ли? Не простаки ли становились той страшной силой, которая выплескивала наверх гитлеров? «Германия — превыше всего!» — просто и ясно, объяснений не требует, щекочет самолюбие. И простак славит Гитлера!

— М-да. Но к чему вы ведете? Никак не уловлю.

— К тому, что мы поразительно слепы!

— А именно?

— Целый вечер спорили — дым коромыслом. И на что только не замахивались: обучение и увлечение, равнодушие и преступность, ремесленничество и техническая революция. А одного не заметили...

— Чего же?

— На наших глазах сегодня родилась личность! Событие знаменательное!

— М-да... Но, позвольте, все кругом личности — вы, я, первый встречный, если б такой появился сейчас на улице.

— Все?.. Но вы, Иван Игнатьевич, сами только что сказали:

кто из нас не грешит — как все, так и я, под общую сурдинку. Смазанные и сглаженные личности — помилуйте! — не нелепость ли? Вроде сухой воды, зыбкой тверди, лучезарного мрака. Личность всегда исключительна, нечто противоположное «как все».

— Если вы о Студёнцевой, так она и прежде была исключительна, не отымешь.

— Она отличалась от остальных только тем, что это «как все» удавалось ей лучше других. И вдруг взрыв: не как все — себя выразила, не устрашилась! Событие, граничащее с чудом, Иван Игнатьевич.

— Ну, уж и чудо. Зачем преувеличивать?

— Если и считать что-то чудом, то только рождение. Родилась на наших глазах новая, ни на кого не похожая человеческая личность. Не заметили!

— Как же не заметили, когда весь вечер ее обсуждали.

— Заметили лишь ее упреки в наш адрес, о них говорили, их обсасывали — и ни слова изумления, ни радости.

— Изумляться куда ни шло, ну, а радоваться-то нам чему?

— Нешаблонный, независимо мыслящий человек — разве не отрадное явление, Иван Игнатьевич?

— М-да...— произнес Иван Игнатьевич, с сомнением ли, с осуждением или озадаченно — не понять.

Они двинулись дальше.

Их шаги громко раздавались по пустынной улице: дробные — Ольги Олеговны, тяжелые, шаркающие — Ивана Игнатьевича. Воздух был свеж, но от стен домов невнятно веяло теплом — отдыхающие камни нехотя отдавали дневное солнце.

22

Слово «убить», которое так часто встречалось в книгах, звучало с экранов кино и телевидения, вдруг обрело свою безобразную плоть.

Натка на пригибающихся ногах, слепо вытянув вперед руки, двинулась к скамье.

Вера сдавленно всхлипнула, Игорь — остекленевший взгляд, одеревеневший нос, темный подбородок — стал сразу похож на старичка, даже штаны спадают с худого зада.

Виновато переминался Сократ с гитарой. Юлечка застыла в наклоне — вот-вот сорвется бежать.

А тишина продолжалась. И шумело далеко в ночи за городом шоссе.

Вера всхлипнула раз, другой и разревелась:

— Я... Я вспомнила...

— Нам теперь будет что вспомнить,— глухо выдавил из себя Игорь.

— Я... Я в кабинете физики... трансформатор... пережгла. Один на всю школу и... дорогой. Генка сказал...— Плечи Веры затряслись от рыданий.— Сказал: это он сделал. Я не просила, он сам... Сам на себя!

— А меня... Помните, меня из школы исключали,— засуетился Сократ.— Мне было кисло, фратеры. Мать совсем взбесилась, кричала, что отравится. Кто меня спас? Генка! Он ходил и к Большому Ивану и к Вещему Олегу. Он сказал им, что ручается за меня... А мне сказал: если подведу, набьет морду.

Игорь судорожно повел подбородком.

— О чем вы? — выкрикнул он сдавленно.— Трансформатор!.. Генка никогда не был таким... Таким, как сегодня! Трансформатор... Вы вспомните другое: я, ты, Сократ, все ребята нашего класса, да любой пацан нашей школы ходил по улице задрав нос, никого не боялся. Каждый знал — Генка заступится. Генка нашим заступником был — моим, твоим, всех! А сам... Он сам обидел кого-нибудь?.. Просто так, чтоб силу показать... Не было. Никого ни разу не ударил!.. И вот нас сегодня...

— Опомнись! — резко оборвала Юлечка.— Мы же раньше его обидели! Все скопом. И я тоже.

— А я... Я ведь не хотела...— заливалась слезами Вера.— Я откровенно, до донышка... Он вдруг обиделся... Не хотела!

— Юль-ка-а! — качнулся Игорь к Юлечке.— Скажи, Юлька, как это мы?.. Чуть-чуть не стали помощниками Яшки.

— Стали,— жестко отрезала Юлечка.— Согласились помочь Яшке. Молчанием.

На скамье в стороне сидела Натка, прямая, одеревеневшая, с упавшими на глаза волосами, с увядшими губами.

— Нет, Юлька! Нет! — Тоскливое отчаянье в голосе Игоря.— Нет, не успели! Слава богу, не успели!

— Согласились молчать или нет?

Бледное, заострившееся личико, округлившиеся, тревожно-птичьи глаза в упор — Игорь сжался, опустил взгляд.

— Согласились или нет?!

Игорь молчал, опущенные веки скрывали бегающие зрачки. Молчали все.

Натка, окоченев, сидела в стороне.

— Раз согласились, значит, стали!.. Уже!.. Пусть маленькими, пятиминутными, но помощниками убийцы!

Игорь схватился за голову, замычал:

— М-мы-ы! М-мы-ы — его!..

— А я не хотела! Не хотела! — захлебывалась Вера.

— А я хотел? А другие? М-мы — его!

Игорь мычал и качался, держась за голову.

Натка, деревянно-прямая на скамье, подняла руки, неуверенно, неловко, непослушными пальцами, как пьяная, стала заправлять упавшие волосы. Так и не заправила, обессиленно уронила руки, посидела, мертво, без выражения глядя перед собой, сказала бесцветно:

— Я пойду...

И не двинулась.

Тишина. Далеко за городом шумело шоссе.

Игорь опустил руки, обмяк.

— Юль-ка...— снова просяще заговорил он.— Не были же такими... Нет... Ни Генка, ни мы...

Тишина. Обмерший город внизу — темные кварталы, прямые строчки уличных фонарей да загадочный неоновый свет над вокзалом. Шумело шоссе.

— Юль-ка... Я чувствовал, чувствовал, ты помнишь?

Глядя в сторону, Юлечка ответила тихим, усталым голосом:

— Не лги... Никто из нас ничего не чувствовал... И я тоже... Каждый думает только о себе... и ни в грош не ставит достоинство другого... Это гнусно... вот и доигрались...

Опираясь на спинку скамьи, Натка наконец с трудом поднялась:

— Я пошла... к нему... Никто не ходите со мной. Прошу.

И опять застыла, нескладно-деревянная, слепо уставясь перед собой.

Все косились на нее, но сразу же стыдливо отводили глаза и... упирались взглядами в обелиск, в мраморную доску, плотно покрытую именами:

АРТЮХОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ — рядовой
БАЗАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ — рядовой
БУТЫРИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ — старший сержант...

Обелиск — знакомая принадлежность города. Настолько знакомая, привычная, что уже никто не обращал на нее внимания — как на морщину, врезанную временем, на отцовском лице. Обелиск весь вечер стоял рядом, в нескольких шагах... Сейчас его заметили — отводили глаза и вновь и вновь возвращались к двум столбцам имен на камне с тусклой, выеденной непогодою позолотой.

Нет, выбитые на камне, вознесенные на памятник лежали не здесь, их кости раскиданы по разным землям. Могила без покойников, каких много по стране.

АРТЮХОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ — рядовой
БАЗАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ — рядовой...—

и еще тридцать два имени, кончающихся на неком Яшенкове Семене Даниловиче, младшем сержанте.

Убитые... Умерших своей смертью тут нет. Окаменевшая гордость за победу и память о насилии, совершенном около трех десятилетий назад, задолго до рождения тех, кто сейчас немотно отводит глаза...

АРТЮХОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ...
БАЗАЕВ...

Убитые уже не могут ни любить, ни ненавидеть. Но живые хранят их имена. Для того, наверное, чтоб самим ненавидеть убийство и убийц.

Бывшие школьники отводили глаза...

Натка качнулась:

— Я пошла...

Негнущаяся, с усилием переставляя ноги, она прошла мимо обелиска к обрыву.

Долго было слышно, как осыпается земля под ее ногами.

Ночь уже не напирала с прежней тугой упругостью. Призрачная синева проступала в небе, и редкие звезды отливали предутренним серебром.

23

Физик Решников и математик Иннокентий Сергеевич жили в одном доме. Они подошли к подъезду и неожиданно вспомнили:

— Э-э! Какое сегодня число?

— А ведь да! Двадцать второе июня...

— Тридцать один год...

— Пошли,— сказал Решников,— у меня есть бутылка коньяку.

Они поднялись на пятый этаж, тихонько открыли дверь, забрались в кухню. Решников поставил на стол бутылку.

— Уже светает.

— Как раз в это время...

В это время, на рассвете, тридцать один год назад начали падать первые бомбы, и двое пареньков в разных концах страны, только что отпраздновавшие каждый в своей школе выпускной вечер, отправились в военкоматы.

За окном синело. За узким кухонным столиком перед початою бутылкой — два бывших солдата.

— Ты можешь представить нынешних ребят в занесенных снегом окопах где-нибудь под Ельней?

— Или у нас под Ленинградом, где мы жрали мерзлые почки с берез?

— В каких костюмах они сегодня были, в каких галстуках!

— Учти: каждый при часах, а первые часы я купил, проработав два года учителем.

— И все-таки в счастливое время они живут.

— Не удивительно, как сказала эта Нина Семеновна,— добры от природы. Должны быть добрее нас.

— Ну, сия гипотеза еще нуждается в проверке... На посошок, Иннокентий?

— Выпьем за то, чтоб они не мерзли в окопах.

А в том же доме, этажом ниже, в своей одинокой тесной комнате не спала, плакала в подушку Зоя Владимировна, старая учительница, начавшая свое преподавание еще с ликбеза.

Нина Семеновна, сегодня неожиданно тоже ставшая старой учительницей, изнемогала от материнской нежности и тревоги: «Какие взрослые у меня ученики! Что их ждет? Кто кем станет? Кем Юлечка? Кем Гена?»

Она жила в новом квартале, на окраине, не спеша шла сейчас пустынными улицами, через просторные пустые площади, и маленький город, где родственно знаком был каждый тупичок, каждый перекресток и каждый угол, выглядел сейчас, в мутно-синих сумерках, величественным и таинственным.

Перед подъемом к набережному скверику она неожиданно увидела своих учеников. Они спускались по широкой лестнице: Сократ Онучин с гитарой, встрепанный, как всегда, нахохленный Игорь Проухов, задумчивая, клонящая вниз гладко расчесанную голову Юлечка Студёнцева и Вера Жерих, увалисто-широкая, покойно-сосредоточенная. Тесной кучкой, молчаливые, заметно уставшие, пережившие свой праздник. Похоже, они уже несут сейчас недетские мысли.

Старая присказка: жизнь прожить — не поле перейти. Не первые ли самостоятельные шаги через жизнь — самые первые! — она сейчас наблюдает? Далеко ли каждый из них уйдет? Кем станет Юлечка?..

Ребята прошли, не заметив Нину Семеновну.

Они проходили мимо школы.

В необмытой от сумерек рассветной голубизне школа вознесла и развернула все свои четыре этажа размашисто-широких, маслянисто-темных окон. Непривычно замкнутая, странно мертвая, родная и чужая одновременно. Скоро взойдет солнце, и нефтянисто отсвечивающие окна буйно заплавятся — все четыре этажа. Должно быть, это мощное и красивое зрелище.

Запрокинув голову, бывшие десятиклассники разглядывали свою школу в непривычный час, в непривычном обличье. Каждый мысленно проникал сквозь глухие, налитые жирным мраком окна в знакомые коридоры, в знакомые классы.

Вера Жерих шумно и тяжко вздохнула. Юлечка Студёнцева тихо сказала:

— Здесь было все так понятно.

Долго никто не отзывался, наконец Игорь произнес:

— Мы научимся жить, Юлька.

Вера снова шумно вздохнула.

А на реке по смолисто загустевшей воде ползли неряшливые клочья серого тумана. Натка с мокрым, липнущим к ногам подолом платья, в насквозь мокрых от росы праздничных туфлях бродила по берегу, искала Генку.

Ночь после выпуска кончилась.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Федорович Тендряков

ЧУДОТВОРНАЯ

Повести

Зав. редакцией русской литературы *Н. А. Прядка.*
Редактор *Н. А. Прядка.*
Художеств. редактор *И. А. Савчук.*
Художник *В. А. Блонский.*
Технич. редактор *Г. Г. Саливон.*
Корректоры: *Л. С. Командир, Л. В. Липницкая, Г. А. Зацерковная.*

Информ. бланк № 4796

Сдано в набор 27.11.84.
Подписано к печати 16.05.85.
Формат 84×108/32. Бумага № 2 типографская.
Гарнитура литературная. Способ печати высокий.
Условн. лист. 22,65+0,84 вкл. Условн. кр.-отт. 26,04.
Уч. изд. лист. 28,33+1,30 вкл. Тираж 200 000.
(1-й завод 1—100 000) экз.
Изд. № 29715. Зак. 4-987. Цена 2 р. 30 к.
Издательство «Радянська школа»,
252053, Киев, Ю. Коцюбинского, 5.

Книжная фабрика имени М. В. Фрунзе,
310057, Харьков-57, ул. Донец-Захаржевского, 6/8.

Книжная полка

В 1985 году в издательстве «Радянська школа» вышли и выйдут в серии «Мир в образах» такие книги:

Олейник Н. Я. **Дочь Прометея:** Дилогия.— К.: Рад. шк., 1985.— 27 л.— (Пед. б-ка. Мир в образах).— Яз. укр.—1 р. 90 к.

В дилогии автор знакомит читателя с замечательной украинской поэтессой Лесей Украинкой, которая сквозь жизненные бури и невзгоды пронесла любовь к людям и родной земле, вдохновляла своей поэзией на революционную борьбу.

Серебрякова Г. И. **Юность Маркса.**— К.: Рад. шк., 1985.—34 л., ил.— (Пед. б-ка. Мир в образах).— Яз. рус.— 2 р. 50 к.

Роман повествует о молодых годах К. Маркса, формировании его философских взглядов, рассказывает о революционной борьбе рабочего класса Европы в 30—40-е годы XIX в.

Скляренко С. Д. **Легендарный начдив. Путь на Киев.**— К.: Рад. шк., 1985.—30 л., ил.— (Пед. б-ка. Мир в образах).— Яз. укр.— 2 р. 60 к.

В книге помещены произведения, в которых рассказывается о борьбе украинского народа в годы гражданской войны, о пламенном большевике, герое гражданской войны Н. А. Щорсе (1895—1919).

Собко В. Н. **Лихобор.**— К.: Рад. шк., 1985.—29 л.— (Пед. б-ка. Мир в образах).— Яз. укр.—2 р. 20 к.

Это роман о нашем современнике, типичном представителе нового поколения советского рабочего класса, с его богатым духовным миром и творческими буднями.

Фадеев А. А. **Молодая гвардия.**— К.: Рад. шк., 1985.—40 л.— (Пед. б-ка. Мир в образах).— Яз. рус.—4 р.

В романе рассказывается о самоотверженной борьбе подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» с фашистскими оккупантами в г. Краснодоне. Писатель прославляет бесстрашие борцов за светлые идеалы, преподносит урок мужества.

Шиян А. И. **Гроза.**— К.: Рад. шк., 1985.—28 л.— (Пед. б-ка. Мир в образах).— Яз укр.— 2 р.

В романе известного украинского писателя широко описана судьба трудового крестьянства в годы империалистической войны и войны гражданской, показано благотворное влияние идей Октября на созревание политической сознательности трудящихся, ставших настоящими хозяевами своей страны.

Яновский Ю. И. **Киевская соната.**— К.: Рад. шк., 1985.—29 л.— (Пед. б-ка. Мир в образах).— Яз. укр.— 2 р. 10 к.

В сборник вошли рассказы о героизме советских людей в Великой Отечественной войне, об участии детей в борьбе с фашизмом. В отдельных произведениях рассказывается о самоотверженном труде нашего народа в довоенный период и послевоенные годы.

Для детей вышли и выйдут в 1985 году такие книги:

Островский Н. А. **Как закалялась сталь.**— К.: Рад. шк., 1985.— 35 л.— Яз. рус.—85 к.

Это произведение стоит в ряду книг, которые воспитывают активную жизненную позицию, призывают к мужественной борьбе за счастье во имя своей Родины. Жизненный подвиг писателя нашел яркое отражение в образе главного героя романа — Павки Корчагина.

Золотая нива. Сост. Островская Г. И.— К.: Рад. шк., 1985.—14 л.— Яз. укр.—35 к.

В сборник вошли лучшие стихотворения, отрывки из произведений украинских писателей дооктябрьского периода, украинских советских писателей, мастеров слова братских литератур, в которых отображается мечта крестьян о земле, а также воспевается работа тружеников полей, ее результаты, воспитывается любовь к труду хлебороба.

Панч Петр. **Голубые эшелоны: Повести и рассказы.**— К.: Рад. шк.,— 1985.—27 л., ил.— Яз. укр.—1 р. 90 к.

В повестях «Голубые эшелоны», «Сын Таращанского полка» и рассказах отображены события гражданской войны. Герои полны решимости бороться против вражеских сил, за победу Советской власти на Украине, сражаясь под знаменем Октябрьской революции.

Издательство «Радянська школа»

2 р. 30 к.